ЛЕОНИД АНДРЕЕВ





Наталья
Скороход



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Наталья Скороход
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

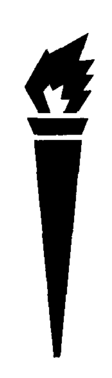
ЖЗЛ

Леонид Андреев

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК
1631
(1431)

Наталья Скороход

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2013

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
С 44

знак информационной продукции 16+

ISBN 978-5-235-03518-8

Пролог

АДМИРАЛЬСКИЕ БЕЛКИ

Только раз приснился мне Леонид Андреев. Логика сна отчетливо определяла наши отношения: я состояла при нем в обычной для себя роли драматурга, он же — в роли исторически ему несвойственной: как режиссер Андреев намеревался поставить спектакль по моей инсценировке. Место, где мы встретились, было знакомо ему гораздо лучше, чем мне: внутри уютного здания МХТ в Камергерском какая-то особая лесенка вела наверх, рядом белела табличка «вход на сцену им. Леонида Андреева». Предполагалось, что пьеса давным-давно уже принята режиссером и сегодня — первая репетиция. Пока мы поднимались по лесенке, Андреев мрачно заметил, что в первом эпизоде, где — по моему замыслу — в клетке должны томиться адмиральские белки, я напрасно ввела столь мелких животных, было бы гораздо выразительнее, если бы в неволе был заточен крупный зверь — носорог или слон. Нет, — ответила я, — большой зверь — это впрямую, а мучения адмиральских белок будет доходить до зрителя постепенно, что гораздо эффектнее. Андреев промолчал.

Когда мы вошли, довольно просторный — мест на триста — зрительный зал оказался уже битком набит журналистами и театральной критикой, на несколько секунд я потеряла Андреева из виду: надо было поздороваться с московскими приятелями, перекинуться парой слов с земляками, а когда вновь подошла к мэтру — оказалось, что все места рядом с ним уже заняты, и я попросила билетершу принести мне стул. — Ну-с, поехали, — скомандовал Андреев, и актеры довольно живо сыграли первую сцену: под непрерывную беготню белок по большой клетке на среднем плане трое смешных толстячков выстроились в линию на авансцене и, отчаянно кокетничая с публикой, обменялись десятком реплик. Зрительный зал взорвался аплодисментами. — Ну всё, пошли кланяться, — пошутила я и дружески хлопнула Андреева по плечу.

После этого картина сна утеряла реальные очертания, но молчаливая, несколько мрачноватая фигура Леонида Андре-

ева еще неоднократно выплывала на первый план. Он был похож скорее на свой бестелесный серовский, чем яркий, но тяжеловатый — репинский портрет, стараясь не встречаться со мной глазами, Леонид Николаевич все вел и вел свою бесконечную репетицию, а актеры, сменяя друг друга, все говорили и говорили какие-то реплики, одну за другой.

Берясь — тем более впервые — за биографию великого человека, необходимо тем или иным способом получить от него какой-нибудь знак. Можно конечно же подойти к своему делу умственно: холодно и научно препарировать душу и судьбу своего героя или же воспользоваться чьей-то концепцией, тем более что в случае с Леонидом Андреевым таковых предостаточно: Андреев — романтик, Андреев — первый экспрессионист, Андреев — символист, которого вовремя не разглядели, Андреев— реалист, который «сам себя высек», Андреев — эсер, Андреев — экзистенциалист, Андреев — носитель масок, Андреев — умалишенный, Андреев — бульварный автор, Андреев — «Достоевский Серебряного века» и т. п. Сама фигура, не говоря уже о творчестве Леонида Николаевича, располагает к «сильным» решениям, взаимоисключающим идеям, именно поэтому Леонид Андреев — сегодня одна из самых «диссертационных» персон в русской литературе. Есть что проблематизировать, есть с кем поспорить, есть за что постоять.

Существует и множество его биографий. От прижизненных: например, книги «Леонид Андреев: Жизнь и творчество» литературного секретаря и доброго приятеля Андреева — Василия Брусянина до вышедшей пару лет назад «Жизни Леонида Андреева...», сей фундаментальный труд Леонида Рогова и Людмилы Кен — первая попытка научной биографии Леонида Николаевича. А кроме того, есть как изданные, так и хранящиеся в рукописях воспоминания родственников: братьев, сестер, невесток, племянников и детей. Личные и такие субъективные очерки друзей: Горького, Вересаева, Зайцева, Чуковского, знакомых: Телешова, Чулкова, Блока, Алексеевского и т. д. Есть автобиографии, написанные в 1903, 1908 и 1910 годах. Частично опубликованы дневники. Во множестве — письма.

Но — вот парадокс. Писатель Леонид Андреев за более чем 100 лет, прошедших с появления «Баргамота и Гараськи», так и не лег на положенную ему полку в книжном шкафу русской словесности. Нет даже единого мнения о том, где — в первом или во втором ряду классиков — надо отвести место для Леонида Андреева. Может или нет стоять он на одной полке с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским и Толстым? Да или

нет? Множатся публикации — множатся вопросы. Множатся концепции — нарастает и жар дискуссий. Забытый уже в 1920-е, «запрещенный» в 1930-е и 1940-е, Андреев вновь был открыт у нас поколением «шестидесятников», а ныне он — один из самых читаемых молодежью писателей прошлого. Русский театр, как будто уже навечно исключивший драматурга из своих постоянных авторов, в XXI веке вновь потянулся — и не только за его пьесами, но и за прозой. Временный ли это интерес? Или же драматург Леонид Андреев спустя 100 лет все-таки займет в российской афише подобающее ему постоянное место?

В самой жизни Андреева, — жизни, которая конечно же переплетена с писательством неразрывно, также множество вопросов. И чем больше публикуется фактов и свидетельств — тем меньше ясности и прозрачности, меньше возможности выстроить логические связи между отдельными эпизодами его биографии. Почему — мистик и фантаст — жаждал похвалы Толстого и дружил с Горьким? Почему — воспитанный народниками, сочувствующий эсерам — внезапно стал патриотом и «государственником»? Почему — фактически участвуя в первой и приняв вторую русские революции — с первого взгляда возненавидел Ленина и большевиков? Почему — первый красавец и беллетрист — постоянно мучился от любовных неудач? Почему, потеряв горячо любимую жену, в год траура делал предложения руки и сердца практически каждой встречной молоденькой женщине? Почему — будучи самым знаменитым писателем России — всю жизнь страдал от малейших уколов критики? А будучи умным человеком — ввязывался в глупейшие дискуссии о своем творчестве? Почему — всю жизнь невыносимо страдая от разнообразных недугов — он ни дня не провел в постели? Почему — не будучи больным — умер от инфаркта в 48 лет? Почему — безнадежный пьяница и нищий студент-дебошир — в три года сделался богатым и знаменитым? Отчего пил, и пил — запоями? Отчего — не переставая любить Бога и связывая с ним единственную Правду о жизни — все сознательные годы прожил атеистом?

Даже несколько таких «почему» тянут на яркую обложку бульварного романа «Тайна Леонида Андреева». Но — конечно же — эта книга далека от бульварного жанра. И тем не менее, сжившись за эти годы со своим героем, отчасти почувствовав, что представлял собой его характер, и более того — получив от него некий знак — сон про «адмиральских белок», — я делаю попытку интерпретировать эту странную, полную загадок и приключений — жизнь, такую яркую и блестящую и такую

болезненную и хмурую — душу. Да, моя задача — не столько ставить новые вопросы, сколько попытаться ответить на те, что ставились до меня.

Читая не только все художественные произведения своего героя, но и вообще все доступные тексты, что вышли из-под андреевского пера: публицистические очерки, статьи, письма, дневники, пометки на рисунках и т.п., — я долго «собирала» фигуру — как сказал бы Умберто Эко — «идеального автора», что разбрасывал — там и тут — свои черты: улыбку, походку, неестественно согнутую кисть, рассыпанные по плечам кудри, лучистые черные глаза, частые головные боли, любовь к Ницше, бессонницу и прочие свойства. Вот из этих рассеянных по текстам мелких фрагментов я и попробую сложить целое — жизнь Леонида Андреева от рождения — в 1871-м — до смерти — в 1919 году.

Глава первая. 1871—1882:

ЛЕНУША АНДРЕЕВ

Пушкарная слобода. Ранние впечатления: пространство и книги. Отец Николай Иванович: пьянство и кулаки. Мать: Анастасия Николаевна — поклонение и нежность. Детские впечатления, недетские вопросы: «Валя», «Алеша-дурачок», «Младость», «Цветок под ногой»

Реконструкция нашего героя начнется с переезда семьи Андреевых в собственный дом. Все, что происходило ранее, очевидно, не отпечаталось в душе Леонида Андреева. Его память не сохранила, к примеру, тревогу зародыша, что передавалась через кровь от носящей своего первенца матери, тревогу, что возникала от полуголодного полубездомного быта, от блужданий семьи по чужим углам. Не отпечатался в его памяти и собственный первый крик: голос младенца, жадно глотающего обжигающий воздух августовской ночи, забылись и ощущения маленького, извивающегося в ловких руках повитухи тела, внезапно почуявшего свободу от материнской утробы — впрочем, немедленно и туго спеленутого плотной сатиновой тряпкой. Забылся и сладковатый вкус соски: вложенного в тряпицу хлебного мякиша, канули в Лету нехитрые песенки двадцатилетней полуграмотной мамы-поповны «и еще минуты радостного покоя, тихой уверенности, что жизнь пройдет хорошо» — именно так вспомнит младенчество один из будущих героев Андреева — Сашка Жегулев.

Так оно и было, с «радостного покоя» начиналось житье-бытье будущего «властителя дум». Прошло всего-то три года с тех пор, как у частного оценщика-землемера Николая Иванова Андреева и его жены, дочери разорившегося польского помещика, Анастасии Николаевой, в девичестве Пацковской, родился сын Леонид (1871 года, 9 августа, а крещён был 11-го числа по старому стилю), как семья, окончив скитания по чужим углам, приобрела — от солдатки Прасковьи Корлевской — деревянный дом со строениями и обширным куском земли. Отец не только купил эту землю — как сказали бы теперь,

в престижном районе — практически рядом с берегом маловодного, но красивого Орлика, — но тут же и снес корявый солдатский домишко, возведя взамен «Андреевские хоромы» — на каменном фундаменте, десяти комнат с широченным коридором, одноэтажный, крашенный в зелень и украшенный резьбою просторный дом. Четырьмя окнами дом смотрел на 2-ю Пушкарную улицу, куда, кстати, смотрит и по сей день. Николай Иванович старался не зря. Его строение стоит уже более века и простоит еще долго: 21 августа 1991 года — в день, когда Леониду Андрееву стукнуло 120 лет со дня рождения, в доме 41 по 2-й Пушкарной улице в городе Орле открылся мемориальный музей писателя. Так первенец обеспечил бессмертие дому, который построил его отец.

Жилище подоспело как раз ко времени: сынишке шел уж четвертый год, и пеленки давно уж сменились светлой рубашкой, а потом матросским костюмчиком, и руки мечтательной и бестолковой Анастасии уже не могли удержать крупного, верткого и упрямого красавца Ленушу. К тому же если мужу судьба поручила организовать *пространство* для будущего писателя, то ей-то было назначено населить его персонажами. Еще девять раз рожала Настасья Николаевна, и хотя несчастья, увы, нередко посещали их дом: половину братьев и сестер смерть прибрала к рукам еще во младенчестве, но остальные-то жили, а живя, наполняли то, что составило одну из необходимых сущностей писателя: его *семью*. В доме на Пушкарной родились и выросли младшие братья и сестры Леонида: Павел, Римма, Всеволод, Зинаида, Андрей.

Трудно сказать — пространство или его герои окажутся важнее для будущего «певца сумерек» и «эмиссара самоубийц». Но несомненно, что ребенка Леонида Андреева пространство увлекало гораздо больше. «Ему было шесть лет от рождения, — в «Цветке под ногою» сорокалетний писатель «отдаст» свои первые ощущения шестилетнему Юре, — и мир для него был огромным, живым и очаровательно-неизвестным. Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо: часто следил за ними, лежа на спине среди травы или на крыше. Но звезд полностью он не знал, так как рано ложился спать; и хорошо знал и помнил только одну звезду, зеленую, яркую и очень внимательную, что восходит на бледном небе перед самым сном...

Но лучше всего знал он землю во дворе, на улице и в саду со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и того изумительно разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста».

Прожив без малого полвека и возведя — вдалеке от орловских земель, на берегу финского холодного моря — собственную виллу, писатель был особо внимателен к ее маленьким обитателям: «Мне интересно бывает думать о том, каким дети представляют себе наш дом, сад и все окружающее. Я помню свои детские впечатления от орловского дома и сада, хотя и дом и сад были очень небольшие: шесть комнат из десяти свободно уместятся в одном моем кабинете. Помню, что в течение многих лет я все еще не мог исследовать... все таинственные углы, чердаки, подвалы и сараи, привыкнуть ко всем заворотам, каждый раз открывающим новый пейзаж, пересмотреть все вещи... составляющие *наше*. <...> Мой дом и сад в десяток раз объективно превосходит орловский, и отсюда можно догадаться, какое впечатление огромности он должен производить на детишек с их ростом». Воздействовало на ребенка-Андреева не только само пространство, но маленький глаз уже ощущал, что есть и некий особый «угол зрения». «И конечно, отец сам не знал, какой красивый и необыкновенный вид имеет его кабинет, если смотреть на него из-под стола»[1] , — запишет он в дневнике за два года до смерти.

Орловский дом не раз появится на страницах андреевских рассказов и пьес. Начинаясь в уютных, чистых, провинциально обставленных комнатах: венские стулья, комод, стол, еще один — обеденный большой, оклад с иконами; «у окон много зимних цветов, среди коих фуксия и уже зацветшая герань», пространство не было замкнуто. «Одно окно выходит в стеклянный коридор, идущий вдоль всего дома и кончающийся парадным крыльцом; другие четыре окна выходят на улицу — немощеную, тихую улицу, с большими садами и маленькими мещанскими домишками», оно выводило мальчика на просторы сада, где «...в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия».

С годами это «чувство пространства», принципиальность окружающей среды обнаруживались все более явно, подчас — доходили до мании. Как человек, часто меняющий адреса, повзрослевший Андреев приобрел придирчивость по отношению к месту обитания, оставляя иронический, саркастический или же восторженно-романтический его «портрет» в письмах и дневниках; как художник сделал пространство своим непременным союзником. Сколь условным образом ни строилось бы, например, действие его пьес, автор всегда погружал героев

---

[1] S.O.S. С. 86.

в подробно описанное и насыщенное смыслом сценическое пространство: будь то «внутренность завода», «великолепная, чрезвычайно богатая зала», «мещанское жилище» или же «подобие большой, правильно четырехугольной, совершенно пустой комнаты, не имеющей ни двери, ни окон».

Самому Леониду посчастливилось пройти первое действие собственной человеческой жизни среди чудных, милых сердцу, гармоничных и соразмерных человеческим ощущениям «декораций»: «Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно недвижим, как отдыхающий турок; зимой же его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертвенно-прекрасного...» Интересно, что Пушкарная слобода в Орле — место, где рос и взрослел наш герой, — сохранила свой облик и по сей день, и случайно забредший сюда зимой в начале XXI столетия путешественник увидит приблизительно ту же картину, что и пятилетний Леонид Андреев в последней трети XIX: «Целые кварталы составляли старые одноэтажные дома с воротами, крылечками, резными наличниками, ставнями, которые закрываются на ночь и открываются утром. Дома, которые соразмерны тебе, не загораживают небо, в которых живут, как кажется, не безликие квартиросъемщики, а хозяева, семьи, личности. Дома, которые готовы вступить в диалог — вот в окошках, между стекол, на вате лежат елочные игрушки, а в других — стоят фарфоровые птички перед чашечками с бусинками»[1].

Как уже говорилось, наш ребенок придавал пейзажу огромное значение, он не только смотрел, но и вслушивался в природу: «Дерево, бывшее в двух шагах от меня, было видно еще отчетливее и яснее, чем днем, но уже тотчас за ним начиналась тьма, призраками делала следующие деревья, а в окне уже горел спокойный теплый огонь, и звуки один за другим одиноко падали на землю и быстро, без тени и содроганий, угасали. И я старался понять значение и смысл таинственных звуков, и мое ребячье сердце видело в них ответ на что-то такое, что еще не ясно было мне самому, что еще только зарождалось в глубинах души», — картины и звуки детства настолько прочно застряли в памяти, что и через 30 лет с легкостью были оттуда извлечены и легли на страницы «Писем о театре». Что ж, узнавание все новых и новых мест, разнообразные, подчас рискованные опыты с пространством составляли значительную часть жизни этого ловкого, смелого, частенько предоставленного себе самому ребенка.

А вот игрушки, кажется, не оказали на этого мальчика особого воздействия. «Это были жалкие картонные лошадки на

---

[1] Разноцветные дороги. 2003. № 5. С. 23.

прямых, толстых ногах, петрушка в красном колпаке с носатой, глупо ухмыляющейся физиономией и тонкие оловянные солдатики, поднявшие одну ногу и навеки замершие в этой позе» — так — почти брезгливо — относится к игрушкам герой андреевского рассказа «Валя». Эти гуттаперчевые и деревянные фигурки так и остались куском материи, эти мертвые, грубо сработанные муляжи живых и страдающих существ не задержались в мире будущего писателя, его воображение не зажглось гофмановским огнем...

Из всех детей и подростков лишь андреевский Сашка сгорает от любви к елочной игрушке: «восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь». И хотя Андреев «отдал» Сашке эпизод из собственной биографии — восьмилетний Ленуша действительно влюбился в восковую фигурку, висящую на самой верхушке елки, устроенной его тетей, — автор «Ангелочка» тут же подчеркивает, что Ангел — не простая игрушка: его личико одухотворено «рукой неведомого художника». И это недаром, именно «одухотворенной красотой» завоевала эта восковая кукла душу и сердце Сашки — угрюмого и упрямого мальчишки-волчонка: «он увидел то, чего не хватало в картине его жизни, и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые».

Конечно же неблагополучный, как сказали бы теперь, Сашка, из милости приглашенный на елку к господам, — отнюдь не автопортрет маленького Леонида, да и обстоятельства Рождества в доме Андреевых были, разумеется, совсем иные: родители устраивали роскошную елку и, в отличие от своего героя, Ленуша чувствовал себя там хозяином... Важно другое: ангелочек становится символом иной, пока что недоступной ребенку правды и Сашка жадно выпрашивает и уносит домой маленький кусочек воска, надеясь, что даже скрытая от него правда эта все же будет жить рядом, надежно заключенная в тельце ангела, но, увы, ангелочек тает от тепла растопленной печки и текст остается непрочитанным, код — нераскрытым... Любовь к неживой игрушке оборачивается обманом, а значит — и страданием для ребенка. Совершенно иначе дело обстоит с *книгами*.

Научившись читать в шесть лет, Ленуша Андреев стал постоянной «головной болью» орловской городской библиотеки. За год исчерпав небогатые запасы детских сказок-картинок, он взялся за приключенческие романы Джеймса Фенимора Купе-

ра, Жюля Верна и Томаса Майн Рида. Один за другим глотал ребенок и бульварные выпуски авантюрного «романа с продолжениями» — «Похождения Рокамболя» Понсона дю Террайля, читал и другие модные штучки, причем по собственному свободному выбору. Брат Леонида Андрей писал, что критерием отбора служили два фактора: название книжки и ее цена. Заголовок книги непременно должен был быть пылким, и по всей вероятности, «Клуб червонных валетов», «Живой мертвец», «Морская волшебница, или Бороздящий океаны» или «Красный корсар» вполне удовлетворяли вкус взыскательного читателя. Цена же должна была быть не меньше рубля. Понятное дело, столь завышенный критерий выводил из круга чтения мальчика копеечные издания «Народной библиотеки»: «Детство» Толстого, «Капитанскую дочку» Пушкина, гоголевскую «Шинель», зато «часто, увлеченный необычной ценою книги, он выписывал какие-то научные труды, непосильные и взрослому»[1], — с иронией вспоминал младший брат писателя.

«Моя изумительная страсть к чтению, благодаря которой я восьми лет стоил пятнадцатилетнего, удовлетворялась самым беспорядочным и вредным образом»[2], — спустя годы, обретя склонность к постоянной рефлексии, Андреев не раз возвращался к своим детским привычкам; любопытно, что не зная Фрейда, он тем не менее искал причину несчастных черт собственного характера в детской, безжалостно критикуя собственных воспитателей. Что ж, можно согласиться, что беспорядочное, «запойное» чтение заставило этого красивого, задумчивого, впечатлительного мальчика возмужать «раньше времени умственно...». Но, просматривая круг чтения Андреева, невольно приходишь к мысли, что книги эти, возможно, расшатав неокрепшую душу ребенка, весьма существенно и своеобразно повлияли на становление художественного «я» будущего автора «Голода» и «Красного смеха».

Позже свою любимую сказку писатель «отдал» одному из самых обаятельных маленьких героев: шестилетний Валя читает историю про Бову-королевича, переложенную в «сказку с картинками» богатырскую повесть о злосчастиях и подвигах королевского сына Бовы: «В комнате было тихо-тихо, только шелестели переворачиваемые листы. <...> Лампа с синим колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную скатерть стола, но углы высокой комнаты были полны тихого, таинственного мрака». Что ж это за огромная книга с картинками, которая лежит перед мальчиком? Сюжет ее когда-то вдохновил

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 14.

[2] Там же. С. 16.

Пушкина на создание «Сказки о царе Салтане...», но в наше время история Бовы-королевича отчего-то непопулярна среди детей. Сказка героизирует с юных лет преследуемого родной матерью и отчимом королевича-силача: «В ней рассказывалось, как один очень сильный мальчик, которого звали Бовою, схватывал других мальчиков за ноги и за руки, и они от этого отрывались. Это было и страшно и смешно, и потому в пыхтении Вали, которым сопровождалось его путешествие по книге, слышалась нотка приятного страха и ожидания, что дальше будет еще интереснее». А дальше и вправду интереснее: победив всех врагов и одолев злокозния, Бова отрубил голову своему отчиму и преподнес ее в подарок матери-королеве. «И королевна Милитриса дары приняла, и открыла, а там голова Додонова лежит на блюде. И закричала она: "О, злодей..."». Однако поняв, что дело — дрянь, жестокая мать пала сыну в ноги, моля о пощаде. «И Бова сказал: "Государыня матушка моя, не уничижайся передо мною!" И велел Бова гроб сделать, положил мать свою живую в гроб и украсил гроб шелком и бархатом. Похоронил Бова мать свою живую и поминать всем велел». Интересно, какие мысли и чувства должна была вызвать у шестилетнего мальчика столь безжалостная и изощренная расправа над матерью?

На первый взгляд здесь нет ничего особенного: диковатая, звериная жестокость и теперь отличает множество сказок, которые читают дети, но редко кто из них принимает эту, «вторую реальность» за настоящую жизнь. А вот для впечатлительного Ленуши грань между «так было» и «так придумали» была неочевидна, недаром сам «акт чтения» происходил у него отнюдь не в гостиной, а в «более подходящем» для содержания книжки пространстве: на крыше дома, на чердаке, в выстроенном собственноручно вигваме. «Совершенно нагой и вымазанный дочерна сажей любитель книги разваливается на полу среди развешанных одеял и вздыбленных подушек с копьем в руке, с пером в волосах. В таком вигваме он ждал обычно Купера. И читал его здесь же и, конечно, лежа: ведь нигде не сказано, что индейцы сиживали за столом, покрытым скатертью»[1]. Но очевидно, впечатления от прочитанной книги буквально переполняли чересчур эмоционального ребенка, и буквально с младых ногтей его тянуло к тому, что позднее Корней Чуковский назовет «масками» Леонида Андреева. Двоюродная сестра Зоя Пацковская рассказывала, что как-то раз Ленуша собрал в комнате «компанию мальчишек и девчонок — всем было лет по 8—10, — велел раздеться донага, вымазал всех гли-

[1] Афонин. С. 26.

ной, вывалял в куриных перьях и стал подготовлять нападение. Сказал, что белые близко и надо их окружить и напасть врасплох»[1]. «Белые» — гости Николая Андреевича — чинно пили чай в одной из беседок роскошного андреевского сада, все они конечно же реально испугались, когда «краснокожие» с гиканьем выскочили из кустов. Отец Ленуши, увы, не оценил ни богатой фантазии, ни организационных способностей первенца и — поскольку одной из женщин после атаки «апачей» стало-таки нехорошо — решил — с жестокостью белого человека — выпороть «вождя краснокожих». Но не тут-то было. «...Леонид убежал и залез на дерево, — с гордостью вспоминала сестра. — И никакие уговоры не могли заставить его сойти. Говорил: "скорее умру с голоду, чем сдамся". Он воображал себя предводителем краснокожих и всякое малодушие считал для себя позором. Так его и простили»[2].

Несомненно, и «Зверобой, или Первая тропа войны», и «Оцеола...» Майн Рида, как и научно-фантастические романы Жюля Верна — качественное приключенческое чтение именно для подростков, и, кстати, всякий читатель может почерпнуть там исторические или даже научные знания, однако воспитательная составляющая этих книг сведена к минимуму, во всяком случае — бледновата по сравнению с волнующей фабулой. Что уж говорить о литературных «сериалах» Террайля, будь то «Приключения Рокамболя» или же любовные происки «Короля-сердцееда», равно как и «Тайны мадридского двора» забытого ныне Георга Борна. Вот уж этого, согласимся, впечатлительному мальчишке можно было бы и вовсе не читать. Оказались недоступны ему и детские книжки, которые, помимо занимательной фабулы, дают ребенку ясные жизненные оппозиции, как это делают сейчас занимательные истории Астрид Линдгрен, Аркадия Гайдара или Евгения Шварца. Эти тексты все же вкладывают в формирующиеся души понимание добра и зла, ценности жизни и ее смысла, эти хорошие, вовремя прочитанные книжки исподволь внушают ребенку основы знания о добре и зле, мечте и реальности, времени, Боге, свободе, необходимости, о настоящем и прошлом. Но, увы, именно таких книг в круге чтения Андреева-ребенка и не было.

Можно только догадываться, насколько жадное насыщение второсортными, а иногда и бульварными текстами «перегревало» воображение мальчика и какие смутные ощущения и представление о том, что такое «взрослая жизнь», рождали эти истории в его голове. Впрочем, эта детская страсть и сдела-

---

[1] Фатов. С. 42.

[2] Там же. С. 43.

ла Ленушу — Леонидом Андреевым. Предельная экзальтация, неуемность пера, подчас — явное отсутствие элементарного литературного вкуса, фантастические картины, которые то и дело заваливались — как бы сказали сегодня — в китч, жажда и умение писать интересно, воздействовать на читателя непосредственно, немедленно, сильно, потребность осмысливать опасные, «вечные», общечеловеческие темы и составят в будущем писательскую индивидуальность Андреева. На пике своей славы он как-то ухитрялся совмещать мастерство большого писателя с ремеслом бульварного. Это-то во многом и сделало нашего героя «двусмысленным кумиром» целого поколения.

Рассматривая опыты чтения маленького Андреева, важно учесть еще вот что. Мало того что за увлекательными сюжетами книг частенько стояла моральная, этическая и философская пустота, очевидно и то, что вокруг Леонида не было никого, кто мог бы расставить точки над «i», ответить на зарождающие в голове ребенка вопросы. Как ни странно, проведя свое детство в атмосфере абсолютной любви и относительного достатка, Ленуша, как мне представляется, не получил вообще никакого *воспитания*, если, конечно, не считать воспитанием привычку мыть руки перед едой.

Да и кто мог бы стать духовным наставником будущего «властителя умов»? Почти всегда дети в прозе и пьесах Андреева существуют в неразрывной и принципиальной связи со своими — плохими или хорошими — родителями: «Но были над ним, и вокруг него, и в нем самом два совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих: это были отец и мама». Что ж... Попробуем вглядеться попристальнее в родителей Ленуши Андреева. «Рода я не царского и не королевского, я рода христианского, сын пономаря, а мать моя прачка», — скрываясь от преследования, врал любимый герой Ленуши Бова-королевич, и эта ложь не раз спасала принца во время скитаний. То же должен был чувствовать и Леонид: формально мещанское происхождение — «отец мой — сын крепостного, а мать моя — поповна» на поверку оказывается не то чтобы полнейшей неправдой, однако нуждается в уточнении. Во-первых, в семье Андреевых всегда были убеждены в дворянском происхождении отца Леонида — Николая Ивановича. Мать Николая — крепостную девку Глашу — якобы взял к себе в палаты богатый орловский помещик Карпов и, обрюхатив, выдал замуж за своего дворового Ивана Андреева, а после, как водится, отослал семью подальше от греха — в город.

Поселившись в Пушкарной слободе, родная бабушка и приемный дедушка будущего писателя вырастили Николая Андреева и даже выучили его, что называется, «на медные деньги» в городском трехклассном училище и, более того, отдали затем в землемерно-таксаторские классы при Орловской губернской гимназии, которые он и окончил в 1867 году. Что ж, весьма возможно, что образование Николай получил именно благодаря своему «греховному» зачатию и частично — на средства помещика Карпова. Однако никак более его «настоящий» отец о себе не заявлял, не имел понятия о «дедушке-дворянине» и Ленуша. В графе «о происхождении» его отец Николай Иванович Андреев неизменно писал «из мещан». В автобиографии Андреев представлял отца «человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия».

Карьера Николая Андреева двигалась бойко. Окончив курс гимназии, за жалованье — 15 рублей в месяц — он начал служить обмерщиком на железной дороге, однако вскоре после женитьбы по протекции шурина перешел на большую зарплату в Городской общественный банк. Тут-то наступило для семьи Андреевых благополучное время: Николай Иванович купил участок, возвел там десятикомнатные хоромы, двухэтажный флигель, конюшню, амбар и сам лично насадил сад. Как вспоминают дети, был и он увлеченным книгочеем, частенько выросшему Ленуше приходилось часами томиться, выжидая, пока отец отложит очередную «серию» «Новых приключений Рокамболя»... И порой возможность «вцепиться» в книжку самому представлялась лишь глубокой ночью. Нередко посещала семья и городской драматический театр. Но главные увлечения Николая Ивановича лежали все же вне умственных интересов: как рассказывал брат Леонида Андреева Павел, их отец «...был чужд каких-либо мистических или религиозных настроений. <...> Он всю жизнь строил, перестраивал, пристраивал. <...> Жил он самой широкой и свободной жизнью, совершенно не считался с мнением общества. На своей Пушкарной был “царьком”»[1]. Главными развлечениями этого человека «мужицко-помещичьей» крови были строительство, карты, бильярд, книжные «сериалы» и кулачные бои.

Уличные бои — обычное дело для захолустного российского городка. Сестра Андреева Римма, вспоминая «милые» привычки жителей слободы, рассказывала: «В драке принимали участие человек до 100, а то и более. Драку (сражались «улица на улицу». — *Н. С.*) обычно начинали мальчишки, а заканчивали взрослые. Отец из окон нашего дома любил смотреть на

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 8.

эти "турниры"... Постепенно его веселое лицо становилось все суровее. Наконец, он не выдерживал... и выходил на крыльцо. Иногда его появление прекращало бой; когда же это не оказывало должного впечатления, он врезывался в толпу и своим личным вмешательством прекращал драку»[1]. О недюжинной физической силе и, мягко говоря, социальном нонконформизме мужа с удовольствием рассказывала и мать Леонида: «Силач был первый на всю слободу. Когда мы только что повенчались, накинула я шаль, иду по мосту, а я была недурненькая, ко мне и пристали двое каких-то... в военном. Николай Иванович увидел это, подошел неспешно, взял одного за шиворот, перекинул через мост и держит над водою... Тот барахтается, Николай Иванович никакого внимания. А я стою и апельцыны кушаю»[2]. И богатырская внешность Николая Ивановича: «...грудь широченная, как площадь мощеная», и характер отца — честный, смелый и прямой — не раз восхищали первенца. И объективно — в огромной фигуре Николая Ивановича многое замечательно: пройдя через бедность, он вовсе не ожесточился, став состоятельным — остался щедр. «А то накупит два-три воза игрушек — привезет в слободу, кажется, на Немецкую улицу и раздает всем детям», — рассказывала Анастасия Николаевна[3]. Сделав отца одним из главных героев автобиографической пьесы «Младость», Андреев пробует осмыслить свое детское и юношеское видение этой конечно же немаловажной для него фигуры.

Глава большого семейства Николай Андреевич Манцев (под этим именем выведен в «Младости» старший Андреев) не лишен юмора, полон чувства собственного достоинства: «...взгляд... орлиный, всегда немного исподлобья, гордый: ко мне не подходи, я сам все вижу, спуску никому не дам...», он — хозяин слова, хозяин дома и единственная опора и стержень семьи: главный плотник, механик и садовод, его сокровенная мечта — стать помещиком: «на будущий год я решил: бросаю банк — и в деревню. Мне Иван Акимыч говорил: есть тут одно именьице десятин семьдесят, но пречудесное... Вот бы!». А вот внутренний мир, духовная и интеллектуальная жизнь главы дома закрыты для автора пьесы, а может быть — страшно сказать — нет ее у героя и вовсе — внутренней жизни. Всеволоду — старшему сыну Манцева и протагонисту «Младости», в котором конечно же Андреев вывел себя самого, кажется, что душу отца не знает никто и что есть у того какая-то глубокая тайна, грусть на сердце, которую, впрочем, и уносит он с собою в могилу.

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 10.

[2] Цит. по: Чуковский 1. С. 39–40.

[3] Там же.

Присутствие душевной «трещины», впрочем, думаю, так никогда и неосознанной, действительно имело место у Андреева-старшего, и это подтверждается многочисленными свидетельствами о его тяжелом запойном пьянстве. Слегка затушеванная, есть эта черта и в «Младости»: герои пьесы вспоминают, что положительный ныне Николай Андреевич Манцев много пил в прошлом. Исторический же Николай Андреев «пил запоем, пьяный, нередко устраивал скандалы, драки, о которых наутро узнавал город, падкий до сплетен. Когда Николай Иванович начинал гулять, все в доме Андреевых становилось вверх дном»[1]. В дальнейшем *пьянство* до черноты, пьянство как мания, пьянство как развлечение, как лекарство и как болезнь сыграет немалую роль в жизни Леонида Андреева, и эта мания конечно же перешла к нему по наследству от отца. Орловский исследователь Леонид Афонин так реконструирует загулы пьяного Николая Андреева: «...в доме собирались гости, из погреба вытаскивались вина и наливки, ведра пива, и начинались пьяные ночи». Независимый и неукротимый нрав Андреева-старшего в пьянстве проявлял себя в полной мере: «хозяин любил “пошутить”: то заснувшего гостя пришьет к тюфяку, свяжет ему руки и, внезапно разбудив, заставит бегать по комнатам, то, взобравшись на крышу, изо всех сил примется барабанить по железу, изображая грозу»[2].

Пьяный отец и пьяный муж не раз встречаются у Леонида Андреева, писатель рисует подчас дикие и страшные картины бытования своих земляков: пьяница, сапожник Тараска из рассказа «Весенние обещания», раз — беременную — ударил свою жену Марью в живот так, что «она скинула», а другой раз — выбил ей глаз, и когда та за спасением и заступничеством прибежала к своему отцу — кузнецу Василию Меркулову — тоже пьянице: «перед испуганными глазами встало окровавленное и страшное лицо Марьи. Она задыхалась, рвала на себе уже разорванное мужем платье и бессмысленно кружилась по хате, тыкаясь в углы. <...> У нее была ушиблена голова, она ничего не понимала и в диком ужасе царапалась ногтями и выла. Левый глаз у нее был выбит каблуком». Но эта, казалось бы, предельно страшная картина еще не предел: «К вечеру Меркулов был пьян, подрался с зятем Тараской, и их обоих отправили в участок. Там их бросили на асфальтовый грязный пол, и они заснули пьяным мертвецким сном, рядом, как друзья; и во сне они скрипели зубами и обдавали друг друга горячим дыханием и запахом перегорелой водки». Избиение беременной жены

---

[1] Афонин. С. 15.

[2] Там же.

пьяным чудовищем-мужем возникнет еще не раз: «выкинула» первенца после побоев пьяного мужа и мать Сашки Жегулева.

Что ж, к счастью, семейные предания Андреевых не оставили столь безобразных картин пьянства в семье самого Ленуши, и хочется надеяться, что рассказ «Весенние обещания» не имеет отношения к жизни его отца, однако подобное частенько происходило за окном и — как пожар — всегда могло перекинуться и на андреевский — такой надежный с виду — дом. Темное пьянство было бытом, жизнью Пушкарной слободы и всякий день, глядя в окно, мальчик Андреев мог наблюдать, как пьют совсем еще юные люди: «По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые как ножи... Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело» . В том же рассказе «У окна» есть и более жуткий образ — пушкарские дети, подражая взрослым, играют «в пьяных», берутся за руки и идут по улице, распевая, — «и вместо гармоник, держали в руках чурки, они изображали этот мотив ... Ган-на-нидар, ган-на-нидар-ган-на-нидар, най-на». Так пьянство «врастает» в душу человека с ранних лет: в замысле «Ангелочка» есть строчка: посланный за водкой отцом Сашка на обратной дороге отпивает из бутылки и понимает: «Здорово!»

Характерно и то, что все или почти все андреевские пьяницы, а без них не обходится ни один текст о житье-бытье маленького провинциального города, обязательно проходят через миг «просветления», когда «...чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей». Та самая душевная трещина, которая несомненно была у пьяниц-персонажей и которая, возможно, мучила и отца, представлялась писателю Андрееву неосознанной тоской по красоте, которой его герои не могли заметить в окружающей жизни и которую ни создать, ни представить были не в состоянии — в силу духовной неразвитости. И собственный отец-богатырь, возможно, виделся Андрееву чем-то вроде загадочной античной статуи, «жесткой волею судьбы брошенной в грязь провинциального захолустья».

Проникнуть в душу этого огромного чиновника-силача, увы, не представляется возможным и нам с вами. Отношения отца и Леонида не были ни доверительными, ни дружескими:

с детьми Николай Иванович держал себя строго, правда, как вспоминал сам Андреев, его — своего первенца — он выделял и отчего-то ценил. И, разумеется, едва ли мог стать Николай Иванович воспитателем и наставником будущего писателя. Во всех автобиографиях Андреев и сам неизменно подчеркивал, что «влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую».

Женился отец писателя рано и, что называется, «по любви». Что-что, а любовь Андреева-старшего никогда не подвергалась сомнению Настасьей Николаевной: «Он знал, что я люблю бублики. Купит для меня целую сотню, наденет на шею — вязка чуть не до полу — идет, все говорят: вот как Николай Иванович любит свою жену»[1]. В Орел Настенька Пацковская приехала из маленького городка — Севска. Этот старинный (с XII века стоящий) одноэтажный каменный городок в Орловской губернии (теперь — в Брянской области) сохраняет свой полудеревенский облик и по сей день — в центре города по газонам все еще, как и полтора века назад, бродят куры. В семье полагали, что ведут свой род от разорившихся обрусевших шляхтичей, хотя точных подтверждений этому нет. Почему прозвали Анастасию Николаевну поповной — тоже неясно, ее внук Вадим Андреев предполагал, что мать Настеньки была дочерью священника. Николай, отец Настеньки, умер, когда она была ребенком, семья страшно бедствовала, и как только старший брат надежно обосновался в Орле — к нему на содержание отправили сестру Настасью.

Провинциальный Орел показался девушке городом-гигантом, став бабушкой, внуку она рассказывала, что больше всего ее поразили трехэтажные дома: «Господи, сейчас обвалятся!» И это немудрено: Настенька к тому времени окончила лишь церковно-приходскую школу, и хотя она умела кое-как читать и писать, увы, была недружна с орфографией и в письмах до конца своих дней делала ужасающие грамматические ошибки. В зрелые годы, сопровождая Леонида в его путешествиях в Германию и Италию, Настасья Николаевна подчас демонстрировала все тот же наивный ужас перед огромным городом, ее восклицания и приключения становились предметом шутливых семейных преданий. Язвительный Вересаев был немало изумлен несоответствием матери и сына, когда та жила вместе с Андреевым на Капри, посчитав Анастасию Николаевну «типичнейшей провинциалкой», «мелкой чиновницей в кофте». Он издевательски выписал смешные и нелепые образцы лексики андреевской «мамаши»: «куфня», «колдовая», «огро-

[1] Цит. по: Чуковский 1. С. 38.

мадный», «Миунхен» вместо «Мюнхен» и пр. Этот «лексический террариум» можно бесконечно дополнять выдержками из писем Анастасии: орловским родственникам, например, о нездоровье Леонида она сообщала так: «... вот уже больши недели кок он встол чувствуйть себя нехорошо...»[1] Конечно же малограмотность, провинциальная простота Настасьи Николаевны лежали на поверхности, и вообще-то недобрый к людям Вересаев не разглядел или не захотел разглядеть то, что было спрятано глубже — ее характер. Обладая природным юмором и богатой фантазией, мать Андреева вызывала горячую симпатию других его друзей, тоже оставивших в воспоминаниях о писателе ее портреты. «Это была совершенно простая, едва грамотная женщина деревенского склада, с очень приятным, добродушным лицом, от которого как бы проливались на всех людей, без разбора, бесконечная доброжелательность, душевная чистота и неистребимое незлобие», — писал о 45-летней Анастасии Николаевне другой собрат Андреева по перу — Скиталец. Женщиной милой, «с хриплым голосом — с пробором посреди седой головы» кажется Анастасия Корнею Чуковскому.

Действительно, очень простое широкоскулое лицо, гладкая прическа, неизменно обнажающая уши, — на всех фотографиях мать Андреева выглядит робкой, слегка напуганной, и даже в зрелые годы — в ней проглядывает что-то от застенчивой деревенской девочки. На живописном портрете, написанном в 1910-е годы самим Леонидом, черты лица матери скульптурны, выпуклы, здесь она скорее похожа на сильную, «двужильную» женщину, чем-то напоминает финскую рыбачку... В зрелые годы Анастасия Николаевна курила, а читая, смéшно и трогательно надевала кругляшки очков. Но ни ее внешний облик, ни ее душа, ни уклад ее жизни не менялись, в какие бы обстоятельства ни бросала ее судьба.

Как мы уже знаем, Андреев приписывал своим родственникам по материнской линии одаренность, хотя и с оговоркой, что «...одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы». И «пылкое фантазерство», и «бескорыстная любовь к вранью и житейскому... сочинительству» отличали, вероятно, и Анастасию Николаевну, ее внук Вадим подчеркивал, что бабушка в молодости была к тому же весьма и весьма капризна. Ее практические

[1] Цит. по: Фатов. С. 161.

способности, как в дальнейшем показала жизнь, оказались равны нулю. Рано выйдя замуж и в считаные годы сделавшись матерью многочисленного семейства, Настенька не приобрела серьезности и ничуть не утратила любви к фантазерству, — своему первенцу, впечатлительному Ленуше, именно она, вероятно, и внушила идею, что грань между реальностью и вымыслом — весьма условна и фантазии играют в жизни человека едва ли не большую роль, чем его жалованье. Андреевы вспоминали, что она рассказывала в детстве своему первенцу Ленуше сказки и фантастические истории, и частенько это были истории собственного сочинения, и производили они на будущего писателя чрезвычайно сильное впечатление. Вероятно, именно мать и привила этому ребенку необыкновенную *впечатлительность.*

Материнская любовь к первенцу достигала, как вспоминали младшие братья Леонида, «невероятных размеров», но чувство это выражалось довольно причудливо: частенько, вопреки воле Ленуши, она ходила с ним на реку и привязывала за талию веревкой, чтобы тот, купаясь, не утонул в практически безводном Орлике, хотя эту речку в жаркие месяцы вброд переходили и куры. В другие же дни, отвлеченная чем-то по хозяйству, мать забывала о непоседливом отпрыске, и безнадзорный Ленуша забирался на крышу, падал с дерева, ввязывался в драку, забирался в чужой огород, где его едва не раздирали огромные собаки... «Ведь это мое счастье, что я утопал и не утонул, разбивался — и не разбился, падал с крыш, заборов, висел на гвоздях, ходил по канату — и уцелел», — с удивлением вспоминал спустя годы сам писатель.

И все-таки мать и сын отлично ладили, их души оказались родственными друг другу. Поощряя его любовь к чтению, мать ласково называла мальчика «Коточкой в тапочках», «котурочкой» — это прозвище, закрепившись с детства, осталось на всю его жизнь. Он же придумывал ей все новые и новые смешные прозвища: «Шептун-Топтун» (за то, что шуршала длинными юбками), «милый рыжичек», «милая моя маточка», «Рыжий дьявол» и т. п. Это удивительно, но Андреев так никогда и не расстался с Настасьей Николаевной, будто связанные незримой, но прочной пуповиной, они так и не научились жить врозь. От рождения и до самой смерти писателя (лишь с небольшими перерывами) мать хлопотала о его завтраке, заваривала крепкий чай по ночам, «старалась развеселить его, когда он был в мрачном настроении, рассказывала ему — рассказывала она замечательно, остро, выпукло, всегда очень своеобразно — все смешные происшествия, случившиеся с нею за день, не щадя

себя, преувеличивая, только бы вызвать улыбку, высказывала свои мнения о книгах отца (то есть Леонида Андреева. — *Н. С.*), в которых половины, конечно, не понимала». Она стала как будто тенью Андреева, природное чутье и неистовая любовь к сыну помогали ей ориентироваться в непростой жизни писателя: едва образованная, она могла понимать, казалось бы, недоступные для себя вещи, говорила о героях его рассказов и пьес как будто это были ее ближайшие родственники или соседи, а в годы громкой славы Леонида — трогательно просматривала газетные рецензии на его рассказы и пьесы и прятала от Ленуши те, что могли его «совершенно расстроить».

«...мы с тобой почти пятьдесят лет вернейшие друзья, начиная с Пушкарной, — писал Андреев матери в конце жизни. — И что бы ни было с нами, куда бы ни заносила нас судьба, высоко или низко — никогда не теряли с тобою самой близкой душевной связи. Приходили и уходили люди, а ты всегда со мною оставалась, все та же — верная, неизменная, единственная».

Тайна этой уникальной многолетней дружбы матери и сына так и осталась тайной. Как ни странно, яркого образа женщины, хоть сколько-нибудь напоминающей фантазерку Анастасию, у писателя Андреева нет. Трудновато «собрать» Анастасию и из разных андреевских матерей: невыразительна, второстепенна Александра Петровна — жена Манцева в «Младости». Легкомысленна мама Юры из рассказа «Цветок под ногою», хотя и «очень добра она, целует нежно, прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвою какой-нибудь жестокой несправедливости», рядом с такой мамой и «слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такою светлою грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок», однако в отличие от матери Леонида — мама Юры — светская женщина, «необыкновенная красавица, и в нее все влюблены», она лучше всех танцует, смеется странным смехом и тайно от мужа целуется в беседке с офицером, внося тем самым в жизнь сына первую горечь и боль. Как ни странно, мать у Андреева всегда вносит в жизнь ребенка, подростка или молодого человека нечто тревожное, несущее опасность, причиняющее боль.

Таковы обе — приемная и родная мамы главного героя рассказа «Валя» — одна, пахнущая духами, изнеженная и беспомощная Настасья Филипповна, другая — «высокая, с костлявыми пальцами» «странная женщина с лицом, таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь», от которой «пахло ... очень дурно: какою-то сыростью и гнилью» — она-то

и есть родная мать мальчика. В конце концов эта незнакомая женщина отбирает Валю у приемных — таких уютных и любящих — родителей, то есть здесь мать вносит первую смуту и недетские проблемы в душу героя-ребенка. Мать Сашки из «Ангелочка» — вечно пьяная фурия, мать Петьки из рассказа «Петька на даче» — постоянно измотанная толстая кухарка, и обе они не способны обеспечить ребенку нормальное детство. Но и другой тип матери, часто возникающий у Андреева — пекущаяся о детях наседка, — лишь видимость «хорошей мамы». Да, гордая генеральша Елена Петровна из «Сашки Жегулева» видит в детях смысл своего существования, дети — предмет ее постоянной гордости и страха: «...и Линочка бывала в беленьком платье очень хорошенькая, а Саша в гимназическом — черный, тоненький, воспитанный; торжеством было для матери провести по народу таких детишек». Но и она не может направить мысли подрастающего Сашки, и лишенный моральной и умственной опоры мальчик оказывается один на один со сложнейшим миром. Комедийная москвичка Анна Ивановна из раннего рассказа «Случай» — утерявшая всякую мораль в битве с семейной нуждой, рано постаревшая женщина в «дырявом прожженном платке» — находит на Спиридоновской улице сверток с огромной суммой денег, но в силу своего бестолкового характера немедленно теряет «миллион», внося тем самым лишь досаду и смуту в души своих бедных, в поте лица зарабатывающих хлеб свой детей.

Трагическая Зинаида Марковна из рассказа «Мать» «забывала имена, путала события, тотализатор называла пульверизатором» — черта, конечно же «списанная» Андреевым с собственной матери, эта мать взрослой дочери самоотверженно бросается под поезд ради того, чтобы ее Мане выплатили страховку — пять или десять тысяч, но это жертвоприношение — напрасно, нелепо, ибо суд отказывает потерявшей мать Мане в компенсации.

Написанные совсем молодым Андреевым рассказы эти наталкивают на мысль о смутной тревоге, живущей в сердце Ленуши во времена самого счастливого и, казалось бы, безоблачного детства. Тень будущих жизненных потрясений как будто уже лежала на благополучных днях в «Андреевских хоромах». «Но чаще являлись перед Валей злые, ужасные люди-чудовища. В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели, как красные угли». Шестилетнего Валю приемные родители не смогли защитить от посягательств совершенно чужой, но по странному стечению обстоятельств родной ему матери, и по решению суда он переезжает из благополучного дома в бедную

квартиру к незнакомой, страшной и явно измученной жизнью тете. Именно этот шестилетний мальчик в конце концов и берет на себя ответственность решать, что есть добро и что есть зло и совершает отчаянно взрослый поступок: «Валя решительно подошел к кровати, положил свою красную ручку на большую, костлявую голову матери и сказал с тою серьезною основательностью, которая отличала все речи этого человека:

— Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя... Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?..»

Мне кажется, что этот — оказавшийся единственно зрелым человеком среди инфантильных и безответственных взрослых — ребенок, по сути, и есть автопортрет Ленуши Андреева, во всяком случае, размышляя о собственном детстве, писатель именно так рисовал себе взрослых в нелегком деле познания мира. Да, он был окружен любовью, его желания, прихоти и даже капризы почти всегда исполнялись. Его детство было как будто не лишено «того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бодрости». Он уважал отца и любил мать, семья его жила в любви и согласии. Но был и страшный, непонятный мир и за окном, и в книгах, и этот мир иногда «совершал набеги» и на его территорию: пьянство отца, смерть маленьких братьев и сестер, жестокие сюжеты книг, которые впечатлительная душа ребенка не слишком отличала от жизни... И вот с этим-то миром мальчик Андреев всегда оказывался один на один, и здесь уж *никому* из взрослых не мог он задать вопроса, с тем чтобы получить сколько-нибудь внятный ответ. «...но я не понимаю, зачем все это... и не могу жить! Зачем эта луна? Зачем все так красиво, когда мы все равно умрем? Я встаю утром и спрашиваю *себя*: зачем я встал? Я ложусь и спрашиваю себя: зачем я лег? А ночью — какие-то дикие кошмары. Ужасно! И ни на что нет ответа, ни на один самый маленький вопрос», — отчаянно изливает душу Константин Манцев — протагонист автобиографической «Младости».

Уже после смерти нашего героя Александр Блок признался, что его всегда поражала способность Андреева «во всем ряде произведений» ставить нелепые, досадные вопросы, которые «предлагают дети: "Зачем?" Что ни скажешь ребенку — он спрашивает — зачем?», и именно способность задавать «этот вопрос от самой глубины своей, неотступно и бессознательно» и «кажется самым драгоценным в Леониде Андрееве»[1]. Это так. Писатель Андреев через всю свою жизнь пронес способность задавать простые и яростные вопросы, на которые в свое время никто так и не ответил Ленуше Андрееву.

---

[1] *Блок А. А.* Памяти Леонида Андреева // *Блок А. А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 132—133.

Глава вторая. 1887—1890:

ГЕРЦОГ

Гимназия, схоластика и скука. Первые потрясения: «В чем моя вера Толстого», Писарев. Формирование взгляда на мир: Шопенгауэр, Гартман. «Мир как воля и представление» как руководство к жизни. Смерть отца. Мечты о карьере художника. Роковая сила любви. Зиночка Сибилева

Превращение впечатлительного ребенка в гордого, высокомерного и загадочного красавца-гимназиста происходило в том же доме на 2-й Пушкарной улице, однако призраки будущих бедствий уже витали над семейством Андреевых. В середине 1883 года Городской общественный банк, где служил и держал весь свой капитал отец, внезапно разорился, директор банка, члены правления и даже бухгалтер — дядя Леонида, брат Анастасии — Николай Пацковский — угодили под суд. К счастью, именно Пацковский оказался единственным, кто был оправдан в этом процессе, но банк все же лопнул, Николай Иванович потерял работу, и финансовое благополучие семьи Андреевых сильно пошатнулось. Гимназист-первоклассник из рассказа «Алеша-дурачок» мучается, с трудом передвигаясь по городу в «теплом гимназическом пальто», сшитом родителями «на вырост». «По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору», — сетует юный Мелит Николаевич — а именно так, по воспоминаниям многих, переиначили простые жители Мещанской слободы непривычное для их языка имя «Леонид». Описанная в рассказе и, безусловно, автобиографическая — длиннополая, сшитая «на вырост» шинель — отнюдь не первый, хотя еще тихий и осторожный звоночек надвигающейся бедности и далее — нищеты. Впрочем, начало отроческих лет Ленуши — еще вполне мирное, благополучное время для его родителей.

«Желая дать образование сыну своему Леониду Андрееву...»[1], в 1882 году отец поместил первенца, которому уже стукнуло 11 лет, в первый класс Орловской классической гимназии. Поначалу Ленушу учили дома, его первый наставник — Дмитрий Степанович Глаголев — не оставил, увы, никаких следов в семейных преданиях Андреевых. Гимназическая шинель на долгие десять лет сковала движения вольнолюбивого, бессистемно и анархически воспитанного Ленуши. «Каким темным и душным казался этот класс!!!!... Ах, поскорее бы кончить эту гимназию!» — всего лишь в двух, непринципиальных для творчества писателя, рассказах «Молодежь» и «Картинки школьной жизни» Андреев помещает себя в гимназическую среду, там и рисует он безрадостные картины собственного ученичества.

Сюжет рассказа «Молодежь» незатейлив: неизвестный бунтарь срывает расписание уроков и вместо него вешает нарисованный кукиш, школьное же «начальство» собирает весь класс и требует «донести» на нарушителя. Наделенный автобиографическими чертами герой-гимназист Шарыгин выдает директору имена предполагаемых «преступников», мучается, раскаивается и, в конце концов, бунтует сам, изображая на доске кукиш, в несколько раз превышающий своими размерами прежний, а далее — гордо сознается в содеянном и попадает «под арест». В рассказике этом — более комедийно, чем серьезно — выведены некоторые реальные лица: директор гимназии Михаил Иванович — в реальности Иван Михайлович Белоусов, не только преподававший Андрееву русскую литературу, но и написавший книгу «Теория словесности», инспектор — «горячий и вспыльчивый чех» — в действительности учитель латинского Иосиф Францевич Шадек — «один из тех знаменитых в своем роде чехов, с помощью которых насаждался... на Руси классицизм»[2]. Под именем «прогрессивного историка Бочкина» изображена интереснейшая личность — едкий, насмешливый и прямодушный преподаватель истории Николай Иванович Горшечников. Были среди учителей Андреева и другие замечательные и даже выдающиеся фигуры, к примеру, с 1886 года вел в Орловской гимназии ботанику и зоологию незаурядный писатель и общественный деятель Николай Андреевич Антиохов-Вербицкий, очерки и рассказы которого печатались и в столичной прессе. Конечно же и Горшечников, и Антиохов-Вербицкий вполне могли бы стать для бу-

---

[1] Из прошения Н. И. Андреева, поданного директору Первой Орловской классической гимназии И. М. Белоусову. Цит. по: Афонин. С. 28.

[2] Фатов. С. 52.

дущего классика чем-то вроде «духовных наставников», но место это, увы, и в школьные годы оставалось свободным, о чем можно судить и по воспоминаниям Андреева, и по его рассказу «Молодежь».

Самое главное здесь — отнюдь не фигуры учителей и товарищей, а ощущение духоты, ненужности, необязательности этого замусоренного массой схоластических сведений образования, ощущение тюрьмы, из которой надо поскорее вырваться. Поскорее, потому что «солнце, так много видевшее на своем веку, с любовной лаской согревало молодую голову...». Поскорее, потому что только вне этих «черных и прямых стен» и «черных парт» и «учителей в вицмундирах» протекает настоящая жизнь.

Вспоминая потраченное за партой время, уже хлебнувший известности и славы Андреев признавался, что учился «...скверно, в седьмом классе целый год носил звание последнего ученика и за поведение имел не свыше четырех, а иногда три. Самое приятное проведенное в гимназии время, о котором до сих пор вспоминаю с удовольствием, — это перерыв между уроками, а также те редкие, впрочем, случаи, когда меня выгоняли из класса... Луч солнца — свободный луч, прорывающийся в какую-то щель и играющий поднятой на перемене и еще не осевшей пылью, — все так таинственно интересно и полно сокровенным смыслом». История, однако, свидетельствует, что в первых классах гимназист Андреев получал преимущественно хорошие и даже отличные баллы, а «...при переходе из 1-го класса во 2-ой получил даже похвальный лист “за отличные успехи в науках и благонравие”». Но лет в тринадцать-четырнадцать, а именно тогда трепетный и впечатлительный ребенок превратился в высокомерного молчаливого подростка, которого товарищи по парте за независимость нрава окрестили «герцогом» — «отличные» успехи сменились на «весьма посредственные». Совершенно очевидно, что гимназист Андреев даже не пытался, как сказали бы сегодня, «делать карьеру» за школьной партой, не огорчался «двойкам» и «колам» по истории, латыни или древнегреческому... Не было у этого гимназиста и любимых предметов, не всматривался он серьезно и в человека, стоящего перед ним на кафедре, не пытался как-то соотнести себя с образованными и даже выделяющимися на провинциальном фоне преподавателями. Почему? Помня внимательность и придирчивость Андреева-ребенка к окружающему его пространству, можно предположить, что не в меру впечатлительный подросток отрицал все, что было связано с гимназией в силу чисто «стилистических противоречий», его отталкивали «свирепая унылость красок и отчаянная бедность

в обстановке»[1]. Судя по фотографии, единственная в Орле мужская классическая гимназия представляла собой довольно изящное, построенное в классическом стиле — длинное, с монотонным ритмом окон и портиком — двухэтажное здание. Это было учебное учреждение с солидной историей — гимназия была основана в 1808 году, но, как вспоминает сам Андреев, в его времена славилась она унылой казенной атмосферой. Ему не хотелось там бывать.

Гимназия платила Андрееву тем же: никто из учителей не почуял в этом независимом, строптивом троечнике будущего писателя. Более того, сухость, хотя, вероятно, вполне содержательная, уроков русской словесности директора Белоусова послужила тому, что даже в школьные годы Леонид остался глух к классической литературе. Позднее он признавался Горькому, что «для меня “Илиада”, Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. “Горе от ума” скучно так же, как задачник Евтушевского, “Капитанская дочка” надоела как барышня с Тверского бульвара»[2].

Но что же представляло собой *настоящее*, находящееся за пределами тесного и темного класса? Многое, что увлекало Ленушу в детстве, по-прежнему волновало душу подростка. Его внимательность и любовь к пространству принимали уже вполне осознанный характер. «Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит», — напишет он много позже в «Проклятии зверя», наградив героя рассказа собственной зависимостью от места обитания. Исследуя окрестности Орла, он «лазил по оврагам», «шатался по берегам рек» и часто «подолгу лежал на спине, стараясь понять, есть ли где конец воздушной синеве, и куда плывет белое облако, и что оно видело, и где это звенит невидимый жаворонок». Через много лет один из лирических героев Андреева — Сашка Жегулев подростком «свято поверил в дорогу, душою принял ее немой призыв; и впоследствии, когда развернулись перед Сашей все тихие проселки, неторопливые большаки и стремительные шоссе, сверкающие белизною, то уже знала душа их печальную сладость и радовалась как бы возвращенному».

Страсть к путешествиям и походам подчас принимала у Андреева маниакальный характер. Уже после смерти отца, совершив, как сказали бы теперь, экономическое преступление — изъяв из тощей семейной кассы 100 рублей, Леонид купил свой первый заморский диковинный механизм — французский двух-

---

[1] Афонин. С. 29.

[2] Переписка. С. 368–369.

колесный велосипед и, рассекая пространство, под крики и свист малолетних горожан упрямый «герцог» исследовал землю, на которой жил.

Интересно, что в этом поступке проявились две будущие мании Андреева: любовь к дороге и страсть к изобретениям технического прогресса. Вкус к современным механизмам со временем необыкновенно разовьется у нашего героя: через 20 лет «герцог» обзаведется выстроенным по последней моде диковинным замком, техническое оснащение которого будет ультрасовременным, а затем — за огромные деньги купит в Германии опытную модель фотоаппарата... И в течение трех лет: с 1914 по 1917 год произведет тысячи (!!!) цветных снимков, и это в то время, когда цветная фотография была редкостью.

Судя по описаниям, первым велосипедом Андреева стала модель Лалмана, в 1870-е годы в Париже началось массовое производство этих неустойчивых и отнюдь не простых в обращении машин: переднее колесо по размерам значительно превышало заднее и сама конструкция при малейшем препятствии «заваливалась» вместе с седоком. Всего через несколько лет, когда в обиход россиян войдут безопасные устойчивые «роверы» с одинаковыми по размеру колесами, Андреев набросает «оду» уходящей модели своей юности: «Где ты, высокий, энергичный, упрямый велосипед, не позволявший седоку успокоиться ни на один миг? Где твое остроумие, с которым ты швырял седока направо, налево, вверх и вниз? Где твое большое колесо, которое так часто уходило из-под меня назад, и где маленькое, которое не упускало случая огреть меня по затылку?» За внешней иронией проступает нежность и даже — грусть по строптивому другу юности, так скоро отправленному, увы, на свалку истории.

В одиноких путешествиях Леонида постепенно формировалось еще одно — важнейшее — свойство: его влекло к неодухотворенной материи; как и в детстве, он пытался расшифровать звуки окружающего мира: его волновали ночные шорохи, смущали наглые соловьиные трели, тревожила внезапно налетающая непогода, когда «голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью». Ничего не зная ни об античной натурфилософии, ни о монадах Лейбница, юноша Андреев растил в себе интуитивное представление о всеобщей одушевленности природы, которое в дальнейшем скажется в приверженности писателя Леонида Андреева философским идеям *панпсихизма*.

Долгое блуждание его разума и полное интеллектуальное одиночество, продиктованное отчасти происхождением, от-

части — развившимся в отрочестве высокомерием, приводили к тому, что Леонид самостоятельно, подчас весьма болезненно приходил к истинам, которые были давным-давно освоены мыслящим человечеством. Интересно, что даже та земля, по которой он бросился в отчаянных поисках чего-то смутно-неясного, была уже исхожена, рассмотрена в мельчайших подробностях и запечатлена в выразительных строках его предшественниками — классиками русской литературы.

«Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу» — наш высокомерный «герцог» и не подозревал, что такие картины лет за двадцать до него наблюдал тургеневский Федор Лаврецкий, шагая из Орла в свое имение. Подросток Андреев, скорее всего, и не знал, что его родина — Орловщина — в XIX веке щедро дарила России и миру выдающихся представителей словесности: в дворянской части города в старинном особняке за полвека до Леонида родился Иван Тургенев, а главная «тургеневская девушка» Лиза Калитина дала начало орловской легенде. «Дом Калитиных», или «Дворянское гнездо», стоял совсем недалеко от 2-й Пушкарной улицы — над обрывом, на другом берегу Орлика... Место это и по сей день объект паломничества. «...Мы пошли куда-то на окраину города, на улицу, потонувшую в садах, где на обрыве над Орликом, в старом саду... серел давно уже необитаемый дом... Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе» — так «нанес визит» тургеневской святыне молодой Арсеньев — герой Ивана Бунина. Ставшие потом приятелями, Бунин и Андреев год или два ходили по одним и тем же орловским улицам. Пока Леонид учился в старших классах гимназии — выросший в имении отца неподалеку и только-только начинающий писать Иван служил в газете «Орловский вестник».

В родном городе Андреева жили и писали свои книжки Николай Лесков и Тимофей Грановский, совсем недалеко от Орла родились или прожили какую-то часть жизни Фет, Апухтин и Тютчев, напитавшись какими-то таинственными подземными соками, эта земля породила Зайцева, Пришвина, Новикова и самого Андреева. В тот год, когда Андреевы окончательно покинут Орел, здесь, в семье скромного банковского служащего, родится Михаил Михайлович Бахтин, здесь, в Орле, имеет приход Иван Авраамьевич Булгаков, православный священник, дед будущего писателя, а в Орловской духовной семинарии учится Афанасий Иванович, его отец. Но в том-то и уникальность да-

ра Андреева-писателя, что родиной его стала Мещанская, а не Дворянская сторона «литературного» Орла, и на нем-то духовная линия наследования орловской словесности прервалась. Да, гимназист Андреев жил на той же земле и бродил по тем же полям и восхищался тем же небом, что Лесков и Тургенев, но эти великие земляки ничего не значили в его духовном становлении, поскольку «герцог» уже и подростком предчувствовал, что между ним и теми — великими — пропасть. И он не читал их книг.

А что же он читал в юности, когда обаяние романов Фенимора Купера, Жюля Верна и Майн Рида немного поблекло? Ну, во-первых, окончательно оно так никогда и не поблекло: страсть к приключенческой, увлекательной литературе Андреев сохранит на всю жизнь. Высокомерный «герцог» обнаруживал иные смыслы в любимых с детства романах: «Его привлекала к себе могучая и стихийно свободная личность капитана Немо, ушедшего от людей в недоступные глубины океана и оттуда надменно презиравшего землю» — в герое «Рассказа о Сергее Петровиче» можно обнаружить автобиографические черты. Довольно близко знавший Андреева в годы его зрелости Георгий Чулков удивлялся, тому, что этот взрослый человек упорно читает и перечитывает подростковые «романы с приключениями». Однако сам Андреев, став уже известным писателем, отметит в автобиографии, что «моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем “В чем моя вера?” Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги “Учение о пище” Молешотта».

Настоящая жажда «истин» обуяла подростка Андреева лет в тринадцать-четырнадцать. Конечно, и раньше ему приходилось разрешать вопросы о добрых и злых поступках: этим озабочены и Мелит Николаевич из «Алеши-дурачка», и восьмиклассник Шарымов из «Молодежи». Его, как и всякого мыслящего подростка, волновали в первую очередь морально-этические проблемы: дружба, доносительство, отношение к слабому. Но с годами он задумался и над социальными вопросами, чему, впрочем, мало способствовала атмосфера всеобщей придавленности 1880-х, когда Россия, по меткому блоковскому выражению, спала «под игом черных чар» и все ее прогрессивные силы были «рукой железной зажаты в узел бесполезный». И надо сказать, что в пространстве социальных идей вкусы подростка Андреева были весьма наивны.

«Учение о пище, общепонятно изложенное Я. Молешоттом»[1] — переведенная на русский язык научная книга была в 1860—1870-е годы особенно популярна в России. Ее содержание можно сравнить, пожалуй, с трактатами о голодании, особом способе дыхания или чудотворной уринотерапии, бродящими в списках в позднее советское время. Подобные радикальные научные (на грани псевдонаучных) идеи всегда имеют некоторый резонанс среди не слишком образованной и вдумчивой публики. Голландский доктор-физиолог Якоб Молешотт стоял на позициях крайнего материализма и полагал, что все духовные процессы так или иначе модулируются обменом веществ. Человек думает то, что он ест, — проповедовал доктор Молешотт, его книга изобиловала многочисленными советами по дневному рациону и рецептами по решению острых социальных проблем: «Ничто не подавляет до такой степени наши духовные силы, как голод. От голода голова и сердце пустеют». Таким образом, накормив голодных, Молешотт предлагал устранить любые социальные потрясения и даже войны, а в случае возникновения в какой-нибудь области очага напряжения — немедленно направлять туда нечто вроде «полевой кухни».

Упрощенность и вульгарный материализм Молешотта ничуть не смущали, а даже наоборот — своей эффектностью и доступностью привлекали воспитанный на бульварных романах ум Андреева. Нет ничего удивительного и в том, что его притягивал склонный к аффектам, а кроме того, бунтарским, хотя и поверхностным толкованиям литературы и роли искусства в социуме Дмитрий Иванович Писарев, сравнивший как-то поэзию с телеграфом: «достоинство телеграфа заключается в том, чтобы он передавал известия быстро и верно, а никак не в том, чтобы телеграфная проволока изображала собой разные извилины и арабески»[2]. Схематизм мышления, схематизм искренний и страстный, схематизм, в какой-то степени полубезумный, жаждущий дать немедленный и простой ответ на сложнейшие вопросы станет сутью едва ли не всех мыслящих героев Андреева. Кстати, полагаю, что любовь Андреева к Писареву была бы взаимной, живи автор «Разрушения эстетики» в годы его славы.

Другие же книги, что лежали на столе у «герцога», оказались более серьезными, они были востребованы отчасти вследствие моды. «Не он один, а и весь класс увлекался грандиозно величавым учением о непротивлении злу» — всего несколько строк в рассказе «Молодежь» посвящено влиянию на умы школьников

---

[1] *Молешотт Я.* Учение о пище. СПб., 1863. С. 11.

[2] *Писарев Д. И.* Литературная критика. В 3 т. Т. 2. Л.: Художественная литература, 1981. С. 37.

манускрипта Льва Толстого «В чем моя вера» — знаменитого текста, ходившего по России в списках. Как знаем, сила толстовского слова весьма ощутима и по сей день. До сих пор Русская православная церковь отказывается пересмотреть вопрос об отлучении гр. Толстого, не в силах простить ему убеждения, «что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения»[1].

Случилось так, что подросток Андреев заинтересовался миром идей как раз в то самое время, когда писатель Толстой лишь начал свой титанический труд — создание собственной, основанной на, как ему казалось, истинном христианстве религии. Одна из первых религиозно-философских работ классика — трактат «В чем моя вера» — стала настолько популярна среди студенчества и гимназистов, что Министерство народного просвещения в 1887 году разослало по России секретный циркуляр, предупреждающий, что «в среде учащихся высших и средних учебных заведений обращаются и распространяются в гектографированных листах записки, приписываемые гр. Л. Н. Толстому, в которых различным способом внушаются идеи, подрывающие в корне основные догматы христианской веры»[2]. Начальству предписывалось в случае нахождения подобных листов у учеников отбирать и уничтожать оные, в чем оно конечно же не преуспело, и текст «В чем моя вера» считал своим долгом читать и цитировать каждый уважающий себя гимназист.

Именно это толстовское сочинение, возникнув в духовной жизни подростка Андреева, заставило его впервые системно задуматься над такими категориями, как государство, церковь, богатство и бедность, покорность и гордыня, добро и зло, именно этот текст открыл Андрееву значимую таинственность фигуры Христа. Сам Андреев признавался, что, внимательно проштудировав книгу «великих исканий», немедленно согласился с автором относительно лживости, негуманности и антихристианстве монархии, православия, служителей церкви, законов морали, царящих в обществе, и личным несовершенством каждого из людей. Но далее возникла заминка. «Положительную часть учения — веру в Бога, совершенствование личной жизни ради одной цели — Бог — не воспринял и отбросил как нечто, чуждое мне»[3]. Гимназист Шарыгин из «Молодежи» рассуждает о «непротивлении злу» приблизительно так: «применять это учение в жизни может лишь дряблая натура, неспособная к протесту. Всеми силами отстаивай каждую

---

[1] *Толстой Л. Н.* ПСС: В 90 т. М., 1957. Т. 23. С. 445.

[2] Цит. по: Афонин. С. 46.

[3] Там же. С. 48.

свою мысль, свое правое дело. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битым и молчать сумеет и мерзавец». И даже когда в середине рассказа герой понимает, что дело, за которое он боролся всеми силами, — неправое дело, он исправляет этическую ошибку отнюдь не по-толстовски —не противлением, а жестко, активно, «насильственно» — выступая против школьного начальства. Можно сказать, что уже в юности Андреев повел себя по отношению к Толстому так же, как позже — андреевский Иуда по отношению к андреевскому же Христу: отрицая, но вслушиваясь — с жадным интересом.

Позже он горько признавался близкому другу — писателю Евгению Чирикову: «Читатель ждет всегда от писателя духовного покаяния... Ну а я ничего ему не даю... И что я могу дать? Я, которого ни в детстве, ни в юности не научили молиться какому-нибудь Богу»[1]. Здесь можно и поспорить, тем более высказывания самого Андреева на этот счет весьма противоречивы. Да, очевидно, что вероучение Толстого не сделало из Андреева доброго христианина, но и «доброго атеиста» из него тоже не вышло: «В Бога, т. е. в Иисуса Христа, откровение и прочее я не верю, — но существование какой-то высшей силы признаю...»[2] И эта, появившаяся через несколько лет дневниковая запись, и придуманные им Анатэма, Сатана, Иуда и Христос, и — главное, Некто в сером — один из самых интересных персонажей Андреева — приставленный к человеку Высшей силой — холодный, таинственный и безучастный *стерегущий* — свидетельствуют о том, что вопрос: «в чем моя вера» — так и остался острым вопросом всей жизни Леонида Андреева и определил, как уже говорилось, важнейшие черты его творчества. Христианство как тема вовсе не было им отвергнуто, тема эта болезненно проживалась писателем Андреевым на разных этапах жизни, а его знаменитые «Иуда Искариот» и «Елеазар», возможно, так бы и не были написаны, не подведи его Толстой так вовремя к таинственной фигуре Иисуса Христа.

«Переживая тот критический и важный возраст, когда мыслящий юноша или девушка ищет ответов на основные вопросы бытия, подвергает ломке всосанные с молоком понятия, жаждет точно определить свое место в окружающем и свое к нему отношение, т.е. когда все силы ума направляются к выработке собственного оригинального миросозерцания...»[3], «герцог» и не мог остановиться на толстовском понимании христианства, его житейских или психологических, часто упрощенных

[1] Материалы и исследования. С. 37.
[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 23–24.
[3] Дневник. С. 225.

толкованиях жизненного смысла, сводимых, в сущности, к этическому поступку. Собственно, и сам Толстой так и не смог обрести душевный покой, перетолковав четыре Евангелия в духе собственной веры. И протест Андреева опять-таки лежал скорее не в этическом, а в эстетическом поле. Эстетическое чутье будущего писателя, хотя еще и бессознательно, отвергло воинствующий антимистицизм Толстого, его настойчивое желание жить и мыслить в мире настоящего, сущего, видимого, конкретного. Подросток искал иное, за видимым миром он чувствовал уже пульсацию загадочных, страшных и необъятных рациональной логикой импульсов: призрак модернизма уже вовсю расхаживал по Европе, труды его отцов-основателей от философии — Ницше и Шопенгауэра — были не только доступны, но и весьма распространены в России.

Опять-таки не склонный к долгим исканиям и не руководимый никем из зрелых умов «герцог» набросился на тексты-бестселлеры 1880-х: «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра и «Философия бессознательного» Эдуарда фон Гартмана. Любопытно, что в голове этого подростка воинствующий материализм Молешотта и Писарева вполне сочетался с идеализмом Шопенгауэра и Гартмана. Надо отдать должное десятилетнему «стажу» Андреева-читателя: в 14 лет он с достаточной легкостью освоил несколько философских текстов, и это было, как сказали бы сегодня, не просто чтение-ознакомление или даже чтение-постижение, это чтение было тем, что впоследствии было названо «чтением-употреблением» или «чтением-использованием». Поскольку любое приобретенное сегодня знание Леонид жаждал уже завтра «претворить» в жизнь.

И что же «вычитал» у Шопенгауэра — этого величайшего философа XIX столетия наш пятиклассник? «“Мир есть мое представление”: вот та истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа... <...> Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю... окружающий его мир существует лишь как представление...» «Вгрызаясь» (по собственному выражению) в трактат Шопенгауэра, Леонид конечно же был далек от понимания значения этой фигуры в развитии философской мысли, не зная Платона, Аристотеля, не имея определенного представления ни о Гегеле, ни о поминаемом автором-кумиром «несносном Канте», не зная о Шеллинге и материализме Фейербаха, наш «герцог» принял шопенгауэровскую картину мира как безусловную истину, принял всем существом, принял наивно и страстно, что конечно же породило множество

семейных легенд. «В классе шестом начитался он Шопенгауэра. И нас замучил прямо. Ты, говорит, думаешь, что вся вселенная существует, а ведь это только твое представление, да и сама-то ты, может, не существуешь, потому что ты — тоже только мое представление. Помню, это нам очень обидным казалось»[1]. Что ж, воспоминания кузины сатирически рисуют понимание Леонидом гносеологии Шопенгауэра. Да и сам он спустя несколько лет в одном из фельетонов московского «Курьера» создал весьма ироничный автопортрет. Начитавшийся философских текстов юноша, купаясь в речке, убеждал весь мир в иллюзорности бытия, причем нырял он под воду с криком «Шопен...», а выныривая, договаривал «-гауэр». Все это так. Однако антропология и онтология Шопенгауэра гораздо глубже, чем думал он сам, проникали в душу «герцога» и стали основанием для его будущего мировоззренческого *пессимизма*.

Его глазам открылась картина мира, где всем сущим управляла шопенгауэровская воля. Эта воля и давала толчок к созданию облаков, пахучей травы, строптивого велосипеда, гудящих проводов, горькой обжигающей водки, теплого молока, творила она и самого человека. Автор «Мира...» утверждал, что бессознательная воля и есть единственно важное в человеческом существе. Что ж, «герцог» не раз проверил на «собственной шкуре», что быстрый переход от желания к удовлетворению и от него к новому желанию доставляет огромную радость и даже счастье. *Воля проявляется в принципе жизни* каждого живого существа, и принцип этот — «война всех против всех»? Да, соглашался подросток, — именно такова суть отношений между людьми, и это подтверждалось наблюдениями за соседями по Пушкарной и семейными разговорами о причинах разорения банка. Воля проявляется через бессознательную уверенность тела в том, что надо делать, воля первична и бытийна — и этот тезис философа пришелся по душе Леониду. Разум может схватить, объять и познать лишь само явление: видимость, а не суть, учил его Шопенгауэр, — и собственный опыт «герцога» — отвращение к тусклым школьным урокам подтверждали теоретические тезисы. У каждого человека есть непостижимое — это характер, коренящийся в воле, — и здесь Леонид интуитивно соглашался с автором «Воли и представления», имея в виду прежде всего свой собственный характер — высокомерный, упрямый, страстный, непредсказуемый. Зажатый в тиски «необходимого», жизненного человек все хуже и хуже слышит и различает зов абсолютной воли. А как же? Именно так. Приблизиться к ней, стать сверхсуществом очень

[1] Цит. по: Фатов. С. 176.

сложно, один из путей к этому — эстетическое созерцание, например, вглядываясь и вслушиваясь в природу — а только это и делает после скучных уроков «герцог».

Ну, наконец-то кто-то занял в душе Андреева пустующее место духовного и интеллектуального наставника, появился ум, которому упрямый гимназист был готов верить. Но далее, в финале трактата, преданный ученик обнаружил нечто неожиданное: оказалось, что высшим проявлением человеческой личности Учитель полагает вызов, брошенный Человеком злой Абсолютной воле. Этот вызов — сознательный отказ от воли к жизни, доказывал Шопенгауэр. Самоубийство — это бунт высшего человеческого существа против всесилия мировой воли. «Человек Шопенгауэра», человек с большой буквы, должен покончить с собой, чтобы навсегда освободиться от слепой и злой воли, от всех форм подчинения, от всех зависимостей.

Вывод, логически вытекающий из онтологии, этики, антропологии Шопенгауэра, буквально «сбил с ног» впечатлительного подростка, ни с кем не обсуждал Леонид собственные болезненные мысли о «высшем человеческом поступке» — *самоубийстве*. «В доме ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку, — а он сидел неподвижно, с одной обутой ногой, смотрел в пол и думал о том важном и страшном, о чем нельзя забывать ни на минуту», — портрет подростка-самоубийцы в рассказе «Весной», несомненно, писан Андреевым с себя самого. Именно весной — в дальнейшем неоднократно покушавшийся на самоубийство писатель — впервые обдумывал он эту тему: «Зимой он не замечал жизни и жил просто, как и все, но, когда сходил снег и земля становилась прекрасной и обнажалось во всей загадочной красоте сияющее небо, он чувствовал себя, как птица, у которой обрубили крылья и которую сделали неуклюжим, медленно ползающим человеком. И крылатая душа трепетала и билась, как в клетке, и непонятна и враждебна была вся эта красота мира, которая зовет куда-то, но не говорит куда. Потерявшийся, он шел к людям с безмолвным вопросом — и все людские лица казались ему плоскими и тупыми, как у зверей, а речи их ненужными, вздорными и лишенными смысла, как бред или мычание животного. У них в доме была корова с большими глупыми глазами, и ему казалось, что мать его, которую он любил, похожа на эту корову, и от этих дурных мыслей он презирал себя».

Итак, первый личностный кризис Леонид Андреев пережил в пятнадцати-шестнадцатилетнем возрасте, это был кри-

зис осознания себя в мире, именно в это время он только-только «вылупляется» как мыслящий человек и становление это проходит, увы, «под руководством» Артура Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана — двух «абсолютных пессимистов» своего времени — оба философа потрудились, добавляя темных и мрачных тонов в картину мира подростка. «Такая печальная, такая тоскливая моя жизнь, — запишет он в дневнике спустя много лет, — сколько не оглядываюсь назад — все позади мрачно, страдание, темнота. Только детство счастливо и радостно — пора очищения, пора догадок, а не мыслей. А как только начал думать... начались страдания...»[1]

Страдания начинались на страницах книг: ведь если Шопенгауэр лишь героизировал добровольную смерть, то второй наставник, которого почти в то же самое время обрел Леонид, был настроен на этот счет гораздо более радикально. Переведенное на русский язык в середине 1870-х сочинение Эдуарда фон Гартмана «Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного», как мне кажется, могло показаться Леониду его собственным сочинением. Здесь философски обосновывался мистический идеализм, а идее социального прогресса противопоставлялся пессимистический взгляд на историю. От Гартмана Леонид впервые услышал о панпсихизме — философ допускал наличие ощущений у растений и даже у атомов. Все эти философские «зерна» упали на добрую почву — и жизненный опыт, и характер Леонида были открыты именно таким идеям. Оба — Шопенгауэр и Гартман — твердо стояли на том, что в жизни сущего гораздо больше страданий, чем удовольствий, но если первый воспевал личный отказ от воли к жизни, то второй видел «конечную победу все ярче и ярче светящегося разума...» над слепой бессознательной волей «в сознательном уничтожении мира» — и только это, утверждал он, принесет не только человечеству, но и всему сущему «спасение от муки бытия». И самое интересное, что такая работа по устройству «тотального светопреставления» не представлялась Гартману чем-то фантастическим и недостижимым, философ сомневался лишь в том, будет ли способно к такому «подъему сознания» нынешнее человечество или же эта высокая цель будет достигнута на другом «небесном теле». Вот тут-то — в сочинениях Гартмана — нашлось дело даже для разума и логики: их обязали последовательно готовить человечество к сознательному самоуничтожению. Что ж... Конечно, столь откровенные призывы к сознательному самоубийству вызывали улыбку коллег-философов: Ницше высмеивал Гартмана

---

[1] S.O.S. С. 27.

в «Несвоевременных размышлениях», Владимир Соловьев публично опровергал «Философию бессознательного» с университетской кафедры, однако если трезво взглянуть на будущую историю XX века, часть которой — Первая мировая война и Октябрьский переворот прошли на глазах Леонида Андреева, — можно предположить, что предчувствия будущего писателя оказались более правдоподобными, чем философские выкладки великих умов. Изобретение и применение атомной бомбы, Вторая мировая война и холокост, бесконечное совершенствование оружия массового поражения, уничтожение жизненно важного атмосферного слоя планеты — чем не воплощение гартмановской теории «разумного апокалипсиса»?

Так или иначе, но идеи Гартмана по-настоящему опалили и душу, и ум Андреева: на протяжении пяти лет «орловский мыслитель» чувствовал себя «рекрутом» «Философии бессознательного», именно тем «первенцем духа», которому следует «честно бороться» за всеобщий сознательный Апокалипсис. Вот такой опыт чтения, спровоцированный этими книжками, опыт собственных размышлений и — только в последнюю очередь — жизненный опыт Андреева-подростка вскоре привели его к осознанному, сжато и выразительно артикулированному *credo*. «...Я хочу показать, что вся жизнь человека с начала до конца есть сплошной бессмысленный самообман, нечто чудовищное, понять которое — значит, убить себя. Я хочу показать, как несчастен человек, как до смешного глупо его устройство, как смешны и жалки его стремления к истине, к идеалу, к счастью. Я хочу показать несостоятельность тех фикций, которыми человечество до сих пор поддерживало себя: Бог, нравственность, загробная жизнь, бессмертие души, общечеловеческое счастье и т. д. Я хочу показать, что одна только смерть дает и счастье, и равенство, и свободу, что только в смерти истина и справедливость, что вечно одно только “не быть” и все в мире сводится к одному, и это одно вечное, неизбежное есть смерть. Я хочу быть апостолом самоуничтожения...»[1] — такая запись в дневнике 1891 года по сей день поражает исследователей да и просто читателей Леонида Андреева своим провидческим содержанием. Всё, что, выполняя «заветы учителей», хотел показать миру двадцатилетний юноша, — позже поражало в книгах знаменитого писателя.

И, разумеется, страстный нетерпеливый «герцог» никак не мог оставаться лишь «кабинетным философом» и мыслительный опыт должен был найти практическое применение. Как

---

[1] S.O.S. С. 63.

уже говорилось, «апостол самоуничтожения» не раз покушался на самоубийство, и подобные факты интерпретированы в автобиографических текстах Андреева. Павел — герой-гимназист из рассказа «Весна», как и Всеволод — протагонист написанной по мотивам рассказа пьесы «Младость» вынашивают планы добровольного ухода из жизни. Всеволод Манцев даже вдохновляет своего друга — Нечаева — недалекого и впечатлительного офицера — броситься под один поезд, связав тела веревкой. Павел же в полном одиночестве делает попытку найти смерть под колесами поезда: «Блеснули мокрые рельсы, и из-за черной стены медленно выплыл огненный глаз, одинокий и зловещий. Он стал прямо против Павла, и не видно было, подвигается он или нет, и хотелось, чтобы он закрылся или погас; но он смотрел, не мигая, зловещий и пристальный, и становился все больше, все ярче и злее. Сердце Павла поднялось высоко, к самому горлу, — и упало, разбившись на тысячу коротких, быстрых толчков, от которых пересохло во рту».

И в рассказе, и в пьесе описывается реальный случай из жизни гимназиста Андреева. Лишь случайность спасла его от гибели, в которой он был бы виноват сам. Это был акт, как сказал бы его наставник Шопенгауэр, «могучего утверждения воли»: как-то вечером, болтаясь по окрестностям Орла вместе с приятелями-гимназистами, «герцог» отстал от товарищей и поднялся на железнодорожную насыпь. Как вспоминал сам Андреев, ему было в ту пору 16 лет. «...Вдруг на виду у поезда, во мне обострилась мысль о самоубийстве и я лег между рельс, задавшись вопросом: если останусь жив — значит, есть смысл в моей жизни, если же поезд раздавит меня, стало быть, в этом есть воля Провидения... Мне зашибло грудь и голову, расцарапало лицо, сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим». У этого ужасного случая оказались свидетели, по всей видимости, Леонид не слишком отстал от «приятелей-гимназистов». Его двоюродные сестры много лет помнили об этом потрясении: «Вдруг... он побежал к рельсам ... быстро лег под настигающий его поезд. Все остановились в ужасе, окаменелые, думая, что увидят уже изуродованное тело. Когда поезд прошел, товарищи подбежали к нему и кричат: "жив!" Но он был почти без чувств. Встал, бледный, с изорванной рубашкой и, шатаясь, тихо пошел»[1].

Примечательно, что, в отличие от Андреева, ни его прототип из «Младости», ни Павел из рассказа «Весной» так и не доводят дело до конца. В самоубийственные планы обоих подростков, как это ни парадоксально, властно вмешивается Смерть —

---

[1] Цит. по: Фатов. С. 66.

смерть отца. «Прорепетировав» смертельный кульбит на насыпи и приняв решение лечь на рельсы завтрашней ночью, Павел возвращается домой и обнаруживает там как будто обогнавшую его смерть: «Везде, в кухне, столовой и спальне, был яркий свет, режущий глаза, и ходили люди. У няньки седые волосы выбились из-под платка, и она походила на ведьму, но глаза краснели от слез, и голос был жалостливый и добрый. Павел оттолкнул ее, потом еще кого-то, кто цеплялся за него и мешал пройти, и сразу оказался в кабинете. Все стояло там, как всегда, и голая женщина улыбалась со стены, а на полу посредине комнаты лежал отец в белой ночной сорочке, разорванной у ворота. Весь свет от лампы и свечей падал, казалось, только на него, и оттого он был большой и страшный, и лица его не мог узнать Павел. Оно желтело прозрачной и страшной желтизной, и глаза закатились, белки стали огромные и необыкновенные, как у слепого. Из-под простыни высунулась рука, и один толстый палец на ней, с большим золотым перстнем, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь и точно пытаясь что-то сказать. Павел стал на колени, дрожащими губами поцеловал еще живой, шевелившийся палец и, всхлипнув, сказал: ...Папа! Да папа же!»

Эта сдержанная, вполне бытовая по форме, но страшная по сути картина — автобиографична: отец Леонида Николай Иванович Андреев умер в мае 1889 года, умер совсем еще молодым — ему шел тогда сорок второй год, умер внезапно — от инсульта или, как говорили прежде, — апоплексического удара, оставив свои дела в полнейшем беспорядке. «Умер, — как записал тогда Леонид, — оставив семью, состоящую из матери, меня и пяти маленьких детей. И дом, приносящий 20 рублей в месяц доходу»[1]. Младший брат Павел вспоминал, что со дня смерти отца «круто изменилась и вся дальнейшая жизнь Леонида». Никогда не думающий о материальных проблемах «герцог» в одно мгновение оказался главой огромной семьи, на него упала ответственность за мать, младших братьев и сестер. И как ни странно, семнадцатилетний Леонид со всей ответственностью взвалил на себя ношу главы семейства, здесь его философский пессимизм столкнулся с простыми человеческими чувствами — любовью и жалостью к близким людям, столкнулся и... отступил: «Павел гладил рукой седую, вздрагивающую голову [матери], и далеким черным сном пробежала перед ним мрачная железнодорожная ветка и одинокий зловещий глаз. Он гладил вздрагивающую голову, смотрел на

[1] Цит. по: Леонид Андреев: Далекие. Близкие: Сборник. М.: Минувшее, 2011. С. 130.

сморщившегося Шурку и видел, какие все они маленькие, и жалкие, и одинокие, и как они нуждаются в защите и любви. И он почувствовал себя сильным и крепким, и голос его был полный и громкий, когда он сказал: Да, мама. Я буду жить».

Конечно, логика жизни Андреева была несколько иной, нежели художественная логика его рассказа, а любовь и верность семье возникли не вдруг, но росли и крепли в душе Леонида, начиная с младенчества. Под крышей уютного и на вид такого прочного дома Андреевых мирно и весело подрастали братья и сестры «герцога»: в 1889 году младшему Андрею было четыре года, сестренке Зинаиде — пять, Римме — семь, Павлу — 11 и Всеволоду — 15. В не слишком удачной, откровенно расползающейся по швам пьесе «Младость» Андреев хотел, вероятно, «сфотографировать» свое семейство, таким, каким оно было в год смерти отца. Но ярко получился у него лишь маленький «клоп» Васька — очевидно, Андрей Андреев, который и бесится, и кричит на взрослых, а всё оттого, «что в бабки проиграл», и на которого никто не обижается, а только нежно подтрунивает. А после смерти отца притихший малыш льнет к старшему брату: «Папочка говорил, что меня надо больше целовать, чтобы я скорее рос большой. Это правда, что от этого скорее человеки растут?» Но, несмотря на бледность отдельных лиц, Андрееву удалось передать в пьесе общую атмосферу дружной и ладной жизни под одной крышей, где всегда можно найти плечо, чтобы преклонить голову и грудь, чтобы выплакать обиды. Где один человек не мешает другому, а постоянные шуточки и подтрунивания сглаживают все острые углы человеческих отношений. В рассказе «Молодежь» есть упоминание о смешных играх героя-гимназиста и его младшей сестренки: «...Он шалил. Первый раз в жизни сестренка его испытала завидное наслаждение кататься верхом на мужчине, и, надо полагать, впоследствии, когда она вышла замуж, муж ее не раз проклинал легкомысленного братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петр привязал на хвост бумажку. Он хотел доставить удовольствие все той же сестренке, но смеялся сам гораздо больше нее». Очевидно, речь идет здесь о «ветреной Риммочке» — впоследствии неоднократно менявшей фамилии Римме Николаевне Андреевой, жизнь которой всегда текла где-то рядом с жизнью старшего брата. Дружба с братьями Павлом и Андреем — много значила для писателя, оба брата и сестра Римма оставили об Андрееве литературные воспоминания, вся семья обожала его творчество и более того — воспринимала писательское дело Леонида как важнейшее занятие и даже миссию, возложенную на всех. После ранней

смерти Всеволода его жена Наталья переселилась к Андреевым и стала заботливо растить его младших детей.

Интересно, что «культ старшего брата» возник в семье задолго до рождения славы Леонида Андреева. Сами того не сознавая, все три брата в дальнейшем стали своеобразными «отражениями» судьбы Леонида: Павел реализовал не пройденный старшим братом путь художника (речь об этом — впереди): окончив Строгановское училище, он стал учителем рисования в петербургской гимназии Л. Д. Лентовской, где и работал до самой своей смерти от туберкулеза в 1923 году. Как вспоминал окончивший эту гимназию Д. С. Лихачев, Павел Николаевич преподавал ученикам «чувство цвета» по собственной методике и привил многим из них любовь и понимание современной живописи. Рано умерший Всеволод пошел по «юридическим стопам» Леонида: как и старший брат, он окончил юридический факультет Московского университета и стал присяжным поверенным Московского окружного суда. Младший Андрей, офицер царской армии, пройдя германскую и сгинув на фронтах Гражданской войны, писал и печатал стихи под псевдонимом Андрей Волховской, заполнив тем самым пустующую поэтическую нишу возле гениального брата-прозаика.

Но в 1889 году все они были еще детьми, их надо было кормить, одевать, учить — поднимать на ноги. Отец Николай Иванович вовсе не думал умирать, напротив — для того чтобы пережить тяжелые времена, он занимал все больше и больше денег, после его смерти обнаружились долги, а половина дома и земля оказались заложенными. «Мало того что никто в семье и не помышлял о работе, в доме держали прислугу: кухарку, горничную, няньку и дворника. Все хозяйственные и финансовые заботы упали на плечи абсолютно несведущего в делах и весьма скорого на решения шестнадцатилетнего “герцога” и мечтательную вдову — Анастасию, которой едва исполнилось 35 лет и к которой год спустя стали, впрочем, без всякого успеха свататься богатые женихи. И хотя и мать, и старший сын прилагали видимые усилия для восстановления финансовой стабильности», но, как вспоминал Павел Андреев, «не прошло и двух лет со дня смерти отца, как нами было продано все, за исключением дома», впрочем, уже заложенного. Сестра же Римма, в продолжение темы, вспоминала, что основным доходом семьи были жильцы: «После смерти отца семья наша занимала лишь меньшую половину дома, другую же половину... сдали. Пришлось сдать и флигелечек-особнячок». Довершает картину «падения дома Андреевых» дневниковая запись самого Леонида: «...нам приходится закладывать

сегодня иконы, потому что больше нечего. Иначе завтра голодать придется»[1]. И это запись 1890 года, то есть всего через год после смерти отца!

Итак, семейные заботы, необходимость какого-то приработка свалились на плечи гимназиста. Первые хлопоты: о похоронах, долгах отца и сиюминутных нуждах семьи — привели к тому, что «герцог» не сдал экзамены и остался в шестом классе на второй год. Вскоре он обнаружил, что может самостоятельно зарабатывать деньги, не прерывая учебы. Во-первых, давать уроки маленьким «балбесам» — сынкам толстосумов, почтенные папаши неплохо оплачивали подобное репетиторство, в месяц за одного ученика можно было иметь 15 рублей. Вторую статью дохода нищей юности Леонида Андреева составил его талант рисовальщика. Уже в старших классах гимназии он стал рисовать портреты на заказ: «Условия мои таковы: Портрет поясной, почти в натуральную величину. Цена 10 р. Если же дама, и платье у нее с финтифлюшками, то дороже на 2—3 рубля»[2].

Этой стороны жизни, этой — прошедшей через всю жизнь — страсти Леонида мы еще не касались. Как это не раз случалось с крупными писателями — первоначально их тяга к творчеству проявлялась совершенно в иной области. Пастернак — готовился быть музыкантом, Маяковский — художником. «С младенчества чувствовал страстное влечение к живописи» и Леонид Андреев. Один из знакомых его отца вспоминал, что однажды Ленуша «...разноцветными карандашами разрисовал одну сторону бумажного рубля и настолько удачно, что в сумерках отец охотно разменял [сыну] этот рубль на мелкие серебряные монеты, но когда при лампе увидел незарисованную обратную сторону, то Леониду хорошо "всыпали", т. к. отец увидел в этом факте государственное преступление — подделку денег»[3]. В 1910 году Андреев сообщал в автобиографии: «Рисовал много (первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках); но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня хвалили, а учителя гимназии советовали немедлен-

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 20–21.
[2] Дневник. С. 245.
[3] Цит. по: Фатов. С. 203–204.

но ехать в академию (обычная форма совета была такова: чем сидеть на Камчатке и протирать парту, поезжайте-ка... и т. д.), но еще чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая неграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки...» В автобиографии Андреев не раскрывает всего значения этого увлечения, частенько переходящего в манию... В дневнике же, будучи еще гимназистом выпускного класса, он делает такую запись: «...всю неделю до безобразия увлекался рисованием: недосыпал, недоедал, и даже по целым дням не умывался и ходил с раскрашенной физиономией и все рисовал, рисовал!.. Удалось изобразить одну, довольно недурную, а именно “Демона”, стоящего на земле в позе, долженствующей выражать “презренный мир”!.. А тут еще “мир” преподнес мне несколько пакостей, и я настолько хорошо прочувствовал Демона, что и на бумаге изобразил его недурно. Мать от картины в полном восторге, да и все, вообще видевшие его, очень одобряют»[1].

Интересно, что, избрав судьбу писателя и добившись славы, Андреев не бросал живописи, более того — он начал писать маслом, делал в основном портреты, часто — живописные иллюстрации к своим же произведениям, в разные периоды его жизни это увлечение то усиливалось, то отодвигалось на второй план, но никогда не забывалось. Как-то Корней Чуковский застал период расцвета этого увлечения, богатый и знаменитый писатель проживал тогда на собственной вилле: «У него длинные волнистые волосы, небольшая бородка эстета. На нем бархатная черная куртка. Его кабинет преображен в мастерскую. Он плодовит, как Рубенс: не расстается с кистями весь день. Вы ходите из комнаты в комнату, он показывает вам свои золотистые, зеленовато-желтые картины. Вот сцена из “Жизни Человека”... Вот большая византийская икона, изображающая с наивным кощунством Иуду Искариотского и Христа. Оба похожи как близнецы, у обоих над головами общий венчик»[2]. Вопрос, была ли эта страсть лишь игрой, как показалось Корнею Чуковскому, — непростой вопрос. Многие, видя портреты, сделанные Андреевым, удивлялись, что он никогда не учился ни рисунку, ни живописи. Он, портреты которого рисовали Репин, Серов, Пастернак, он — друг Репина и Рериха, ничуть не стеснялся своего увлечения и развешивал свои картины в самых заметных местах своего жилища. «Золотистые, зеленовато-желтые картины» — это «Один оглянул-

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 376.
[2] Чуковский 2. С. 211—241.

ся» — фантастический городской пейзаж в духе символиста Альфреда Кубина: по мощеной мостовой удаляется в переулок стайка человекообразных существ в длинных, наполненных ветром балахонах. Один из них, оглядываясь, открывает нам свое встревоженное лицо. «Иуда и Христос», показавшийся Чуковскому византийской иконой, — напоминает полотна ранних немецких экспрессионистов. Портреты Андреева более традиционны, здесь он стремится придать жизненное сходство, правда, часто окружает модель с фантастическим пейзажем — как на знаменитом автопортрете. Живопись Андреева конечно же говорит и даже кричит об эстетических пристрастиях автора: воображаемый, тревожный и зыбкий мир сна, в котором растворены страхи реальности...

Так, при помощи кисти и карандаша Андреев делает первые опыты *творческого самовыражения*. «...фантазировал я бесконечно, — напишет он в автобиографии, — был у меня огромный альбом “рож”, штук триста». Затем — злые и добродушные карикатуры сменились реалистическими портретами, затем — иллюстрациями к собственным произведениям, где человеческие фигуры снова напоминали карикатуры... «Я не знаток в живописи, — писал об этой стороне жизни молодого Андреева Скиталец, — но мне кажется, что Андреев был хотя и далеко технически не законченным, но незаурядным портретистом-художником. Посвяти он себя живописи — он и в ней, вероятно, проявился бы не менее крупно, чем в литературе. Из всех портретов, написанных с Андреева различными художниками, в том числе и Репиным, самый лучший все-таки автопортрет самого Андреева...»[1] Сохранилось несколько автопортретов Андреева: от серьезных, живописных, о котором говорит Скиталец, до поздних — черно-белых и цветных фотопортретов. Рисовать и фотографировать себя самого — эту потребность Андреев испытал с ранней юности: «На стене висел очень хорошо нарисованный тушью его собственный портрет, сильно идеализированный: на портрете Андреев был еще красивее, чем в натуре. — Когда это ты был таким сверхкрасавцем? — спросил я его. — Да никогда не был! — смеясь, ответил Андреев. — Это я сам себя рисовал. Я когда-то усиленно занимался живописью, в художники стремился, да бросил теперь... так, для себя иногда рисую!»[2] — здесь описан один довольно известный портрет 1897 года — в профиль. Сегодня, когда до столетия со дня смерти писателя осталось совсем немного, его портреты можно найти повсюду, внешний облик Андре-

[1] Скиталец. С. 378–407.
[2] Там же.

ева знаком, как правило, любому из его сегодняшних читателей. Притом что многие русские писатели отличались незаурядной внешностью, как-то странно, согласитесь, было бы акцентировать внимание на ушах и лбе Достоевского или же губах и носе Толстого... Говоря же о Леониде Андрееве, просто необходимо подчеркнуть: это был человек необыкновенной внешности. Он был потрясающе красив.

«Луч солнца», «лужи растопленного снега», отражающие в себе «фонарные столбы и под ними голубую бездну безоблачного неба» — эта, всегда замечаемая «герцогом» красота природы, казалось, вливается в него, передается его взрослеющему телу: «пальто нараспашку, в шитой рубашке, иду по Очному мосту и смотрю на мелькающие носки блестящих, собственноручно начищенных сапог... И сапоги красивы, и я сам красив...» — так вспоминает он свою раннюю юность. Да, *красота* юного «герцога» стала заметна как-то вдруг. Его довольно узкое, правильное, скульптурное лицо, нос — точеный и прямой, глубоко утопленные ласковые глаза, высокий лоб, густые волосы — и для самого Леонида внешность, как видно, значила немало: «от застенчивости и самолюбия, от полного чувства, что я красив и на меня все смотрят, — я всегда так ходил: глаза перед собою и выше»[1].

Что ж, современники Леонида Андреева как будто соревновались, создавая его словесные портреты: Горький говорил о «пристальном светящемся взгляде», Алексеевский о «великолепной гриве на голове, отдельные пряди которой непослушно лезли на лоб»; «редкостным красавцем», похожим одновременно на «итальянца с Неаполитанского залива» и на «гоголевского Андрия» показался Леонид при первой встрече Скитальцу. «Тонкие черты лица» восхищали Бориса Зайцева, «красивое, точеное, декоративное лицо» — Корнея Чуковского, почти все отмечали его стройность, легкость, молодую удаль, а главное — «жгучие» глаза. «Кажется, лучшее в Андрееве было — это глаза. <...> Все электрическое, нервное, раскаляющее, что в натуре его заключалось, изливалось через глаза, в виде световых или эфирных волн»[2], — вспоминал о молодом Андрееве Борис Зайцев. Став юношей, Андреев обзавелся неизменной небольшой подстриженной бородкой и тонкими усами. И если уж знакомые мужчины все как один восхищались красотой Леонида, что, казалось бы, говорить о женщинах... Орловские сестры Леонида так прямо и говорили: «Был он очень красив; поэтому гимназистки бегали за ним толпой». Да и сам Андреев

[1] S.O.S. С. 69.

[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 370.

с видимым удовольствием вспоминал, что в старших классах в Орле о его красоте «...сочинялись местные легенды». За два года до смерти в дневнике появится ностальгическая запись о собственной «поре цветения»: «...и сам я красив — а навстречу плывут — тоже молодые и красивые... и в каждую я влюблен и каждая смотрит на меня...»[1]

Но, как ни странно, прямой логической связи между красотой Леонида и благополучием в личной жизни не наблюдалось, напротив, наш герой — за исключением нескольких лет покойной и абсолютно счастливой жизни с первой женой — Шурочкой Велигорской — был несчастлив в *любви*. Сам он не раз задумывался над этим парадоксом и в юности объяснял его так: «...Красавец, говоришь? — посмеиваясь, переспросил Андреев [Скитальца]. — Думаешь, нравлюсь женщинам? Хе-хе-хе! Нет, брат! Я только произвожу первое впечатление, а потом, когда к моей красоте привыкнут, я очень быстро надоедаю философией; Бог, дьявол, человек, природа, вечность и бесконечность — это мои ближайшие друзья, а женщинам в этой компании невыносимая скучища. ...Ведь если бы я был чуточку поглупее, как полагается настоящему красавцу, то, пожалуй, разбил бы сердца, а вместо этого женщины помыкают мной. Хе-хе-хе! Еще тем, к которым я равнодушен, я нравлюсь иногда, но есть одна, которую я сам любил, и вот у нее-то никогда не имел успеха: до нее я так и не достиг...»[2] Чтобы не забегать вперед, умолчим пока что об имени «той, одной», отметим лишь, что любовь и отношения с женщинами занимали ум Андреева с юности, что называется, «на равных» с философией, «Богом, дьяволом, человеком, природой, вечностью и бесконечностью»; отчаянно рефлектируя по поводу отношений с женщинами, Андреев с гимназических лет и почти что до самой смерти находился в зависимости от своих «сердечных дел».

Опять-таки парадокс: его лучшие зрелые тексты — «Иуда Искариот», «Тьма», «Елеазар», «Рассказ о семи повешенных», «Жизнь человека», «Анатэма» и прочие имеют дело лишь с «Богом и дьяволом», «человечком и природой», «вечностью и бесконечностью», и там либо вовсе нет любовной темы, либо тема эта — отнюдь не главная. Но так случилось, как я предполагаю, вопреки воле Андреева, и здесь его дар оказался сильнее, чем его желание. Я делаю этот вывод, поскольку, как мы увидим далее, в ранних своих произведениях — «Он, она и водка», «Розочка» и других наш герой непременно хотел го-

---

[1] S.O.S. С. 69.

[2] Скиталец. С. 378—407.

ворить о любви, причем о любви — своей собственной. Более того, все женщины, так или иначе сыгравшие существенную роль в жизни писателя, входили в его произведения. Но — с некоторым удивлением, подводя итоги двадцатилетнему служению Каллиопе и Мельпомене, он обнаружит, что не может писать о своей любви...

В уже не раз упоминаемом в этой главе автобиографическом рассказе «Молодежь» приоткрывается завеса над гимназической любовью «герцога»: «Первый, кому Шарыгин рассказал о происшедшем случае, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую он любил и считал умной и "развитой". Впрочем, умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она так легко расставалась с логикой, становилась так пристрастна и нелепо упряма, что Шарыгин начинал удивляться, та ли это женщина, при поддержке которой он намеревался "бороться с рутиной жизни". Другим она нравилась именно во время спора, но Шарыгин не понимал их вкуса». Гимназистка восьмого класса Александра Николаевна — это Зинаида Николаевна Сибилева — первая серьезная любовь и длительная привязанность Леонида Андреева. Их роман начался 14 августа 1889 года, когда Андрееву исполнилось 18 лет и он перешел в седьмой класс, Зинаида была его ровесницей, но училась на один класс старше — не будем забывать, что «герцог» оставался в шестом классе на второй год. Девушка, с которой он намеревался «бороться с рутиной жизни», происходила из обеспеченной семьи адвоката, отличалась независимым нравом, слыла невероятной спорщицей, придерживалась радикальных демократических взглядов и дружила с революционно настроенными женщинами, например, с Верой Гедройц, ставшей впоследствии легендой феминизма — это была первая русская женщина-хирург.

Итак, первая любовь «герцога» — девушка с характером Зиночка Сибилева — погрузила будущего писателя в пучину личных отношений: если судить по рассказу «Молодежь» — влюбленные виделись едва ли не каждый день. Когда, обессиленный рефлексией относительно своего поступка — доноса на одноклассника, гимназист Шарыгин «уходит от людей» всего на два дня — к нему немедленно приходит записка от Шурочки «с двумя орфографическими ошибками», где та справляется «об его здоровье и настроении».

Отношения «герцога» с Зинаидой носили сначала романтический характер первой школьной влюбленности, одно из самых трепетных воспоминаний о начале их романа оставил младший брат Леонида — Андрей. Наказанный, мальчуган заперт во флигеле посреди сада и оттуда сквозь закрытое окно и

бурю пробует докричаться до старшего брата: «Август. В старом плодовом саду бушует ветер, и с глухим стуком осыпаются яблоки: обильно белеют на траве... Овеваемые буйным ветром прогуливаются по дорожкам Леонид с Зинаидой Николаевной... <...> Смеются оба». Освобожденный влюбленными, маленький Андрей замечает, что парочка «встретила меня с высоко поднятым подолом, полным сладко пахнувших яблок. И было весело им вероятно смотреть на сияющее мое лицо, еще хранящее пятна размазанных слез»[1]. За два года пылкая романтическая влюбленность перешла в постоянную привязанность и почти ежедневные свидания, а затем — перед отъездом Зинаиды на курсы в Петербург — в настоящую взрослую связь. Этот факт покажется нам не таким уж странным, если мы вспомним, что «любовникам-гимназистам» стукнуло тогда по 20 лет. Эта вполне органичная для молодых людей любовная связь, которую ни Леонид, ни Зиночка не скрывали от окружающих, в их отношения внесла тем не менее острый разлад. Впрочем, уже и первый год «романтической истории» был омрачен ссорами и размолвками влюбленных. И все же эта первая любовь оказала на Леонида Андреева огромное влияние. Зинаида Сибилева под чужими именами появляется в разных произведениях Андреева, под своим собственным — Зиночка, Зинаида Николаевна — в одном из самых скандальных — в «Бездне». Гимназистка в «коричневом скромном платье», идя рядом и говоря с которой, не замечает времени студент Немовецкий...

Интересно, что весной 1890 года — в первый год их любви с Зиночкой — Андреев начинает вести дневник, и именно из первых дневниковых тетрадей мы и можем узнать о характере его взаимоотношений с возлюбленной. Выписки из Гартмана и Шопенгауэра, неизменная саморефлексия с попыткой ответить на вопрос: кто я? — соседствуют с обилием выплеснутых на бумагу любовных переживаний. При этом —важнейшее свойство дневниковых записей — это становление пера будущего «властителя дум», его первые попытки построить на бумаге собственный словесный мир. Дневник Андреева сразу или почти сразу предполагает читателя. Первым читателем становится сам автор: не раз перечитывая старые записи, он оставляет на полях замечания, пометки, оценки того, прежнего Андреева. Кроме того, дневниковые страницы часто предназначены для чтения возлюбленными, читала дневник и Зиночка. Более того, ей была подарена одна из первых его тетрадей.

Впоследствии исследователи дневников Андреева не раз отмечали нарушение связей между внешними событиями его

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 25.

жизни и содержанием записей, да и сам автор, перечитывая дневники прежних лет, удивлялся: «Да, странное представление о моей личности вынес бы тот, кто вздумал бы прочесть мой дневник, не будучи лично знаком со мною»[1]. Дневниковые записи с небольшими перерывами Андреев делает всю жизнь, большая часть их сохранилась, и мы уже не раз обращались к ним и конечно же будем и впредь их цитировать и анализировать.

Итак, в первых тетрадях дневника (за 1890, 1891 и 1892 годы) автор погружен, как уже отмечалось, в постоянно меняющиеся отношения с Зинаидой. Разумеется, по этим записям рановато делать выводы о формировании взгляда Андреева на *женщину*, всегда игравшую огромную роль в жизни писателя. Но можно с уверенностью говорить о драматизме переживаний и часто меняющихся оценках предмета своей страсти: «Опять вечный вопрос, кто виноват? Она или я? Нам горько обоим: ей оттого, что она меня любит, а я не люблю ее, а мне оттого, что я не люблю ее, а она меня любит. Как выйти из положения? Я не виноват, что любовь моя угасла и что я ищу для себя лучшего, но если брошу ее, ей будет от этого очень тяжело и — чем черт не шутит? — Зинаида любит меня и не может не любить, и в силу своей любви требует от меня того, что для меня мучительно. Кто виноват? И что делать?»[2] Похоже, Леонид мучается оттого, что его чувство к Зиночке угасло. Но вскоре — стоило той «надуть губы»: высказать неудовольствие или же не прийти на свидание — период «охлаждения» сменился приступом «страсти» и далее — всё повторялось по кругу. Да, в Зинаиде были заключены весьма привлекательные черты; как отмечал Андреев, это была самостоятельно мыслящая, хоть и обеспеченная, но далекая от мещанства особа, с «ненасытной жаждой подвига и страданий». Судя по всему, эта девушка была эгоистична и, отвечая на чувства Андреева, совершенно не знала меры: требовала постоянного присутствия в его жизни, ежедневных свиданий, частых признаний, а кроме того, желала, чтобы возлюбленный разделял ее «идеалы», за что она страстно боролась, буквально за волосы «втаскивая» политически индифферентного Леонида в деятельность подпольных революционных кружков, что конечно же не могло понравиться такому индивидуалисту, каким уже стал тогда «герцог». Когда же их отношения стали интимными — жизнь Леонида усложнилась невероятно. По воспоминаниям Сони Пановой, Зинаиде как-то пришлось даже делать аборт — тай-

[1] Дневник. С. 6.
[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 26.

но от своего отца и при полном попустительстве и даже поддержке со стороны Анастасии Николаевны, впрочем, никогда не любившей Зинаиду.

В сентябре 1891 года Андреев жалуется дневнику на чрезвычайное физическое и моральное истощение: «... с Зинаидой или ругаюсь, очень редко, впрочем, или целуюсь, что еще хуже: с самого августа ни один вечер не проходил у нас без "акта любви", и этот акт повторялся раз до трех-четырех. Вскоре провожание домой (да надобно заметить — я раза два или три ночевал у нее и тогда уж, конечно, почти всю ночь не спал) заменилось тем, что Зинаида стала оставаться ночевать у нас, и я тогда опять-таки не спал все ночи»[1]. Трудно сказать, кем была инициирована такая интенсивность сексуальной жизни, но совершенно очевидно, что для «герцога», на плечах у которого находилась большая семья, который давал уроки и все еще учился в гимназии, — это было слишком: «...нервная система моя пришла в окончательное расстройство: я говорил, почти не сознавая, что говорю, делал все, ходил — как пружинный автомат».

Подобный жизненный режим, приводивший Леонида к приступам «эпизодического отчаяния и слез», вполне мог бы спровоцировать разрыв со страстной, своевольной и ни в чем не знающей меры девушкой, но... В том же сентябре 1891 года уже окончившая гимназию Сибилева уезжает учиться в Петербург, и неожиданно для себя самого Андреев погружается в любовное отчаяние, часто и много пишет своей возлюбленной, думает, фантазирует о ней, доверяя мысли и чувства письмам к ней и дневнику. Он дает ей шутливый обет верности: «я вознамерился пресечь себе все пути к измене, буде меня к ней потянет, и с этой целью... совершенно остригся и обрился». Он воображает ее в объятиях другого: «И как представилось мне при этом, что... у другого лежишь ты на плече и что между нами нет ничего уже общего... прямо как будто сердце кольнуло»[2]. Читая эти умильные строки, как-то не веришь, что их написала та же рука, что через каких-нибудь 15 лет выведет: «Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один только час...» И тем не менее как только весна окончательно вступила в свои права и Леонид с грехом пополам окончил гимназию — на экзамене по древним языкам ему подсказывал сам учитель, правда, «отлично» ему поставили по русской словес-

---

[1] Там же.

[2] Там же. С. 27.

ности и — несмотря на случающиеся уже «пьяные дебоши» — по поведению, он принял окончательное решение относительно своей дальнейшей судьбы. Мысль поступать на юридический факультет сформировалась давно, и как свидетельствовал сам герой, не слишком-то осознанно: быть врачом ему не хотелось, учителем — «боже упаси», в «специальные» — инженеры, экономисты, путейцы не пускало незнание математики, оставалось одно — быть юристом. Однако вопрос, какой университет выбрать — оставался открытым вплоть до получения аттестата: «Зинаида тянет меня в Петербург, а мать желает отправить меня в Москву и грозится проклясть меня и не дать ни копейки денег, если я поеду в этот отвратительный Петербург»[1]. Однако влияние Зинаиды оказалось более могущественным, и под напором любимца Ленуши постепенно сдала позиции мягкая и добросердечная Анастасия. Интересно, что в семье даже не рассматривали иных вариантов, давно и как-то само собой у них было решено дать университетское образование всем братьям Андреевым. Старший сын был первой ласточкой, летом 1891 года он покинул Орел, Анастасия же оставалась — со своим многочисленным семейством, своими комнатами и флигелечками — единственным источником «пропитания» для огромного семейства. Пушкарные улицы Мещанской слободы провожали Леонида Андреева в другую жизнь: на время он отрывался от семьи, навсегда — от провинциальных пахучих садов, от пыльных заборов, из-за которых в праздники выглядывали мычащие рожи пьяных мастеровых. В холодном столичном городе его ожидали неизвестность и Зинаида.

---

[1] «Жизнь...». С. 32.

Глава третья. 1891—1897:

ГОЛОДНЫЙ СТУДЕНТ

Большой город. Зинаида Сибилева — опыт ревности, разочарований, измен. Бездна саморазрушения. Петербург и Москва. «Дни нашей жизни», «Gaudeatius»: студенческий круг. Пьянство: бесшабашное и горькое. Андреев vs великий князь Сергей Александрович. Надежда Антонова: опыт новой любви — бессмысленной и безнадежной. Позднейшее переосмысление: рассказ «Мысль». Андреев и его двойники. Был ли Андреев безумен?

«Это был огромный город, в котором жили они...» Прибыв на Николаевский вокзал, Андреев сразу оказался если не в сердце, то где-то в районе солнечного сплетения этого мощного, своеобразного, весьма холодного, европейского с виду города. Мы не знаем подробностей его первого путешествия по Невскому проспекту — мимо Аничкова дворца, мимо Гостиного Двора, Михайловского и Зимнего дворцов, и далее — по Николаевскому мосту на Васильевский остров, где в пансионе Веры Гедройц ждала его Зинаида. Похоже, на этом пути наш герой был озабочен отнюдь не видами города, сетуя в письмах на родину: «Господи, вот несчастье-то... <...> Приходится скрючившись ехать на извозчике, вокруг тебя и под тобой чемоданы, а в руках — в одной жестянка с керосином, в другой лампа»[1]. Из дальнейшего станет ясно, что Андреев так и не испытал гоголевского трепета перед этим единственным в своем роде городом, его улицы, холодная река, серые дома, мрачные люди и даже Невский проспект не станут действующими лицами его произведений. И в будущем, увы, Андреев-писатель не прибавит ярких страниц к той книге, которую один филолог впоследствии назовет «петербургский текст». Город, возникающий в ранней прозе Андреева, конечно же мало походит на «стройный и строгий» Санкт-Петербург, это скорее обобщенный экспрессионистский образ города — холодного, изломанного, страшного.

В повести «Сашка Жегулев» названный по имени Петербург — лишь «большой, торопливый и развращенный город»,

[1] «Жизнь...». С. 36—37.

из которого — чтобы вернее сохранить детей — бежит овдовевшая мать Сашки. И, обретя временный покой в маленьком провинциальном городе Н., где дома тонут в тяжелой, пахучей зелени, и мать и дети с иронией вспоминают чахлые «липы в петербургском Летнем саду». Девушка Вера из «Молчания» — против воли отца-священника поехала в Петербург, а вернувшись в родной маленький город, «бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее». Отец Веры ненавидит этот непонятный город, он видится ему как что-то «большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых, равнодушных людей». В основе этого рассказа лежит реальный факт из жизни орловского священника церкви Архангела Михаила, звон колоколов которой слышал Леонид каждый день в детстве и юности.

В рассказе Андреева «Город», где в неназванном обобщенном городе угадывается-таки Петербург, — он панически ужасен для «маленького человека» — чиновника коммерческого банка по фамилии Петров. К этому городу невозможно привыкнуть, и робкому, рожденному и выросшему в провинции человечку постоянно чудится, «что он задыхается и слепнет», ему хочется «бежать, чтобы вырваться из каменных объятий», ему «страшно подумать, что, как бы скоро ни бежал, его будут провожать по сторонам все дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город». Весьма вероятно, что в рассказе «Город» отчасти переданы первые ощущения Леонида Андреева от Петербурга: «Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад». Как мы видим, не только у бледненького пугливого чиновника-героя, но и у пытающегося сохранять спокойствие повествователя ощущается настойчивое желание выйти, вырваться, улететь — как-то преодолеть город. Но это, увы, невозможно: «Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов».

Да, высокомерный «герцог» как будто сразу почуял, что с первой атаки, нахрапом, немедленно — Петербург не завоевать, и более того, никто здесь не разглядит пока еще неясного и

ему самому дара, никто не всмотрится в его душу, не заинтересуется ни пропитанным страстным шопенгауэровским пессимизмом — умом, ни трепетным сердцем, ни даже замечательно яркой красотой орловского пришельца. Действительно, в этот, первый, петербургский период город оказался «закрыт» для юного Леонида и даже университет неохотно и только после череды, как писал наш герой, «унижения и хлопот» смилостивился, и Андрееву удалось «добиться зачисления» на юридический факультет. Немедленно подступила и нищета: здесь, среди незнакомых людей, «невозможно достать урок», и — как ни странно — одиночество: «Один переносил я всю тяжесть неизвестности... примут ли меня в Университет, один переношу неизвестность будущего, один буду переносить все неприятности, которыми будущее наградит меня, все — один»[1]. Возможно, именно отчаяние первых прожитых в столице дней впоследствии вылилось в удивительный образ «шагающих зданий»: «...идущему человеку становилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей».

Любопытно, что подобные картины ужасного одиночества возникали у нашего героя на фоне бурно продолжающегося романа с Зинаидой Сибилевой. Вспомним, что именно она «заманила» Андреева в Петербург и именно к ней он и приехал с Николаевского вокзала. Пансион Гедройц находился на 6-й линии Васильевского острова, в доме 25/1. В так никогда и не опубликованном самим Андреевым рассказе «Розочка» возлюбленная героя «помещалась в мезонинчике, составлявшем нашлепку на громадном трехэтажном доме с окнами, выходящими во двор...», — во дворе, как и во всех питерских дворах в ту пору, частенько появлялись «шарманщики и певицы», которых герои «слушали в приоткрытую форточку». Этот явно автобиографический текст (в автографе — рукой Андреева — имя героини старательно выправлялось с «Зинаиды» на «Марочку») приоткрывает завесу над бытом молодых людей, можно многое вычитать здесь и об их отношениях.

Итак, Зинаида проживала при закрытой школе княжны Гедройц — в заведении этом получали среднее образование «двадцать каких-нибудь дохленьких учениц», жила она, что называется, «на правах», давая уроки в этой самой школе и «получая за это квартиру со столом». Отец Зинаиды, хотя и был против переезда дочери в столицу, аккуратно переводил ей достаточную для скромного существования сумму. К приезду Леонида Зиночка вот уже год училась на женских курсах, посеща-

[1] «Жизнь...». С. 35.

ла медицинские курсы Петра Лесгафта и ее подруга — Вера Игнатьевна Гедройц. Фактически же Зинаида, не готовя себя к какому-то определенному занятию, находилась под сильнейшим влиянием подруги-княжны. Интересно, что Гедройц, выведенная в «Розочке» как Любовь Николаевна, описана Андреевым как особа «такая же в сущности легкомысленная», как и Зиночка-Марочка. С большой иронией отзывается автор о ее «бизнесе», ее талантах и знакомствах: «к Любови Николаевне ходили два-три бородатых господина и вели с ней серьезные беседы».

В действительности же дело обстояло иначе. Помимо вполне серьезных занятий медициной, княжна Вера Гедройц тогда вела подпольную революционную работу, за что вскоре и была арестована и выслана из Петербурга. В 1891 году у нее в пансионе собирался кружок революционно настроенной молодежи, посещали ее, вероятно, как едва «вылупившиеся на свет» социал-демократы и даже — бундовцы-марксисты, так прошлые — народовольческие — и будущие — эсеровские «бомбисты». Вся дальнейшая биография этой женщины — арест, бегство за границу, университет в Лозанне, участие в качестве хирурга в двух войнах, ордена, слава первой женщины-хирурга, назначение врачом августейшей семьи — говорит о том, что Зинаида Сибилева попала тогда под облучение сильной и даже выдающейся личности. Вера была к тому же лесбиянкой, впрочем, я не думаю, что она могла решиться на «связь» с Зинаидой, но тем не менее княжна, вполне вероятно, серьезно ревновала свою подругу к Андрееву. Короче говоря, самолюбивый и уже привыкший считать себя «первым среди равных» «герцог» оказался в доме, где место кумира и «властителя дум» было уже занято талантливой и сильной личностью — княжной Гедройц. А поскольку иного круга общения, кроме знакомых Зинаиды, у Андреева в Петербурге не было, его милостиво — на правах «доброго малого из провинции» ввели в круг Веры Игнатьевны.

По всей видимости, именно в пансионе Гедройц Андреев впервые столкнулся с профессиональными революционерами: «В этих бородатых, сильно фанатичных, нетерпимых людях я увидел что-то особенное, какую-то скрытую великую силу. Я одно мгновение почувствовал себя так, как должен чувствовать себя человек, попавший в клетку хищных зверей», — записал Леонид в дневнике после одной из таких встреч. Его интерес к этим людям с первой же секунды был — двойственный интерес. Они его и пугали, и притягивали, вызывали и страх и зависть: «...все они верят, к чему-то стремятся, цель какую-то

видят — один я без веры, без стремлений, без цели...»[1] Короче говоря, вопрос «в чем моя вера» по-прежнему мучил нашего героя и стремительно взрослеющий «герцог» тщетно, впрочем, и не слишком последовательно искал на него ответ. И хотя революционно настроенная Зиночка порой и втягивала возлюбленного в откровенно опасные протестные демонстрации — ни народнических, ни социал-демократических убеждений навязать Леониду им с Верой не удалось. Принципиально, однако, что в душе его отныне и навсегда поселились «эти бородатые и фанатичные люди»: будущие Вернеры и Саввы.

Интересно, что в «Розочке» все, в том числе и демократические, порывы Зинаиды поданы в ироническом ключе: она, например, отказывается купить необходимые ей калоши, поскольку «очень уж буржуазное лицо» у хозяина лавочки... Но в действительности — Андреев, поселившись с девушкой в пансионе и намереваясь жить душа в душу, сразу оказался «под каблуком» у возлюбленной, иначе говоря, как писал он сам, в «полной духовной зависимости от нее». Об этом свидетельствует дневник, в котором Леонид подробно и весьма драматически анализирует любовные терзания и перипетии отношений: «Мое настроение духа зависит от Зинаиды, и зависит именно так: она может в одну минуту изменить хорошее настроение на убийственно дурное, но не в силах, да и не в желании, конечно, дурное хоть когда-нибудь изменить на хорошее»[2]. Еще в Орле, рассуждая о Зиночке, Леонид находил, что «она не имеет задатков для хорошей жены», поскольку, во-первых, «инстинкт хозяйственности у нее совершенно отсутствует», это качество, вернее, его отсутствие не раз возникает и в «Розочке»: «поверит ли кто-нибудь из людей — восклицает автор, — что мы с Марочкой с десяток раз отправлялись в Гостиный... и ни разу не дошли до него», поскольку «всякий раз по инициативе, конечно, Марочки... мы приобретали выставленные в витринах, на Невском вещи, не только нам ненужные, но даже прямо вредные, как, например, какая-то остроумного устройства чернильница, которая методически кувыркалась, как только к ней прикасались пером». Во-вторых, Зиночка «слишком горда, самолюбива и не умеет подчиняться» и в браке «будет стремиться в ущерб мужу доставить себе приятное», а не наоборот. Здесь же и в связи с Зинаидой двадцатилетний Леонид, возможно, впервые формулирует требование к своей будущей жене: «Мне ... потребна как раз такая жена, которая умела бы подчиняться и сливать

[1] «Жизнь...». С. 37.
[2] Наследие. С. 876.

свое я с моим»[1]. Что ж, настоятельная и даже маниакальная потребность делить со «спутницей жизни» буквально все мысли и устремления будет полностью реализована в будущих отношениях с Александрой Велигорской и Анной Денисевич.

Но конечно же Зиночка-Марочка была — полная противоположность идеалу Андреева — он, как правило, сам сдавался под напором ее идей и легко впадал в зависимость от ее бесконечных прихотей. Потому-то уже спустя месяц после переезда в Петербург наш герой «сбежал» из пансиона, сняв небольшую комнатушку поблизости — на 4-й линии Васильевского. Трудно сказать, чем больше был доволен Андреев — тем ли, что маленькая светёлка чем-то напомнила ему родной дом, или же одиночеству — тому, «что в этом разделе» он ощутил средство «уменьшить количество мучений». Более того, он тотчас увидел здесь «шаг к разрыву». Но, как всегда, эти настроения скоро сменяются приступом любви и нежности: «Светло и радостно было на душе. Я наклонился к розовому уху Марочки и сказал ей... но что я сказал, к делу не относится. В полумраке на меня мягко блеснули ее глазки, ставшие задумчивыми и глубокими и немного грустными. Долго так сидели мы, не трогаясь и молча, — и где-то в глубине наших сердец звучала радостная песнь, песня молодой, здоровой жизни, счастья и обновления».

Собственно весь этот — написанный еще неопытным и робким, но уже узнаваемо андреевским пером — рассказик — о любовных качелях, о том, как отношения молодых людей портятся и восстанавливаются множество раз — всего-то за один день. И как ни странно — главный момент разногласия здесь — экономический: герой ругается с Марочкой относительно того, как и куда потратить деньги. Затеяв вечеринку и пригласив друзей-студентов, они ссорятся по поводу меню: она требует купить «вино — в полтора целковых», он — «две бутылки пива — и баста!», она предлагает в качестве закуски «омары и сардины», он — «фунта три колбасы». В конце концов, согласившись на все ее прихоти, герой обнаруживает, что Марочка все-таки недовольна — он не принес ей букет цветов. Оскорбившись и хлопнув дверью, он уходит к себе, но постепенно осознает, что был неправ, и, прихватив по дороге розочку, с повинной возвращается к Марочке: «Марочка говорит, что роза пахнет великолепно...», студент же — прикидывает в уме, сможет ли он завтра где-нибудь заложить пальто...

Впоследствии, подводя итоги первого года своего студенчества, Андреев записал в дневнике, что «жизнь чувства» со-

[1] «Жизнь...». С. 27.

вершенно «забила, затерла жизнь ума». Парадокс, но, находясь в центре интеллектуальной жизни России, будущий писатель бóльшую часть времени отводил отнюдь не умственным занятиям.

Бедность — еще один злой демон, мучающий Андреева на протяжении студенческих лет, однако во время петербургской одиссеи эта бедность нередко оборачивалась нищетой. Его материальное положение было ужасающим — только лишь молодость и легкомыслие (в котором он, кстати, постоянно упрекал Зинаиду) помогли ему прожить этот первый студенческий год. Обучение на юридическом факультете было платным, платить надо было и за комнату, и за учебники и при этом — хотя бы изредка что-то есть. Этот столбик скромных, хотя и постоянных расходов был бы не таким пугающим, если бы у Андреева нашелся хотя бы один постоянный доход. Но его-то как раз и не было!!! Борющаяся с нуждой Анастасия присылала ему помощь от случая к случаю — как только ей удавалось хоть что-нибудь заложить. Постоянного урока не находилось. Андреева выручала орловская знакомая Любовь Дмитриева. Очевидно, влюбленная в яркого и умеющего рассуждать «о высоком» красавца, купеческая дочка активно переписывалась с Леонидом, когда тот уехал в столицу, нередко вкладывая в конверт 20, 30, а то и все 50 рублей. Возмущенному поначалу Андрееву пришлось в конце концов смириться с подобными подношениями; убеждая себя в том, что не стыдно брать помощь от «сестры», как называл он Дмитриеву в письмах. Потом деньги — о ужас! — приходилось брать и у Зинаиды; но вот что интересно: именно отчаяние бедности послужило поводом для первого официального литературного опыта будущего писателя.

Герой рассказа «В холоде и в золоте» студент Саша Лавров, затерев ваксой протертые места на сапогах, да отчистив и отгладив далеко не новый пиджак, предстает пред ясные очи роскошной барыни — госпожи Вольской, чтобы попытать счастья «по публикации» — той требуется учитель для сына. Неожиданно поладив с молодой женщиной «с бледным, утомленным лицом», голодный Лавров даже получает аванс в 30 рублей, но тут как черт из табакерки на пороге появляется муж — «высокий брюнет» с «надменным, презрительным лицом» и всё, как в плохом кино, разворачивается в обратную сторону: студенту отказывают, он возвращает аванс и, «провожаемый холодным презрением», покидает роскошный дом на Литейной стороне.

Этот сюжетик из разряда «богатые тоже плачут» — молодая женщина после ухода студента сильно повздорила с мужем —

Андрееву при помощи той же Зинаиды Сибилевой — не без участия, вероятно, знакомых Веры Гедройц — удалось «пристроить» в апрельский номер еженедельного иллюстрированного журнала «Звезда» для семейного чтения. Журнальчик — воскресное приложение к ежедневной столичной газете «Свет», издаваемой В. В. Костомаровым, — был, по мнению Андреева, скверным бульварным изданием. И тем не менее о первой публикации автор известил всех своих корреспондентов. «Ну, голубушка, — сообщал бедный студент своему «спонсору» — Любочке Дмитриевой, — кажется, в моей жизни наступает поворот к лучшему». Первый литературный опыт кажется Андрееву весьма удачным: «Теперь я с уверенностью последую своей склонности и уверен, что меня ожидает успех». Надо отдать должное зрелому литературному вкусу писателя: этот хиленький, с ходульными персонажами, годный лишь для того, что нынче называется «гламурными» изданиями, рассказик он никогда не включал в список своих произведений, а в автобиографии и вовсе соврал относительно судьбы этого детища: «Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаянием написал прескверный рассказ "О голодном студенте". Из редакции "Недели", куда я самолично отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой. Не помню, куда он девался».

Для биографа некоторый интерес представляет первая часть этого литературного опуса — молодой автор явно со знанием дела описывает мысли и чувства героев, пребывающих «в холоде»: «Ужинать нельзя, и без ужина обойдемся. Уж меньше, чем за пятнадцать копеек ничего не купишь. Ну, вчера не ужинал — пятнадцать копеек, сегодня не буду — тридцать, да еще на чем-нибудь сэкономлю, и можно будет купить книгу» — ясно, что гордый, но бедный Лавров испытывает те же муки, что и автор — *Л. П.* — под такими инициалами (Леонид Пацковский) будущий писатель впервые выступил в печати. А вот зарисовки персонажей, живущих «в золоте», сделаны явно «по представлению» — без пристального знакомства с «предметом», а потому эта часть рассказа — общее место. Короче говоря, андреевское письмо еще не только не обрело силу — в этом текстике вообще не проглядывается будущий автор «Иуды...» и «Тьмы».

Однако весной 1892 года, получив за публикацию гонорар в 20 рублей, Андреев, вероятно, уже призадумался над выгодами подобного способа «добычи» средств к существованию. Но, увы, за первым литературным опытом не скоро последует второй: вся жизнь Леонида в Петербурге состояла из судорожных «бросков» от одного занятия к другому, от полного отчаяния — к горячей надежде.

Университет не то чтобы разочаровал Андреева, но — не будучи в состоянии занять достойное его «герцогства» место среди «надевших студенческую форму и обросших бородами гимназистов», он и вовсе потерял интерес к лекциям. «Ведь я великий человек — иначе чем объяснить то, что меня никто не понимает? Ведь это удел всех великих»[1], — звучащие почти пародийно дневниковые самоутешения передают горькие мысли «бывшего герцога», так и не сумевшего «покорить» столицу империи. Но, кроме того, здесь — тоже в несколько пародийном ключе — звучат отголоски нового «умственного увлечения» Леонида — ницшеанства. «Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть» — самоубийца Сергей Петрович — герой будущего рассказа Андреева с помощью знающего немецкий язык товарища постигает «Так говорит Заратустра» Ницше. В 1892 году, как справедливо уточнял впоследствии Андреев, «...в России о Ницше знали только немногие, ни газеты, ни журналы ни слова не говорили о нем». Среди «серьезных людей», посещавших Веру Гедройц, был Виктор Александрович Вейншток, впоследствии как политзаключенный прошедший и тюрьмы, и ссылки, и сумасшедший дом, а в 1891 году — первый переводчик «Генеалогии морали» Фридриха Ницше на русский язык. Возможно, от него Андреев впервые услышал о Ницше? Так или иначе, стремительно восходящая звезда этого философа не оставила равнодушным и Андреева — Ницше оказался одним из немногих проштудированных им в петербургский период авторов. «Он не знал и не думал, кто такой Ницше... Он видел перед собою только мысли, облеченные в строгую мистическую форму готических букв...» Идеи философа о трагическом одиночестве и «бесчеловечности сверхчеловека», безусловно, импонировали Андрееву.

Но — в отличие от студента-ницшеанца Сергея Петровича, ставшего «пламенно верующим юным жрецом» у алтаря «нового божества» — у бедного студента Андреева на основательное погружение в серьезные книги и длительные размышления над ними оставалось не так-то много времени: его раздирали реальные противоречия жизни. Очевидно, желая вырваться из цепких лапок непокорной Зинаиды, Андреев бросается в другие романы: вернувшись на Рождество в Орел, он влюбляется в гимназистку Женечку Хлуденеву — приемную дочь начальника Орловско-Витебской железной дороги. «Как она хороша! Как бы желал я хоть на минутку прильнуть губами к ее не ведавшему ничьих поцелуев личику, к ее маленькой ручке!»[2] —

---

[1] «Жизнь...». С. 37.

[2] Там же.

записывает он в дневнике, но буквально на следующей странице клянется, что эта любовь ничуть не уничтожает его любовь к Зиночке... Мучительные отношения с этой женщиной во многом определяли жизнь Андреева в эту зиму и весну. Надо заметить, что к безденежью, неприятностям в личной жизни, отсутствию осознанной цели, философскому пессимизму, душевному и духовному одиночеству присовокуплялось и безобразное пьянство, приступы которого становились все чаще, а последствия — все мрачнее.

Зимой в Орле, пытаясь ухаживать за Евгенией Хлудененой, он частенько являлся к девушке пьяным, а потому, как рассказывала его двоюродная сестра Соня Панова, не имел у Женечки ровно никакого успеха. «На одном вечере маскировались ... на нем был китайский костюм с необычайно смешной маской. Отправились к знакомым, и там была эта девушка. Она все время над ним шутила. Он в маске объяснялся ей в любви, а она хохотала. Все это так и передано в рассказе»[1]. Действительно, в «Смехе» Андреев даже не изменил имя Хлуденевой, девушка, явившаяся в этот маскарад «богиней ночи и, вся загадочная, словно мглой, одетая черным кружевом, сверкающая бриллиантами звезд, была красива, как забытый сон далекого детства»... Слушая страстные речи мрачного Китайца, она замолкала на секунду: «Я видел ... как все гибкое тело безвольно клонилось ко мне. И я увидел, увидел, наконец, как милая, жалкая улыбка раскрыла ее уста, и, дрогнув, поднялись ресницы. Медленно, боязливо, с бесконечным доверием повернула она ко мне головку, и... Такого смеха я еще не слыхал — взгляните... на себя. Сзади в зеркало... О, какой вы!..»

Вернувшись в столицу из Орла, Андреев совершает вторую попытку самоубийства. «Приехал я сюда битком набитый мрачными мыслями и намереньями. Денег, а с ними надежд на будущее не было никаких. Пьяная безобразная жизнь в Орле отразилась на душевном состоянии. Раскаяние, упреки совести, а с другой стороны мнимая или действительная невозможность изменить свое поведение, остановиться на наклонной плоскости — делали положение безвыходным. <...> Здесь в Петербурге начались неприятности с З.». «Неприятности» с Зинаидой заключались, как видно из дневника, в том, что «меня отделяет от нее расстояние 2 мин. ходьбы — и она не зашла. Не хочет — потому что не любит!». Тут же следует патетическая приписка: «Весь мир в ней, ее любви!»[2] Автор книги «Молодые годы Лео-

---

[1] Фатов. С. 169—170.

[2] «Жизнь...». С. 40.

нида Андреева» Николай Николаевич Фатов прямо указывает на неверность Зинаиды, опираясь на рассказ Сони Пановой[1]. Это предположение кажется мне вполне правдоподобным, а реакция Леонида — достаточно логичной: уход возлюбленной как будто поставил жирный крест на его петербургских амбициях: ни одна из вершин, покорять которые он отправился в столицу, оказалась «не по зубам» бедному студенту: «Выход был один — самоубийство»[2]. В качестве орудия «апостол самоуничтожения» на этот раз выбрал финский нож, и 15 февраля 1892 года, напившись «до бессознательности» на студенческой вечеринке, пырнул себя в грудь. История умалчивает о том, кто удержал самоубийцу от второго удара, остановил кровотечение и отвез раненого в больницу Святой Марии Магдалины на 1-ю линию Васильевского острова. Не видим мы также (но, кстати, можем себе прекрасно представить) и испуганное лицо Зинаиды, хлопоты княжны Гедройц и снисходительные улыбки ее «серьезных гостей». Так, желая возвыситься до ницшеанского сверхчеловека, наш бедный студент стал лишь объектом снисходительных насмешек... И здесь Андреева ожидал провал.

Мне, однако, эта отчаянная суицидная попытка представляется предельно серьезной, а причины — полная потеря контроля над собственной жизнью — весьма и весьма основательными. Позже он ярко и страшно опишет последний день молодого — и что важно — состоявшегося самоубийцы в рассказе «В тумане»: «Уже темнело, и погас странный, желтоватый отблеск; окутанная туманом, неслышно вырастала долгая осенняя ночь. ... Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске, — ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери». Павел, юноша из благополучной семьи, чувствует, как «воспоминания врезались в его душу, как острый нож в живое мясо». Заразившийся «нехорошей болезнью» от проститутки юноша ощущает отверженность от всего, что раньше составляло его мир: отец, сестренка, книги, домашний уют. В конце рассказа «торопливо и сосредоточенно Павел отбросил с груди липкие лохмотья рубашки и ударил себя ножом в бок, против сердца. Несколько секунд он стоял еще на ногах и большими блестящими глазами смотрел на судорожно вздувавшуюся дверь. Потом он согнулся, присел на корточки, как для чехарды, и повалился...».

Да, сегодня мы можем только порадоваться, что в подобном случае самому Леониду не хватило сосредоточенности и терпения Павла и он — слава богу — остался жив. Хотя этот-то

[1] Подробнее см.: Фатов. С. 71.
[2] Дневник. С. 17.

удар в конечном итоге привел его к серьезному заболеванию сердца, а именно из-за этого недуга писатель Леонид Андреев ушел из жизни непростительно рано.

Но тогда, весной 1892 года, это был полный крах: петербургская эпопея Леонида, преломившись в «сцене самоубийства», стремительно приближалась к развязке. Любопытно, что в самом конце первого студенческого года студент Андреев неожиданно почувствовал вкус к занятиям: случайно получив на первом экзамене «отлично», он «решил все экзамены держать на пять, чтобы получить стипендию, которая даст мне то постоянное обеспечение, в котором я так нуждаюсь», — письменно клянется он Любочке. Надо сказать, что умственные способности да и память у Андреева были отличные, а если уж возникало страстное желание что-нибудь выучить или постичь — можно было надеяться на успех. Три полученные «пятерки» стократно усилили его веру в себя и свою звезду. Увы! На предпоследнем экзамене по «философии права» измотанный бессонными ночами зубрежки Леонид получил «хорошо». Стипендия, как выразился он сам, «ухнула». Эта, последняя, неудача — оказалась непреодолимой, утешения и обещание денежной помощи от «неверной» Зинаиды на сей раз не помогли, и очень скоро Андреев примет решение покинуть Петербург.

Отъезд не стал молниеносным, проведя лето в Орле, осенью 1892 года Леонид вернется в столицу, но вскоре — оставив университет и покинув Зинаиду, окончательно уедет домой, в Орел. Отношения молодых людей, вероятно, уже летом перешли в завершающую стадию, но Андреев, будучи влюблен еще в нескольких особ, всё же не верил в окончательный разрыв с Зиночкой. Для нее же этот этап жизни уже завершился, через год она выйдет замуж за инженера Паутова и после нескольких малозначимых встреч и вовсе исчезнет с жизненного горизонта Андреева.

Исчезнет как возлюбленная и как друг, как интересующая его личность, ее вытеснят из сердца Андреева другие события и другие женщины, — она исчезнет... чтобы вернуться. Вернуться почти через десять лет — вернуться вместе со своим гимназически-невинным взглядом, со своей соблазняющей чистотой, вернуться, чтобы опять обольщать его поруганным и в то же время — дьявольски чистым, белым, сияющим и упругим телом, она вернется как ведьма — как героиня «Бездны».

Когда — через несколько лет после смерти писателя — в 1924 году историк литературы профессор Фатов выпустит книгу «Молодые годы Леонида Андреева», литературная общественность вновь вспомнит нашумевшую в 1902 году «Бездну». На-

помним читателю, что «Бездна» — короткий четырехчастный шедевр раннего Андреева — погружает нас во внутренний мир студента Немовецкого: во время загородной прогулки пьяные звероподобные мужики изнасиловали гимназистку Зиночку, в которую он был влюблен и с которой гулял вдоль реки. Самого Немовецкого насильники сразу «вывели из игры», отправив в долгий нокаут. Придя в себя и отыскав безмолвно белевшее среди леса тело Зиночки, тот внезапно воспылал к ней неукротимым желанием. «И черная бездна поглотила его».

Разумеется, утверждение о том, что описанный случай — факт отношений Зинаиды и Андреева, недостоверно с точки зрения психологии, да и воспоминания сестер — Сони Пановой и Зинаиды Пацковской — с моей точки зрения, довольно убедительно отвергают такую возможность. «Что касается “Бездны”, то она несомненно навеяна его увлечением Зинаидой Сибилевой, — рассказывала Фатову двоюродная сестра. — Местность в рассказе — орловская. Гуляли за городом, по Орлику, где пещеры. Место довольно глухое, и хулиганы встретиться там могли легко». Но, добавила она, финал Леонид, скорее всего, присочинил: «изнасилование — навряд ли — разговоры бы пошли»[1]. Безусловно, факт изнасилования гимназистки мужиками должен был бы остаться в орловских анналах, но никто из опрошенных Фатовым приятелей, знакомых и родственников Андреева более о нем не упоминает.

Оставив досужие домыслы, посмотрим на сюжет «Бездны» глазами «бедного студента» Леонида Андреева. Женщина, с которой у него была первая долгая и страстная связь и которая, по всей вероятности, отдала ему свою невинность, эта женщина — на глазах у города и мира — изменила ему, отдала свое тело кому-то другому, не тайно — а явно, на глазах у всех. Но — вот парадокс: изменив, стала для него еще более желанной. И, как мне кажется, автор вполне мог описывать собственные — лишь перенесенные на другие обстоятельства — чувства.

В жизни — Зинаида, изменив, не порывала с Андреевым, используя всякий повод продемонстрировать свое могущество. В «Бездне» — безмолвное тело Зиночки не отпускает Немовецкого, оно тянет его за собой в черную бездну: «И снова он набросился на несопротивлявшееся тело, целуя, плача, чувствуя перед собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую. Немовецкого не было, Немовецкий оставался где-то позади, а тот, что был теперь, со страстной жестокостью мял горячее податливое тело и говорил, улыбаясь хитрой усмешкой безумного: — Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя».

---

[1] Фатов. С. 170.

Мне представляется, что «Бездна» — финальная точка отношений Андреева с Сибилевой и что отношения эти окончательно исчерпались лишь после опубликования рассказа в 1902 году. После нескольких публичных чтений «Бездны», после шума, невиданного общественного резонанса, многочисленных обвинений в безнравственности, после проклятий, писем, разъяснений и оправданий автора — Зиночка «отпустила» Андреева.

Но до этого, окончательного, исцеления еще далеко. Всю зиму и весну 1893 года Андреев «залечивает раны» в Орле, чтобы летом 1893 года продолжить студенческую эпопею. Надо отметить, что, помимо сердечных ран и унижения самолюбия, петербургский год прибавил к опыту Леонида некоторое знание практических сторон жизни. Довольно быстро освоив науку составления разного рода бумаг, он организовал не только свой «перевод» на юридический факультет Московского университета (в реальности это было — отчисление со второго курса в Петербургском и зачисление на второй курс в Московском университете), но и добился освобождения от уплаты за обучение, что называется «по бедности», а кроме того, предпринял недюжинные усилия, чтобы получить пособие на обучение от Орловского общества вспомоществования.

Интересно, что, обретя статус студента Московского университета, — а случилось это в октябре 1893 года, — Андреев охотно вошел в орловское землячество, приобрел немало друзей и как будто с радостью погрузился в бесшабашный студенческий быт. Он поселился в известных меблированных комнатах Фальц-Фейна, располагавшихся на Тверской улице, где жили тогда приезжие студенты. Все или почти все произведения об университетской жизни отражают опыт московской жизни Андреева-студента. В наброске рассказа «После государственных экзаменов» писатель, как считают исследователи, довольно точно передает свой собственный московский студенческий опыт. Это же пространство и быт — в «Иностранце», и в «Старом студенте», и в инсценировке рассказа — пьесе «Gaudeamus». И, конечно, наиболее известный текст из студенческой бытности — мелодрама «Дни нашей жизни» — самая популярная пьеса Леонида Андреева, сценические интерпретации которой повсеместно играют и сегодня. Однокашники Андреева нередко удивлялись тому, что в этой пьесе и других текстах «...верность изображения доходит иногда до фотографического сходства». Вообще же, участники и свидетели этих событий не раз признавались, что «весь быт, вся студенческая

богема того времени в обеих пьесах выведены поразительно верно»[1], что Андреев описывал их студенческие похождения и разговоры как будто с натуры, часто не меняя не только характер, но даже имена и фамилии своих, превращающихся в персонажей, приятелей.

Каков же «собирательный портрет» Андреева — московского студента 1890-х годов? Именно тогда появляется на нем знаменитая красная рубашка, увековеченная впоследствии репинским портретом, — рубашка эта значила для Андреева, думаю, не меньше, чем желтая кофта для Маяковского. Входившая в 1890-х в орловское землячество З. М. Покровская[2] вспоминала: «...пришел Андреев, одет он был в пунцовую рубашку с зачесанными назад черными кудрями, причем характерно... Андреев первым делом представился нам [девушкам], при этом фигурно откинув назад волосы»[3]. Что ж, переехав в Москву, Андреев, как сказали бы сегодня, сменил имидж: нервный, одинокий, потерянный в большом городе "шопенгауэровец" превратился в молодого буяна, студента-хулигана и дебошира, яркого красавца, заводилу компании — веселого, но одновременно и загадочного, внимательного к тому впечатлению, которое производит. Подобная метаморфоза, разумеется, случилась не вдруг, а во многом — под влиянием обстоятельств.

Во-первых, юноша, угодив в университетский круг, нашел там, мягко говоря, весьма своеобразное отношение старших товарищей к приобретению знаний. «В феврале и марте в нашем номере 74-м, служившем сборным пунктом для остальных, царило веселье, носившее тот своеобразный характер, благодаря которому нашим комнатам было присвоено наименование "Разбойничьих"...» — в одном из ранних набросков описан рядовой случай «перед экзаменом». Приготовления заставляют студентов объединяться вокруг тетрадок с лекциями, которые есть далеко не у каждого. Совместные же занятия начинаются с того, «...что коридорный Алексей посылался за бутылкой водки и бубном» и далее, «напившись чаю и распив впятером бутылку, приступали к первому пункту подготовки». Первый пункт состоял в громком коллективном исполнении «залихватской песни». «Проорав минут 15 с присвистом, топотом и гиканьем, товарищи... принимались за зубрежку». Причем за день эта история: бутылка, песня, зубрежка — повторялась многократно. Рассказчик текста наброска «После государственных экзаменов» — некий юрист-второкурсник «постепенно привык к этому режиму и стал находить его впол-

---

[1] Фатов. С. 81.

[2] Там же.

[3] Там же. С. 202.

не естественным». И даже когда его старшие товарищи, все по очереди — проваливаются на государственных экзаменах, то это повод «лишь основательно взяться за бутылку».

Очень скоро в студенческой среде у Андреева появляются настоящие друзья, и ни один из них не считает приобретение знаний своей безусловной обязанностью. В пьесе «Gaudeamus» душа компании, «вечный студент», обучавшийся уже на всех факультетах Онуфрий, будучи спрошен: «А скажи, Онуфрий, — если ты раз прочтешь лекцию, то будешь что-нибудь помнить?» — немедленно реагирует: «Если прочту, то буду помнить. Только мне некогда читать — времени нету. У меня, дядя, три урока: два в Москве остались, да одного идиота здесь на Рождество получил». Этот Онуфрий — реальное историческое лицо, студент, живший по соседству с Андреевым в номерах Фальц-Фейна, воплощение студенческого «credo»: гроза всех «коридорных», выдумщик самых невероятных проказ. «Купил это раз корзину раков, — жалуется на Онуфрия слуга Капитон, — ну совсем живых, как есть черных. И для хорошего, думаете, дела купил? Как же, от него жди. Вдруг жалко стало, в слезу вдарило: пускай, говорит, ползают не иначе, как мы. А у рака какое понятие? Его пустили, он и пополз сквозь все номера. Околоточного звали, скандал был... (*Совсем мрачно.*) Только протокола написать не могли: не знали, как начать. Каторги ему мало, вот он какой!» Такое беспокойное соседство, вне сомнения, имело место в жизни Андреева. «Жил у Фейн-Фельца и студент, которого звали Онуфрием; он постоянно был пьян»[1], — рассказывали знакомые Андреева. Принципиально, что в пьесе Онуфрий — этот Фальстаф студенческой вольницы — в минуты пьяной откровенности с пафосом клянется в верности альма-матер: «Нет, никуда я не уйду из университета, жил с товарищами, с ними и умру. Человек я одинокий, нет у меня ни отца, ни матери — и не надо мне их, ну их к черту! А позовут меня документы брать, лягу я в канцелярии животом на пол и умру, а бумаг не коснусь. Умру честной смертью, как храбрый солдат!» Онуфрий — а этот персонаж есть и в «Днях нашей жизни» — этот бесшабашный пьяница — с большой симпатией выведен Андреевым как комедийный тип «вечного студента».

Драматизм пьесы «Gaudeamus» связан с тем, что ее главный герой, поступивший в университет 48-летний Петр Кузьмич — в силу почтенного возраста не может «на равных» включиться в студенческую вольницу и вынужден покинуть этот — глубоко притягательный для него — круг. Этот «старый студент» — так же историческое лицо. «Был также и старый

[1] Фатов. С. 269.

студент Бутурлин; он поступил в Университет около 50-и лет...»[1] — вспоминали однокашники Андреева.

Другой приятель Андреева — Михаил Ольгин — выведен в «Днях нашей жизни» как Мишка Бас. В своих воспоминаниях об Андрееве Ольгин отмечал, что весьма любимым и почитаемым в их среде занятием было пение: «Леонид любил слушать ... народные песни... когда приступали к рюмочке, то перво-наперво затягивали "Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой"... Были "номера", которые запевали всегда одни и те же студенты. Например, я (бас) запевал "Дубинушку"». Музыка и особенно пение были одними из излюбленных занятий андреевских студиозусов, один из главных героев «Gaudeamus»а — Тенор — студент с выдающимися вокальными способностями, другой персонаж из «Дней...» Блохин (выведенный под собственной фамилией тоже приятель Андреева) признается Мишке Басу: «Я, может быть, всю жизнь отдал бы, чтобы иметь такой голос, как у тебя». Возможно, в реплике сквозят сожаление и легкая зависть самого Андреева, вокальные данные которого равнялись нулю. «Не обладая голосом, Леонид петь не пытался, но любил дирижировать, стоя с высоко поднятой в руке кружкой пива, которое, конечно, расплескивалось»[2], — вспоминал Мишка Бас.

В те годы Леонид становится заядлым театралом.

Как вспоминал брат Павел, Андреев, «состоя выборным от всего орловского землячества по распределению бесплатных билетов во все императорские театры... имел возможность ежедневно ходить в них, что, конечно, использовал в полной мере, перебывав по несколько раз во всех операх»[3]. Так зарождался подлинный интерес писателя к *театру*, где в будущем ему суждено состояться как драматургу-новатору и отчасти — реформатору сцены. Особенная любовь Андреева к опере скажется на поэтике его будущих драматических пьес.

Андреевское студенчество горячо любило Москву. Если Петербург у Андреева — чаще всего абстрактный, наделенный обобщенными чертами враждебный человеческому существу Город, то в Москве все ее маленькие «церковки», стоящие «кучками», и возвышающиеся купола, Таганская и Бутырская тюрьмы, кривые арбатские переулочки с нежностью упоминаются студентами-героями Андреева. «Это такое счастье, господа, когда осенью приезжаешь в Москву... — признается студент Архангельский из «Дней нашей жизни». — Еду я третьего дня с Курского вокзала, и как увидел я, братцы мои, Театральную

---

[1] Там же.

[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 61.

[3] Там же. С. 54.

площадь. Большой театр...» Пьеса начинается с того, что с высоты Воробьевых гор студенты увлеченно разыскивают знакомые места. В этой истории о том, как студент Глуховцев — выведенный под своей собственной фамилией приятель Андреева — узнал, что девушка, в которую он горячо и взаимно влюблен, — торгует собой под чутким руководством собственной матери, — Леониду удалось снять остроту сюжета за счет теплой ностальгической дымки, сквозь которую поданы все события и лица. «Событие взято из жизни; с его товарищем Глуховцевым действительно была такая история, но кончилась не совсем так, как в пьесе. Финал... был у мирового, так как студент избил мать этой девушки. Девица — по пьесе Оль-Оль, действительно существовала; была, кажется, институткой. Все это происходило в номерах Фальц-Фейна»[1], — вспоминала сестра Андреева Соня Панова. Однако реальный случай «сглажен» в пьесе: Глуховцев дерется не с матерью, а с «клиентом» Оль-Оль — офицером Григорием Ивановичем, который, кстати, оказывается отличным парнем и в финале мирно пьет коньяк с Фальстафом-Онуфрием.

«Обладая алкоголической наследственностью, с раннего возраста принужденный бороться с материальными невзгодами, Леонид уже в гимназические годы привык одурманивать себя алкоголем»[2] — так объяснял пагубную страсть Андреева его гимназический товарищ Сергей Блохин. Сам Андреев не раз подчеркивал, что «...пьянство с самого начала было вне моей воли»[3]. После смерти отца в Леонида как будто вселился семейный «алкоголический дух»: в последних классах гимназии «герцог» настолько близко сошелся «с зеленым змием», что чуть было не вылетел из учебного заведения. Возвращаясь как-то с пирушки, он начал барабанить в окна соседа Андреевых — Кутепова. Этот вредный старикашка провинился тем, что — по провинциальной привычке — время от времени отпускал едкие замечания, когда Леонид проходил мимо его дома. Желая немедленно выяснить отношения с обидчиком, пьяный гимназист перебил все окна в доме Кутепова, а тот — в свою очередь — пожаловался в полицию и, как писал Леонид Зинаиде, «началась возня страшная»... Дело разбиралось в мировом суде, но усилиями директора гимназии и родственников Леонида его удалось замять, Андреевы отделались 20 рублями штрафа.

---

[1] Цит. по: Фатов. С. 171.
[2] Цит. по: Там же. С. 197.
[3] Переписка. С. 178.

Пьяное буйство, ухарство, как выразился тот же Блохин, аффективные поступки в пьяном виде — все это становится бытом молодого Андреева. Отъезд в Петербург, возвращение в Орел и новый переезд — в Москву — мало что меняют в сюжете «Он, она и водка». Товарищи вспоминают, что Леонид выделялся даже среди пьющей студенческой братии и среди московских студентов существовал в те годы особый термин «*пить по-андреевски*»: на стол выставлялась выпивка — «аршин рюмок» и закуска — «аршин колбасы». И если учесть, что старый аршин представляет собой две трети нынешнего метра, то, имея некоторые арифметические способности, можно прикинуть, что пил Андреев по-прежнему много. Став московским студентом и окунувшись в московскую «богему», Андреев приобрел вкус к комедийным и даже фарсовым выходкам.

О пьяных выпадах Андреева против великого князя Сергея Александровича мы знаем из рассказов студентов-собутыльников: «Дело было в начале марта часа так в четыре утра. Был еще санный путь. Сидим мы у Тихомирова и видим, что подъехал обоз ассенизаторов-золотарей подвод в десять. Обоз остановился, и золотари вошли в трактир выпить с устатку по стаканчику. Мы разговорились с ними и накачали их водкой, что называется "в дым". Они рассолодели, обмякли и все расселись за столами пить чай... Тем временем мы по внезапному предложению Леонида выскочили из трактира, засели на бочки и поехали. На передней подводе был Леонид. <...> Лошади были хорошие, справные. Леонид так погнал лошадей, что золотари не успели опомниться, как мы прибыли на Тверскую площадь, где против дома великого князя "Сережки" и бросили зловонный обоз, а сами разбежались кто куда»[1]. Комическая вонючая «бомба», подложенная Андреевым на Тверской площади, — фарсовое предвоплощение будущей трагедии.

Через десять лет князь «Сережка» — посмертно — станет героем «Губернатора», одного из лучших текстов писателя. История о провинциальном градоначальнике, который, отдав приказ расстрелять рабочую демонстрацию, узнает, что революционеры вынесли ему смертный приговор, — прямое отражение судьбы великого князя Сергея Александровича. Дав приказ о жестоком разгоне уличных демонстрантов в январе 1905 года, генерал-губернатор был приговорен к смерти партией эсеров, и через несколько дней Сергей Александрович трагически погиб от бомбы, брошенной Иваном Каляевым. Правда, через несколько лет выяснилось, что приговор

[1] Цит. по: Там же. С. 200.

великому князю вынесло одно крыло партии, а каляевское убийство осторожно и тщательно готовилось уже несколько месяцев, представителями «боевой организации» под руководством Бориса Савинкова и эти два события были никак не связаны между собой.

Но тогда, зимой 1905 года, положение было поистине скандальным: сам великий князь прекрасно знал о приговоре эсеров, слышал и видел, как общественность несколько дней подряд активно обсуждала — заслуженно или нет он должен умереть от их рук. Фантастичность ситуации усиливается Андреевым, поместившим трагическую коллизию в душу своего героя. Перед смертью андреевский губернатор осознает свою глубокую неправоту и соглашается с приговором своих палачей, с тем и уходит в могилу. Что ж... Будущее, как любила говорить Ахматова, прежде чем прийти, отбрасывает тень. И тень грозных событий 1905 года весело плясала на стенах губернаторского дома в середине 1890-х, стены эти словно бы притягивали студента Андреева: «И вот когда следовали по Тверской, то Леонид обязательно останавливался против дома генерал-губернатора и произносил речь, громя великого князя...» «Тут сбегались саженные городовые, как на подбор гиганты-силачи, и начинался у нас с ними бой жестокий, ибо они забирали Леонида в участок на Тверской, а мы отбивали его. ...Победителями, конечно же, оказывались городовые и Леонида запирали в участок»[1]. В участке пьяного Леонида, который не только продолжал критиковать великого князя, но и буянил, отчаянно проклиная своих «тюремщиков», — частенько били, и потом он с гордостью носил ссадины и синяки «пострадавшего за правое дело». Но такие пародийно-протестные хулиганские жесты составляли, увы, лишь часть пьяных выходок Андреева-студента...

«Аффективен Леонид был и в своих любовных увлечениях; неудачи в этой области толкали его обычно напиваться; под влиянием алкоголя во всю ширь развертывались навязчивые идеи, настроение становилось мрачным, и в результате — аффективные попытки к самоубийству; таковых я знаю две, а их, кажется, было больше»[2]. Московские и орловские товарищи Андреева говорят о неоднократных покушениях Леонида на самоубийство, свидетелем одного из них оказался все тот же Сергей Блохин: «...когда я хотел отнять у него револьвер, зная с его слов о намерении покончить с собою, он все-таки ухитрился выстрелить в себя, но пуля скользнула по пуговице

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 61.

[2] Цит. по: Фатов. С. 199.

и причинила только контузию в области левого соска»[1]. Непременный участник московской компании Андреева студент Кречетников вспоминал, что как-то раз Леонид «...допился до белой горячки. Придя к нему в комнату, он нашел его одного с бритвой в руках. Он хотел лишить себя жизни». Кречетников с ужасом передал товарищам, что пока пытался с помощью балагурства, баек и анекдотов отвлечь Леонида и отобрать у него бритву, тот «часто высказывал намеренье покончить не только с собою, но и с ним»[2]. Сергей Блохин знал и о «клубе самоубийц» — в 1894 году Андреев приобрел «товарищей по несчастью», студенты-орловцы Сахаров и Скляренко, оба — были отвергнуты «дамами сердца», оба пили *«по-андреевски»* — до положения «риз». Эти-то господа и объединились с Андреевым, а объединившись, стали разрабатывать планы самоуничтожения. «По-видимому, влияние мрачного, пессимистически настроенного Леонида было очень сильно, так как один из них — Сахаров — повесился, но был замечен и вовремя вынут из петли, другой — Скляренко, после путешествия с Леонидом в Петербург и непробудного пьянства бросился под поезд, и ему отрезало обе ноги»[3].

Так портрет Андреева — бесшабашного пьяницы в красной рубахе — внезапно рассыпается, а из-под комической маски выглядывает обезображенное жутковатой гримасой лицо. «Чувствуется, что за раскрашенной маской Арлекина таится скелет, — записывает Андреев в марте 1897 года, рассуждая о том, что все его веселые шутки отдают неискренностью. — И разве я верю себе? Ответить можно несколько парадоксально: каждую минуту верю — а вообще нет». Частенько исследуя в дневнике раздвоенность своей натуры, Андреев с тревогой отмечает: «Как будто разделился я на две половины. Одна смеется, скучает, говорит, ухаживает, целуется, а другая не сводит с нее глаз и ежеминутно спрашивает "...а зачем это, к чему... обманываешь, обманываешь"»[4]. Да, двойственность Андреева отмечали почти все, кто с ним общался в ту пору: «Все события внешней жизни, все идеи преломлялись в его мозгу ненормально, болезненно. Я помню много случаев, когда его душевное состояние носило прямо болезненный, патологический характер. В особенности это сказывалось во время опьянения. <...> В Андрееве жили как будто два человека: один нормальный... другой — больной, с изломанной психикой...»[5]

---

[1] Цит. по: Там же.

[2] Цит. по: Там же. С. 196.

[3] Цит. по: Там же. С. 200.

[4] Дневник. С. 41.

[5] Цит. по: Фатов. С. 188.

Став уже довольно известным писателем и войдя в круг московской интеллигенции, Андреев не раз шокировал друзей агрессивными пьяными выходками, подчас это ссорило, разделяло его с людьми. В 1903 году, в длинном «покаянном» письме Горькому — андреевское перо рисует жутковатую, но вполне правдоподобную картину порабощенности алкоголем: «...когда выпью, становлюсь настоящим сумасшедшим. Мною овладевают странные представления, в которых действительность искажается, как в кривом зеркале; я перехожу через ряд форменных маний, начиная обычно с мании величия, кончая манией преследования... <...> Ломаю вещи, дерусь; меня часто били товарищи, приятели, били меня на улице, в участке, однажды, года четыре назад (в 1899-м. — *Н. С.*) чуть не выбили глаза». Объясняя «технологию» своего пьянства, Андреев признается, что, выпив две-три рюмки, уже «нехорошо помню свои и чужие слова, а когда напиваюсь, то как будто проваливаюсь в какую-то черную яму». Признается он и в вечном страхе перед водкой и том стыде, который испытывал он после пьяного разгула. Интересно, что будущий писатель замечает, что трезвый — никогда не мог толком обдумать то, что с ним происходит в моменты опьянения — именно из-за страха и стыда. «Оттого-то так много горечи, страха и тоски на моей душе и так мало самоуважения»[1], — подытоживает свой юношеский опыт молодой Андреев.

Да, ставшая в те годы ярчайшим свойством Андреева *двойственность* порождала и порождает по сей день множество споров, кривотолков, версий и серьезных академических исследований. Даже не отличающиеся примерным поведением университетские товарищи Андреева считали порой его выходки болезненными — всем было известно, что не единожды с «припадками тяжелой психоастении» он попадал в клиники... Психическое нездоровье Андреева активно обсуждалось газетчиками в период расцвета его писательской славы, такие предположения высказывали и некоторые современники. Родственники Андреева в один голос отвергали подобные предположения, утверждая, что Леонид Николаевич хотя и отличался тяжелым характером и временами «заболевал», что означало «пил запоями», но при всем этом оставался абсолютно нормальным человеком. И хотя сам Леонид охотно обсуждал с друзьями некоторые странности своего психического «устройства»: «Да, действительно, — на меня действует всякий наркоз, не говоря о вине, но даже если я много курю или пью крепкий чай, я чувствую, что я раздвояюсь: во мне живут два

[1] Переписка. С. 178.

человека, не похожих один на другого»[1], — в те годы он категорически не признавал себя больным.

Раздвоение собственной личности Андреев пунктуально фиксирует и в дневнике: «Не пришла. Опять один и водка. Сейчас выпил три рюмки и совсем одурел. <...> Какие-то странные чувства я испытываю. То вот минуту тому назад мне показалось, что я не я, т. е. собственно как будто я стою, а другое я смотрит на меня»[2]. На следующей странице — дальнейшие стадии алкогольного опьянения: «Теперь, когда я выпил столько, чтобы в другое время с ног свалиться, я нахожу в себе способность мыслить и писать поистине удивительно». Автор дневника клянется, что с каждой рюмкой увеличиваются его «умственные способности и... сумасшествие», попутно он делает открытие, что «из стакана пить лучше». Каждую выпитую рюмку (или стакан?) Андреев отмечает в дневнике красной строкой. Впрочем, обещанных великих мыслей дальнейшие страницы не содержат, но для автора важны были, вероятно, не сами мысли, а общее ощущение необыкновенного умственного и душевного возбуждения, в который его повергает алкоголь. Оставив на будущее обсуждение вопроса о действительном или мнимом сумасшествии Андреева, пристально посмотрим на вечный источник его мрачной аффективности, причину глубоких запоев и попыток суицида.

Второй, напечатанный рассказ Андреева «Он, она и водка» уже в заглавии своем содержит суть сложившейся проблемы: «Он ее любил, она его не любила. А может быть, и любила, но только странно как-то вышло все это». Подобная драматическая коллизия преследовала Андреева едва ли не всю его жизнь. Все — и даже завершающиеся браком — его серьезные романы включали некий период «отверженности». А между тем писатель никогда не скрывал, что для него «любовь является необходимым стержнем», а подчас «условием существования».

«Слово “женщина” было огненными буквами выжжено в мозгу Павла; он первым видел его на каждой развернутой странице; люди говорили тихо, но, когда встречалось слово “женщина”, они как будто выкрикивали его, — и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово». Подобно герою рассказа «В тумане» Павлу — Леонид с ранней юности придавал гипертрофированное значение «сердечным мукам», страницы его дневников 1890-х годов почти целиком отданы описаниям любовных перипетий: «...с детства

---

[1] *Белоусов И.* Литературная среда: Воспоминания. 1880—1928. М.: Кооперативное изд-во писателей «Никитинские субботники», 1928. С. 159.

[2] Дневник. С. 9.

я стремился к любви. Вся юность была отдана ей»[1]. Ответить на вопрос о причинах подобной всепоглощающей зависимости не так-то просто.

В рассказе «Он, она и водка» довольно живо представлен он — протагонист «любовного треугольника»: «У него не хватало винта. В голове ли, или в ином месте, но не хватало. <...> Все у него шаталось, скрипело, падало и мешало другому».

Здесь дается, как мне кажется, психологически точный портрет Андреева — московского студента. И далее, когда «в блеске, в свете яркого дня явилась перед ним она», — «он почувствовал, что у него явились неведомые силы, и решил, что винтик нашелся». Возможно, причина такой всепоглощающей страсти кроется в уникальных свойствах этой роковой для Андреева женщины? Женщины, о которой он через много-много лет в одном из своих последних рассказов напишет, что «и в могиле не дал бы [ей] покоя... и если она умрет, а я еще буду жив, я найму человека с палкой, который все время, день и ночь, будет стучать в ее могильный камень, не даст ей спать ни днем, ни ночью». Чем же вызвала эта женщина столь яростную жестокость? «Шесть лет я добивался ее любви, все силы души обратил на служение ей, а она... последний на свете, о ком она думала, был я с моей любовью».

Что ж... пора представить вторую героиню пьесы «Жизнь Леонида Андреева» — Надежду Антонову. Сохранившиеся фотографии доносят образ довольно милой, щекастой и обаятельной барышни: высокий лоб и прямой носик могли бы превратить ее профиль в «мраморный», если бы не сквозящее на всех фото простодушное выражение глаз. Думаю, Андреев был объективен, когда писал о Наденьке, что «поэт старых времен затруднился бы охарактеризовать ее. Ни ангелом, ни демоном нельзя было назвать ее — но было в ней и черта немножко и немножко ангела... Наивна была, как ребенок, жестока, как могут быть только жестоки дети, и ласкова, как только может быть ласкова женщина...». Так, желая представить возлюбленную единственной достойной Героя Женщиной, еще неопытный автор рассказа «Он, она и водка» на самом деле рисует портрет самой заурядной барышни, о которой, в сущности, нечего сказать. И через три года после знакомства с Надеждой он откровенно признавался дневнику, что «она человек обыкновенный, со многими, многими недостатками...» и что он «не знает в ней ни одного достоинства, которого он не мог бы без труда найти у других»[2].

---

[1] Дневник. С. 52.

[2] Там же. С. 56.

Да и биография этой девушки не блещет исключительными событиями: Наденька родилась в Орле и была на пять лет моложе Андреева, ее отец — частный практикующий врач — одно время проживал с семьей в «Доме Лобановых» — известный в Орле дом крепостных И. Тургенева. Старший брат Нади — Яков Антонов — будущий военный инженер — учился в одном классе с Леонидом, и тот — еще в гимназические годы — был тепло принят в доме у Антоновых. Кстати, биографию этого Якова скучной не назовешь: окончив Военную академию в Петербурге, он уехал на Дальний Восток, строил укрепления и Маньчжурскую железную дорогу. А вскоре — Антонов был убит китайскими бандитами, промышляющими в Маньчжурии, когда купался в Амуре... Наденька же, окончив гимназию, как и брат, изъявила желание продолжить образование — и тогда вся семья переехала в Москву. Напомню читателю, что возможности для женского образования были в те годы в России весьма и весьма скудными — вплоть до 1911 года прекрасный пол не допускался в университеты, однако к концу XIX века в столицах существовали разнообразные женские курсы. Надежда усердно занималась на курсах воспитательниц и медсестер, но после их окончания — в 1899 году — работать «по специальности» так и не начала, а вышла замуж за чиновника городской управы по фамилии Фохт, вскоре у нее родилась дочь...

Никому, однако, не пришло бы в голову тщательно выписывать эту ничем не примечательную биографию, если бы писатель Леонид Андреев не назвал 22 июня 1894 года — день, когда он встретил уже подросшую шестнадцатилетнюю сестренку своего товарища и отдал ей свое сердце, — «вторым днем своего рождения»: «Острые страдания, жестокая операция, которую произвели над моим сердцем, возможность полного счастья, следовательно, вера в жизнь — пробудили во мне жажду этой жизни, разбудили погруженный в спячку ум — и я стал жить». Время, прошедшее после их первой встречи, казалось, только усилило это чувство, Андреев все больше утверждался в судьбоносном значении своей любви: «Не буду разбирать подробности этих трех лет. Важно то, что в каждую минуту через них проходит красной нитью любовь к Наде, мысль о ней... Рисование, дневники, чтение — всё, что наполняет мою жизнь, делалось во имя нее, — сознательно или бессознательно нельзя отыскать в моей жизни ни одного мельчайшего поступка, движения, с которым так или иначе не связывалась бы мысль о Наде»[1].

---

[1] Там же. С. 21.

Подробности этих трех лет и составляют содержание рассказа «Он, она и водка»: летом 1894 года «он заявил, что ее искал, нашел и любит». Пылкость красавца-студента возымела некоторый успех у провинциальной барышни: «...она сказала, что любит, а он удивился и спросил: правда? И услышал в ответ: правда». Далее следуют нежные прогулки при соловьях, где «он поцеловал ее, и она ему ответила». Банальный роман едва не привел к заурядной женитьбе, но... практичная докторша Наталья Алексеевна Антонова, наслышанная о не слишком джентльменском поведении бедного как церковная мышь ухажера дочери, решительно воспротивилась их союзу. «Она же была покорная дочь. Поэтому она сказала: прощайте и простите».

И вот тут-то Надежда превратилась для Андреева в навязчивую идею, а ее отказ выводит на арену третьего персонажа — водку. Он «видит чертика, да такого зелененького и маленького: сидит и язык ему показывает». Решительный разрыв, абсолютная невозможность видеться с Антоновой и даже писать ей, как мне кажется, свели бы на нет великую, но безответную любовь, и история эта ничем бы не отличалась от влюбленности Андреева, например, в Женечку Хлуденеву... Однако, судя по всему, робкой бесхребетной Наденьке очень нравился буйный непредсказуемый московский студент и через год — летом 1895 года их платонический роман продолжился. Судя по дневниковым записям Андреева, Надя опять прошептала свое «люблю», когда тот — в компании двоюродной сестры и ее подруги — приехал в Нарышкино, где Антоновы снимали дачу. Интересно, что по пути Андреев ухаживал за Машей Воскресенской — подругой кузины: «Леонид всю дорогу молол ей о своей любви, а она плакала — такого ответа на свои ухаживания ему обыкновенно не приходилось встречать»[1]. Предполагаю, что, встретив Леонида в обществе потенциальной соперницы, Антонова тотчас сменила гнев на милость и подала ему определенную надежду. Так Нарышкино — станция на Рижско-Орловской железной дороге — на долгие годы станет для влюбленного студента «потерянным раем» — воспоминание о прогулках с Надеждой среди белоствольных берез и лесных ракит, как писал наш герой в дневнике, «расширяет мою грудь, переполняет сердце и создает во мне чувство всеобъемлющей, мучительно сладкой, божественно прекрасной любви...»[2].

Переехав в Москву, Надежда Антонова быстро осваивается в новом городе: в дневниковых записях Андреева за 1897 год

---

[1] Цит. по: Фатов. С. 231.

[2] Дневник. С. 70.

появляются отчаянные строки о многочисленных ее ухажерах и о том, что в витрине фотоателье «на Арбате выставлена ее карточка, в профиль». Здесь отношения «Он и Она», как с горечью признается Андреев, опять-таки меняются: «...зимой, как известно, я виделся с нею только раз. По обращению, по словам, взглядам и намекам, я увидел, что любовь ее ко мне еще не иссякла, что я по-прежнему занимаю ее мысли и среди других ее ухаживателей стою совершенно особняком. Совершенно противоположное впечатление произвели наши весенние свидания»[1]. Тщательно изучив расписание курсов, где училась Надежда, Андреев частенько поджидает ее на Пречистенском бульваре, когда возлюбленная возвращается домой. Эти встречи, увы, убеждают его в том, что Надя «глубоко равнодушна... я стал “одним из”, скучным, надоедливым и немного жалким».

Надо сказать, что мы имеем подробную хронологическую летопись внутренней жизни влюбленного в Антонову Андреева. «Четвертый дневник начинаю я во имя Надежды Александровны, — записывает Андреев в дневник 28 марта 1897 года. — Значение этой любви для меня громадно. Она единственный смысл моей жизни». О чувствах же и мотивах Надежды Александровны — можем только догадываться.

Осенью 1897 года в их отношениях наступает перелом, 4 сентября Леонид решается на второе предложение руки и сердца: «Завтра страшный день. <...> Может стать рубежом, с которого начнется жизнь новая». Случайно встретив Антонову на бульваре, Андреев проводил «ее до дому, говорил, смеялся, всё пообычному». Почувствовав некоторое расположение Наденьки, Леонид довольно решительно просит ее назначить ему свидание и... «Н. А. после некоторых колебаний назначает завтрашнее утро». Его намерения были твердыми: «В самых ясных, точных и решительных выражениях я изложу Н. А. всю историю и догму своего чувства, обрисую свое материальное положение в настоящем и ближайшем будущем и в заключении спрошу: согласна ли она быть моей женой, хотя бы через год или два»[2].

Запись от 5 сентября объявляет о том, что «Антонова ответила отказом. Писать не могу. Мука, горшая смерти. Страшно. Надежды никакой...». И снова бросок — к водке: «да разве я живу, я пью». Через месяц: «А тут еще говорят, что истинной любви не существует! Пропито 40 р. И неведомо где утрачены часы... А сколько было безобразий. А сколько было пьяных слез, полудействительных разрывов сердца, действительных мучений...» Такова, судя по дневниковым записям, реакция Леонида.

[1] Там же. С. 76.
[2] Там же. С. 114.

А что же Наденька? Отказав «наследнику Достоевского и Гоголя», мучилась, плакала ли она? Думаю, нет. Легкость, с которой девушка отвергла Андреева, и предшествующее ее равнодушие к пылкому воздыхателю косвенно указывают на то, что она успела-таки влюбиться в кого-то из ухажеров, возможно, в чиновника Фохта — своего будущего мужа. Что ж... Герой андреевского рассказа прожил несколько лет, женился, но так и не отделался от своей безнадежной страсти: «Пролетели года. Он пил водку, однажды пьяный подрался с мастеровыми, был сильно избит и через два дня умер». Но наш герой — Леонид Андреев — через несколько лет преодолел сердечную муку и даже — под воздействием невесты, а потом жены Сашеньки Велигорской — бросил пить водку и обрел счастье в новой — пусть и трагически оборвавшейся любви.

А вот Надежда Антонова — по первому мужу Фохт, по второму — Чукмалдина — в отличие от героини рассказа, которая «была счастлива и имела многочисленное потомство», вскоре потеряла покой и, судя по всему, так никогда и не добилась даже видимости простого женского счастья. Ни одно из ее замужеств не было удачным, в 1913 году Надежда Александровна почувствовала влечение к сцене и, окончив драматическое отделение училища Московской филармонии, пыталась сделать карьеру в театре, без особого, впрочем, успеха. И, кстати, отношения ее с Андреевым далеко не исчерпаны и Наденька не раз еще встретится нам на страницах его жизни.

Как ни странно, в отличие от Зинаиды Сибилевой, Надежда Антонова как будто не вдохновила мастера на создание литературного шедевра. Рассказ «Он, она и водка» был передан в «Орловский вестник», где и напечатан 9 сентября 1895 года — в субботнем выпуске. Приятель Андреева Севастьянов вспоминал, что «редактор Сентянин, хотя и напечатал, но когда я зашел спросить, стоит ли Андрееву присылать еще, сказал, что нет, не стоит, т. к. рассказ слаб»[1]. Появление второго литературного опуса, подписанного на этот раз Л. А., как и «В холоде и в золоте», осталось совершенно незамеченным, разве что в семье Антоновых публикация эта вызвала переполох. Мать и дочь, прочтя рассказ, тщательно спрятали друг от друга этот выпуск «Орловского вестника», Наденька боялась расстроить мать, а ее мама — разволновать дочку... Если бы только знали они, какого жениха отвергают...

Сама Надежда, помимо этого, крайне слабого произведения — в образе белочки появляется в сказке «Орешек», упоминается в позднем рассказе «Два письма», бледен вдохновлен-

---

[1] Цит. по: Фатов. С. 189.

ный ею женский образ в «Мысли», исследователи находят ее тень и в пьесах «Дни нашей жизни», «Младость», «Gaudeamus», еще в нескольких произведениях, но эти фигуры не идут ни в какое сравнение с Зиночкой, Анфисой или Катериной Ивановной. И вопрос: «Так почему же, за что люблю ее я так безумно, так безгранично, такой нечеловеческой, страшной в своей силе и непреоборимости любовью?» — не находит ответа ни в истории отношений Андреева и Антоновой, ни в его будущих произведениях. Даже и прочитав от корки до корки дневник 1897—1901 годов, по страницам которого буквально «расхаживает» Надежда Антонова и который Андреев завещает именно ей, невозможно вообразить внятный и отчетливый образ этой девушки — перед нами тысячи слов о Наде и... увы, ее безликая и мутная тень.

И все-таки — как мне кажется — дневник Андреева, поскольку туда он заносил любое, связанное с любовными переживаниями, соображение, содержит — хотя и в закодированном виде — часть ответа на вопрос о природе этой действительно важной для нашего героя страсти. 3 мая 1897 года Андреев замечает, что «...той жажды, той любви, которая томит меня — Надя не могла бы удовлетворить, как и никто в мире. Чего я хочу, о чем бьется и замирает мое сердце? Не знаю. Поцелуи, объятия, все, что составляет любовь — все это далеко от того, что я хочу...»[1]. Уже в отношениях с Зинаидой обнаружилось это свойство молодого Андреева — он должен был прежде всего — возвышенно мечтать о возлюбленной, в вину Зинаиде ставилось то, что «он больше не может мечтать о ней». Именно поэтому Леонид, на мой взгляд, обжегшись на первой любви, долгие годы, всем своим существом искал отношений, которые — в силу разных причин — оставались бы для него *безнадежными*. И при этом было у него множество не слишком затрагивающих душу любовных интрижек. При этом — временами он мучился, восторгался, испытывал трепет, влюблялся и разочаровывался и влюблялся опять в свою будущую невесту и жену — тогда еще гимназистку Шурочку Велигорскую. Но именно в безнадежности Андреев бессознательно находил залог того, что он больше всего ценил в любовной истории — возможность рисовать в своем воображении картины рая... «Я хотел бы, чтобы мы были с Надей далеко, далеко от людей. Чтобы над нами раскинулось это голубое небо, бесконечное, спокойное, любящее, чтобы нас окружал лес своей прохладой и ароматом...» Подобная пасторальная сценка заканчивается патетически: «...чтобы я не видел ничего, кроме

[1] Дневник. С. 70.

ее взора, неба и леса»[1]. Впрочем, не будем так уж строго судить юношеские мечтания, представления и чувства, которые сопутствовали всей этой любовной истории. Думаю, Леонид, прежде чем превратиться в Леонида Андреева, отважно пытался претворить в жизнь несколько философских концепций. И прав был — в будущем хорошо знавший Андреева — Георгий Чулков, утверждая, что «при всей своей религиозной слепоте одну религиозную правду он принял как живую и несомненную реальность, — это правду о вечно женственной красоте, о возможной, но несуществующей мировой гармонии»[2]. Не имея нормального академического образования, наш герой слишком буквально понимал обрушивающийся на его голову поток идей и каждой отдавался чересчур страстно. «Он любил все огромное», — скажет о нем Корней Чуковский. И предполагаю — огромный сердечный пожар, зажженный Наденькой Антоновой, мог бы быть потушен одним «стаканом воды» — безграничная любовь иссякла бы после первой недели брака.

Что ж, на этом можно было бы и перевернуть страницу, если бы подобный жизненный опыт голодного студента не спровоцировал мощную тему в творчестве писателя Леонида Андреева. Еще в дневниковых записях 1896—1897 годов он признается, что предпочел бы увидеть Надежду мертвой, нежели замужем за другим. Вскоре — в апреле 1898 года — это признание трансформируется в мысль о том, что он бы мог на самом деле убить ее: «*У меня явилась мысль... если бы в мире все шло так, как оно должно идти, я должен был бы убить Н. А.*»[3]. Интересно, что и в рассказе «Он, она и водка» у героя возникает мысль об убийстве возлюбленной, поскольку он не сможет вынести, если та «будет жить и любить другого»: «Я убью тебя. Ты отдана мне судьбой, и в могилу унесу я тебя». И там, где в момент воплощения замысла безвольный пьяница отступил, сраженный красотой и детской безмятежностью спящей героини, именно там герой «Мысли» — будущего шедевра Андреева — тщательно задумывает и планомерно осуществляет убийство, но не героини, а — счастливого соперника. В написанной от первого лица «Лжи» герой лишает жизни лгунью-возлюбленную. И, кстати, был у «Мысли» и еще один черновик — неоконченный набросок «Случилось все это очень просто...», где отвергнутый любимой женщиной герой замысливает убийство... правда, из рассказа невозможно понять, ее или же счастливого

---

[1] Дневник. С. 71.

[2] Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Г. Чулкова, Б. Зайцева, Н. Телешова, Е. Замятина, А. Белого. Пг.; Берлин, 1922. С. 117.

[3] Дневник. С. 136.

соперника. Так тема, спровоцированная жизненной драмой, в течение четырех лет медленно вращалась в сознании Андреева — и как будто ждала, когда мастерство писателя созреет, чтобы придать ей адекватное выражение. «Я сейчас затрудняюсь проследить процесс мысли, приведший меня к мысли о закономерности убийства», — в апреле 1898 года признается отвергнутый Наденькой Леонид дневнику. Ровно через четыре года — в апреле 1902-го — Андреев закончил «Мысль».

Да, доктор Керженцев — герой рассказа «Мысль», как и его автор Леонид Андреев, — «делал... предложение, и оно было отвергнуто». Более того, в исповеди героя подчеркиваются дата и реакция предмета страсти: «напомните ей: *пятого сентября, она засмеялась*», и, как мы уже знаем, именно 5 сентября Андреев делает предложение Антоновой и получает отказ. Героиня «Мысли» Татьяна Николаевна, отвергнув Керженцева, через два года выходит замуж за его приятеля Алексея, Надежда Александровна венчается с чиновником Фохтом в 1899 году — также через два года после отказа Андрееву. Здесь дело даже не в прямых соответствиях, а в том, что они как будто намеренно подчеркнуты в этом, одном из лучших произведений писателя. Идея убийства счастливого соперника завладевает всем существом доктора Керженцева.

Формально «Мысль» — записки проходящего на судебно-медицинскую экспертизу преступника — напоминает «Записки сумасшедшего» Гоголя, однако здесь — в отличие от случая с чиновником Поприщиным — никто: ни сам герой, ни читатели-эксперты, ни даже автор — не знает, нормален ли доктор Керженцев. На первой жс странице исповеди Керженцев мстительно отмечает, что женщина, ради которой он убил счастливого соперника, «...сильно, сильно подурнела... Щеки серые, кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка». Однако далее — и именно в этом сущность и величие «Мысли» — рассказчик уходит от накатанного сюжета адюльтера с кровавой развязкой и погружает читателя в пучины сознания и подсознания доктора Керженцева. В мутных записках героя, где факты прошлой жизни, как и откровенный рассказ о задачах преступления: «нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня» и способах его осуществления — «симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления, а потом выздороветь» — перемежаются с ужасными картинами в доме скорби, где находится герой и где постепенно обнаруживает в себе признаки подлинного безумия. Сам монолог Керженцева столь убедительно и даже с каким-то патологическим правдоподобием скользит на грани безумия и исповеди воспаленного,

пропитанного ницшеанством разума, что и в момент выхода в свет в 1902 году, и по сей день «Мысль» провоцирует исследователей применить вывод героя: «Ты думал, что ты притворяешься, а ты и был сумасшедшим» — к самому автору «Мысли».

Как уже говорилось, шумный успех «Мысли» способствовал газетной шумихе вокруг вопроса о душевном здоровье автора. Рассказ ошарашил даже «видавшего виды» литературного критика Н. К. Михайловского, который в письме Андрееву недоумевал: «Какой может быть в нем идейный смысл? Если же это просто клиническая картинка душевного распада человека, то он (Михайловский. — *Н. С.*) недостаточно компетентен, чтобы судить, насколько точно передана психология больного. Тут нужно судить психиатру»[1]. Газетные слухи о том, что и сам Андреев имел печальную возможность «познакомиться» с психиатрией в одной из специальных клиник, подтвердил врач-психиатр И. И. Иванов в своем докладе о рассказе «Мысль», прочитанном вскоре после выхода текста в Петербурге на заседании Общества нормальной и патологической психологии. Возмущенный Андреев выступил с письмом в «Биржевых ведомостях», и г-н Иванов публично принес писателю свои извинения. В начале XX века «Мысль» активно использовалась в исследованиях специалистов-психиатров, но вместе с тем и тогда, и теперь подавляющее большинство литературных критиков считают этот рассказ глубочайшим произведением, а доктора Керженцева — достойным звеном в цепочке героев русской словесности — находящимся где-то между Смердяковым, Иваном Карамазовым и Кавалеровым[2]. Теперь — так же, как и в начале века — каждая из сторон осталась при своем мнении, шумиха же вокруг «сумасшествия Андреева» постепенно улеглась.

Да, мы можем сказать, что Андреев любил фабулы безумия, любил он и героев, находящихся на грани или же танцующих на его острие, но... читая его переписку с родными или дневники, — мы обнаруживаем полную осознанность, тщательную рефлексию, а главное — здоровый, добродушный юмор, обращенный частенько на себя самого... Как читатель, долго живущий с самыми разными текстами Андреева, его словесными, живописными и фотографическими портретами, сделанными как им самим, так и его современниками, — я полагаю, что это был весьма непростой, равно склонный к депрессиям и к чересчур эмоциональным, бесшабашным, непродуманным жестам характер... И все-таки, по моему ощущению, психически — наш герой — глубоко *нормальный* человек.

---

[1] Цит. по: *Брусянин В. В.* Леонид Андреев: Жизнь и творчество. М.: Кн-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 63.

[2] *Кавалеров* — герой написанной уже в 1920-е годы повести Ю. Олеши «Зависть», а также и пьесы «Заговор чувств».

Глава четвертая. 1897—1901:
БЕЛЛЕТРИСТ РОДИЛСЯ!

В Москву! В Москву! Бедность и нищета.
Семья Добровых-Велигорских: знакомство с будущей женой.
Государственные экзамены. Начало трудовой жизни:
помощник присяжного поверенного, судебный репортер.
«Баргамот и Гараська»: литературный дебют в «Курьере».
Журналист James Lynch. Сказка «Оро» как предчувствие стиля.
Знакомство с Горьким: первый друг, первый литературный круг,
первый сборник рассказов. Похвальный отзыв Михайловского.
Внезапная известность. Толстовское слово. Реалист ли я?

«Но отчего, когда я гляжу в зеркальное окно вагона, я всегда вижу призрак студента с голодными глазами, который быстро и безнадежно стремится за поездом, бесследно исчезает на шумных остановках и снова несется... над солнечными долинами Арно, над стремнинами Норвегии, над бурным простором Атлантиды?» Жизнь великих людей выгодно отличается от биографии простого смертного: ведь они — великие — недаром топтали землю и ели свой хлеб, а следовательно, фабула их жизни имеет некую тему. И потому-то сложенные друг за другом факты андреевской биографии так легко поддаются толкованию, да и сам Леонид Николаевич с чрезвычайной охотой интерпретировал свое прошлое. Одно из таких толкований мы можем вычитать из позднего рассказа «Два письма». Первая часть — монолог знаменитого и богатого, но одинокого и уставшего от реалий жизни художника, который отказывает в свидании романтически влюбленной в него деве и прощается с ней навсегда. А по сему случаю старсющий мэтр в длинном письме пересказывает юному созданию всю свою жизнь — жизнь, в общих чертах сходную с биографией автора «Двух писем», трактуя ее так: «Все приходит слишком поздно, и в этом разгадка моего отчаяния».

Что ж... вполне вероятно, что для впечатлительного и упрямого Ленуши, для гордого «герцога», романтически-отчаянного нищего ницшеанца десятилетний путь становления оказался слишком долог, многотруден, мучителен. Мы же — простые смертные — трактуем эти годы совершенно иначе. Тот факт,

что, едва достигнув тридцати лет, — наш герой — «студент с голодными глазами» обретает известность, собственный голос, любимую профессию, относительный достаток; тот факт, что вскоре он бросит пить и скандалить, женится на любимой и любящей его девушке, начнет восхождение на литературный олимп, — кажется нам вполне закономерным и своевременным. Десятилетие же (с 1891-го по 1901-й) самостоятельного «барахтанья» Андреева среди жизненных стихий не только подготовило ему отличнейший, практически «безотходный» материал для будущих текстов — десятилетие это вылепило и выдающееся — ироническое и нервное — андреевское перо. Его письма, дневниковые записи, все чаще и чаще возникающие наброски рассказов, речи в суде, судебные очерки, статьи и фельетоны — и стали истинными «университетами», сделав из начинающего юриста профессионального писателя. В это время окончательно сформировались и мировоззрение, и психика Леонида Андреева: его мучитель — судьба — как будто специально разбрасывала на пути молодого человека различного рода препятствия, заставляя нашего героя частенько ощущать себя на грани отчаяния — «между стеной и бездной».

Во-первых, разного рода неприятности терзали в 1890-е годы семью Андреевых: в апреле 1894 года в орловском доме был произведен обыск — полиция арестовала всех жильцов, снимающих у Анастасии Николаевны комнаты и флигель, и в тот же вечер, как вспоминала Римма Андреева, «околоточный попросил мать пройти с ним до участка, чтобы подписать протокол. Мы все были уверены, что она скоро придет назад. Так думала и сама мать»[1]. Не тут-то было! Поскольку селившиеся у Андреевых ссыльные в письмах частенько рекомендовали своим соратникам «этот гостеприимный дом» и саму хозяйку как «милого отзывчивого человека», — Анастасию Николаевну арестовали, и больше месяца (!) она провела в тюрьме. Более того, заподозрив ни в чем не разбиравшуюся толком, а потому «неправильно» отвечающую на вопросы следователя добрую женщину в том, что она — организатор «революционного подполья», ее, как особо опасного подозреваемого, — увезли в Петербург. И только после бесконечных хлопот Леонида и родственников Анастасия вышла «на свободу» — «под особый надзор» полиции. Курьез заключался в том, что у 43-летней женщины не было не только политических убеждений, но и элементарного понимания ситуации, и во время допросов она выводила из себя следователей, бескомпромиссно настаивая на том, что все ее жильцы — прекрасные, добрые и

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 55.

наичестнейшие люди... И тогда, и позже — обыск и арест воспринимала она как стихийное бедствие, удар судьбы. Другим ударом стали слухи о тяжелых запоях Ленуши в Москве — да и наезжая в Орел, старший сын не радовал ее своим физическим состоянием. Пятеро взрослеющих детей, беспокойство за Леонида, разваливающееся хозяйство и «роковые удары» привели к тому, что в конце 1894 года, собравшись с силами, Анастасия «поднялась с насиженного места, продала домик и перебралась в Москву». Трудно сказать, чем — надеждой или отчаянием — был в конечном итоге продиктован этот поступок. Семья отрывалась от многочисленного орловского родственного клана и устремлялась в неизвестность. Надежды на то, что старший сын сможет прокормить мать и пятерых подрастающих братьев и сестер, не было никакой. В первой биографии Андреева В. В. Брусянин приводит рассказанные ему Анастасией Николаевной практические подробности: «Денег со мной было всего полторы тысячи, с этим и начала новую жизнь в Москве»[1].

Но, так или иначе, с начала 1895 года Леонид вновь воссоединяется с семьей, чтобы теперь уже вместе с матерью, братьями и сестрами бороться с нуждой, которая буквально «подступила к горлу» уже в середине года, когда деньги, вырученные от продажи дома, иссякли. Начались отчаянно «голодные» дни: «из чайной посуды было два стакана и одна полоскательница, из которой мы по очереди пили чай». В своих воспоминаниях Павел Андреев пытается восстановить «экономическую картину» бедствий: «Доходы же наши были: 10-рублевый урок Леонида, 15 рублей получал второй брат (Всеволод. — *Н. С.*), который работал в Окружном суде в качестве писца, и, наконец, заработок двух младших сестер, которые работали в корсетной мастерской, и где заработок их обеих... не превышал 30 копеек в день». Нехитрый математический расчет показывает, что семья из семи человек не имела в эти годы и «прожиточного минимума» — то есть денег у Андреевых не хватало даже на еду. Арифметические выкладки подтверждаются воспоминаниями Риммы и Павла: «Леонид оставался в студенческой столовой, откуда иногда украдкой таскал нам хлеб... сестры к закрытию магазинов шли в булочную Филиппова, где и подавали им хлеба». В особо отчаянные дни, вспоминала Римма, семью спасал ломбард: «У меня были хорошие ботинки, за которые давали 50 коп., и зеркало. Была также серебряная риза с иконами,

[1] *Брусянин В. В.* Леонид Андреев: Жизнь и творчество. С. 45.

которая так и пропала в ломбарде. Закладывались также и подушки, кроме подушки Леонида...»[1]

Нищета сужала пространство обитания, московские съемные квартиры, которые могли себе позволить Андреéвы в 1890-е годы, были сплошь темные, сырые, чересчур холодные утром и слишком душные и жаркие вечером, когда топилась печь. Первая квартира на Пречистенском бульваре снята была на втором этаже дома Крейзмана — впрочем, уже и это жилище не шло ни в какое сравнение с «орловскими хоромами». В первом этаже — прямо под Андреевыми — была конюшня. «Мы живем в бельэтаже, — писал Леонид сестре, — причем первый этаж составляют сараи. Когда я не страдаю насморком, я могу совершенно явственно обонять запах свежего навоза, проходящий в щели пола». Здесь — по орловской привычке — Андреевы еще пытались сдавать «комнатку со столом». Но вскоре из дома Крейзмана пришлось бежать — из-за скандала, который в пьяном виде учинил «жильцам» Леонид. Дальнейшие скитания по центру Москвы: селились на Спиридоновской, на Малой Никитской, в Гранатном переулке — отнюдь не улучшали, а лишь ухудшали условия проживания. Всегда зависимый от пространства обитания — Андреев оттачивал свой фирменный иронический стиль, рисуя свое жилище в письмах Пановым: «Дело в том, что окна в моей комнате наравне с тротуаром; рамы выставлены — и трудно решить, пью я чай *на окне или на панели. И это бы не беда: неприятно*, что вчера какой-то прохожий попал ногой в стакан. Неприятно также по утрам пить чай с хлебом, ибо собирается много собак, иногда очень дерзких. Вообще не понимаю, чем заслужил я такое расположение, но каждая проходящая собака делает мне визит и оставляет карточку»[2]. Эта квартира была примечательна и тем, что «с одной стороны... будучи по пространству равна полярному кругу, обладает в то же время чрезвычайно низкой температурой, так что я не на шутку опасаюсь, как бы не завелись у нас белые медведи, что составит сильную конкуренцию для блох...». «Комната моя не так уж дурна. Очень светла — когда зажгут несколько ламп; днем темновата немного: на днях я утром потерял в комнате маму, и нашел ее только к вечеру, хотя мы все время перекликались...»[3] Сквозь авторскую иронию отчетливо просвечивает набросок в стиле «святые 60-е»[4] — скверное,

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 58.

[2] Фатов. С. 96—97.

[3] Там же. С. 100—102.

[4] В 1860-е годы в русской живописи преобладали полотна бытового жанра, изображающие «социальные язвы», к примеру «Проводы покойника» или «Тройка» В. Перова.

холодное, темное тесное, и к тому же — многонаселенное и шумное пространство. «Другое неудобство моей комнаты состоит в том, что человеку непривычному трудно разобрать, ездят ли экипажи по улице или по его голове. Но когда привыкаешь к шуму, так даже приятно: не слышно, по крайней мере, как ворчит Всеволод и стонет Андрей (ему не хочется учиться)». В письмах двоюродной сестре Андреев ловко «бросает» на холст все новые мазки, и жилище — источник постоянного вдохновения: «Некоторые гости, как Борткевич, напр., входят ко мне на четвереньках ввиду низких потолков, но не жалуются, а наоборот, очень довольны»[1]. Другой переезд — новая «краска»: «...особенность квартиры: дым из печки не выходит наружу, а остается в комнатах, что предохраняет нас от возможности испортиться. Мама, напр., настолько хорошо прокопчена, что все копченые селедки принуждены подать в отставку»[2]. Вскоре в дневнике появится запись о том, что Пановы ходят по знакомым и зачитывают им письма Леонида Андреева, а те — покатываются от хохота. Собственно, это первый, дошедший до нас, знак «общественного признания» литературного дара Леонида.

В будущем, 1901 году Андреев напишет рассказ «В подвале», текст этот обнажает совершенно иную — драматическую — интонацию по отношению к пространству: пробуждаясь от сна Хижняков, который «сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале», слышит звуки «рождающегося дня: глухой говор прохожих, отдаленный скрип двери, громыхание дворницкой метлы, сметающей снег с подоконника, — весь неопределенный гул просыпающегося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное: беспощадно светлое сознание, что пришел новый день и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь без надежды на победу». В отличие от автора герой рассказа никогда уже не покинет замкнутость подвала-гроба, где у изголовья его кровати сидит «бесшумно хищная смерть» и ждет — «спокойно, терпеливо, настойчиво».

Есть ощущения сдавленности, замкнутости пространства-ловушки и в раннем «Случае», здесь мать большого и нищего семейства каждое утро принимается за уборку «квартирки, состоявшей из трех маленьких комнат и такой же миниатюрной кухни». Этот рассказик как будто фотографирует московский

---

[1] Там же. С. 97.

[2] Там же. С. 127.

быт Андреевых: в маленькой квартире между 16-м и 20-м числами ухваты и кастрюли «чувствуют себя на каникулах», а все дети, кроме старшего брата, пьют по утрам чай не только без сахара, но даже и без хлеба. Такая «магия чисел» объясняется просто: 20-е — день получения жалованья единственным кормильцем — старшим сыном Иваном Семеновичем, а 16-е — день, когда от прежнего жалованья у матери семейства остается всего один рубль. Действительность, «как строгий учитель математики, предлагает Анне Ивановне разрешить следующую задачу: в рубле 100 копеек; от 16-го до 20-го четыре дня; в доме ртов пять — как нужно разделить 100 копеек, чтобы все пятеро во все четыре дня сыты были?».

Хотя в реальности у матери Андреева в семействе было не пять, а все семь ртов, и не один, а четверо уже приносили в дом хоть какой-то заработок, ежедневные мысли Анастасии Николаевны были, вероятно, чрезвычайно схожи с мыслями Анны Ивановны из «Случая»: «Как маленький островок, возвышался на этом море целковый, а вокруг него кишели, как чудовища, и картофель, и постное масло и хлеб, и грозили бесследно поглотить его». Дабы читатель смог, что называется, на собственной шкуре прочувствовать проблему Анны Ивановны, я напомню, что согласно сведениям, приведенным в книге Владимира Широкогорова «Цены и оклады: дореволюционная Россия», килограмм говядины в Москве 1896 года стоил приблизительно 50 копеек, а килограмм картошки — примерно шесть. За килограмм сливочного масла брали больше рубля, литр сметаны тоже обходился недешево — где-то в 60 копеек, за кило сахара просили — около 30, за бутылку молока — восемь. Зато черствый хлеб можно было приобрести по четыре копейки за буханку, деревенский творог же — а мы можем представить себе, насколько великолепного он был качества, — стоил всего-то десять копеек за килограмм[1]. Так вот, даже если бы Анна Ивановна и захотела подержать своих детей на разгрузочной молочной диете, кормя их, к примеру, относительно дешевыми и крайне полезными молоком, творогом и черствым хлебом, — рубля едва хватило бы на два дня.

Забавно, что в этом рассказике 1897 года с мягким, уже таким андреевским, юмором описан случай осуществления общей, интернациональной мечты всех, кто живет на грани нищеты: где-то на пустынной Спиридоновской Анна Ивановна находит кошелек, а в нем — миллион рублей! Как часто, я думаю, слишком часто семейство Андреевых — все вместе и каждый

---

[1] Продавали и покупали все это конечно же фунтами, но для удобства читателя я перевожу меры и цены в нынешний формат.

наедине с собой — мысленно тратило в те годы эту денежную громаду, начиная с немедленного насыщения, то есть покупки «колбасы, сыру... сардин»... Далее удовлетворялись иные мелкие потребности: «две пары теплых носков, гребешок, яркий голубой галстук и книжка с картинками», дальше — больше: голодным подвальным жителям представлялась их мать — «в ротонде на лисьем меху и с собольим воротником...», и далее — в воображении вспыхивали вопросы о том, «где следует приобрести именьице, небольшое, десятин так в сто, но обязательно с лесом, в лесу чтобы грибы были». Что ж... чересчур мечтательная и крайне бестолковая Анна Ивановна — героиня «Случая», в возбуждении и суете потеряла свой «миллион», успев купить лишь немного пищи и табаку да отложить десять рублей «на самое дно кармана». Мать Андреева Анастасия Николаевна, никогда в жизни не находившая кошелька на улице, всего-то за каких-нибудь десять лет дожила до заграничных путешествий, «соболей и сардин», а далее — и покупки «именьица» с лесом и грибами, где проживала с семьей старшего сына при полном достатке более десяти лет. Как видите — все пришло. И, в сущности, — не так уж и поздно.

И вот еще один взгляд на этот — нищенский — строй жизни первого, прожитого с семьей московского года: «Приехал я в Царицыно после отвратительнейшего года, проведенного мною в кабаке. <...> За моей спиной стояли эти ужасные дни и ночи в грязных, холодных квартирах, где я, совершенно оскотинившись, пил водку... погруженный в отчаянье, грязь и даже подлость...»[1] Это, сделанное как бы между прочим, признание Леонида заставляет усомниться в легкомысленном или иронически-отстраненном отношении к столь удручающей бедности, мы снова сталкиваемся с «фирменным стилем» поведения, а в будущем — и письма Андреева, когда «за раскрашенной маской Арлекина таится скелет». Судя по дневниковой записи, сделанной уже в ту пору, когда жизнь Андреевых немного улучшилась, нищета не просто повергала его в отчаяние, а была-таки невыносима и физически, и психически...

В целом же, вопрос, каково же было истинное отношение нашего героя к бедности и к богатству, пока что остается открытым. Занимали ли его ум в те годы вопросы материального благополучия? Стремился ли, желал ли он сделаться Ротшильдом, как один из героев Достоевского, которого Андреев в те годы уже читал? Возмущала ли его — как многих его современников — несправедливость в распределении жизненных благ? В детстве, как мы помним, сердце Ленуши частенько сжима-

[1] Дневник. С. 83.

лось от жалости к тем, кто «в холоде и голоде», и он — неосознанно и порывисто — стремился помочь таким людям. Но когда он сам и его семья оказались на грани нищеты — изменилось ли у нашего героя отношение к ней? Как уже говорилось, дневник тех лет в крайне искаженном виде представляет не только внешнюю, но и внутреннюю жизнь Леонида Николаевича: страницы тетрадей буквально переполнены «делами сердечными», дела же «умственные», а уж тем более — «практические» почти не находят там своего отражения: «не люблю я говорить о гроше и всяческой прозе жизни, — и всегда оставляю ее за кулисами»[1]. И тем не менее в пространной записи, сделанной 27 марта 1897 года, автор хотя бы отчасти касается интересующего нас вопроса: «Я очень рад, что на Западе разгорелось движение, цель которого избавить людей, подобных Л. Н., от нищеты. Мне жаль только одного, что я лично ничего не получу от будущих сокровищ. Поэтому... я столь же мало готов жертвовать для него здоровьем и жизнью, как и лететь к Северному полюсу. Все это меня не касается. Чтобы окончательно характеризовать мое отношение к людям, я скажу, как распределяются между ними два моих чувства: богатых я ненавижу, а бедных презираю»[2]. Это противоречивое высказывание 26-летнего студента свидетельствует об искреннем эгоцентризме будущего писателя, впрочем, ницшеанский пафос, изливающийся на страницы, одинаково отрицает как борьбу за экономическую справедливость, так и стремление к наживе. Отвращение к нищете никак не связывается у Андреева с восхищением перед богатством.

«Самый дорогой писатель России» был скорее индифферентен к богатству. Оно привлекало его исключительно как средство для реализации собственных эксцентричных проектов — будь то строительство виллы с башней, заказ причудливой, напоминающий театральную декорацию мебели и обстановки, морские путешествия или цветная фотография... Видя нуждающихся, он тут же предлагал помощь, частенько делая это осторожно и анонимно. То есть, как мне кажется, купаясь во славе и с удовольствием принимая все ее блага, Андреев всегда немного стеснялся обрушившихся на него щедрот. Он так и не стал «добрым капиталистом»: торгуясь с издателями и выжимая из них огромные гонорары, он тут же тратил их на очередное увлечение и никогда не занимался «чистым накопительством», не предпринимал усилий для приумножения капитала. С одинаковой иронией или жалостью описывал он

[1] Дневник. С. 109.
[2] Там же. С. 42.

богатую спальню министра и тюремную камеру, и вплоть до последнего романа — «Дневника Сатаны» — андреевские герои даже и при помощи денег решали иные — отнюдь не материальные вопросы. Здесь сказывались и детство в Мещанской слободе, и воспоминания о щедрости богатыря-отца, и тот народнический дух, что царил тогда в интеллигентной московской среде и который — вопреки ницшеанству — успел-таки впитать Леонид. Сделавшись вдовой, вторая жена Андреева записала в своем дневнике, что Леонид «не мог не жалеть» и эта черта всегда жила в нем, в его характере. Но — с другой стороны — нельзя отрицать, что годы голодного студенчества привили ему нечто вроде «здорового карьеризма», тем более что приобретаемая им профессия юриста предполагала — хотя бы отчасти — некоторое знакомство с практическими материями. И если, учась в Петербурге, Леонид, как мы помним, вел довольно замкнутый образ жизни, то его московская жизнь обернулась множеством знакомств, и некоторые из них оказались весьма полезными для карьеры начинающего юриста, иные же — судьбоносными для будущего писателя.

Интересно, что Андреев довольно долго не мог войти в круг московской интеллигенции; осенью 1895 года рассказывая в письме Соне Пановой о многочисленных «знакомых», он сообщает, что у него даже появилась «...семья, где я провожу как у вас когда-то субботы, только это далеко не то»[1]. Ровно через год — в октябре 1896 года он признается: «Летом был на уроке в Царицыно и жил у Велигорских, чудеснейших людей, у которых теперь я так же хорошо себя чувствую, как в Орле, у вас. Целыми днями торчу там»[2]. Летнее знакомство Андреева с семействами Велигорских и Добровых завязалось естественно — отчасти они были земляками, братья Петр и Павел Велигорские несколько лет подряд учились в одной гимназии с Леонидом, но подружился с Павлом Андреев уже в Москве — через орловское землячество, и, по всей видимости, именно он ввел Андреева в семью. Сближению помог и «урок»: Андрееву предложили «подтянуть» по всем предметам живущего на даче в Царицыне ленивого мальчика Абрама. «Есть основания полагать, — шутил Леонид Николаевич, — что именно об его голову Моисей разбил скрижали; потрясение было настолько сильно, что он до сих пор не может оправиться»[3]. И здесь — как преподнес бы нам это событие излюбленный андреевский персонаж — Некто в сером — завязался один из главных узлов человеческой

[1] Фатов. С. 85.
[2] Там же. С. 101.
[3] Там же. С. 100.

и писательской судьбы Леонида Андреева — в то летнее утро, когда он — в потрепанной студенческой тужурке — впервые и с некоторой робостью поднялся на ступеньки царицынской дачи потомственного доктора Филиппа Александровича Доброва.

Через много лет, уже в 1930-е, впервые войдя в другой — двухэтажный «донаполеоновских времен» московский дом Добровых в Малом Левшинском переулке, будущая жена Даниила — младшего сына Леонида Андреева и Шурочки Велигорской — Алла тщательно подберет и сложит «осколки» былого величия этого дома в отчетливую картинку: «Дом Добровых был патриархальным московским домом, а значит, хлебосольным и открытым для множества самых разных, порой несовместимых друг с другом людей... Его (Филиппа Александровича. — *Н. С.*) отец был врачом в Тамбове, — где его звали не "Добров", а "доктор Добрый". Хоронил его весь Тамбов. У Филиппа Александровича были брат юрист и сестра органистка...»[1] Доктор Добров оказался всего на три года старше Леонида, но тогда — в 1896 году — он произвел на студента «с голодными глазами» впечатление мэтра: преуспевающий, имеющий огромную практику терапевт, которого знала «вся Москва». Филипп Александрович имел широкие знакомства в театральной, музыкальной и литературной среде, к тому же уже лет пять доктор был женат на девушке «весьма порядочной» фамилии — Елизавете Михайловне Велигорской.

Мать Елизаветы — энергичная и властная Ефросинья Варфоломеевна Шевченко — была дочкой троюродного брата и побратима Тараса Шевченко, и сам украинский письмовник, согласно семейной легенде, обожал внучатую племянницу... Как вспоминали, это была особа несколько чопорная, с манерами старинной помещицы, муж ее Михаил Михайлович Велигорский тоже дворянского рода. Его семья — боковая ветвь графов Виельгорских, потеряла и титул, и состояние за участие в Польском восстании. Отношение внутри этой пары были весьма непростые: не имея средств на содержание огромной семьи и состоя на государственной службе, Михаил Михайлович жил преимущественно отдельно от жены и пятерых детей в маленьком городке Орловской губернии — Трубачевске. Истинная глава семейства — Ефросинья Варфоломеевна часто пере-

---

[1] *Андреева А. А.* Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой. http://rodon.org/aaa/jdarej.htm. Дата обращения 30.10.2011.

мещалась из Украины, где было у нее небольшое имение, — в Россию, а в 1884 году она переехала с детьми в Орел, где спустя семь лет старшая дочь Елизавета венчалась с доктором Добровым в Успенской (Михаила Архангела) церкви, где, как мы помним, в 1871 году был крещен наш герой — Леонид Андреев. Другие же дети — братья Петр и Павел, сестра Екатерина и самая младшая — Шурочка к моменту знакомства семьи с Андреевым зимой проживали в Москве, летом же — в окружении гостивших родственников отдыхали в подмосковном Царицыне.

Скорее всего, Андреев, когда он в письме Пановым признавался, что чувствует себя у Велигорских как в родной семье, ничуть не преувеличивал. Его дневниковые записи пестрят фамилией «Добровы», беспрерывно упоминает он братьев Петра и Павла Велигорских, с лета 1896 года властно входит в жизнь Леонида Андреева и на страницы его дневника третья героиня нашего романа — Шурочка Велигорская. Это лето Андреев вспоминал так: «Я с жадностью ловлю солнечные лучи, и пахучий воздух, и ласковые взгляды. Как вынырнувший из омута дышит жадно, не думая ни о чем, сознавая только, что с каждым дыханием входит в него жизнь — так и я оживал минута за минутой». В Добровых его восхищало всё: «И помню я, как легко и радостно было у меня на душе, каким светлым, праздничным казалось все окружающее. Яркие наряды, веселые лица, жгучее солнце»[1].

Фактически, войдя в дом Добровых, Андреев преодолел свою «мещанскую среду» и проник в круг московской «умственной» интеллигенции, причем не «бедным родственником», а почти на равных, поначалу — как чрезвычайно интересный молодой собеседник. Дачная жизнь как нельзя лучше способствовала этому: в долгих чаепитиях и длинных прогулках и поездках по левитановским окрестностям болтающий без умолку, красивый, остроумный, умеющий ухаживать за дамами студент казался просто находкой. Вспоминая лето 1896 года, Андреев писал не без гордости: «Прошлый год в семье Добровых я был некоторого рода царьком. Мною интересовались, без меня скучали, меня благодарили за хорошо проведенное лето (благодарил Филипп Александрович), с одной стороны я был "бебе", всяческие огорчения которого старались уладить, с другой стороны — молодой вьюноша, паки интересный и соблазнительный, на которого не совестно было обратить лю-

[1] Дневник. С. 83.

безное внимание ни осторожной и ловкой Е. М. (Елизавете Михайловне — жене Доброва. — *Н. С.*), ни молоденькой и глупенькой Шурочке (Александре Михайловне — будущей жене Андреева. — *Н. С.*). Окруженный вниманием и любовью, — которая, как известно, необходима мне как рыбе — вода, я распустился пышным цветком, розою, можно было бы сказать, если бы не боязнь огорчить строгого читателя»[1].

Что ж, подобно Золушке, попавшей из кухни лесника в объятия принца, который вдруг разглядел и оценил все ее достоинства, Леонид почувствовал себя «своим» в кругу людей, которые нравились ему чрезвычайно, которые жили нормальной, чистой, интеллектуальной жизнью, — лето, проведенное в Царицыне, вернуло Андрееву уверенность в том, что и он может со временем построить такую жизнь. С кругом знакомств Филиппа Александровича, а мы помним, что его брат был юристом, «пристроить» к юридическому делу молодого, подающего надежды Андреева не составляло труда. Уже на следующий год в письмах Пановым появляется строчка: «Дело в том, что я занимаю в настоящее время ответственную должность: состою помощником одного помощника и, как меня уверяют, в весьма близком будущем могу надеяться получить место старшего помощника у того помощника, у которого мой помощник состоит сейчас младшим помощником»[2]. Несмотря на обычный иронический тон, это октябрьское, 1896 года, письмо к родственникам проникнуто необыкновенной гордостью, и как покажут дальнейшие события, все «уверения» имели под собой вполне реальную почву. Обретя в доме Добровых достаточно полезных знакомств, Андреев сделал не только стремительную для провинциала-новичка карьеру юриста, но вскоре вошел в круг — как сказали бы теперь — «представителей московской прессы». А следовательно, андреевская тропинка на литературный Парнас берет начало именно на ступеньках царицынской дачи Филиппа Александровича Доброва.

В то первое лето «молодой вьюноша» едва ли не разыгрывал в доме доктора роль Хлестакова, совершенно разрываясь «между маменькой и дочкой», в нашем случае — между 28-летней докторшей — Елизаветой Михайловной и ее младшей сестрой — гимназисткой Шурочкой, ей в ту пору едва стукнуло 15 лет. Обе сестры, вероятно, не на шутку влюбились в остроумного красавца, он же — на это время совер-

[1] Дневник. С. 81—82.
[2] Фатов. С. 100.

шенно позабыв об Антоновой — испытывал к Шурочке «то чистое влекущее чувство, в котором отсутствует всякий дурной умысел», «загадочная» же и «опытная» Елизавета Михайловна «сильно действовала на его воображение». Не особо раздумывая, старшая сестра, как вспоминал в дневнике Андреев, «подошла к щекотливому месту так ловко, что я и поднесь не знаю, кто из нас первый объяснился в любви»[1]. Трудно сказать, знал ли, а если и знал, то — как отнесся к этому объяснению доктор Добров, но из дневника Андреева мы знаем, что Шурочка пролила по этому поводу немало слез.

Роман Андреева и «Е. М.» продолжался недолго, вскоре избалованная вниманием молодая женщина «стала самым разнообразным образом» мучить студента, его же не покидало чувство вины по отношению к Шурочке, которая нравилась ему все сильнее. И осенью, уже в Москве, вероятно, во время ссоры с Елизаветой, Андреев является в дом к Велигорским пьяный и объявляет Шурочке, что любит ее. Это было первое из многочисленных объяснений Андреева со своей будущей невестой и женой.

Надо сказать, что пятилетний роман Андреева и Шурочки подробно отражен в его и ее дневниках, сохранились «решительные письма», запротоколированы не только основные перипетии, но и нюансы, и подводные камни этих весьма непростых отношений. Осенью 1899 года по просьбе Шурочки Андреев пишет очерк «Александра Михайловна Велигорская: опыт характеристики». Конечно же в 1896—1900 годах Шурочка постоянно соперничала в душе Андреева с другими дамами сердца: прежде всего — с Надеждой Антоновой, но то была «великая идеальная любовь», ну а были, конечно, и менее «идеальные». И, увы, будущая жена прекрасно знала о сердечных увлечениях Леонида, частенько — от него самого. Андреев же испытывал перед ней «вечную вину», но оправдывал себя тем, что «она еще ребенок» и «гимназистка», а ему необходима любовь, с которой он бы мог «построить совместную жизнь». Надо сказать, что барышень, готовых с энтузиазмом откликнуться на этот призыв, становилось все больше.

Летом 1897 года в дневнике Андреева появляется такая запись: «Нынешнее лето многим рознится от прошлого. Тогда во всем поселке (Царицыно. — *Н. С.*) у меня были одни знакомые — Добровы. Теперь же одних знакомых барышень уже перевалило за четвертый десяток. Любопытнее всего такая вещь. Оказалось, что я составляю царицынскую знаменитость. Чего мне только пришлось наслушаться по поводу моей красоты,

---

[1] Дневник. С. 82.

неотразимости, гордости, недоступности. Моего знакомства ищут, меня ловят, мной интересуются... меня ревнуют, из-за меня чуть ли не дерутся...»[1] И далее на страницах дневника читателю являются пронумерованные (!) «объекты желаний», их численность — впечатляет. Но все эти увлечения — Ольгой Николаевной, Зинаидой Ивановной, Натальей Лаврентьевной — недолговечны, а Шурочка на протяжении долгих лет продолжает жить в его сердце, причем острой занозой. Однако вопрос о том, каким образом, едва выйдя из гимназии, Александра Михайловна Велигорская окончательно завладела душой и сердцем писателя Леонида Андреева, навсегда вытеснив оттуда даже (!) Надежду Антонову, мы оставим до следующей главы. Тем более что любовь к Шурочке скорее разрушала, чем укрепляла отношения Андреева с Добровыми и Велигорскими: Ефросинья Варфоломеевна решительно не одобряла ухаживания студента-пьяницы за младшей дочерью и вовсе не считала Андреева хоть сколько-нибудь приемлемой партией, такого же мнения придерживались и сами Добровы.

И тем не менее дружба с этим домом со временем только укреплялась, фактически Добровы — задолго до официального родства — стали для Леонида второй семьей. И этому не помешало и заметное охлаждение, вызванное сложностями в отношениях между ним и «Е. М.», которые исчерпали себя через несколько месяцев: «Елизавета Михайловна не то демонстративно, не то просто грубо выказывает мне, что я — отрезанный ломоть»[2]. Что ж, на время Андреев был «сброшен с пьедестала», но вскоре между ним и «Е. М.» вновь возникают «дружеский тон», доверительность и почти что родственные отношения. Елизавета Михайловна была добрейшей женщиной и — кстати — отличнейшей акушеркой, но к людям она, как и ее младшая сестра, относилась чрезвычайно требовательно. И если в собственной единокровной семье Андреев был божком: мать, братья и сестры — несмотря ни на какие дикие выходки — буквально боготворили его, то у Велигорских-Добровых он вскоре почувствовал себя «младшим среди равных».

В дневниковых записях с осени 1896 года появляются постоянные оговорки: «что скажут Добровы», «Добровы только пожмут плечами», «Добровы недоумевают», «Добровы аплодируют»... Интересно, что после очередной пьяной выходки, когда Добровы, очевидно, «пожали плечами», в дневнике возникает ворчливая филиппика: «Глубоко и наивно убежденные в том, что они соль земли и пример для остальных, они (Доб-

---

[1] Дневник. С. 95.
[2] Там же. С. 107.

ровы. — *Н. С.*) тщательно, старательно бегут всего анормального, резкого, далеко уклоняющегося от золотой середины». Автор не жалеет романтических красок, рисуя собственную «резкость» и «анормальность»: человек, «гоняющийся за миражами, отрицающий жизнь, неспособный к покою», судя по этой записи, «не нужен Добровым», они отвергают всякого, «кто слишком горько плачет или сердится», «слишком копается в жизни и разворачивает мусорные кучи, на которых построено здание их благополучия»[1]. На самом же деле эта «добровская» умеренность и ровный тон, вопреки возникающему иногда раздражению, благотворно влияют на Леонида, и он все больше задумывается над собственным будущим, ему все чаще становится стыдно за пьяные выходки и бессмысленно потраченное в «мусорных кучах» время.

С осени 1897 года в дневнике, который, как мы помним, был заведен молодым Андреевым лишь для того, чтобы «говорить о женщинах», появляются записи иного рода: «Меня спасает и веселит работа — интересная работа. Я — корреспондент газеты “Московский вестник” и составляю для нее судебные отчеты. Не буду говорить о тех трудностях, которые пришлось преодолеть мне на этом тернистом пути (да и невелики были эти трудности), важно — что сейчас я — еще неопытный, стою наравне, мало того — выше опытных корреспондентов. Две недели тому назад меня не знали, а сейчас уже сверяют свои отчеты с моими и говорят со льстивой улыбкой: “судебные отчеты — один из лучших отделов в вашей газете”. То же говорит милый Малянтович, Добров и другие»[2].

Присяжный поверенный Павел Николаевич Малянтович — тоже, кстати, почти ровесник Андреева — был в ту пору начинающим адвокатом, а очень скоро стал видной фигурой в российской истории: он принимал активное участие в политических процессах, защищая эсеров и даже большевиков, в последнем составе Временного правительства Малянтович — министр юстиции. Уцелев во время красного террора, Павел Николаевич — как и многие — сгинул в конце 1930-х. Этот-то «милый Малянтович» и стал в какой-то мере «крестным отцом» Андреева в журналистике. Познакомились они, естественно, в доме Добровых, где Павел был частым гостем. Интересен язвительный набросок с Малянтовича, сделанный Андреевым через два года в рассказе «Защита», многие знакомые узнавали этого

---

[1] Там же. С. 106—107.
[2] Там же. С. 116.

весельчака в присяжном поверенном Померанцеве: «Красивый брюнет, подвижный, говорливый и жизнерадостный, но несколько шумный и надоедливый, Померанцев был редким баловнем судьбы. Дома, в богатой семье его боготворили, счастье сопутствовало ему во всех делах, — как по рельсам катился он к славе и деньгам». «Приятный молодой карьерист» — всё-же лишь внешняя сторона личности Малянтовича, в дневнике Андреев несколько раз упоминает о нем как о «беспокойном характере», веселость и благополучие которого тают прямо на глазах, да и вся дальнейшая судьба этого человека красноречиво свидетельствует о том, что «тихой гавани» он не искал. Позднее, в письме Шурочке Андреев, кажется, «ухватил» суть этого человека: «Из двух элементов, составляющих существо так называемого Малянтовича — легкомыслия стрекозы и степенности трудолюбивого муравья — в нем видимо для всех окружающих преобладало легкомыслие»[1].

Так или иначе, в 1897 году занятый по горло «трудолюбивый муравей» дружески предложил Андрееву заменить его в «Московском вестнике»: «...бывать в суде, слушать дела и писать отчеты. Сам он только проходился по ним и сдавал в газету. Так, мой первый гонорар был четыре копейки за строку этих отчетов»[2]. Разумеется, в конце-то концов, в газете узнали о том, что Малянтович «нанимает» студента для судебных отчетов, но, поскольку сами тексты устраивали заведующего судебным отделом — Исаака Даниловича Новика, Андреев был приглашен помещать их уже под своей фамилией. И тут-то и заканчивается цепочка, по которой «передавали» молодого студента, все ближе и ближе подводя его к обитой железом двери с надписью «Русская литература», — именно Исаак Данилович оказался тем человеком, который открыл для Андреева эту дверь.

Сам Андреев впоследствии так рассказал о важнейшем в его жизни событии: «Помню, однажды Новик зашел ко мне и очень таинственно предложил прогуляться до Ильинских ворот, предупредив, что у него есть до меня дело, которое может совершенно повернуть мою карьеру. Здесь я узнал, что организуется новая газета “Курьер”, которую будет редактировать некто г. Фейгин и куда секретарем приглашен Новик. Через несколько дней я уже доставал судебную хронику в новую газету»[3]. Так в ноябре 1897 года безвестный студент начинает карьеру репортера в газете «Курьер», где через полтора года

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 93.
[2] Цит. по: Фатов. С. 243—244.
[3] Там же. С. 244.

появится известный ныне каждому школьнику рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська». И далее — за пять лет — он напечатает в «Курьере» около тридцати рассказов и более двухсот фельетонов. Сам Андреев, излагая автобиографию, выражал уверенность, что его писательский путь «...ничем не отличается от пути всякого иного беллетриста, начавшего свою литературную деятельность в газете. <...> Сперва репортаж, потом маленькие фельетоны, потом большие, потом робкая пасхально-праздничная беллетристика и так далее».

В действительности же — работа под руководством «опытных» волков газетного дела стала вторым «университетом» для Андреева, именно для «Курьера» он вынужден писать каждый день, именно здесь, обретя краткость и выразительность, отточилось его перо, он научился ясно и увлекательно излагать жизненные сюжеты, учился распознавать мотивы поступков самых разных людей, здесь окреп и авторский голос, постоянно прорывающийся из-за бытовых фактиков и фактов — в фельетонах и отчетах из зала суда.

Однако — и в этом тоже сказалось влияние Добровых — наш герой не считает вправе полностью посвятить себя новой возлюбленной — журналистике. «Работал я очень много, но в деньгах нуждался: половину у меня черкала цензура, а за другую половину оставалось по тогдашней построчной плате не так уж много», — полагая репортерский хлеб не столь уж верным, Андреев — как свидетельствует его автобиография — «к 27-ми годам серьезно решил стать присяжным поверенным». И к счастью, столь серьезные намерения появились у него еще за несколько месяцев до сдачи выпускных экзаменов.

Как мы помним, посещение лекций не входило в число повседневных занятий студента Андреева, а потому роковая необходимость сдачи одиннадцати экзаменов в апреле—мае 1897 года вызывала у него панический ужас. Страхом перед государственными экзаменами пропитаны и письма Пановым: «Экзамены буду держать в Харькове, или Одессе или в Константинополе. Поеду зайцем...»[1], и дневниковые записи: «послезавтра экзамен, а я только кончил уголовное право, причем вторую его половину читал в первый раз. Отсюда следует, что провал неминуем — если не на этом экзамене, то на следующем»[2]. Однако вопреки, а возможно и благодаря настигшему Андреева ужасу и твердой уверенности, что исход всякого грядущего эк-

[1] Там же. С. 107.
[2] Дневник. С. 69.

замена — провал, он, к своему удивлению, выдерживает все одиннадцать испытаний, причем шесть из них — с оценкой не просто «удовлетворительно», а «весьма». Знакомясь по ходу «зубрежки» с уголовным, торговым, финансовым, полицейским, международным и т. п. правом, Андреев со стоном сообщает в дневнике, что «превращен в полного идиота курсом церковного права». И на следующей странице: «В два дня из области науки я перенесен в какую-то тьму кромешную попов, духовных консисторий, божественных откровений, окунут в целый океан омерзительного, противного ханжества, лицемерия, искреннего идиотизма, изуверской нетерпимости... Мутит, как от рвотного»[1]. Так, уже вполне сформировавшийся разум проверяет на прочность впитанные когда-то в отрочестве идеи гр. Толстого относительно официальной религии и убеждается в их справедливости. Но... ему «везло до конца»: даже ненавистное церковное право было сдано на оценку «весьма удовлетворительно».

«Итак, чудо свершилось. Экзамены кончены, и я кандидат прав» — чудо это свершилось 27 мая, когда в один день были сданы два последних экзамена, однако диплом второй степени, дававший Андрееву звание отнюдь не «кандидата», а только «действительного студента» (разница довольно мутная — как между специалистом и бакалавром), был получен спустя несколько месяцев, когда выпускник уже вовсю выступал в судах. В архиве МГУ им. Ломоносова и по сей день хранится печатная копия этого диплома с автографом будущего писателя: «Подлинный диплом получил 23 января 1898 г. Леонид Николаевич Андреев». Юридическая карьера была открыта, из трех возможных путей (судейский, прокурорский и адвокатский) «этот весьма симпатичный и дельный молодой человек... образчик крайнего трудолюбия и находчивости»[2], — как назвал себя Андреев в день успешной сдачи последних экзаменов, — выбрал поприще адвоката.

Судебная реформа привела к созданию в России института адвокатуры, адвокатом или — как они назывались тогда — присяжным поверенным мог стать любой, окончивший курс юридических наук и не менее пяти лет проработавший в должности помощника при том или ином «патроне». Адвокатская практика в те годы — как и теперь — приносила немалый доход, и когда Андрееву удалось стать помощником присяжного поверенного, он с торжественной иронией отметил, что «...вступил

[1] Дневник. С. 73—74.
[2] Фатов. С. 119.

на путь, ведущий к богатству и славе». Вступил он на этот путь даже немного раньше, чем сдал выпускные экзамены: «...наступило то, о чем так много мечталось, по поводу чего так огорчалось, ради чего было затрачено столько труда и выпито водки — я помощник присяжного поверенного. Довольно удачно удалось пристроиться у Малянтовича — что-то будет?»[1].

К осени 1897 года Андреев завален работой: «...временами я начинаю ошалевать. С нынешнего дня у меня две газеты на руках: "Московский вестник" и "Курьер", работа у Малянтовича, дела у мировых и в съезде (судебная кассационная инстанция. — *Н. С.*) и наконец, защита в суде»[2]. На той же странице дневника (5 ноября) автор не без гордости объявляет *urbi et orbi*[3], что 1 ноября впервые выступил в Московском окружном суде «в качестве оратора». Признаваясь, что «натерпелся страху», Андреев упоминает, что «следующая, более трудная и решительная защита» состоится 12 ноября. Известно, что в этот раз новичку выпало защищать ограбившего своего седока извозчика Комляшкина. Дело было как будто бы очевидно, но Андреев, опираясь на мутные показания жертвы грабителя — купца Михайлова, требовал оправдать своего подзащитного и добился-таки снисхождения: извозчик — вместо четырех — был приговорен к исправительным арестантским работам на 2 года и 6 месяцев.

Противоречивые чувства начинающего защитника через три года выльются на страницы рассказика «Первый гонорар». Помощник присяжного поверенного Толпенников отправлен патроном «в съезд мировых» — отыгрывать проигранное в первой инстанции пустяковое дело. Первая защита вызывает в юноше «сдержанно-горделивый трепет», слово «защитник» представляется «большим, звучным, точно оно состоит не из букв, а отлито из благородного металла». Одолжив у знакомого юриста фрак — а адвокату по протоколу полагалось в ту пору выступать во фраке, дебютант провел бессонную ночь, готовясь «защищать невинных и угнетенных». Вообще говоря, фрак стал тогда важнейшим атрибутом андреевской карьеры и прекрасным объектом для оттачивания пера: «Собственного фрака у меня не было, и выступать на суде приходилось во фраках товарищей. Иной раз попадет фрак с толстяка, и чувствуешь себя в нем как в мешке, боясь увидеть себя в зеркало». И далее Андреев признается своему первому биографу В. В. Брусянину, что однажды он проиграл дело только оттого, что «...фрак оказался настолько узким, что мне трудно было же-

[1] Дневник. С. 109.

[2] Там же. С. 123.

[3] Городу и миру (*лат.*).

стикулировать, а моя речь в те времена без соответствующих патетических жестов ничего не значила»[1].

Однако в рассказе комический образ фрака перевернут: «Не кургузым, нелепо комичным одеянием представлялся фрак, а чем-то вроде рыцарских лат, равно как и сам Толпенников казался себе рыцарем какого-то нового ордена, призванного блюсти правду на земле...» Удачно отыграв дело и оставив без наказания торговавшую нелицензированным табаком г-жу фон Брезе, юноша случайно узнает, что его подзащитная вовсе не благородная пожилая дама с «седой головой», а редкостная пройдоха, уже не раз побывавшая в тюрьме. На следующее утро Толпенников, почувствовав, как мир — «грязный, отвратительный и жестокий» — вошел ему в душу, рыдает на плече у насмешливого и бесконечно уставшего патрона. Интересно, что морально этическая проблема — можно ли защищать обвиняемого, если в действительности он не только виновен, но и вообще — порядочная дрянь, в финале рассказа перерастает в метафизическую. Опытный патрон весьма странно реагирует на возмущение и гнев неофита: «Откуда мы можем знать, что происходит в действительности? Может быть, там черт знает что, в этой действительности... Вы свободны сегодня вечером?.. Перепишите-ка мне одну копийку. А действительность оставьте, нет никакой действительности».

Веселая наука шефа находит неожиданное развитие в рассказе «Защита». Андрей Павлович Колосов — «высокий, худощавый блондин, одетый во фрак», который «третий уже год состоял в звании помощника присяжного поверенного», не имеет иллюзий начинающего Толпенникова, зато имеет больные нервы, бессонницу, и как следствие в день защиты «голова тяжела и пуста». Тщательно подготовившись, но, произнеся свою речь натужно, неубедительно и вяло, Колосов проваливает дело и его подзащитная проститутка Танька-Белоручка — «молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая», которая в действительности «ни душой, ни телом не повинна в убийстве», отправляется на каторгу. Увы, никакой действительности и никакой правды нет, правду создает лишь неудачное или удачное сложение разнообразных жизненных обстоятельств, ведущих к убедительному или же нет выступлению обвиняемых, свидетелей, прокуроров и присяжных поверенных перед публикой — такая истина открывается Колосову на его профессиональном пути. «Когда Таня проходит мимо него, он берет ее безжизненно опущенную руку, наклоняется и говорит: — Таня! Прости

[1] *Брусянин В. В.* Леонид Андреев. Жизнь и творчество. С. 57—58.

меня! Таня поднимает на него тусклые без выражения глаза и молча проходит дальше». И в этот вечер что-то мешает Колосову как обычно зайти и поцеловать спящих детей.

А в написанном в 1905 году уже вполне зрелым пером преуспевающего беллетриста рассказе «Христиане» — действительность, доказывая, что она все-таки есть, врывается в здание суда, обнажая жалкую театральность происходящего. Интересно, что механизм судопроизводства здесь показан уже извне, а сам рассказчик — не является участником этого процесса, когда «перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы, — они так и назывались "судебные драмы", — и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому». Театральный ритуал суда буквально разбивается о действительность: проститутка Пелагея Караулова отказывается давать присягу на Библии, поскольку давно не считает себя христианкой: «Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться — разденусь; прикажете на крест наплевать — наплюю». И далее никто из участников «судебного действа» так и не находит аргументов, чтобы убедить глупую бабу Караулову плюнуть на вопрос, достойна или нет она называться христианкой, и «подыграть» суду. «Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина». Этот рассказ Андреева очень полюбил Лев Толстой.

Три рассказа на «судейскую тему» выражают три фазы осмысления Андреевым своей будущей профессии. И если разбившийся вдребезги романтический пыл Толпенникова мог бы обернуться для нашего героя невротической тщательностью работяги Колосова, то сознание того, что «нет никакой действительности» и ему надлежит лишь — за немалые гонорары — порядочно развлекать публику в «театре суда», где решаются реальные человеческие судьбы, становилось для Андреева все более нетерпимым. Приблизительно так же относился к «театру суда» и многократно использующий этот образ Лев Толстой. Конечно, для адвоката такое чувство, подобно жалости хирурга к каждому, кого он оперирует, было антипрофессиональным, но что ж поделаешь, если оно пришло и поселилось в душе? И — хотя после нескольких удачно выигранных дел Андрееву пророчили будущее блестящего адвоката, а это значило и тогда и теперь — прочное материальное благополучие, а возможно даже и богатство — очень скоро — к весне 1900 года — он бросит этот путь.

Вот, собственно, мы и подошли едва ли не к самому трепетному, «пленительному и нежному» моменту нашей истории: Золушка-замарашка вот-вот должна обернуться прекрасной принцессой. В поздней пьесе «Милые призраки» Андреев воспроизводит историю перерождения безвестного жителя петербургских трущоб в знаменитого писателя: среди ночи в дверь к главному герою пьесы Таежникову постучалась слава.

Пьеса — вольный пересказ известного факта из жизни Федора Михайловича Достоевского: как-то раз в одну из белых ночей 1845 года к нему — выразить свое восхищение — явились Григорович и Некрасов, которые прочли рукопись под названием «Бедные люди». В этой — последней — пьесе Андреев, как мне кажется, с нежностью и ностальгией вспоминает не только эпизод из жизни самого близкого ему на тот момент русского писателя, — он вспоминает и свое стремительное восхождение к литературной славе, свой неожиданный триумф, когда еще не созданный Андреевым персонаж — Некто в сером, стоя с ярко горящей свечой где-то в углу, мог бы крикнуть в пространство серого апрельского утра, когда московский обыватель, шурша и сопя, разворачивал газету «Курьер»: «Тише! Беллетрист родился!»

И вероятно, Исаак Данилович Новик — заведующий редакцией и «второе лицо» «Курьера» — был бы приглашен этим клерком от рока на роль повивальной бабки, ибо этот человек первым разглядел в судебных отчетах студента Андреева зреющий литературный талант и попросил его принести «нечто беллетристическое». «Через несколько дней, — как вспоминал Новик, — Л. Н. приносит мне ученическую тетрадку в 20 страничек с рассказом. Я не помню даже названия его, смутно помню и содержание его. Помню только, что действие происходило между небом и землею и герой рассказа был чем-то средним между Манфредом и Демоном». Теперь мы, конечно, понимаем, что Новик читал не что иное, как рукопись сказки «Оро», где внимательный читатель Леонида Андреева немедленно узнал бы зародыш одного из лучших рассказов автора — «Иуды Искариота». Но в том-то и фокус, что наш читатель Исаак Данилович еще не был знаком с писателем Андреевым, а потому велел студенту «спуститься на землю, а не витать в безвоздушном пространстве»[1]. И, переходя от слов к делу, завредакцией поручил молодому человеку сочинить для «Курьера» маленький пасхальный рассказ. Вот, собственно, и всё:

[1] Наследие. С. 700.

5 апреля 1898 года на первой полосе газеты был опубликован «Баргамот и Гараська» Леонида Андреева.

Положа руку на сердце, я не считаю этот, пропитанный «диккенщиной» рассказ литературным шедевром. «Среднего мнения» был о «Баргамоте...» и сам Андреев. Весьма вероятно, что сегодня эта история о том, как орловский городовой — «высокий, толстый, сильный, громогласный» Иван Бергамотов — привел «оборванного, пьяного и скверного» обитателя улицы, как сказали бы теперь — бомжа Герасима к себе в гости — разговляться, привел потому, что «в самых отдаленных недрах его дюжего тела» зашевелилось нечто вроде жалости», — ни у кого, за исключением школьных учителей, не вызовет особого интереса. Будучи ницшеанцем и атеистом, Леонид Николаевич не мог испытывать такие же искренние и сильные чувства по отношению к празднику Святого воскресения, как, например, поздний Гоголь или Достоевский. Жанр «пасхального рассказа» был чрезвычайно развит в те годы, ко дню Светлого воскресения редакторы практически всех газет заказывали авторам назидательные рассказы, где те на «современном материале» должны были напомнить читателю одну или несколько из евангельских истин. Кстати, именно поэтому Новик с легкостью отдал этот заказ безвестному начинающему репортеру: «настоящие» писатели с неохотой шли на подобные условия, а фальшивых сентиментальных опусов публиковать не хотелось. Но «душеспасительный» жанр был едва ли приемлем и для Андреева. «Нужно писать пасхальный рассказ для “Курьера”, — жалуется он дневнику 25 марта, — воображаю, что это за гадость выйдет»[1]. И все же, черпая вдохновение не в звоне пасхальных колоколов, а в воспоминаниях о детстве, проведенном на Пушкарных улицах, Андрееву удалось рассказать эту душещипательную историю своим собственным голосом. И его услышали. «...от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примирялась с неизбежным сентиментализмом “пасхальной” и “рождественской” литературы»[2], — писал о своем первом впечатлении от рассказа А. М. Горький. Эта самая «умненькая улыбочка», это противоречие между душещипательной фабулой и авторским голосом, который не скрыл, что повествователь — вовсе не так прост, как его история, — и выделили рассказ Андреева из потока «пасхальной прозы». Уже

[1] Дневник. С. 133.
[2] Горький. С. 107–143.

к середине апреля дебютант нежился в лучах... если не славы, то очевидного признания: «Говорят, что рассказ — украшение всего пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхищались, здесь о нем шла речь в вагоне железной дороги. Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Чеховым и т. п.». Более того, через несколько дней, на редакционном ужине, где собрались многие «из людей, известных всему читающему люду», за дебют Андреева был поднят торжественный тост: «Сразу я вырос до потолка, и в течение остального вечера, закончившегося "у Яра", был предметом всяческой заботливости и ласки»[1].

В сентябре уже без всякого «специального» повода в «Курьере» печатаются «Алеша-дурачок» и «Защита», в ноябре «Из жизни штабс-капитана Каблукова» и далее вплоть до 1903 года на этих страницах появятся практически все ранние рассказы нового русского писателя — Леонида Андреева. Так «Курьер» стал буквальным курьером для писательской карьеры Андреева и конечно же способствовал самому быстрому распространению его имени среди читающей публики.

Разумеется, Андреев не превратился в писателя за один день и после выхода «Баргамота...» большинство публикаций Андреева в «Курьере» — отнюдь не рассказы, а ежедневные журналистские очерки — именно здесь наш герой делает карьеру *газетчика*, поднявшись от скромной должности судебного репортера до заведующего отделом беллетристики. И конечно, будет несправедливо обойти вниманием характер этого издания и тех лиц, кто сделал его значимой частью культурной жизни России на рубеже веков. По свидетельству Аркадия Павловича Алексеевского — в то время сотрудника «Курьера», в будущем — друга Андреева и первого мужа его сестры — «ветреной Риммочки», «возник "Курьер" в значительной мере случайно, преобразовавшись из "Курьера торговли и промышленности", маленькой газетки, выходившей "когда придется" и издававшейся Я. А. Фейгиным. Сделавшись большой газетой, "Курьер" унаследовал и некоторую нагрузку от прошлого издания». Главным редактором газеты остался Яков Александрович Фейгин, который неизменно производил на Андреева впечатление «джентльмена, человека, уважающего себя и других». Этот, по словам Алексеевского, «большой знаток страхового дела, один из дельцов американского общества "Якорь" — он в поисках газетной славы, бросил службу в обществе...»[2]. По-

---

[1] Дневник. С. 173—174.

[2] «Жизнь...». С. 387—388.

мимо организации газетного дела Фейгин был страстно увлечен театром, о котором преимущественно и писал в «Курьере», а кроме того — он был переводчиком новейшей зарубежной драматургии, например Гауптмана.

Газета обсуждала в основном вопросы литературы, живописи и театра, а ее глава, по словам одного из сотрудников, «более всего... заботился, чтобы газета была ходкой». Еще бы — Фейгин, Новик и еще пара «физических лиц» состояли пайщиками издания, и их доход напрямую зависел от «ходкости» «Курьера». Главными же «финансовыми вкладчиками», как рассказывал тот же Алексеевский, «были московские капиталисты не особо крупного калибра — братья А. и И. Г. Алексеевы». Но, невзирая на «капиталистическое засилье» в руководстве газеты — а Фейгин и Новик «через своих богатых жен были связаны с денежной коммерческой буржуазией Москвы; жили широко и открыто»[1], — «среди сотрудников редакции была крепко сплоченная идейная группа марксистской молодежи»[2], — как вспоминал впоследствии один из представителей той самой молодежи — П. А. Коган.

Действительно, несколько молодых литературных критиков марксистской ориентации возглавляли отделы газеты: В. Фриче отвечал за «очерки иностранной литературы», В. Шулятиков — за обзоры русской. Однако четкой идейной, как, впрочем, и эстетической позиции у газеты не было: в разное время на страницах «Курьера» появлялись беллетристика и критические статьи Розанова и Луначарского, Чехова и Потапенко, Горького и Бальмонта, Мейерхольда и Чирикова, Гиляровского и Бунина и многих других. Как только Фейгин почувствовал, что — о чем бы ни писал Андреев — он умеет увлечь читателя, то стал охотно печатать любые тексты молодого сотрудника отдела судебной хроники, что, конечно, не могло радовать марксистски настроенную молодежь. «Идейность наша выражалась главным образом в том, что мы всеми силами боролись с бульварным газетным тоном... Благодаря этому, газета стала иметь несомненный успех среди левой интеллигенции и особенно среди студенчества. <...> Андреев не входил в нашу марксистскую группу и нашей борьбе за серьезность тона газеты не только не содействовал, но иногда даже мешал, так как по части тона вообще не стеснялся»[3]. Не считался Андреев и с газетной этикой: частенько прикрываемый начальством, он «влезал» на чужую территорию и серьезная рецензия Когана на тот или иной

[1] Там же.
[2] Цит. по: Фатов. С. 245.
[3] Там же.

спектакль помещалась порой рядом с фельетоном Андреева на ту же тему, и конечно же публика предпочитала фельетон. Но и тон, который задавали марксисты, оказывал несомненное влияние на внушаемого Андреева. «Помню жаркую схватку между Андреевым и Шулятиковым на тему о том, пессимист ли Андреев или нет, — вспоминал Коган. — Андреев доказывал, что он не пессимист; Шулятиков, сильно выпивший, кричал и ругался, говоря, что Андреев задержал на полтора месяца ход прогресса»[1]. И видимо, не желая останавливать «ход прогресса», свои заметки и фельетоны о театре, драматургии, писателях-беллетристах и т. п. Андреев частенько «прошивает» не слишком органичной для своей натуры идеей: «...как безумно хочется жить!». Подчеркнуто проповедовал «аппетит к жизни» Андреев, как мне кажется, поддавшись общему тону, царившему в редакции, и вопрос этот — в контексте жизни и судьбы Андреева — гораздо глубже, чем это может показаться. И мы еще вернемся к нему.

Так или иначе, но очень скоро Андреев стал своего рода «звездой» «Курьера». Еще один коллега Андреева журналист Я. Земский рассказывал, что «мнения сотрудников о нем расходились: одни находили в нем просто талантливого беллетриста, другие пророчили ему славу Чехова. По мере того как появлялись в "Курьере" его рассказы, популярность его росла с необычайной быстротой... а руководители "Курьера" нянчились с ним, как с капризным ребенком»[2].

К 1900 году Андреев превращает «Курьер» в свое — как сказали бы сегодня — «основное место работы». Он продолжает писать судебные очерки: «...о том, насколько я велик как судебный репортер, может дать представление весьма скромная похвала, услышанная мною вчера от одного присяжного поверенного, имевшего дерзость сравнить меня с Диккенсом»[3]; а с 1900 года в колонке «Впечатления» выходят его фельетоны, подписанные «Л-ев», и в том же году по воскресеньям на страницах «Курьера» появляется еще один автор — James Lynch. Этот странный псевдоним Андреев подбирает, чтобы подписывать фельетоны, выходившие в рубрике «Москва. Мелочи жизни». Собственные рассказы он подписывает своими именем и фамилией — Леонид Андреев. Самая большая активность этой троицы — Л-ева, Джеймса Линча и Леонида Андре-

[1] Фатов. С. 245.
[2] Москва. 1910. № 67. 15 ноября.
[3] Дневник. С. 131.

ева — приходится на 1900—1901 годы: их тексты появляются в «Курьере» практически каждый день.

Андреевское перо приносит уже и некоторый доход: в декабрьском — 1898 года — письме Пановым Леонид сообщает, что «...в среднем мой ежемесячный заработок колеблется от 100 до 150 и более рублей в месяц», что конечно же позволяет семейству выбраться из подвальной нищеты. Еще летом 1898 года в Прогонном переулке у Горбатого моста — в районе Пресни — Андреевы нанимают квартиру и уже — несколько иного класса, чем прежние — три комнаты с кухней на втором этаже деревянного дома, вскоре появляется у них и прислуга Матреша. «...в настоящее время у нас квартира такая, что я даже не в состоянии, как раньше делал, воспеть ее (посуди — на окраине, а в месяц плачу 27 р.)»[1], — с гордостью пишет Андреев двоюродной сестре. В 1900-м — снова переезд — квартира — уже в четыре комнаты и значительно ближе к центру, на Владимиро-Долгоруковской улице.

К 1900 году заработок Андреева в «Курьере» возрастает уже до 200 рублей в месяц, но он, увы, по-прежнему связан с ежедневной журналистской поденщиной, раздражало и то, что цензура выбрасывала в корзину около 40 процентов написанного. «Я страшно устал, газета тянет последние жилы», «Курьер» идет на помощь — в начале 1901 года Андреев ложится в клинику по внутренним болезням профессора М. П. Черинова. Поправив здоровье и нервы, а кроме того, написав в клинике один из лучших своих рассказов «Жили-были», он снова работает «за троих», раздражаясь оттого, что «... совсем не публицист по натуре: ненавижу день с его злобами...». Отныне все свои силы он хочет отдавать беллетристике, размышляя «о Боге, о смерти и нравственности», а не «о канализации и мостовых»[2]. И здесь «Курьер» спешит навстречу его желаниям: в начале 1902 года — уже после успеха первого сборника рассказов — Андреев становится заведующим отделом беллетристики, буквально «по страницам» газеты он «вводит» в русскую литературу Зайцева, Скитальца, Ремизова, Серафимовича. Последний заменяет своими «Заметками» традиционную рубрику Л-ева «Впечатления». Однако финансовое состояние газеты уже крайне нестабильно. В середине 1902 года пайщики увольняют Фейгина — Яков Александрович возвращается к своему страховому бизнесу, но новый главный редактор не спасает издание от финансового краха. «Курьер» буквально «душит» цензура, то приостанавливая выпуск на два, а то и три месяца, то

[1] Фатов. С. 133.

[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 90.

запрещая розничную продажу. В итоге — полное разорение: к середине 1904 года «Курьер» был продан с аукциона, и хотя Горький и Андреев «подбивали» Савву Морозова купить газету, но из этой затеи так ничего и не вышло. Новый владелец с новым составом в редакции стал выпускать совершенно новую газету — «Жизнь...».

Эта короткая, но яркая жизнь славного «Курьера» наводит автора на мысль, что Некто в сером мановением руки «слепил» это издание ровно в тот год — 1897-й, когда наш герой — Леонид Андреев — уже окончательно созрел для своего назначения — писательства и именно такой ресурс — для оттачивания пера, выхода «в свет» и материальной поддержки — стал ему жизненно необходим. И ровно в тот год — 1903-й, когда мастерство, слава и материальное состояние Андреева уже позволили ему обойтись без «Курьера», — газета стала чахнуть и далее «скоропостижно скончалась» — как будто бы за ненадобностью.

И надо сказать, что даже и проклиная ежедневную журналистскую поденщину, Андреев за эти годы не на шутку привязался к газетному делу, и далее он будет не раз возвращаться в редакторское кресло, пока — в 1914 году — не возглавит несколько отделов одной из крупнейших столичных газет «Русская воля», а в 1917 году не станет ее главным редактором.

Что ж, заканчивая рассказ о благоприятном и даже в некотором роде — триумфальном вхождении нашего героя на территорию русской словесности, мне все же хотелось бы задать один вопрос тому, кто стоит в углу с горящей свечой. А правильно ли и хорошо ли, что Леонид Николаевич вошел в литературу именно через эту дверь — дверь, распахнутую людьми откровенно народнической «ориентации», предпочитающими реалистическое отражение жизни «полетам в безвоздушном пространстве между небом и землею»? «Мое второе, талантливое я родилось в тот момент, — вспоминал в 1900 году Андреев, — когда мне, 28-летнему долдону И. В. Новик сказал: “не хотите ли писать в ‘Курьере’ и долдон ответил: “да, хочу”»[1]. Но случись на месте Новика, предположим, Андрей Белый или Гийом Аполлинер — возможно, сегодня российские первоклассники читали по слогам не «Баргамота и Гараську» или «Кусаку», а сказку о ненависти-любви кроткого Лейо и гневного Оро, что носились «в надзвездном пространстве с тех пор, как грозный Иегова изгнал их из рая». А если

[1] Дневник. С. 215.

бы рядом с Андреевым оказался кто-то, способный оценить растворившуюся в пространстве и времени «Обнаженную душу», где «был изображен глубокий старик, достигший трагической способности читать в человеческих сердцах». Старик, который по воспоминаниям самого Андреева, — «видел человека, бросившегося под поезд. Ему отрезало голову. И вот он видел то, что думает мозг в отрезанной голове»[1]. Или фантастический «Скриптор», от которого уцелела одна страничка; герой этого, развивающего идею «Обнаженной души» рассказа разглядел «в самом удаленном уголке» мозга сидящего перед ним человека «собственную жизнь... в виде какого-то маленького предмета с неопределенными очертаниями». Увы, эти, отправленные в «Северный вестник», ставший в 1890-е годы своеобразным «рупором символизма», рассказы были отвергнуты или просто выброшены в корзину, что — на некоторое время — отучило автора иметь дело с фантастическими материями. Для меня же в этих неуютных сюжетах как будто в капле животворящего бульона растворены образы, которые через много лет возникнут на страницах Булгакова и Олеши. И как мне кажется, в самом вхождении Андреева в литературу была заключена коллизия. Ведь даже согласно законам земного тяготения — гораздо проще спускаться с неба на землю, чем, мучительно преодолевая притяжение, осуществлять «марш-бросок» в противоположном направлении, что в будущем и проделал наш герой — Леонид Андреев.

Вопрос, сколь необходимо было получать Андрееву «прививку» реализма и позитивизма, этот обращенный в никуда вопрос напрямую связан и со следующей судьбоносной страницей в биографии нашего героя — его знакомством и молниеносно завязавшейся дружбой с Максимом Горьким. В 1898 году, когда Максим Горький — проживая в то время в Нижнем Новгороде — впервые увидел на странице «Курьера» незнакомое имя Леонида Андреева, он был уже не только автором нашумевших «Челкаша», «Старухи Изергиль», «Песни о Соколе», «Бывших людей», но и опытным газетчиком, несколько лет в поте лица трудившимся в «Волжском вестнике», «Самарской газете», «Нижегородском листке».

Фактически молодость Горького и молодость Андреева прошли по одному и тому же сценарию. Почти ровесники — Алексей Максимович был всего на три года старше Леонида Николаевича — оба они были представителями так называемо-

[1] Цит. по: Наследие. С. 698.

го «мещанского» сословия, оба рано осиротели и познакомились с нуждой, на собственной шкуре узнали, что значит «в поте лица добывать свой хлеб», оба самостоятельно искали свою тропинку в мире идей, оба взахлеб читали то Гартмана, то Ницше, оба «выбились в люди» благодаря своему перу, оба максимально использовали в своей беллетристике факты и фактики собственной биографии, оба — начав с беллетристики, в дальнейшем преуспели и в театре, оба — будучи еще молодыми — услыхали звук медных труб: их узнавали на улицах, а портреты печатали на открытках. Позднее знаменитая статья Мережковского «В обезьяньих лапах»[1] запечатлела еще одну общую черту двух писателей — мимолетность их громкой славы: «Некогда Горький казался великим художником — и перестал казаться; Андреев кажется — и перестанет казаться». В сущности, слава Андреева отставала от горьковской всего-то на несколько шагов. Различия между друзьями казались тогда не слишком существенными: к примеру, Горький очень рано остался круглым сиротой, не знал семейной идиллии, не окончил университета, а «Веселая наука» Ницше соседствовала на его книжной полке с «Капиталом» Маркса, поскольку будущий автор «Матери» равно преклонялся перед обоими. Но было еще другое: как напишет Андреев Горькому через пару лет, между ними сразу возникла «та иррациональная близость, связь, которая между мужчиной и женщиной создает любовь, а между мужчинами — дружбу»[2]. Короче говоря много, и даже подозрительно много факторов склоняет нас к мысли, что теплые отношения Андреева и Горького должны были завязаться быстро и естественно. Так оно и вышло.

Встреча двух писателей произошла ровно в тот момент, когда общего между ними было неизмеримо больше, чем различий. Познакомившись лично в 1900 году, они тут же обнаружили, что в юности оба «проверяли» собственную волю, ложась «под балластный поезд», и даже приходившее после чувство, когда «лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что... тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным, — и — вот сейчас полетишь над землей»[3] — оказалось сходным. Тем удивительнее, что к году смерти Андреева эти двое оказались не только по разные стороны баррикад и границ, но и давно уже разучились

---

[1] См.: *Мережковский Д. С.* В обезьяньих лапах. О Леониде Андрееве // Русская мысль. 1908. № 1. http://philology.ruslibrary.ru/default.asp?trID=233&artID=316 Дата обращения 30.10.2011.

[2] Переписка. С. 180.

[3] Там же.

слышать и понимать друг друга. И тем не менее эта смерть заставила его бывшего друга организовать в Петрограде вечер памяти Леонида Андреева — эмигранта и ярого врага большевиков, а в 1921 году он выпустил знаменитый сборник «Памяти Леонида Андреева» и далее во многом способствовал тому, чтобы имя Андреева не было вычеркнуто из советской литературы, как имена других художников-эмигрантов.

«Мне всегда казалось, что наша дружба или вражда не есть только наше личное дело», — спустя много лет напишет Леонид Андреев человеку, который уже после его смерти пришел к мысли, что Леонид Николаевич был, в сущности, «его единственным другом». Для Андреева Горький, тогда — Алексей Максимович Пешков, — был если не единственным, то уж наверняка *первым* настоящим *другом*. Леонид Николаевич прав: их отношения — сюжет, по меньшей мере, для большого рассказа или повести. И первая часть этой повести, безусловно, могла быть названа — «Мой старший брат».

Как писатель Горький начинал с романтизма, его первые рассказы и поэмы созданы во славу силы ницшеанского сверхчеловека и изрядно раскрашены «золотыми крапинками звезд», «кроваво-красным диском луны», «черными ямами щек» и «изрезанными морщинами лицами» и т. п. Но к концу века начинающий писатель, находясь под сильнейшим влиянием Льва Толстого, окончательно уверовал в то, что реалистический путь в литературе есть единственно верный и — как пишут порой в характеристиках освобождаемых из мест заключения — «твердо встал на путь исправления». Будучи не только способным беллетристом, но и талантливым читателем, Горький, как мы помним, первым из «писательской братии» отметил Андреева и по собственной инициативе стал «протежировать» новый талант, а через полтора года сам инициировал переписку с этим «новичком» от литературы. «Милостивый государь! Не раз перечитывая Ваши талантливые рассказы, полные такой художественной правды, я намеревался письменно выразить Вам свою благодарность за те хорошие минуты, которые Вы доставили мне и моей жене своими строками». Интересно, что в первом, посланном еще на адрес «Курьера» с припиской «Леониду Андрееву, автору “Ангелочка”» письме Горький просит в сущности незнакомого ему человека прислать свою фотографию: «Я бы помстил ее в альбом рядом со своими любимыми писателями». К тому же в письмо была вложена «юношеская повестушка» Горького «Выход» — «маленькая книжечка с над-

писью: “Любимому художнику слова Леониду Андрееву от автора на память о частой ‘безвыходности’ среднего русского человека”»[1] — 10 января 1900 года это письмо Андреев целиком перенес в свой дневник.

Личное свидание двух «средних русских» устроилось через два месяца — в марте 1900 года. Сначала Горький послал Андрееву доброго вестника: редактор популярнейшего «Журнала для всех», куда Алексей Максимович «сосватал» Андреева и тот напечатал там «Петьку на даче», а потом и множество других рассказов: «Миролюбов наговорил много комплиментов и предлагал аванс... На следующий день, 12-ого я на вокзале познакомился с Максимом Горьким и четверть часа беседовал с ним»[2]. А вот и взгляд Горького на эту, первую, встречу: «Одетый в старенькое пальто-тулупчик, он напоминал актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах... Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуемно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно. — Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку. Я тоже был радостно возбужден»[3].

Лично меня немного задевает, что Горькому наш герой — красавец и «герцог» — напомнил «актера украинской труппы». Возможно, такая подчеркнуто ироническая коннотация была вызвана горечью дальнейших разочарований. На Андреева же это свидание произвело самое серьезное впечатление, в дальнейшем он посылает Горькому практически все свои рассказы и до поры до времени терпеливо сносит его не всегда лицеприятные суждения, часто следует советам «старшего» товарища. «Лучший ваш рассказ “Баргамот и Гараська” — сначала длинен, в середине — превосходен, а в конце вы сбились с тона»[4], — пишет Горький, и Андреев покорно вычеркивает из рассказа последний эпизод и далее всегда и везде печатает его в этой, сокращенной редакции. Но — какой бы

[1] Дневник. С. 205.
[2] Там же.
[3] Горький. (Здесь и далее цитируется по Интернету.)
[4] Переписка. С. 66.

строгой ни была «дружеская критика», Горький безусловно считал Андреева в те годы талантливым писателем. Степан Гаврилович Петров, писавший под псевдонимом Скиталец, — еще один литературный протеже Горького, воспроизводит целый эпизод из ранних встреч двух писателей: «Талантище! — сказал после его ухода Горький. — И умен при этом. По-моему, настоящий талант всегда бывает немножко глуповат, а этот — умен, знает себе цену, большим писателем будет!»[1]

Горький вводит Андреева в круг московских писателей, конечно же близких по духу самому Буревестнику. В Москве таковых притягивали литературные «Среды», основанные Николаем Дмитриевичем Телешовым — коренным москвичом и весьма средним, склонным к бытописательству беллетристом. А вот организационные качества Телешова — он происходил из известной купеческой семьи — были достойны самых высоких похвал. Более десяти лет просуществовал в Москве организованный им литературный кружок, и этот круг стал и первым профессиональным союзом, и еще одним литературным университетом для начинающего Андреева. Каждую среду писатели собирались в доме гостеприимного Телешова, читали и обсуждали одно или несколько новых произведений участников кружка, разумеется, каждое собрание заканчивалось торжественным ужином. В начале века, как вспоминал Вересаев, в телешовском кружке участвовали «Юлий и Иван Бунины, А. С. Серафимович, И. А. Белоусов, В. А. Гольцев, Сергей Глаголь (С. С. Голоушев, художественный критик), С. А. Найденов и др. При приездах своих в Москву бывали Чехов, Короленко, Горький, Куприн, Елпатьевский, Чириков...». Викентий Вересаев, близко знавший и Андреева, и его коллег по «Средам», удивлялся органичному и быстрому вхождению Андреева в круг московских реалистов: «Для меня всегда было загадкою, почему Андреев примкнул к “Среде”, а не к зародившемуся в то время кружку модернистов (Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Мережковский, Гиппиус и пр.). Думаю, в большой степени тут играли роль, с одной стороны, близкие личные отношения Андреева с представителями литературного реализма, особенно с Горьким, с другой стороны — московская пассивность Андреева, заставлявшая его принимать жизнь так, как она сложилась»[2]. Мне все же кажется, что крайне неуверенный в своих силах Леонид, по его собственному выражению, «распускался как роза» от любой

[1] Скиталец. (Здесь и далее цитируется по Интернету.)

[2] Вересаев. (Здесь и далее цитируется по Интернету.)

похвалы и крайне болезненно переживал критику. Ласковое и хлебосольное телешовское сообщество очень понравилось начинающему беллетристу, впоследствии назвавшему «Среды» своим «литературным детством». О первом «явлении» Андреева на «Средах» подробное свидетельство оставил сам Телешов. Позволю себе привести фрагмент его воспоминаний, где тот подробно описывает, как вошел наш герой в свою первую *литературную среду*: «Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же "Среду" привез к нам Андреева. Это был молодой человек с красивым лицом, с небольшой бородкой и черными длинными волосами, очень тихий и молчаливый. Одет он был в пиджак табачного цвета.

В десять часов, когда обычно начиналось у нас чтение, Горький предложил выслушать небольшой рассказ молодого автора.

— Я вчера его слушал, — сказал Горький, — и, признаюсь, у меня на глазах были слезы.

Но Андреев стал говорить, что сегодня у него болит горло, что читать он не может... Словом, заскромничал и смутился.

— Тогда, давайте, я прочитаю, — вызвался Горький.

Взял тоненькую тетрадку, сел поближе к лампе и начал. Рассказ называется "Молчание"... Чтение длилось около получаса.

Андреев сидел рядом с Горьким, все время не шевельнувшись, положив ногу на ногу и не сводя глаз с одной точки, которую он выбрал где-то вдалеке, в полутемном углу. Но вряд ли он чувствовал в то время, что каждая прочитанная страница сближает с ним этих, хотя и известных ему, но все же чужих людей, среди которых сидит он, точно новичок в школе. Чтение кончилось. Горький поднял глаза, ласково улыбнулся Андрееву и сказал: — Черт возьми, опять меня прошибло!

"Прошибло" не одного Алексея Максимовича. Всем было ясно, что в лице этого новичка "Среда" приобретала хорошего, талантливого товарища. Находившийся среди нас Миролюбов, издатель популярного в то время "Журнала для всех", подошел к Андрееву, взял у него тетрадку и убрал в карман. У Андреева глаза заблестели. Печатать у Миролюбова, в его журнале с такой хорошей репутацией и с громаднейшим количеством подписчиков и читателей, было не то, что появляться в "Курьере", скромной московской газете, где пока он работал. Вскоре рассказ был напечатан. Андреев с первого же вечера сделался своим человеком.

За "Молчанием" следовали другие рассказы, и все они проходили через "Среду". И "Жили-были", и "Сергей Петрович", и "Стена", и знаменитая "Бездна" — все было читано самим автором по черновым тетрадкам. И он выслушивал самые искренние отзывы как с похвалой, так и с возражениями. Од-

нажды Андреев прочитал рассказ под названием “Буяниха” и получил такой дружный отпор, что при жизни Андреева рассказ этот нигде напечатан не был»[1].

Андреев и вправду полюбил «Среды» и чисто по-человечески — с легкостью вошел в этот круг, а потом сам стал наряду с Телешовым устраивать вечера, протежировать «новеньких», так, ввел он в этот московский писательский кружок Бориса Зайцева.

Таким образом, Горький, бывая в Москве лишь наездами, организовал для Андреева не только публикации рассказов, но и литературную среду, где тот мог «расти» в общении с коллегами, а — как мы знаем — именно доброжелательное общение было необходимо для нашего героя как воздух, ибо предоставленный самому себе, он тут же погружался в беспокойство и даже в уныние.

Уже поссорившись с другом, Андреев воздает ему должное в автобиографии: «Как первым моментом моего сознательного отношения к книге я считаю чтение Писарева, так пробуждением истинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он... в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом. В этом смысле знакомство с Максимом Горьким я считаю для себя, как для писателя, величайшим счастьем, и если говорить о лицах, оказавших действительное влияние на мою писательскую судьбу, то я могу указать только на одного Максима Горького — исключительно верного друга литературы и литератора. Только известная сдержанность по отношению к нему заставляет меня удержаться от более горячего выражения чувства признательности и чувства глубокого, единственного уважения».

Суховатая интонация этого, позднейшего, панегирика резко контрастирует с восторженными, крайне эмоциональными и даже подчас напоминающими любовные письмами, которые писал наш герой Горькому в первые годы их дружбы. «Я не могу представить... чтобы в жизни мы пошли разными путями. Если же это свершится, то для меня... это конец... тогда значит, нет земли под ногами, нет правды, нет смысла в жизни, ничего нет»[2]. Отчаяние от размолвки после примирения сменялось нежностью, в письмах и дневнике Андреев

---

[1] Телешов. (Здесь и далее цитируется по Интернету.)

[2] Переписка. С. 180.

называет Горького «Максимушкой», «милым Алексеюшкой», «Душечкой», «милый мой, всепрекраснейший Максимыч». Горький гораздо более сдержан и чаще всего начинает письма обращением «Милый Леонид», «Леонид», «Друг». Но вот что интересно, в те моменты, когда Горький был особенно расположен к другу, он конечно же в шутку письменно обращался к нему «Милая моя Леонида!». Многие исследователи замечали, что первая фаза их дружбы весьма походила на гипотетическую влюбленность и Горькому принадлежало в этом «романе» несомненно сильное, мужское начало, Андреев же находился всецело под влиянием Буревестника. Иван Бунин рассказывал, что даже в одежде наш герой стал подражать другу: носил сапоги с голенищами, вправляя туда штаны, а подчас даже надевал блузу и поддевку...

Но уже и эти — первые — встречи Горького и Андреева омрачались «выходками» последнего; как-то раз, приглашенный на обед, Леонид явился в дом Горького «увы! — в сильном подпитии». Тот же Скиталец в воспоминаниях об Андрееве остроумно реконструирует этот эпизод: «...он вошел в столовую, шатаясь из стороны в сторону. Длинные волосы свалились у него на лицо».

В доме начался переполох: «Жена Горького ахнула, выронила ложку и убежала из комнаты; за ней последовали ее мать и бонна с мальчиком. Андреев, тяжело дыша, хотел опуститься на стул подле меня, но пошатнулся, схватился за скатерть и упал бы, если бы я не подхватил его. Утвердившись на стуле, он откинул назад свои роскошные кудри, осмотрелся и добродушно рассмеялся... Горький недовольно молчал.

— Так! — продолжал Андреев. — Извините, господа, что мы пришли к вам вдвоем: я и месье алкоголь!» Недовольство хозяина было растоплено обаянием, с которым «необузданная, дикая, мрачная» фантазия Андреева немедленно «изготовила» рассказ о том, как и зачем приходит к человеку «месье алкоголь». «Горький, сам никогда не пивший спиртного, не любил встречаться с подвыпившими людьми, но Андреев в подпитии, молодой, красивый, блещущий остроумием, вдохновенный, глубокий и яркий, представлял собой слишком интересное зрелище. Мы влюбились тогда в этого разгульного, необыкновенного юношу — Леонида Андреева, — подводит итог этой встречи Скиталец. — Он гостил в Нижнем четыре дня, все время ходил с нами “навеселе”, в таком же состоянии и уехал, нескончаемо занимая нас до самого отхода поезда своими остротами и вдохновенными яркими рассказами»[1].

---

[1] См.: Скиталец.

Помимо «иррациональной близости» и желания опекать молодого друга, Горький был в ту пору весьма заинтересован в объединении вокруг своего имени целой группы писателей определенного литературного направления — будущий Буревестник уже ощутил жажду общественной деятельности, расцветал его недюжинный организаторский талант. Став в 1900 году членом книгоиздательского товарищества «Знание», благодаря которому он не так давно сделался знаменит и которое значительно обогатилось в связи с изданием его четырехтомника, Горький приступил к осуществлению собственного издательского плана. Сборники товарищества «Знание» должны были знакомить публику с творчеством талантливых — старых и новых — писателей-реалистов. Искренне считая Андреева реалистом, как член товарищества Горький был крайне заинтересован в «продвижении» на российском книжном рынке андреевской прозы. Однако психологические факторы играли здесь едва ли не большую роль, чем экономические. Так, твердо стоящий на ногах Алексей Максимович непременно желал сам, за ручку ввести «младшего брата» в большую литературу. И ввести, разумеется, по реалистической тропе.

В письмах он настоятельно советует Андрееву оставить тот иронический тон рассказчика, который так привлекал к нему читателей «Курьера»: «Бросьте эту манеру и, пожалуйста, пишите проще». Горький ревниво предостерегает друга от «чужих влияний»: «Не слушайте, ради бога, ничьих советов, не обращайте внимания ни на чью критику. <...> Старайтесь держаться дальше от профессиональных литераторов — это дурные люди, изъязвленные самолюбием». Очевидно не причисляя себя к последним, не получивший никакого образования Горький пытается «образовать» выпускника Московского университета: «Читайте хорошие — старые книги: Библию, Шекспира, Сервантеса, Гейне и т. д.». И наконец, «милый Максимушка» дает «Милому Леониду» уроки психологического реализма: «...изображайте прежде всего людей, а не ницшеанцев, не чиновников, не радикалов, не несчастных. Все это — только — внешность, главное же — человек. <...> Он сам по себе интересен»[1].

Наставник чрезвычайно ревнив: малейшая «измена» Андреева приводит его в ярость. Любопытно, что весной 1900 года, в ответ на просьбу «ученика» издать в «Знании» сборник рассказов, Горький реагирует прохладно: «По-моему, книжку

[1] Цит. по: Дневник. С. 209.

выпускать Вам рано: Вы еще черт знает сколько напишете и черт знает как!»[1] Но, узнав, что уже летом при посредничестве Фейгина Андреев продал свои первые рассказы знаменитому московскому издателю Сытину за 350 рублей и что тот собирается вскоре выпустить их отдельной книжкой, Алексей Максимович разражается чуть ли не площадной бранью: «Жулик и сукин сын этот Ваш издатель, ибо он Вас обобрал бессовестно и безжалостно... он по природе своей грабитель, да! Не пожелаете ли Вы продать рассказы Ваши мне, я даю Вам всю прибыль с них и сейчас же — 500 р.? Дикий Вы черт, вот что! Буде Вы на мои условия согласны — и никаких бумаг с издателем не подписывали — телеграфируйте немедля. Сейчас же дам Вам денег, если надо. Издание выйдет в Питере у "Знания"...»[2] По чистой случайности Фейгин, которому Андреев поручил заключить договор с Сытиным, поскольку сам ложился тогда в клинику, — об этой андреевской просьбе попросту забыл и «никаких бумаг» с издателем не подписал, а уж Сытин тем более не держал в памяти договор с каким-то репортером и начинающим беллетристом Андреевым. И вышло-то всё «по-горьковски»: в сентябре 1901 года в Петербурге издательство «Знание» тиражом четыре тысячи экземпляров выпустило книжку, собравшую под одной обложкой десять андреевских рассказов. Вошли туда и «Ангелочек», и «Молчание», и «Валя», и «Рассказ о Сергее Петровиче». Стоила книжка 80 копеек.

На обложке стояло имя «Леонид Андреев» — знакомое лишь читателям «Курьера» да очень узкому кругу московских литераторов. Вопрос, под каким именем он войдет в «большую литературу», конечно же волновал автора сборника. «— Хочу взять себе псевдоним, — говорил он, — да никак не придумаю. Выходит или вычурно, или глупо... "Андреев" — что такое Андреев?.. Даже запомнить нельзя. Совершенно безразличное имя, ничего не выражающее: "Л. Андреев". <...> Эти поиски псевдонима кончились тем, что решено было поставить на книге не "Л. Андреев", а "Леонид Андреев". Это казалось ему менее безличным»[3].

Ну и конечно же этот сборник автор — Леонид Андреев — посвятил Алексею Максимовичу Пешкову. И добавил в личном письме, что книга — детище Горького: «...ибо твоя рука вывела меня на эту дорогу и ты также повинен в этой книжке, как и я». Алексей Максимович Пешков — хотя формально и отклонил комплименты Андреева — принял посвящение с

---

[1] Цит. по: Скиталец. С. 378—407.
[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 95.
[3] Цит. по: Скиталец. С. 378—407.

затаенной радостью и был счастлив успеху книги. «Слежу за успехом Андреева и — ликую! Кому не дашь книжку, все хвалят и хвалят хорошо, толково. Вообще — прекрасная штука — жизнь. Я все больше проникаюсь этим убеждением»[1].

Да, успех — и успех настоящий, успех — как сказали бы сегодня, на общероссийском уровне — настиг Леонида Андреева уже через две недели после выхода сборника. «Первое издание рассказов разошлось в три месяца, дав мне 1300 р. чистого», — писал Андреев орловским родственникам, и уже в следующем, 1902 году тиражом восемь тысяч выходит второе — дополненное шестью рассказами, в частности «Стеной» и «Бездной», — издание, оно расходится в две недели; и далее сборник этот переиздается еще несколько раз. Успех у читающей публики превзошел все — даже самые смелые — ожидания Андреева, но этот успех едва ли не затмило признание профессионалов. В ноябре со статьей «Страх жизни и страх смерти: Рассказы Леонида Андреева»[2] выступил сам патриарх от литературной критики Николай Константинович Михайловский.

В прошлом — один из столпов «Отечественных записок», писатель, мыслитель, философ, искусствовед, в те годы — совместно с В. Г. Короленко редактировал столичный журнал «Русское богатство», этот старейший и авторитетнейший литературный критик являлся одним из теоретиков народничества, что собственно и определяло его литературные пристрастия. Занимающий, по его собственному определению, «...скромное, но ответственное положение сторожа при храме литературы», Михайловский, впервые прочтя прозу Андреева, писал, что «...радостное чувство охватывает нашего брата, когда мы наталкиваемся на что-нибудь оригинальное и значительное». Однако не всё «оригинальное» и «значительное» в рассказах Андреева Михайловский готов был безоговорочно принять. Сравнивая нового автора с Эдгаром По, главный российский критик выделял будущего автора «Анатэмы» и «Дневника Сатаны» именно за то, что «огромная разница» между ним и американским зачинателем хоррора состоит «в том, что, за одним всего исключением, в рассказах г. Андреева нет ничего “необыкновенного”, “странного”, фантастического, таинственного». Полагая оценку произведений основной задачей литературного критика, Михайловский распределил все рассказы сборника так: «Творчество г. Андреева неровное. У него есть рассказы истинно превосходные, в которых ни прибавить, ни

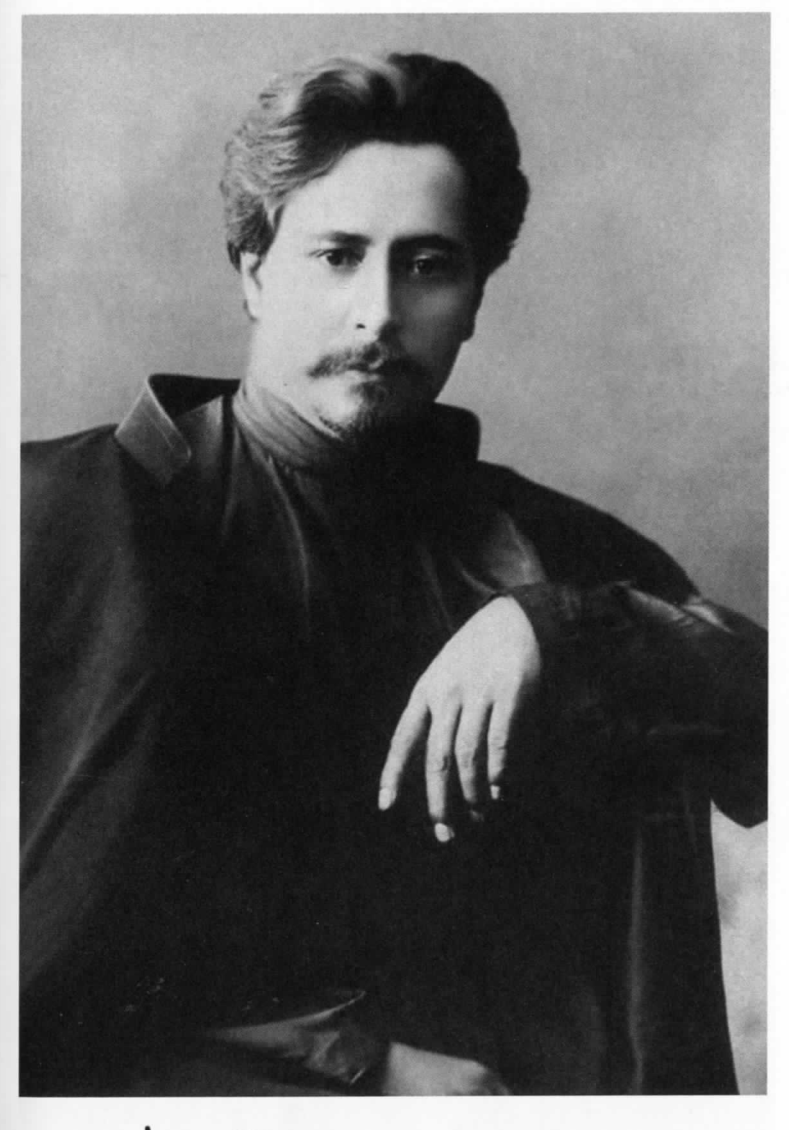
---

[1] Переписка. С. 409.

[2] См.: *Михайловский Н. К.* Об одном неосновательном мнении: Рассказы Леонида Андреева. Страх жизни и страх смерти // Русское богатство. 1901. № 11. С. 58—74.

убавить, ни передвинуть ничего нельзя (“Жили-были”), но есть и растянутые (“Рассказ о Сергее Петровиче”)». Верно обозначив главную тему андреевской прозы: «Просто страх, ужас и факты преодоления страха, сознательно или бессознательно, привлекают к себе его внимание, и, вероятно, именно этим он напоминает некоторым читателям Эдгара По», Михайловский слегка «отшлепал» новичка за ужас, испытываемый его героями перед «неизбежностью смерти». Будучи убежденным позитивистом, Михайловский учил Андреева, что «...вот если отвлечь все эти осложняющие элементы, то на долю собственно уничтожения, прекращения бытия останется не так уж много...». Гораздо более трагическим представлялся Михайловскому ужас перед «крушением идеала», и он мягко пожурил начинающего беллетриста за то, что в «Ангелочке» тот, по его мнению, не нашел красок, чтобы изобразить ужас пробуждения Сашки и его непутевого отца, когда обнаружили они вместо прекрасного ангела — восковую лужу. «Все равно, в чем состоит этот идеал, воплотился ли он в личности, или остался бесплотной идеей, или кристаллизовался в общественную форму, — под этого воскового ангелочка можно подвести любой вид идеала. Он умилил ожесточенное сердце мальчика и отогрел измученное сердце старика — и исчез, растаял... Страшнее этого ничего быть не может». Но как бы там ни было — старейший критик склонил голову перед «оригинальным голосом» начинающего автора, утверждая, что «может быть — от слова не станется! — оригинальность г. Андреева, находящегося еще в начале пути, приведет его в конце концов в места не совсем здоровые, но можно, кажется, поручиться, что и в этом печальном случае он будет “сам”». В дальнейшем Михайловский не принял ни «Стены», ни «Бездны» Леонида Андреева и, как мы помним, вообще не углядел «литературного вещества» в андреевском шедевре — рассказе «Мысль». Похожие отношения складывались у прозы Леонида Николаевича и с другим «великим читателем» — Львом Толстым.

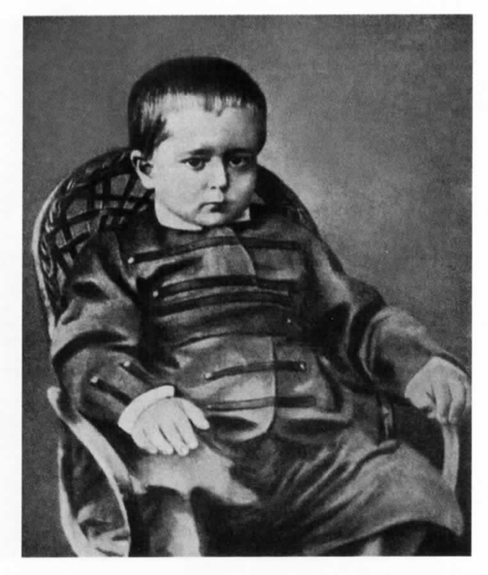
«Глубокоуважаемому Льву Николаевичу Толстому. Л. Андреев» — с такой надписью в декабре 1901 года начинающий литератор отправил мэтру свой первый сборник. И получил ответ. Толстой писал, что «прежде присылки» читал все рассказы Андреева и — как и Михайловский — выделил «Жили-были». Впрочем, в отличие от критика, Лев Николаевич бы с удовольствием подредактировал и этот, написанный Андреевым под впечатлением от пребывания в клинике Чиреинова, рассказ. То, что и Михайловский и Толстой выделили «Жили-были», вполне объяснимо. «Клиника внутренних болезней» описана здесь с поразительной, «отточенной до символа» реалистич-



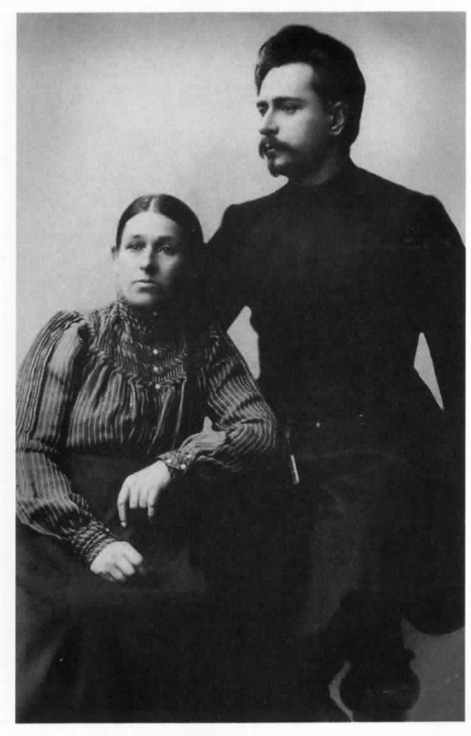
Леонид Андреев

Орел в конце XIX века

Дом Андреевых в Орле — ныне музей



Маленький
Ленуша Андреев.
*Автопортрет
с фотографии*



Андреев с матерью
Анастасией Николаевной

Гимназия, где учился
будущий писатель



Надежда Антонова —
любовь студенческих лет

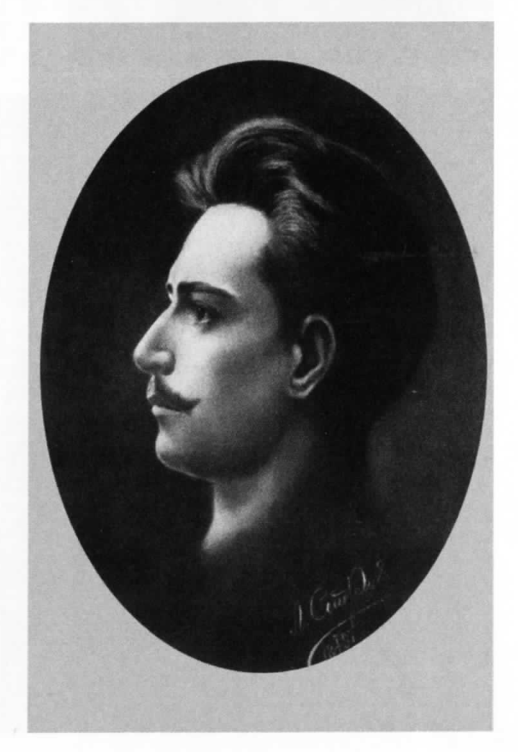
Дневник
Леонида Андреева
(записи
от 5 и 17 сентября
1897 года)

5 Сентября [illegible]

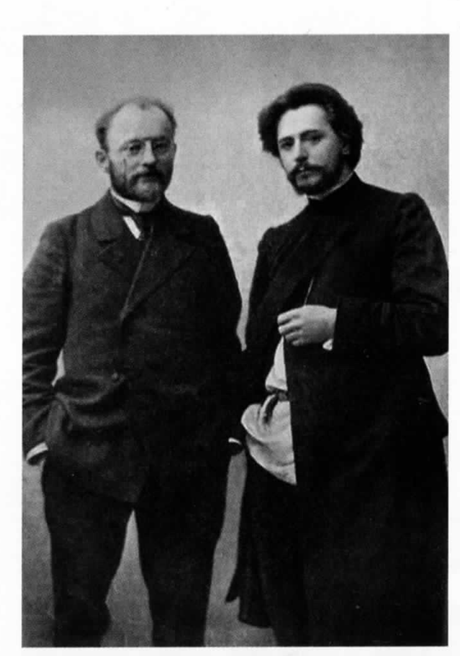
[illegible]

17 Сент.
3 ч. ночи.

Да развѣ это я и живу?
Я пью.
Глубокая ночь. Все спятъ.
Там, вдалеке, громыхает
телега.
Зачем же я живу?
Водка сзади меня,
водка передо мной, завтра
и всегда!.. (всегда.)



Автопортрет
Л. Андреева



Андреев с Викентием Вересаевым

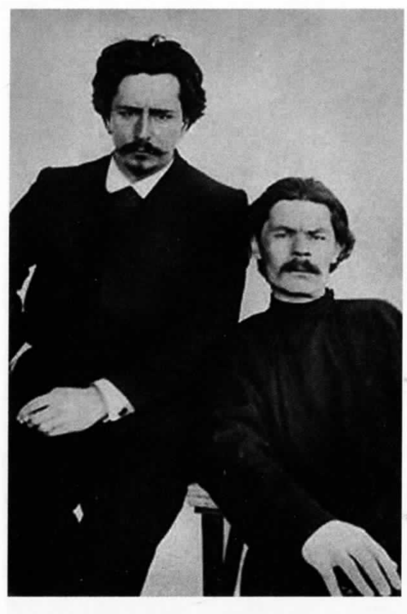
Участники телешовских «Сред». Слева направо: Скиталец, Л. Андреев, М. Горький, Н. Телешов, Ф. Шаляпин, И. Бунин, Е. Чириков

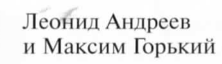
Николай Телешов
и Иван Бунин





Дмитрий Мамин-Сибиряк

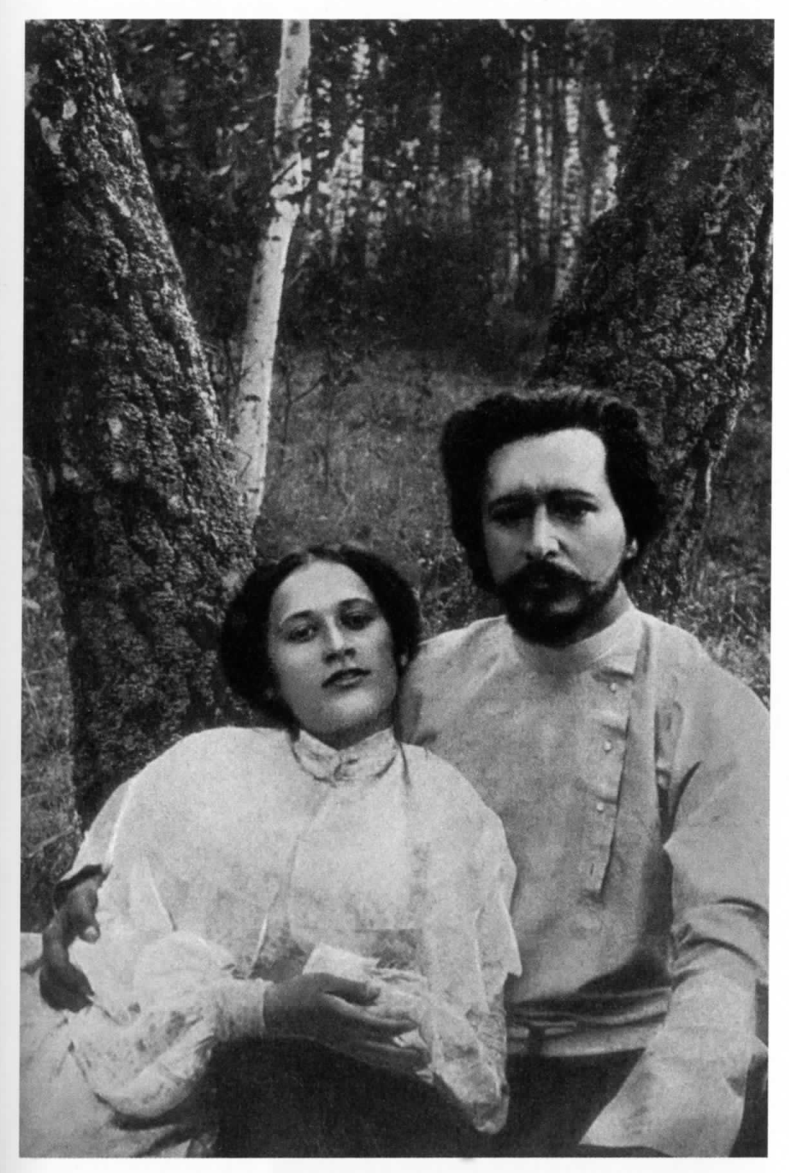




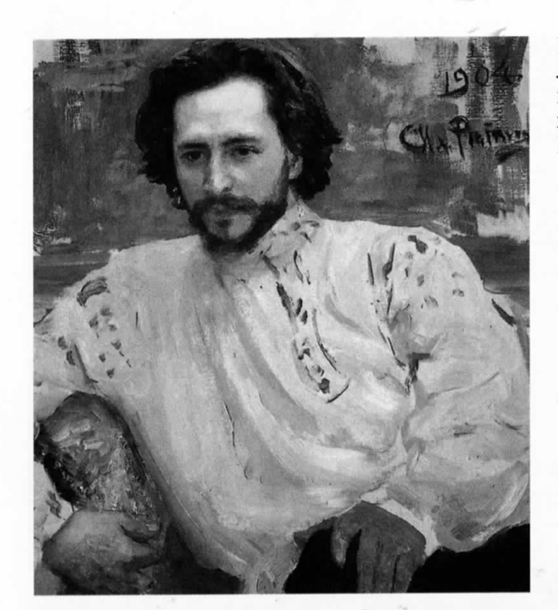
Леонид Андреев
и Максим Горький



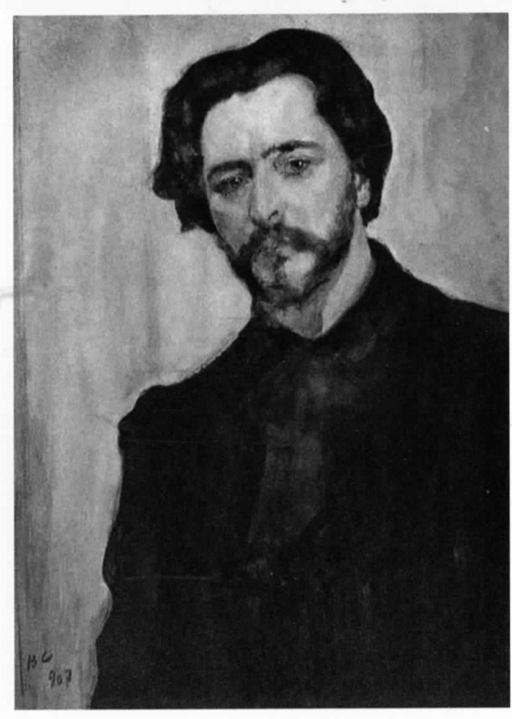
Андреев — тень Горького.
Шарж Ре-Ми (Н. В. Ремизова)



Андреев с первой женой Александрой Михайловной
(в девичестве Велигорской). *1903 г.*

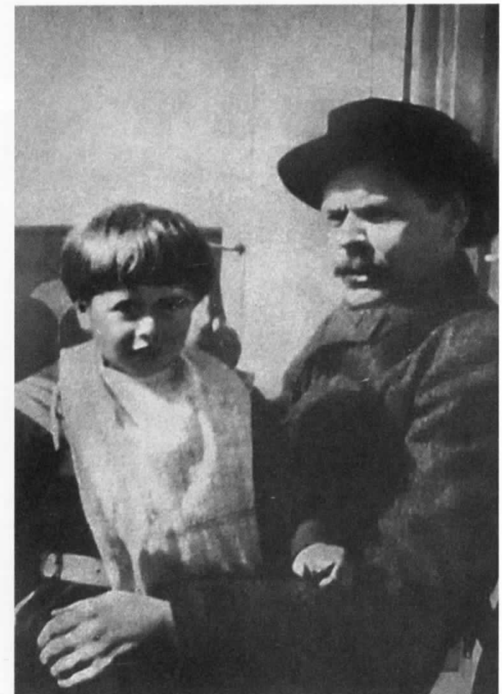


Портреты
Леонида Андреева
писали лучшие
художники России:
Иван Репин...

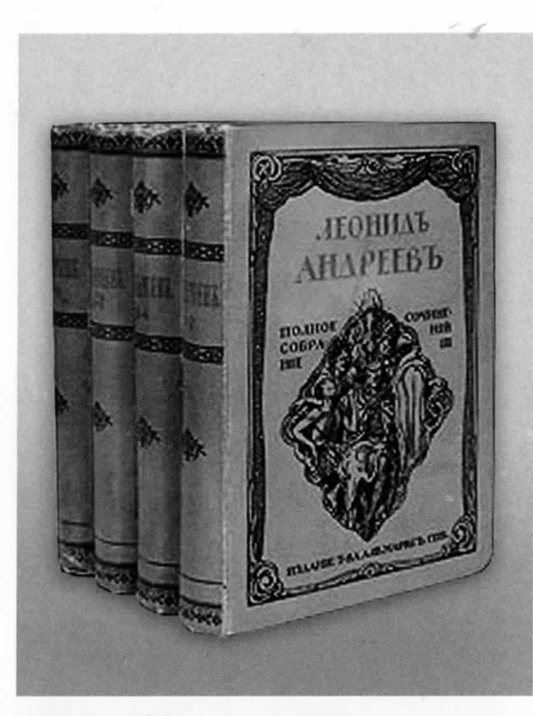


...и Валентин Серов

Андреев и Горький
в гостях у И. Репина
в усадьбе «Пенаты».
1904 г.



Старший сын писателя
Вадим на коленях
у друга семьи —
Максима Горького.
1907 г.



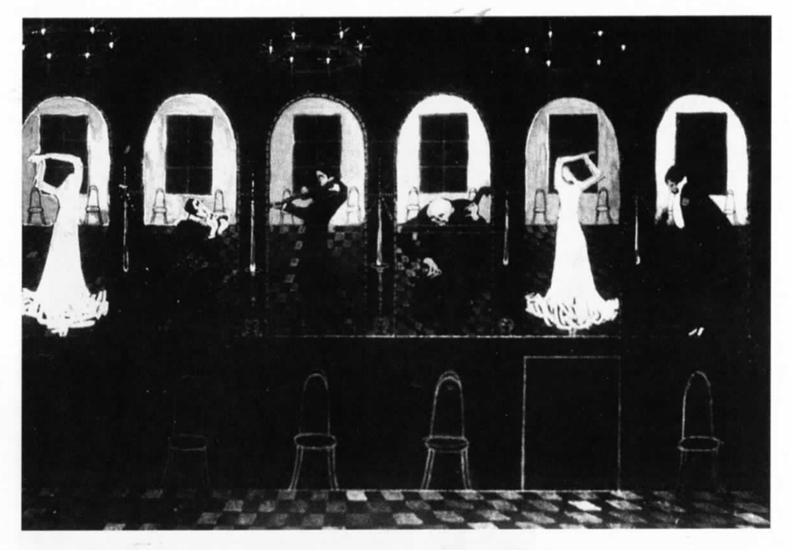
Собрание сочинений Андреева, выпущенное издательством А. Ф. Маркса

Первое издание пьесы «Царь-Голод». *1908 г.*

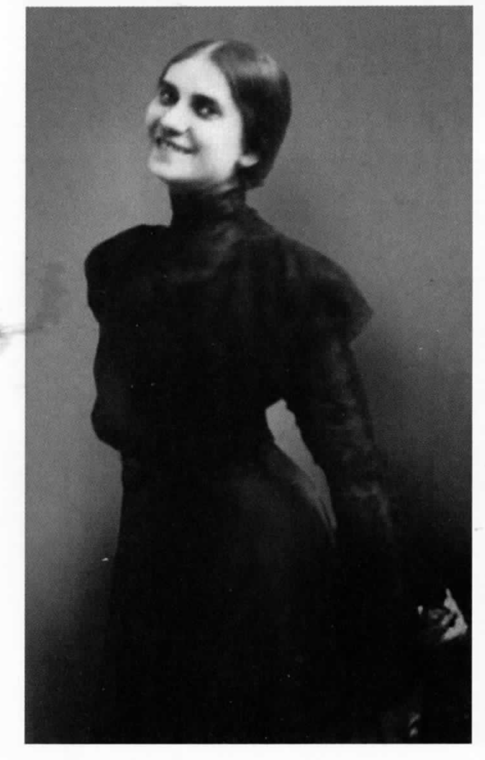
Андреев с женой
Александрой Михайловной.
Фото К. Буллы. 1905 г.



Андреев (внизу в центре)
на приеме в его честь,
устроенном в усадьбе
«Пенаты»

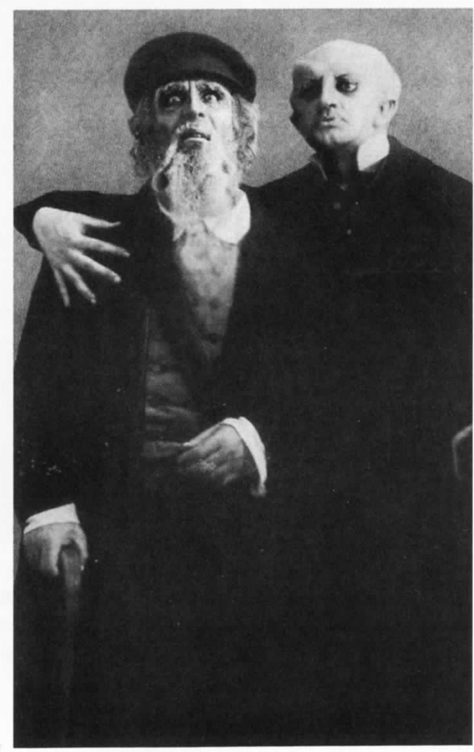


Эскиз декорации
к спектаклю
«Жизнь человека» в МХТ.
Художник В. Егоров

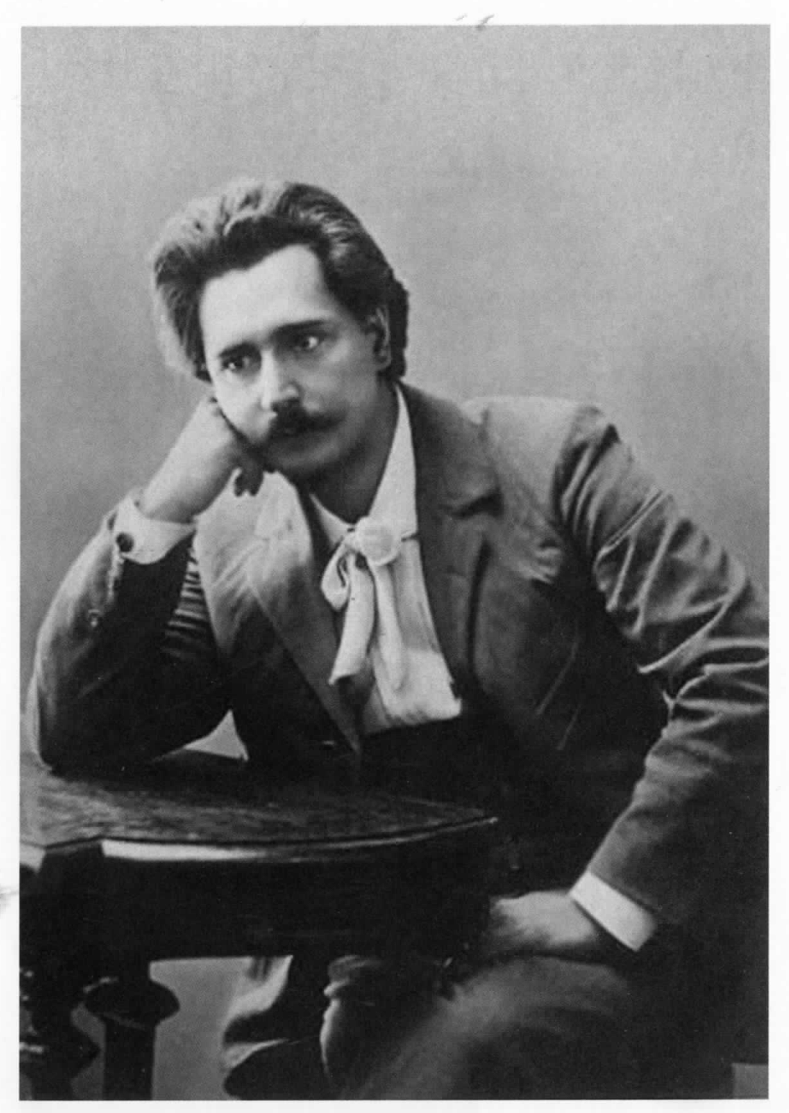


Алиса Коонен в роли
Маши в спектакле МХТ
«Живой труп»

Появление ангела
в прологе спектакля
«Анатэма» в МХТ



Герои «Анатэмы» —
Лейзер (А. Вишневский)
и Анатэма (В. Качалов)



Властитель дум. *1910 г.*

ностью —как своего рода перевалочный пункт между жизнью и смертью, и далее внимание автора концентрируется на том, как главные герои рассказа — дьякон и купец — встречают знание о собственной близкой смерти. Здесь Андреев достигает пронзительной точности психологического портрета, чего не мог конечно же не оценить автор «Анны Карениной», его, однако, как и Михайловского, несколько смущала сама смерть, так часто являющаяся на страницах первого андреевского сборника. Знаменитая толстовская фраза об Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно» родилась именно тогда — в связи с оценкой этой книги. Своеобразной «повитухой» выступил здесь тот же Горький, 23 декабря 1901 года сообщивший Андрееву: «Говорил о тебе с Толстым», и потом, передав похвалы отдельным рассказам: «Много говорил похвального о чистоте языка и силе изображения», прибавил и «ложку дегтя»: «В то же время [Толстой] сказал: "Есть анекдот о мальчике, который так рассказывал товарищу своему: 'Была темная ночь — боишься? В лесу выл волк — боишься? Вдруг за окошком — боишься?' Вот и Андреев так же: пишет и спрашивает меня: 'Боишься?' А я — не боюсь! Что взял?"»[1]

Итак, аплодисменты в стане реалистов были омрачены «маленьким темным облачком», совсем крохотным сомненьицем — а не шпион ли, не мимикрирующий ли враг прокрался в их стан. Безоговорочно признавая и стиль, и мастерство психологического портрета Андреева, «сторожа при храме» реалистической литературы были смущены, как уже говорилось, и смущены тем, как часто и с какой свободой разгуливают по страницам его рассказов Ужас и Смерть. И в сущности — они были правы. В стане реалистов Андреев оказался гадким утенком. И кстати, интересно, что у символистов Андреева — напротив — сразу и безоговорочно причислили к реалистическому лагерю: известно, что, прочтя «Жили-были», Дмитрий Сергеевич Мережковский обратился в «Курьер» с вопросом: «Кто скрывается под псевдонимом Леонид Андреев — Максим Горький или Чехов?»[2]

Таким образом, несмотря на еле заметные трещинки между Андреевым и столпами реализма, мы можем смело утверждать, что в русскую литературу наш герой триумфально вошел именно через эту, обитую грубым железом и с таким трудом открываемую иными дверь. И как мне кажется, в те, первые годы его восхождения и славы сам писатель не ощущал в этой связи никакого внутреннего дискомфорта. А впрочем... Кло-

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 96.
[2] Там же. С. 91.

чок его неоконченного раннего рассказа «Реалист» все же содержит зародыш осознания будущей коллизии: «Все художники и критики считали Олсуфьева реалистом в самом строгом смысле этого слова, и он сам вполне присоединялся к этому единогласному решению и гордился им. <...> И самым скверным днем был для него тот, когда в одной из его картин и публика, и критика обратила внимание на пейзаж и восторгалась им, а валяющегося во рву пьяницу, над которым стояла, заламывая руки, женщина, видимо жена, обошла полным молчанием. Но не с одной критикой приходилось ему бороться, в себе самом находил он врага. Им были странные настроения и туманные ощущения прекрасного, жалкого и страшного, не находившие выражения в ...» На этом рукопись обрывается, но воображение читателя продолжает рисовать сновидческие картины в духе Альфреда Кубина...

Глава пятая. 1902—1905:

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

Любовь и слава. Шурочка Велигорская. Свадьба и путешествие. «Стена» и «Бездна». Газетная ругань. Два «мешка». Андреев — тень Горького. «Жизнь Василия Фивейского». Старший сын. Поэт-эмигрант Вадим Андреев. Русско-японская война: «Красный смех» как предчувствие катастрофы

«Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга. <...> Безгранично велик был мир, и я был один — больное тоскующее сердце, мятущийся ум и злая, бессильная воля», — писал Андреев своей невесте незадолго до свадьбы — 4 февраля 1902 года — в день ее рождения. Многостраничное послание было вложено в подаренный Шурочке сборник собственных рассказов вместе с фотографией — «красивого молодого человека с великолепной гривой»[1] зачесанных назад волос. В этом дарственном письме Леонид Андреев пытался определить роль третьей героини нашей книги — Александры Михайловны Велигорской — в собственной жизни. «И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом себе не имея друга. <...> И приходили ко мне призраки. Бесшумно вползала и уползала черная змея, среди белых стен качала головой и дразнила жалом; нелепые, чудовищные рожи, страшные и смешные, склонялись над моим изголовьем, беззвучно смеялись чему-то и тянулись ко мне губами, большими, красными, как кровь. А людей не было; они спали и не приходили, и темная ночь неподвижно стояла надо мною». Как мы видим, жених не стесняется в выражениях, черня свое прошлое: «Уже близка была моя смерть. И я знаю, знаю всем дрожащим от воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в могиле — если бы не пришла твоя любовь, которой я так долго ждал, о которой так много, много мечтал и так горько плакал в своем безысходном одиночестве». Резкий переход от «несчастья к счастью» Андреев связывает с одной лишь

[1] Таким видел Леонида Андреева Аркадий Алексеевский.

Шурочкой: это она распахнула «настежь двери его темницы, где томилось его сердце, истерзанное и поруганное, опозоренное людьми и им самим», это она, она одна «заглянула в глубину его сердца» и поверила в него, «чистая помыслами», «неиспорченная душой» она вдохнула в него «жизнь и веру», без нее «не было бы лучших... рассказов». Переворот свершился и теперь — признается жених — «нет у меня горя, когда твоя милая рука касается моей глупой головы фантазера». И вместо ужасных рож и черной змеи, жалких дней и пустых ночей — «жизнь впереди... <...> Быть может, ее неумолимая и грозная сила раздавит нас и наше счастье — но, и умирая, я скажу одно: я видел счастье, я видел человека, я жил!»[1]. Бракосочетание молодого, но уже известного всей России беллетриста Леонида Андреева и курсистки Александры Велигорской произошло 10 февраля 1902 года. Андреев принял отданную ему руку «с безграничной любовью и уважением», подчеркивая, что принимает не только руку невесты, «но и сестры, товарища и друга». Все, кто окружал писателя, в один голос заявляли о том, что этот «брак был исключительно счастливый».

Отчего же «родная... и единственная на всю жизнь» — как теперь называет ее молодой муж — Шурочка в прошлом пролила не одно блюдечко слез по вероломному Леониду и отчего Андреев, несмотря на частые встречи, так долго не мог разглядеть судьбоносной важности этой девушки в своей жизни? Отчего «нелепые, чудовищные рожи» склонялись над его «изголовьем», в то время как всего-то через пять улиц от его дома проживал ангел, способный с легкостью разогнать их кухонным полотенцем? Вопрос этот далеко не прост: отношения Леонида и Шурочки никак не укладываются в обычные схемы любовных романов.

Дневник Андреева, как мы знаем, переполнен рассуждениями, психологическими портретами, многословными восхвалениями, проклятиями и стонами, связанными с дамами его сердца, живет в этом своеобразном гареме — на правах «одной из» — и наша героиня. 19 августа 1898 года автор дневника посвящает своим отношениям с Шурочкой целое «историческое исследование», последовательно фиксируя и характеризуя девять «фаз» его любви к будущей невесте. Отчасти используя эти страницы и сократив количество его «фаз» до трех, попробуем реставрировать их странный роман.

Итак, первая «фаза» романа возвращает нас к лету 1896 года — периоду знакомства Андреева с Добровыми. «Помню, как однажды мы возвращались с прогулки; я с Шурочкой шел

[1] Детство. С. 156—158.

сзади, и мы чему-то оба смеялись, так искренне, так глупо и так весело, что если в то время в кустах сидела, притаившись, сама смерть, то и у нее на костяшке должно было появиться подобие улыбки»[1]. «Молоденькая и глупенькая Шурочка» без памяти влюбилась в остроумца-студента, он же, как мы помним, в конце концов, поддался чарам ее старшей сестры Елизаветы Добровой: «Шурочка понравилась мне с первого взгляда, но ее молодость... и неожиданный роман с Е. М. — все это отдалило ее от меня»[2]. Что же мы видим? В 15 лет весьма избалованная гимназистка из интеллигентной семьи без памяти влюбилась в студента. Он же, будучи на десять лет старше Шурочки, отчасти поощряя девичьи чувства, все ж таки искал счастья в объятиях молодых женщин и, кстати, никогда не скрывал своих «романов» от гимназистки. Ну а кроме того, сердце студента уже который год жалила «черная змея»: его «идеальная» и безответная любовь — Надежда Антонова. Да и то правда — любовь чувство многогранное и каждую свою пассию любвеобильный герой любил по-разному. И хотя Леонид Николаевич с осени 1896 года на протяжении пяти лет неоднократно и подчас — вполне серьезно — объявлял Шурочке о том, что именно ей и только ей принадлежит его любовь, — в его отношении к ней сквозит нечто вроде шутливого покровительства: «Взять Шурочку эту самую. О ней я размышляю чрезвычайно много. К ней я приглядываюсь, взвешиваю ее так и эдак»[3]. Даже и в те дни, когда Шурочка со всей решительностью заявляет, что не любит Андреева, в его дневнике — среди отчаянных строк о необходимости свести счеты с жизнью — нет-нет да и мелькнет мысль: «но, думаю, в конце концов, все образуется». Мне удалось подсчитать, что за пять лет романа молодые люди «рвали» отношения — на месяц, на год или «навсегда» — восемь (!) раз. Ну и, разумеется, постоянно — и устно, и письменно — эти отношения выясняли.

Интересно, что оба они — и Шурочка, и Леонид — в то время вели дневник. Из их исповедей можно почерпнуть, что первые годы знакомства гимназистка занимала в сердце Андреева не слишком много места — воспринимая юную Шурочку как «тихую гавань», он возвращается к ней исключительно в моменты тяжелых поражений на других любовных фронтах. «Любить хочется до безобразия. Сердце двоится между Надеждой Александровной и Шурочкой». На протяжении двух лет — сердце Андреева не только «двоится», а иногда и «троится»... Шурочка же, любя его и страдая, а кроме того, «будучи — по

[1] Дневник. С. 82.
[2] Там же. С. 158.
[3] Там же. С. 74.

мнению мужа — особой страшно самолюбивой, склонной, как и все малолетние, к романтизму...», по признанию Андреева, «считала меня мерзавцем и подчас наивно, по-детски демонстративно высказывала это...»[1].

Дневник Шурочки-гимназистки подтверждает, что Леонид и вправду будоражит ее воображение: «В ночь с понедельника на вторник я видела Леонида во сне. И вот перед моими глазами рисуется картина: я на вокзале, сажусь в вагон, прощаясь с Леонидом, который тут же. Я слышу от него: Я вас люблю. На этой мысли я себя поймала. Мысленно же обозвала себя дурой». А вот и реальный эпизод из этой, первой, фазы отношений наших героев. В самом начале лета 1897 года, сдав последний выпускной экзамен, Леонид приезжает к Добровым в Царицыно, Шурочка же собирается уехать к родственникам в Севск. Их диалог крутится вокруг одной и той же темы: Андреев намекает на свои чувства, Шурочка же «не может им верить». Однако, будучи суровой на словах, перед его уходом она идет в сад, чтобы нарвать жасмину и, догнав Леонида, вручить ему — как напишет позже один из последователей Андреева — «ветвь, полную листьев и цветов»: «Мы повернулись, чтобы расстаться, но вдруг, неожиданно для самой себя я повернулась к нему, протягивая букет жасмина. — Возьмите, — произнесла я. Лицо его озарилось улыбкой, он вместе с цветами поймал мою руку и пожал ее»[2].

Увы, Шурочка жестоко разочаруется в своем «порыве»: по возвращении из Севска гимназистка услышит о новых «дачных романах» Леонида. И — как напишет в дневнике Леонид — снова «она суха и демонстративно резка со мною»[3]. Что ж, «глупенькая и наивная Шурочка» пока что не знает, как удержать красавца и сердцееда «у своих ног». Однако — как мы увидим далее — по мере ее взросления периоды увлечения сердцееда Шурочкой все удлиняются, пока, наконец, он не попадает в окончательную зависимость от нее. И они меняются ролями.

В том же 1897 году, успев неоднократно влюбиться и разочароваться, сделать предложение Антоновой и получить отказ, Андреев снова как за спасительную соломинку хватается за мысль о Шурочке: «Мой огонек — Шурочка». В начале октября на свадьбе у Петра Велигорского, он вновь уверяет де-

[1] Дневник. С. 75.
[2] Цит. по: Дневник. С. 248, 250.
[3] Там же. С. 159.

вушку в своей любви, и «сверх ожидания принято объяснение благосклонно». Отношения начинают стремительно развиваться: «первые горячие поцелуи». Андреев требует, чтобы девушка, бросив гимназию, немедленно шла за него замуж, Шурочка, хотя и мечтает о том же, все же благоразумно отклоняет это предложение. Их платонический, но далеко уже не невинный роман, по требованию Шурочки, тщательно скрывается от Добровых и матери Александры Михайловны — суровой Бусеньки. Впервые — по настоятельной просьбе Шурочки Андреев бросает пить. Но... «ветреный Лео» вновь едва не тонет в пучине страстей — внезапно у него появляется новая любовница — двадцатилетняя Наталья Леонидовна Жданова. Как всегда, быстро разочаровавшись в «доступной, земной» любви, Андреев, зализывая раны, делает попытку вернуться к Шурочке, но — увы, здесь он встречает весьма холодный прием. И тут-то гимназистка «обращает его в холопа». «Я радуюсь каждой редкой ласке, слову, мирюсь с несправедливостью и минутами бываю счастлив рабским счастьем»[1].

Здесь наступает поворотный момент и начинается «вторая фаза» их романа: повзрослевшая и похорошевшая, имеющая теперь и других поклонников, Шурочка начинает осознавать свою власть над буйным нравом и любвеобильным сердцем Леонида, теперь она царит здесь по преимуществу одна. «Весь смысл, все содержание моей жизни исчерпывается одним словом — Шурочка. Долго было бы, да и бесплодно прослеживать тот процесс, который привел меня от свободы к состоянию крепостной зависимости»[2]. В сущности, интуитивно Александра Михайловна вела себя с Андреевым как опытная кокетка: осознав, что его сердце ей не завоевать немедленно, она на протяжении этих лет как будто тщательно выверяла меру своей холодности и горячности: например, на вопрос о любви Шурочка все чаще отвечает ему волнующе неопределенно: «я не знаю» или «я не умею любить». Кому-то может показаться, что она холодно обдумывает и ловко осуществляет все эти жесты, чтобы, улучив, удобный момент, окончательно поработить ветреного поклонника.

На самом же деле Шурочка и не думала играть и просчитывать, с самого начала ее чувства к Леониду были абсолютно искренни, а симпатия и интерес к его личности — несомненны. А кроме того, обладая психологической интуицией, Александра Михайловна за эти годы научилась очень хорошо понимать душу и сердце Леонида Николаевича. Пройдет еще

[1] Там же. С. 160.
[2] Там же. С. 140.

немного времени — и бывшая гимназистка научится прекрасно понимать и ценить его мятущийся ум. Теперь же она, например, рассмотрела и назвала ему суть его отношения к женщине: «Вы говорите, что, если бы нашли женщину, которая полюбила бы Вас той любовью, какой Вы хотите, Вы никогда бы не разлюбили бы этой женщины. Это ложь (не знаю только какая сознательная или бессознательная)... Вас не привлекает любовь тихая, не дающая Вам страдание. Страдание — это Ваше наслаждение»[1]. С 1898 года они все чаще ссорятся вовсе не из-за ветрености Андреева, главный пункт их противоречий — сам взгляд на любовь и на обязательства, которые она накладывает на влюбленного. Показателен в этом отношении повод очередного разрыва — летом 1898 года: Андреев требует от Шурочки «неравноправной любви», любви, где «одна личность должна быть поглощена другой», заявляя, что Шурочка пока что не слишком хочет соответствовать идеалу возлюбленной, от которой автор письма «ждет безграничной, готовой на всякую жертву любви». «Всюду за мной: в могилу, в тюрьму, в сумасшедший дом!» — таким патетическим призывом заканчивает он письмо-требование. Ответ не заставил себя ждать: «Письмо Леониду готово. Он сидит у нас. Остается улучить минуту и отдать ему. Но... у меня является нерешительность. Отдавать или не отдавать? Ведь я говорю, что не люблю его, а вместе с тем есть у меня что-то, что можно назвать любовью. Ах, я не знаю, люблю ли я его?.. Есть два исхода — кончить сейчас же или отдаться ему, сделаться его рабой. Нет, лучше кончить... Отдала. Как-то страшно. Прощай, Леонид, мой дорогой Лео». Отказываясь «быть рабой» и желая своему дорогому Лео «найти ту женщину, которую Вы ищете... и быть счастливым», Шурочка не забывает трогательно приписать в конце послания: «Теперь я обращаюсь к вам с просьбою: не пейте после этого письма»[2].

Разрыв закончился новым примирением, после следовали и другие объяснения и новые разрывы. В какой-то из «фаз» Андреев был признан в доме Добровых «официальным влюбленным», теперь уже другие романы, которые на поверку «оказываются пошлостью», стали лекарством в периоды охлаждения со стороны Шурочки. И даже проснувшийся былой интерес к Надежде Антоновой, который был спровоцирован ею самой: в ноябре 1898 года Надежда попросила Андреева провести ее в суд и они целый день провели вместе; и даже пришедшее вскоре известие о замужестве, которое повергло любовника в

[1] Дневник. С. 25.
[2] Там же. С. 26—28.

пьяное отчаяние — не смогли переломить вектора сближения Леонида и Шурочки. Отношение с ней — теперь главная тема дневника: «Во вторник у нас назначено свидание. Вероятно, я снова буду целовать ее, а она будет жалеть, что не любит меня». «Одинокое сердце. Бьется, болит, любит...»[1] В начале января 1902 года Леонид Андреев делает Александре Велигорской официальное предложение, Шурочка соглашается, но дает жениху месяц испытательного срока. Уговор: бросить пить и «проверить свои чувства» к Антоновой-Фохт. Тот покорно выполняет оба условия: целый месяц не пьет и «по велению Шурочки» назначает «проверочное» свидание с Надеждой. Как вспоминала сестра Андреева Римма, «Леонид вошел светлый, ласковый, веселый, с такой спокойной улыбкой... — Ничего... Все кончено. Ура, — крикнул Леонид, обращаясь к Шурочке, — ... Антонову не люблю... Люблю тебя... Шурочка вся вспыхнула от радости и гордости»[2].

Интересно, что Шурочку менее всего заботила нищета Леонида-студента, столь же равнодушно отнеслась она к его возрастающей славе и улучшению финансового положения. Ее волновало всегда само отношение Андреева к ней, волновал вопрос об искренности Леонида, ее беспокоило его здоровье, приводили в отчаяние пьяные выходки и приступы мрачности. В ее отношении к Андрееву еще до замужества было проявлено много сестринского и материнского. Но наш романтик требовал от нее «полного порабощения». В ноябре 1899 года по просьбе Шурочки он — уже опытный газетный репортер и удачно дебютировавший беллетрист — сочиняет многостраничный трактат «Александра Михайловна Велигорская: опыт характеристики»[3]. Здесь, не стесняясь в выражениях, Андреев обвиняет и критикует предмет своего исследования за самоуверенность и чрезмерное самолюбие, «спокойный глубокий эгоизм», отсутствие собственной системы ценностей, автор трактата возмущен, что девятнадцатилетняя гимназистка до сих пор (!) «смотрит на мир чужими глазами». От психологического портрета Андреев переходит к сути проблемы, суть же, с его точки зрения, состоит в том, что предмет его исследования — Александра Велигорская — «не умеет любить». «Именно в слиянии чуждых по природе “я”, разделяемых пропастью индивидуальности, заключается таинственная, непонятная душа любви», — учит он читательницу и тут же прибавляет, что, увы, А. М. (Александра Михайловна. — *Н. С.*), любя, думает лишь

[1] Там же. С. 198.
[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 103.
[3] См.: Дневник. С. 221—238.

о том, что чувствует она: «К ней наклоняется, ее обдает дыханием и ласкает чужое, непонятное лицо. Память механически удержала его черты, уши механически восприняли его речь, но... из его речей она усвоила и переработала лишь то, что непосредственно относится к ней — как из кучи, где в беспорядке смешаны бриллианты, жемчуг и крупа, птица выберет крупу и забудет об остальном». Любопытно, что, как настаивает автор, А. М. не всегда была такой. «Когда-то (очевидно в те годы, когда автор трактата мог беспрепятственно изменять ей с другими женщинами и возвращаться, будучи уверенным, что его любят. — *Н. С.*) ... это была умная, красивая, искренняя и чистая девочка... выражавшая искреннее стремление к хорошей и чистой жизни». Ныне же вывод неутешителен: «А. М. ищет от любви не слияния своего "я" с чужим, а только материал для возвеличивания себя».

Отсюда для А. М. автор трактата выводит два пути: либо она «серьезно займется тем, что Ницше называет "переоценкой ценностей"», либо у нее будет «шумная, крикливая, но ничем не выделяющаяся жизнь». Это удивительное сочинение заканчивается почти что брехтовским призывом: «А. М. — человек, который может и должен быть хорошим» и просит ее вернуться в стан «погибающих за дело любви». Что тут можно сказать? Либо Шурочка — тщательно вызубрив трактат, приняла его как руководство к дальнейшей жизни, либо наш начинающий беллетрист — в отношении своей будущей невесты и жены — оказался очень плохим психологом и за несколько лет так и не сумел разглядеть настоящий характер женщины, которая очень скоро, увы, трагически погибнет у него на руках.

Так или иначе, но эта весьма странная — и речь об этом впереди — свадьба состоялась, и далее произошло событие — еще более удивительное. Наступила третья «фаза» отношений Шурочки и Леонида: их идеальный брак. Впервые увидевший Андреева через год после свадьбы Викентий Вересаев полагал, что в то время Леонида Николаевича нельзя было «отделить от его первой жены, Александры Михайловны. Брак этот был исключительно счастливый, и роль Александры Михайловны в творчестве Андреева была не мала. Андреев был с нею неразлучен. Если куда-нибудь приглашали, он не шел, если не приглашали его жену. Александра Михайловна заботливо отстраняла от него все житейские мелочи и дрязги, ставила его в самые лучшие условия работы. Влияние на него она имела огромное. <...> После женитьбы он совсем бросил пить и при

жизни Александры Михайловны, сколько знаю, держался крепко. Новый год мы встречали у адвоката А. Ф. Сталя, когда все пили шампанское, Андреев наливал себе в бокал нарзану. Он это называл "холодным пьянством"»[1].

Кому-нибудь, например Скитальцу, Шурочка могла показаться «самой обыкновенной русской женщиной, типичной московской мещаночкой среднего ума, среднего образования». Но даже и он — не поддавшийся обаянию Шурочки, признавал, что «благодаря большой любви маленькой женщины, любя ее сам тоже большой и сильной любовью, Андреев воспрянул духом, талант его быстро вырос, расцвел, развернулся»[2]. Впрочем, практически все друзья и знакомые нашего героя, не говоря уже о его семье, горячо полюбили Шурочку. Правда, ее уникальность открывалась не сразу: поначалу друзья видели в невесте Андреева лишь юное и симпатичное существо: Телешов писал о ней как об «очень милой молодой девушке, курсистке», Зайцев как о «нежной и тихой девушке». Ближайшему другу — Максимушке — Андреев представил Шурочку на одной из премьер МХТ: «В Художественном театре, когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца». Вскоре, как писал Горький в воспоминаниях об Андрееве, он понял, что Шурочка «из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты»[3]. На Бунина же она сразу произвела впечатление «очень приятное: небольшая, изящная, темноглазая, благородно сдержанная в обращении, с милой, сердечной улыбкой...»[4].

Странно, рассматривая сегодня фотографии Александры Велигорской, никак нельзя согласиться с мнением о том, что это девушка «далеко не красавица». В уже знакомом читателю «опыте характеристики» Андреев дает подробное и даже тщательное описание внешности нашей героини: «рост средний, наиболее подходящий для женщины; стройна и гибка, хотя и

---

[1] Вересаев.

[2] Скиталец.

[3] Горький.

[4] Цит. по: Детство. С. 149.

не обладает классическою правильностью сложения. Походка мелкая, быстрая, легкая и уверенная. Черты лица сильно неправильные, производящие впечатление остроты. Лоб большой для женщины, широкий, волосы негустые, но мягкие, блестящие, по цвету приближающиеся к черным. Глаза небольшие, слегка монгольского типа. Темные с теплым, коричневым оттенком, живые, думающие... бывают блестящими, когда говорит или смеется... Нос узкий, почти без переносицы — наиболее некрасивая часть лица. Самая красивая — рот, несколько небольшой, но с характерным изгибом тонких розовых губ и красивыми ровными зубами — матово-белыми. <...> Подбородок широкий, говорящий об упрямстве»[1]. Подытоживая описание, Андреев признается, что в чертах этого лица есть что-то «скрытное, острое и внимательное», чувствуется, что именно это «что-то» и нравится автору трактата и притягивает больше всего.

Фотокамера фиксирует молодую весьма привлекательную худенькую девушку, которая не позирует, но думает о чем-то своем, что-то переживает в данную минуту. Не исключение — их совместный с Андреевым, сделанный во время свадебного путешествия фотопортрет, где Шурочка — уже замужняя дама — уверенно источает какое-то спокойное внутреннее веселье рядом с растерянно глядящим в камеру — и как всегда позирующим — мужем. Нет, с моей точки зрения, Александра Михайловна была редкая девушка с внешностью балерины и исключительно «умственными» интересами: еще в отрочестве и юности она довольно много прочла, а окончив гимназию, поступила на женские курсы. Ее талант состоял в безукоризненной интуиции, будучи еще очень молодой, она уже довольно хорошо разбиралась в человеческой психологии. Это был искренний и — очень спокойный человек, с редким для женщины чувством юмора. И конечно же автор трактата о Шурочке бессознательно или сознательно заблуждался, упрекая ее в неумении любить. Я убеждена, брак с Шурочкой был для Андреева даром судьбы: Некто в сером распорядился соединить его с самой настоящей тургеневской девушкой, той самой Лизой Калитиной, дом которой мальчишкой он мог наблюдать на противоположном берегу Орлика и о существовании которой так долго не подозревал. Но в отличие от той тургеневской героини Александре Михайловне удалось реализовать себя в любви, реализовать не совсем так, как требовал от нее Андреев в своих многословных посланиях: не подавляя своей личности, не растворяясь в Андрееве, никогда не унижаясь и не

[1] Дневник. С. 221.

теряя собственного достоинства. Те, кто хорошо знал Шурочку, вероятно, согласились бы с выводом: «Обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она была изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна», — вспоминал о девушке Горький.

Итак, после свадьбы, по свидетельству многих, Андреев внезапно нашел тот самый «винт», которого долго не хватало герою его автобиографического раннего опуса «Он, она и водка»: с Шурочкой наш герой прожил лучшие годы своей жизни. Но... по неумолимым законам всемирного равновесия абсолютное счастье не бывает долгим.

Их свадьба была зимой, и была она веселой и бестолковой, это были дни, когда общественное и личное переплелись для семьи Андреевых и Велигорских в буквальном смысле этого слова. «Сейчас вся Москва говорит о моей женитьбе и о моем аресте», — сообщает Андреев Соне Пановой 4 февраля, уточняя, что слухи об аресте несколько преувеличены, но тем не менее «...популярность моя так велика, что единственно, кажется на основании ее на днях был произведен у меня ночной обыск»[1].

Действительно, за несколько дней до венчания Леонида и Шурочки у Андреевых состоялся обыск. И тут уже никак нельзя было упрекнуть охранное отделение в глупой и пустой придирчивости: переписка Андреева с Горьким тщательно проверялась сыскной полицией, поскольку тот был уже неоднократно выслан из разных городов за революционную пропаганду среди рабочих, а теперь по Москве ходили слухи, что Горький арестован. Но это не мешало Алексеюшке в письмах другу дразнить охранное отделение, например, он советовал ему вежливо отзываться о сыскной полиции: «ты ее — сволочь — не ругай и на нее, стерву, не дуйся, а то она тебе задаст, ибо, между нами говоря, она паскуда предерзостная, а за последнее время и совсем разнуздалась»[2]. «Разнузданная сыскная полиция» в лице пристава, нагрянув с обыском, до смерти перепугала родственников Анастасии — тетю и дядю Леонида, которые как раз в тот день прибыли из Севска, чтобы быть на бракосочетании племянника. Римма Андреева с юмором и жалостью передавала этот эпизод так: «Дядюшка Кудрявцев, перепуганный обыском, оделся как на свадьбу — сюртук

---

[1] Цит. по: Фатов. С. 150.

[2] Переписка. С. 137.

парадный, надел медаль, нацепил белый галстук и белые перчатки, бледный как полотно, все время уверял пристава, что он вполне благонадежный, что здесь он только на два дня, приехал на свадьбу Л. Н., что завтра он уедет, что он председатель земской управы»[1]. В сущности, дядюшка бессознательно вел себя как опытный конспиратор, мороча голову и постоянно отвлекая пристава от его непосредственных обязанностей. Из-за мороки с дядюшкой или же по причине некоторой нерасторопности пристав, которому было поручено изъять у Андреева все письма Горького, не смог найти ни одного. Дело в том, что корреспондент подписывал все свои письма не псевдонимом, а своей настоящей фамилией — Пешков. На следующий день, когда письма были уже в надежном месте, а дядюшка Кудрявцев вместе с женой скоропостижно — так и не дождавшись свадьбы — укатил в свой тихий Севск, пристав прислал Андрееву слезное письмо, умоляя выручить его и написать хотя бы заявление, что письма Горького-Пешкова у него были, но он их уничтожил. Видимо, начальство отчаянно «намылило шею» этому бедному служителю правопорядка за нерадивость и тупость при исполнении своих обязанностей. Андреев же, смеясь, отправил приставу десять рублей, присовокупив два «невинных» письма Максимушки. Этот эпизод ни в коей мере не отразился на настроении жениха и невесты, а вот пропажа — и накануне свадьбы — студента Строгановского училища Павла Андреева — сделала в семействе настоящий переполох.

Надо сказать, что оба события были звеньями одной цепи — зимой 1902 года противостояние власти и — как сказали бы теперь — «несогласных» достигло в Петербурге и Москве определенного накала. «Тюрьмы и части переполнены. Обыскивают, хватают, возят и перевозить не могут, — так видел московскую ситуацию наш жених из своего окна. — Мера вещей утеряна. Анархия в самом воздухе. <...> И все эти аресты создают одно — страшное возбуждение». 9 февраля в Москве полиция разгоняла студенческие выступления: «Была сходка — немногочисленная. К ней потом примкнула толпа — неорганизованная... хватали правого и виноватого и волокли в манеж»[2]. Павел же — по чистой случайности оказался рядом и — был захвачен вместе с толпою, а через несколько часов угодил в арестантский дом. Даже сегодня, хотя это и вопиющее

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 104.
[2] Переписка. С. 139.

беззаконие, арестованный за участие в уличных «беспорядках» в Москве частенько не может сделать звонок своим родным, чтобы сообщить, где он находится. Что ж говорить о положении задержанного студента тогда — в 1902 году? Два дня — 9 и 10 февраля — семья находилась в неведении. «Плохая, брат, свадьба, — писал Андреев Горькому 10 февраля. — Вчера пропал без вести мой брат (художник). Вероятно, сидит в Бутырках. Маменька моя воет. <...> А и отложить свадьбу нельзя. Съехались со всех концов родственники, старики и старухи»[1]. Только 11 февраля брат дал о себе знать, и хотя вскоре его отпустили, на саму свадьбу он, увы, опоздал.

Предполагалось, что именно Павел будет шафером, его заменил следующий по старшинству брат — Всеволод. На роль посаженого отца Андреев пригласил своего — уже к тому времени хорошего знакомого — московского писателя Николая Дмитриевича Телешова — вдохновителя и организатора московских «Сред», где Андреев стал уже «своим человечком». «И вот однажды, — вспоминал Телешов, — я нашел у себя на столе следующее письмо, оригинальное по тону, в котором чувствовалась радость счастливого человека: "Милый друг! Будь моим отцом! Будь моим посаженым отцом! Свадьба моя 10-го (через три дня), в воскресенье. Посторонних никого, одни родственники — попросту. <...> Будь моим отцом! Я прошу тебя: будь моим отцом! Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай. И еще прошу тебя: будь моим отцом. Будь моим отцом!" И отцом его я был... Эта роль была не из трудных. За торжественным чайным столом, когда приехали "молодые", мать Андреева и я возглавляли присутствующих. К нам обращались за разрешением приветствий, пили за наше здоровье, и вообще это было какое-то шутливое и очень веселое председательство»[2].

Как раз незадолго до этого в «Курьере» появилась знаменитая андреевская «Стена», и многих читателей ужасала там именно сцена свадьбы двух прокаженных: «И они женились. И на миг все лица обернулись к ним, и широкий, раскатистый хохот потряс здоровые тела: так они были смешны, любезничая друг с другом. Смеялся и я, прокаженный; ведь глупо жениться, когда ты так некрасив и болен. — Дурак, — сказал я насмешливо. — Что ты будешь с ней делать? Прокаженный напыщенно улыбнулся и ответил: — Мы будем торговать камнями, которые падают со стены. — А дети? — А детей мы будем

---

[1] Там же. С. 140—141.

[2] См.: Телешов.

убивать» — так женится герой Леонида Андреева. А вот как — сам автор «Стены»: «Свадебный вечер был... очень веселый и простой. Леонид Николаевич был как-то внутренне радостен и необыкновенно покорен. Что ему говорили, то он и выполнял без возражения, — что называется — без оглядки, с удовольствием. Были и танцы. Андреева заблаговременно научили танцевать, и он танцевал вальс, польку и кадриль», — рассказывал Телешов в «Записках писателя». Не пройдет и пяти лет, как «тупая полька» из «Жизни человека» — которую, по словам Осипа Мандельштама, будут «бренчать в каждом доме», станет для Леонида Николаевича злой насмешкой над прошлым, а женитьба прокаженного из «Стены» — покажется невольным пророчеством, но теперь — «вальс, полька и кадриль» продолжались: Андреевы отправились в свадебное путешествие, сбежав от московской зимы в крымскую весну.

Они побывали в Одессе, где, по воспоминаниям Бунина, «Леонид много острил, был в это время очень весело возбужден»[1], проплыли на пароходе до Севастополя и далее — в Ялту. Жили они у Горького — в Олеизе (более знакомое читателю название этого места — Мисхор). Здесь — на даче Нюра — у подножия Ай-Петри среди «кипарисов, лавров и магнолий» с 1901 года проживал высланный из Нижнего Новгорода Горький; южный климат, кроме того, был необходим Алексею Максимовичу, так как незадолго до этого у него был обнаружен туберкулез. Фактически Крым стал для Горького своеобразным «перевалочным пунктом», перед его отъездом в Италию. В Ялте Андреевы побывали и в доме у Чехова; Антон Павлович, уже читавший и успевший оценить прозу Андреева, подарил ему свою фотографию с надписью: «Леониду Николаевичу Андрееву на добрую память от ялтинского отшельника. А. Чехов. 18 марта 1902 года». В Ялте же Леонид подружился с марксистски настроенным журналистом и начинающим писателем Викентием Вересаевым, это знакомство переросло потом в своеобразную дружбу. Кстати, Вересаев приводит любопытный пример из быта молодоженов: «Мы ездили большой компанией в Байдарскую долину, в деревню Скели... Ночью, при свете фонарей, ловили в горной речке форелей. Утром, в тени грецких орешников, пили чай. Растирали в руках листья орешника и нюхали. Андреев сказал: — Совершенно пахнут йодом! — Ну, йодом! — Вы со мной на этот счет не спорьте. Я запах йода отлично знаю. Жена меня каждый день на ночь мажет

[1] Детство. С. 149.

йодом то тут, то там. — От каких болезней? — От всяких. — И что же, помогает? Андреев помолчал. — Семейному счастью помогает»[1].

Вернувшись в Москву, Андреев поселился отдельно с женой и матерью. Его сестры — Зинаида и Римма — как будто сговорившись — тоже обзавелись собственными «домами», братья — выросли, и таким образом дружная и большая семья разделилась, но конечно же Леонид по-прежнему опекал всех, особенно — младшего брата — Андрея, мечтая, что тот непременно станет поэтом.

О бытовании Андреева в Москве в ту самую, счастливую для него, жизненную пору вспоминал, как он окрестил сам себя, «его сын во литературе», тоже орловец, тогда начинающий, в будущем — известный русский прозаик Борис Зайцев: «...как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич — бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. <...> Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. <...> В три Андреев обедал, а потом ложился спать — черта не европейская, как и во всем, был он весьма далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди “передовых” писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать *буржуазность.*) Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным... Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность»[2]. Постепенно Шурочка стала делить с мужем его ночные бдения — «бред и мечты», позже Вересаев рассказывал, что она не ложилась спать, пока он не прочитывал ей всего написанного. Мало-помалу Александра Михайловна искренно полюбила непростой андреевский дар и стала прекрасной «писательской женой»: «...было у нее огромное интуитивное понимание того, что хочет и может дать ее муж-художник, и в этом отношении она была живым воплощением его художественной совести»[3]. Сам муж-художник закончил «Мысль», отбивался от критики по

---

[1] Вересаев.

[2] *Зайцев Б. К.* Леонид Андреев // *Зайцев Б. К.* Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М.: Московский рабочий, 1989.

[3] Вересаев.

поводу включенных во второе издание сборника «Бездны» и «Стены», задумывал «Жизнь Василия Фивейского», писал фельетоны в «Курьер».

Скандальная «Бездна» сделала имя Андреева известным по всей России, «двойку по поведению» во всеуслышание поставил ее герою Немовецкому сам Лев Толстой. В одном из интервью по поводу «Бездны» патриарх русской литературы гневно заметил: «Ведь это ужас!.. Какая грязь, какая грязь!.. Чтобы юноша, любящий девушку, заставший ее в таком положении и сам полуизбитый, — чтобы он пошел на такую гнусность!.. Фуй!.. И к чему все это пишется?.. Зачем?..»[1] Его жена Софья Андреевна зимой 1904 года выступила в «Новом времени», что называется, «с официальным заявлением», обвиняя Андреева в наслаждении «низостью явлений порочной человеческой жизни», возмущаясь, что этой любовью к пороку он «заражает неразвитую, морально еще нечистоплотную», не разбирающуюся в жизни «читающую публику и молодежь». К тому времени скандальных текстов Андреев опубликовал уже достаточно: за «Бездной», «Стеной» и «Смехом» последовал рассказ «В тумане», где герой-гимназист убивал проститутку, затем и знаменитая «Мысль». Привыкший — от имени Джеймса Линча — разносить в пух и прах результаты чужого творчества, Андреев оказался абсолютно не готов к поднявшейся вокруг его текстов газетной шумихе и отнюдь не равнодушен к обвинениям, которые бросали ему со страниц газет. За «Бездну» ему досталось и от Толстого, и от символистов, и от Розанова, и от стариков-народников, «Мысль» категорически не принял Михайловский, а рассказ «В тумане» поверг в растерянность даже коллег по литературным «Средам». И все они, правда, каждый на свой манер, упрекали Андреева в любовании — как сформулировали бы теперь — чернухой. Зинаида Гиппиус, например, практически буквально, — лишь придав ей остроумную форму, — повторила толстовскую мысль о том, что автор «Бездны» «как будто сидит на дороге после осеннего дождя, забирает рукой жидкую грязь и, сжимая пальцы, любуется, как она чмокает и ползет вниз»[2].

Андреев, у которого в жилах все еще кипела журналистская спесь, сделал самое худшее из возможного — ввязался в полемику с критиками. Он бросился защищать своих геро-

---

[1] Цит. по: Переписка. С. 162.

[2] *Антон Крайний.* Литературный дневник: 1903 год. http://www.viperson.ru/data/200703/gippius.do. Дата обращения 30.10.2011.

ев, объяснять их поступки и даже (!) растолковывать плоды своей «страшной или иногда чудовищной» фантазии. В «Курьере» было опубликовано сочиненное Андреевым письмо от имени студента Неведомского, где тот отвергал обвинения в зоологичности своей натуры, в «Биржевых новостях» он извещал публику, что «никогда во всю мою жизнь я не страдал никакими психическими заболеваниями», в письмах читателям он разъяснял, что Стена, это «то, что стоит на пути к новой, совершенной и счастливой жизни»[1]. Надо признать, что после всех газетных перебранок слава его — и уже с привкусом скандальности — становилась все громче, а вот нервы начали сдавать, и в 1902—1903 годах Андреев переживает свой первый творческий кризис. Жаловался Горькому, что вообще перестал писать, не может сочинить даже крохотной статейки для «Курьера». Что ж... Теперь он мог себе позволить ничего не писать: второе — дополненное — издание книги принесло ему почти состояние, третье — в восемь тысяч экземпляров, вышло в том же 1902 году. «Входи пайщиком в "Знание", — настойчиво приглашал его Максимушка. — Целее деньги будут, и голос получишь в деле снабжения рынка книгами»[2].

Пайщиком «Знания» Андреев так никогда и не стал, и вообще старания Алексея Максимовича сделать из Леонида Николаевича «делового партнера» и более того — правую руку в организационных делах наталкивались на пассивное, но стойкое сопротивление друга. Их отношения по-прежнему были близкими, почти что семейными, они вынашивали планы то совместного путешествия, то совместной работы над некой драмой, и в то же время отношения эти казались Андрееву весьма далекими от идиллии. В те годы они строчили друг другу по два, а иногда и по три письма в неделю, однако только для нашего героя переписка эта носила совершенно личный характер, отчасти заменяя ему дневник. С 1901 года Андреев прекратил делать дневниковые записи, и исповедальный — лирический или философский — тон дневника перенес в письма к «единственному другу». И, надо сказать, этот тон донельзя раздражал Горького, которому были интересны лишь литературные планы Андреева, новости московской жизни, сообщения о друзьях и знакомых. На лирические излияния друга Горький реагировал так: «Прочитал твое письмо и понял — у тебя скверное настроение...» Или: «Письмо твое прочитал, разорвал и — постараюсь забыть о нем, а тебе рекомендую, дружище, — имей побольше уважения к себе и не пиши глупо-

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 109.

[2] Переписка. С. 147.

стей, поддаваясь настроениям, унижающим свободолюбивую душу твою»[1].

Горький огрызался, Андреев упорствовал, его исповеди касались не только их взаимных отношений: «я не знаю, друг ты мне или просто товарищ», «любишь ли ты меня самого» или «за то, что считаешь моим талантом», но и чрезвычайно важных для нашего героя вопросов самоопределения и самосознания. В одном из таких писем Андреев набросал словесный автопортрет: «...во мне ужасно много мещанского тяготения к благополучию, к погремушкам, к внешним знакам почета; трусоват я, люблю поговорить о себе... ни к кому в мире я не испытывал временами такого отвращения, как к самому себе». Не жалея сатирических красок для описания весьма неприятного господина «в лаковых сапогах, который так часто говорит о своем я», Андреев признается, что и сам не любит и даже не признает этого господина и что его настоящее *я* живет только в его рассказах: «Там нашло отражение мое глубокое, сокровенное, тайное, о чем я никогда не умел и не умею говорить. Там из-под кучи сора начал вырисовываться на свет тот самому мне неведомый новый человек, которого я, еще робко, осмеливаюсь иногда уважать»[2]. Действительно, за внешней мишурой все возрастающей славы, внезапно нахлынувшего богатства и многочисленных знакомств, за прочным семейным благополучием скрывалась тревога: «неведомый новый человек» вынашивал — «Жизнь Василия Фивейского». К тому же этот «новый человек» должен был вот-вот стать отцом: Шурочка ждала первенца, что также повергало Андреева в невероятное волнение и трепет. И всю эту внутреннюю тревогу он жаждал разделить с человеком, которого не только любил и ценил, но и считал лучшим из встреченных им людей. Горький же, неизменно поддерживая Андреева на литературном поприще и даже ввязываясь в газетные дискуссии о скандальных рассказах друга, отнюдь не жаждал предоставить свою жилетку для его «метафизических» слез. Надо сказать, что, имея привычку к постоянному присутствию в своем доме разнообразных людей, многие из которых годами жили в его семействе, Горький был человеком весьма и весьма сдержанным, свои личные дела он, например, не обсуждал никогда и ни с кем.

Столь неопределенные отношения между «милым Алексеюшкой» и «дорогим моим Леонидом» должны были закончиться неминуемым взрывом. Андреев был не из тех, кто с покорностью сносит — пусть даже добродушную — грубость и прене-

---

[1] Переписка. С. 150, 177.

[2] Там же. С. 173.

бережение к метаниям своей сложноустроенной души. Так и случилось. Зимой 1903 года, приехав — для участия в благотворительном концерте — в Нижний Новгород, куда с семьей и домочадцами уже вернулся Горький, Андреев, изрядно напившись, закатил в его доме невероятный скандал. «Видел Леонида пьяным — это отвратительно и ужасно, но помогает многое понять в его литературе» — так наутро после случившегося отрапортовал Горький своему неизменному корреспонденту — Пятницкому. По версии Максимушки, друг Леонид наговорил дерзостей всем его домочадцам и, не встретив сочувствия, пожелал уйти. «Ну, я снял с него сапоги и спрятал их. Он — обозлился. Кинулся на Алексина с ножом». Александр Алексин — живший тогда у Горького «идеальный русский земский врач» и личный друг писателя — конечно же менее всего заслуживал подобного, хозяин пришел в ярость, писатели подрались. Далее — по версии жены Горького, тот сам свез Леонидушку на вокзал, посадил в поезд и отправил в Москву. «Алексей, я был сильно пьян... Рвать при этих условиях отношения, рвать резко и навсегда, мне кажется невозможным, нелепым»[1], — «кричал» другу Леонид уже из Москвы. Но — отношения были разорваны и возобновились лишь спустя несколько месяцев — в сентябре 1903 года. Андреев принес извинения, которые были, наконец, приняты, он пообещал лечиться от запоев — ему благосклонно поверили. «Был у Л. Андреева — чуть не разревелся. Он страшно похудел, похорошел, серьезно лечится, все время не пил»[2], — писал Горький жене, после того как друзья окончательно помирились в Москве в доме у Андреева. В факторе примирения немалую роль сыграла «огромная вещь» — именно так после первого прочтения назвал мэтр «Жизнь Василия Фивейского» — новую повесть Леонида.

Вероятно, «милый Максимушка» действительно намного больше любил талант Андреева, чем его самого. Когда-то Владимир Иванович Немирович-Данченко сказал о Чехове: это — талантливый я. И, бросив писать пьесы, стал режиссером. Примерно те же слова Горький иногда — и как будто в шутку — говорил об Андрееве. Но в этой шутке была доля истины: в 1903—1905 годах, по остроумному замечанию критика Антона Крайнего[3] (одна из литературных масок Зинаиды Гиппиус), писателя Горького уже активно заслонял «деятель Горький». И этому прогрессивному «деятелю», без пяти минут активному члену РСДРП(б), душа друга Леонида казалась, ве-

---

[1] Там же. С. 177.
[2] Там же. С. 414.
[3] См.: *Антон Крайний.* Литературный дневник: 1903 год.

роятно, чересчур экзальтированной и даже фальшивой... Однако как деятель в те годы Горький ощущал себя кем-то вроде литературного тренера для целой плеяды молодых писателей. И ехидная Зинаида Гиппиус частенько отмечала, что «Г. Андреев, московский беллетрист, несомненно, самое яркое дарование в созвездии "Большого Максима"», и даже в каком-то отношении она ставила Андреева как писателя «выше самого Горького». Само же «созвездие» «прогорьковских» литераторов она окрестила «подмаксимовиками», а опубликованный в феврале 1903 года в газете «Искра» известный шарж Н. И. Фидели и вовсе обессмертил придуманный ею образ. Стоящий на толстой ножке-шее крепкий гриб с головой Максима Горького прикрывал своей огромной черной шляпой растущие у его подножия «грибки»: Андреева, Скитальца и Бунина. Интересно, что Ивана Бунина карикатурист посчитал самым мелким из «грибков», и тот как-то неестественно и грустно выглядывал из-за толстой ножки «Большого Максима». Согласно Гиппиус, все прочие грибки: «Серафимовичи, Юшкевичи, Вересаевы, Чириковы...» — еще не выросли до заметных человеческому глазу размеров. Кстати, позже станет популярна еще одна — опубликованная в «Стрекозе» — карикатура Ре-Ми (Н. В. Ремизова), на которой силуэт Горького отбрасывает — как тень — силуэт Леонида Андреева со сложенными в молитве ладонями.

Эстетическое кредо «созвездия Большого Максима» Гиппиус определять не считала нужным и утверждала, что единственно важен для этой группы лишь круг идей, который вызывает тот общественный резонанс, который получают «Большой Максим» и его «грибки» от пропаганды этих идей. Как же случилось, что такой индивидуалист, как Леонид Андреев, пусть на время, но все-таки стал первым в ряду «подмаксимовиков»? Этот интересный вопрос нередко вставал и перед самим Андреевым. «Это верно, что под твоим знаменем я работаю, — писал он другу в одном из «исповедальных посланий». — Оно и просто: ты для меня дух свободы, а этому святому духу я так или иначе хочу служить»[1]. Честная служба «под знаменами свободы» — что ж, такая формулировка удовлетворила бы и самого Антона Крайнего и вот почему. Под «горьковской свободой» Гиппиус понимала свободу от всех прежних символических ценностей, и главное — от христианских. В произведениях горьковской «плеяды» она вычитывала поругание всех прежних ценностей: религии, любви, общепринятой морали,

[1] Переписка. С. 173.

соседствующее с проповедью «общественного прогресса», созданного руками «гордого человека». Мир, созданный по такой схеме, казался ей «миром зверя», то есть человека, лишенного всех качеств, кроме агрессивного животного начала. Но был ли такой подход «ко всему сущему» органичен для Андреева-писателя?

Что ж, для «раннего Андреева» прежний мир нес еще остатки теплоты, исходившей от символов прошлого: прозрачное небо, полный таинственности ночной сад, коньки, замерзшая река, восковая фигурка ангела, материнская ласка, отцовская любовь, да мало ли еще теплоты хранила его память... Но, другой, рождающийся в его рассказах «новый человек» уже отказывался от всяких компромиссов с уютным мирком, его интересовали «вечность и бесконечность», те «пограничные ситуации», где на свои яростные вопросы к прежним пророкам его герои бескомпромиссно требовали ясных ответов и не получали их. Так, Андреев безоговорочно принял Горького в его отрицании прошлых символов и праве человека на подобное отрицание, однако созидающий пафос Буревестника оказался ему бесконечно чужд. Но оба заметили это не сразу.

Как ни странно, многие современники прочли новую повесть Андреева «Жизнь Василия Фивейского» как антирелигиозное произведение, текст этот приветствовала даже марксистская критика. Вероятно, поэтому напечатанную впервые в первом сборнике «Знания» 1904 года повесть охотно публиковали в советских изданиях. На самом же деле эта история человека, «над всей жизнью которого тяготел суровый и загадочный рок», гораздо более уважительно относится к существованию и личности Всевышнего, чем, допустим, запрещенный в советское время «Дневник Сатаны». На библейские параллели есть указания прямо в тексте, а серьезность и даже неистовство, с которыми представляет автор богоискательство отца Василия, по-моему, должны вызвать у читателя глубокое уважение к такого рода исканиям да и вообще — к личности отца Фивейского. Подобно богобоязненному и богатому Иову, которого Господь отдал на испытания к Сатане, деревенский священник отец Василий последовательно лишается всего, что любил. Ярким солнечным днем тонет «черненький и тихонький» сынок Василия — Василий, от горя — тихо и страшно спивается красавица-жена — попадья Настасья, зачатый в горе, рождается безумным уродом их Василий-второй: это — полуребенок-полузверь. Горит дом, и в том огне погибает любимая жена; отправив дочь на воспитание в город, Фивейский уха-

живает за уродом, читая ему Евангелие, и едва ли не каждый день истово служит в деревенской церкви. Внешняя фабула все увеличивающихся бедствий монтируется Андреевым с плотной и вязкой внутренней жизнью Фивейского: он впадает в неверие, а после открывает для себя любовь к ближнему, хочет бороться против судьбы, но вскоре познает истину в смирении. И далее является восторг перед верой, он готовит себя к избранничеству и обретает пугающие всех прочих «бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота». И всякий, поймавший взгляд отца Василия, чувствует, что «...чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч». И, наконец, абсолютно убежденный в данном ему Богом могуществе, прямо в церкви он произносит над гробом погибшего накануне крестьянина: «Тебе говорю, встань!» Ужас охватывает всех, бывших в тот момент в церкви: «Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки».

Как известно, библейский Иов, потеряв всё, ни словом, ни делом не оскорбил Господа и тот — еще на земле отметил страдальца — вернул ему богатство, семью и славу. Не таков андреевский отец Василий: после несостоявшегося воскресения священник гневно вопрошает Бога: «Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость — чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним тобою, все для тебя. Один ты!» Василий просит и даже требует у Бога чуда воскрешения, и так и не дождавшись ответа, «с диким ревом он бежит к дверям». Гибель отца Василия происходит в апокалипсических обстоятельствах: «Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю». Последний образ — бездыханный Василий Фивейский, который и мертвый «...в своей позе сохранил... стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед... как будто и мертвый продолжал он бежать». Образ этот едва ли ставит точку в диалоге доброго христианина и отъявленного атеиста, утверждая победу последнего. Финал рассказа вполне возможно прочесть и наоборот: «бегущий мертвец» непременно отыщет истину в другом измерении.

Изысканный сюжет «...Фивейского», как и образ отца Василия, вне сомнения, привлекали и читателя, и критику, но было в этой прозе растворено нечто такое, что не связывалось с «идеями»: ощущение постоянной тревоги, рвущейся из другого, параллельного мира, который вдруг обнаруживает свое существование и прячется, застигнутый врасплох человеком: «Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей, — но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся... по полу, по потолку, по стенам... шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого». Но чаще, тот — иной мир — проявляет себя в молчании, и люди — как дети — пытаются убежать от него, — они шумят, смеются, играют в карты, — чтобы не чуять, не слышать, спастись.

То есть, как будто решая все вопросы «на земле» и сюжетом утверждая отсутствие другого мира, автор — одновременно — давал нам ясное ощущение, что тот, иной, сеющий тревогу потусторонний мир — есть. А это уже был очевидный крен в сторону символизма. «Большой Максим», как, впрочем, и символисты, постарался ничего не заметить. Заметил и оценил — Александр Блок. Позже он признался, что именно после «Жизни Василия Фивейского» с Леонидом Андреевым установилась у него внутренняя связь: «После чтения Фивейского у меня появилось чувство, что везде неблагополучно, что катастрофа близка»[1]. Опять-таки — бессознательно Андреев выстраивал свою громкую славу по всем правилам современных пиар-технологий, после скандальных «Бездны», «Мысли», «В тумане» — «Василий Фивейский» утвердил его статус как серьезного писателя — в повести не было ни одного «скользкого» момента, который мог бы позволить рецензентам упрекнуть Андреева в «бульварщине», не было и физиологических, медицинских подробностей, по всем своим свойствам этот строгий текст принадлежал мейнстриму «большой русской литературы».

Была в «Жизни...» и еще одна пронзительная тема — любовь. В середине бедствий между отцом Василием и его женой родилась не плотская, а воистину христианская любовь: «...в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем». Незримые нити связывали Фивейского с попадьей, и где бы он ни был —

[1] *Блок А. А.* Памяти Леонида Андреева // *Блок А. А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 131.

чувствовал ее рядом: «Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, — но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они». Однако «жестокая судьба» догадалась — и отняла у попа и эту любовь. Зимой 1902/03 года та самая, крепкая и не слишком заметная для окружающих любовь все больше связывала Леонида и Шурочку, жена присутствует в письмах Андреева Горькому, ее здоровье теперь волнует Леонида Николаевича не меньше своего собственного.

Тот самый брак, о котором Розанов говорил, что он как сумка «защелкнулась» или «не защелкнулась», — раскрывал для них обоих все новые и новые грани «общего счастья»: 25 декабря 1902 года на свет появился младенец: «...ростом он был чрезвычайно мал, весил семь с половиной фунтов и лицо имел красное с очень большим распухшим носом». Роды принимала старшая сестра Шурочки — уже знакомая нам Елизавета Доброва. По современным стандартам будущий Вадим Леонидович Андреев имел абсолютно нормальный вес — 3 килограмма 400 граммов, а послеродовая краснота — обычное состояние всех новорожденных, однако в ставшем впоследствии семейной реликвией «Дневнике Димискина» Андреев отметил, что «первоначальный вид Димискина был неказист». Димискин — а также Дим Дим, Диди, Димок и Вадечка — семейные прозвища, которые немедленно получил первенец, официально названный Вадимом. «Первые недели существования Димискина омрачались неудачами: мать его была больна, молока было мало, и он голодал. Кричал, однако, мало и так упорно спал, что крайне мнительный родитель его часто выражал недоумение и даже страх»[1]. «Крайне мнительный родитель» просил своего друга — воинствующего атеиста Максимушку — стать крестным отцом младенца. «Шура очень ухватилась за мысль, что ты будешь крестить мальчишку. Для этого тебе приезжать не потребуется, — писал он Горькому в Нижний, — а тебя запишут где-то в книгу»[2]. Крестной матерью Вадима стала мать Шурочки — Ефросинья Варфоломеевна.

«Дневник Димискина» вели оба родителя, этот документ всю жизнь хранил его герой — Вадим Андреев, хранил как семейную реликвию и свидетельство подлинного счастья, в ат-

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 122.

[2] Переписка. С. 163.

мосфере которого рос и развивался малыш. Раннего счастья, о котором у Вадима сохранились лишь смутные воспоминания, как и о своей матери — Александре Велигорской. «Он очень нежен и чувствителен, с большим воображением и интеллектуальностью. Странное чувство бывает при взгляде на него иногда: как будто кто-то старый, старый вошел на время в ребенка, стал ребенком и понимает комичность и странность своего положения — так хитро, умно и старо улыбается он»[1], — наблюдала Шурочка за Вадимом. Улыбка старичка, набегающая порой на безмятежное чело младенца, — несомненно — тень будущего, где ко всем бедствиям, которые предстоит пережить ровесникам XX века, прибавятся и раннее сиротство, и мучительная любовь к отцу, ненависть к мачехе, трудное становление собственного поэтического голоса. Но, вероятно, та огромная порция любви, которую получил Димискин в первые четыре года своего существования, создала этому человеку «запас прочности», этот ресурс и помог ему в годы юношеских скитаний в Грузии и Турции: бессмысленных, но весьма опасных попыток «спасти Россию» на исходе Гражданской войны. Этот запас помог ему и в зрелые годы — в борьбе против оккупации Франции, в нищете эмиграции, в его — всегда рискованных — порывах любви к родине и в скитаниях по Европе в поисках себя.

И ветер трагедий
И тьмы набегал,
И плакал и бредил
Растерянный зал...
И клекот орлиный,
Орлиный глагол
Над миром звериным,
Как солнце, расцвел...[2]

Вадим Леонидович вырос весьма отважным человеком: дважды он воевал, был в фашистском концлагере, он действительно стал поэтом, поэт-эмигрант, он органично вошел в литературу русского зарубежья, часть которой составляли давние коллеги его отца. Вадим написал о своей жизни и о своих скитаниях две интереснейшие книги: «Детство» и «История одного путешествия»...

Димискину было только два года, когда он выучил слово «отец». Мальчик самостоятельно заменил им детское слово «папа». Это слово «отец» по ходу жизни теряло для него прежние значения, приобретало новые смыслы, но никогда их так и

---

[1] Цит. по: Материалы и исследования. С. 170—171.
[2] Из стихотворения Вадима Андреева «Прометей».

не утратило. Напротив, — это слово оказалось одним из определяющих для всей его жизни. Любопытно, что Андреев — так же, как сделал когда-то своего первенца Николай Иванович — его отец, — тщательно подготовил для сына удобную среду обитания — осенью 1903 года Андреевы переехали в новую большую и светлую квартиру, где была и маленькая детская комнатка. Свои первые шаги Димискин сделал в тихом переулочке между Большой и Малой Грузинскими улицами в самом центре Москвы, где в уютном особнячке с садиком нанималась теперь барская — в семь комнат квартира. Как вспоминал Аркадий Алексеевский, «обслуживало квартиру уже четыре прислуги, в том числе и лакей, который вместе с горничной подавал к столу»[1].

Устоявшаяся жизнь, известность, огромный круг общения — в доме Андреева, по свидетельству многих, бывали практически все московские писатели, и Андреев по чисто московской привычке очень скоро со многими перешел на «ты» — отнюдь не вносили успокоенность в мятежную душу нашего героя. Чем более комфортным было его существование, тем более тревожными — образы, всплывающие во время «ночных бдений» — в удушливой — от сигаретного дыма — атмосфере кабинета, под воздействием десятка стаканов черного — крепчайшего — чая. Еще не знакомый с Андреевым Блок, читая «Жизнь Фивейского» и «Красный смех», чутко почувствовал «хаос», который носил Андреев у себя в душе. О «странной тревоге», «мучительном беспокойстве» вспоминал и знавший Андреева в ту пору писатель-символист Георгий Чулков. «Какой-то бунт», «несогласие со всем» отмечал у друга даже «милый Максимушка»: «Я тебя люблю, потому что ты — анархист, ты — талантливый анархист, ты никогда не выродишься в мещанина»[2]. Природу этого «душевного бунтарства» едва ли понимал тогда сам Андреев, подчас ему казалось, что причина его внутреннего неблагополучия — социальная атмосфера 1903—1905 годов, когда по поэтическому предощущению Блока «раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя девятым января».

Война вспыхнула в январе 1904 года и, вспыхнув — бесконечно далеко от Москвы — где-то «на сопках Маньчжурии», вспыхнув — по инициативе Японии — за глобальные влияния на Дальнем Востоке (интересы Российской империи и Страны восходящего солнца столкнулись в Корее и Маньчжурии), как будто и вовсе не задевала мира, в котором жил и трудился

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 126.
[2] Переписка. С. 150.

Леонид Андреев. Русско-японская война, однако, немедленно вошла и в быт, и в разговоры московской писательской братии. «...говорили мы о безумии начатой войны, о чудовищных наших неурядицах, о бездарности наместника на Дальнем Востоке, адмирала Алексеева»[1], — вспоминал вскоре мобилизованный на эту войну Вересаев. В витринах московских лавочек появились агитационные лубки, где ладный русский богатырь, ухмыляясь, нанизывал на огромную пику с десяток визжащих японцев. Осада и сдача Порт-Артура — незамерзающего порта на Желтом море, который Россия аннексировала у Китая в 1897 году, чтобы разместить там военно-морскую базу, отчаянное сопротивление русских моряков, многотысячные потери, позорные поражения при Мукдене и в Цусимском сражении обнажили полную несостоятельность российских амбиций. Впору было менять вектор агитации и размещать плакаты, где бравый японец одним каблуком давит и топит в луже десяток российских кораблей... Очевидные поражения и чудовищные потери в этой странной войне с далеко не очевидными целями вызывали у русской интеллигенции единственную реакцию: «это безумие».

«...безумие и ужас. Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге — шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами» — знаменитый андреевский «Красный смех» был написан всего за десять дней, но вынашивался многие месяцы. Весной 1904 года семья уехала в Крым, под Ялтой у Никитского сада, в местечке, очевидно понравившемся Леониду и Шурочке во время их свадебного путешествия, они поселились на даче «Монтедоро», чтобы, как писал Андреев Вересаеву, вдыхать «горьковато-душистый запах можжевельника, которым здесь топят печи. Потом — соленый, глубокий, влажный, широкий запах моря, а за ним тьма-тьмущая приватных запахов, как то: сосны, пыли всевозможных цветов»[2]. Здесь, на берегу спокойного моря, среди кипарисов и расцветающих магнолий, вдали от торпедных атак и тонущих миноносцев, Андреев перебрал в голове множество сюжетов, но ни один из них «не ложился на бумагу». За несколько месяцев, совершая прогулки к морю или взбираясь на мыс Мартьян, он начал и бросил историю взлета и падения царя Навуходоносора, рассказ «Бунт на корабле», повесть «Чудо» — сюжет о взорвавшем чудотворную ико-

---

[1] Вересаев.

[2] Цит. по: Там же.

ну анархисте — черновик будущей пьесы «Савва», раздумывал он и над другими библейскими сюжетами, но... в конце концов вынужден был признать, что «для меня лето пропало... <...> Первая осень, когда я ничего не пишу, и хуже того — ничего в мыслях не приготовил для работы, ибо не мог думать. Боюсь, как бы не пропала зима от этого. Неврастения — только усилилась»[1].

Еще в середине лета, переживая смерть Чехова и «переваривая» вести с Дальнего Востока, Андреев лицом к лицу столкнулся с чужой частной бедой. «...нынче вечером возле нашей дачи взрывом ранило двух турок, одного, кажется, смертельно, вырвало глаз, — писал он в начале августа 1904 года Горькому. — Эти турки все лето работают у нас, очень милые ребята, смелые, деликатные, держатся с достоинством. И эти двое забивали бурку, когда от искры произошел взрыв. И я видел, как несли одного из них, весь он, как тряпка, лицо — сплошная кровь, и он улыбался странной улыбкой, так как он был без памяти. Должно быть, мускулы как-нибудь сократились, и получилась эта скверная, красная улыбка»[2]. Кровавая улыбка, мелькнувшая на лице мертвого рабочего. Неудача русской эскадры в Желтом море. (Не удалось прорваться во Владивосток.) Поражение при Ляояне. Девятнадцать тысяч убитых, десятки тысяч искалеченных. «И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары».

Итак, «Красный смех» — мучительно найденный ответ Андреева на вызов времени, этот огромный рассказ, исследующий, по его собственному признанию, «психологию настоящей войны», был задуман еще в Крыму, но осенью, уже в Москве, автор долгое время не решается сесть за стол, он «занимается мелочами», он общается с вернувшимся с фронта офицером — братом Филиппа Александровича Михаилом Добровым, он переносит сроки сдачи рассказа, но уже конкретно и часто упоминает о нем в письмах — первоначально он хотел назвать его «Война»... И лишь в конце октября Андрееву удается ухватить целое: «Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуро-

[1] Цит. по: Вересаев.
[2] Переписка. С. 218.

дованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!»

Девять разрозненных отрывков — давали читателю девять будничных картин войны, не конкретной — Русско-японской — войны вообще, всякой войны, где есть свои и есть неприятель, где руки воина от «насохшей крови... оделись точно в черные перчатки», где есть «равнодушные, спокойные, вялые трупы», где раненые копошатся и ползают, «как сонные раки, выпущенные из корзины...». Картины, увиденные глазами офицера действующей армии, которому «нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало... ноги» и который вернулся в родной город к родным людям — сыну, матери, брату, жене. И далее — спасшийся от «красного смеха» безногий калека — «весь трясущийся, с разбитою душой, в своем безумном экстазе творчества... с необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал». Смертельная рана войны — по своему свойству оказалась душевной раной: лишившись разума, в слепом экстазе безумного порыва к сочинительству герой лишается и жизни, последние девять отрывков написаны братом офицера — мирным обывателем, никогда не ступавшим на поле войны. Однако и он оказывается «заражен» этим безумием: оставшись один в огромном особняке, этот человек счастлив оттого, что «война безраздельно владеет» им, что война «стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного отупелого ужаса, который владеет мною». Брат умершего начинает «слышать» войну, и здесь Андреев оставляет пространство для воображения читателя, не оставляя ясности — кому из братьев — мертвому или еще живому —принадлежат новые картины войны: «Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней». Собственно и источник повествования в первой части остается неясен — дневник ли это офицера, обрывки его рассказа брату или же созданные в безумном экстазе воспоминания... Андреев говорил, будто весь дневник целиком сочинен братом офицера, но для читателя это в конце концов оказывается несущественным, ибо грань между жизнью и смертью, реальностью и фантастикой постепенно размывается, и в последней — фантастической сцене оба брата — живой и мертвый — видят,

как «от самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца... А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами». Трупы все прибывают: «очевидно, их выбрасывает земля». Наконец, трупы появляются в комнате, занимая все больше и больше пространства: «голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке». Спастись? Но спасения нет: «За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех».

Уже после смерти Шурочки Андреев рассказал Вересаеву, что первым читателем и своеобразным редактором этого сложнейшего текста была именно она. И что, окончив первую версию «Красного смеха», он немедленно прочел ее жене. «Она потупила голову, собралась с духом и сказала: — Нет, это не так! Он сел писать все сызнова. Написал. Была поздняя ночь. Александра Михайловна была в то время беременна. Усталая за день, она заснула на кушетке в соседней с кабинетом комнате, взяв слово с Леонида Николаевича, что он ее разбудит. Он разбудил, прочел. Она заплакала и сказала: — Ленечка! Все-таки это не так. Он рассердился, стал ей доказывать, что она дура, ничего не понимает. Она плакала и настойчиво твердила, что все-таки это не так. Он поссорился с нею, но... сел писать в третий раз. И только, когда в этой третьей редакции она услышала рассказ, Александра Михайловна просияла и радостно сказала: — Теперь так! И он почувствовал, что теперь действительно так»[1].

Этот откровенно экспрессионистский текст, напоминающий современному читателю не только «Ужасы войны» Гойи, которыми Андреев непременно хотел оформить рассказ, но и графику Бекмана и Дикса, да и фантастические кадры из многочисленных «Мертвецов» Джорджа Ромеро, — в начале века оказал на публику эффект разорвавшейся бомбы. Опубликованный в третьем сборнике издательства «Знание» (22 января 1905 года книжка сборника поступила в продажу) — рассказ немедленно оказался в центре внимания буквально всех общественных и эстетических «лагерей». Прогрессивный журнал «Образование» полагал, что «огненному слову Андреева против войны суждено влить в общественное сознание ряд благотворных идей в противовес вакханалии крови, зверства и одичания». Проникновение в сознание современного человека, «бессильного выдержать и вынести войну, вместить ее не могущего»[2], — ставил в заслугу Андрееву и «Красному смеху»

---

[1] Вересаев.

[2] Цит. по: Афонин. С. 84.

символист Вяч. Иванов. Более того, в последующие месяцы возникало множество картин войны, созданных под влиянием «Красного смеха», а сумасшествие героя, вернувшегося с фронта, вскоре стало общепринятым сюжетным ходом для беллетристики тех лет.

Конечно же в стане Горького многих смущали явная фантастичность, абстрактность и откровенная асоциальность «Красного смеха», смутили они и Льва Толстого, которому Андреев послал свой рассказ еще в ноябре 1904 года. Впрочем, Толстой, в отличие от «друга Максимыча», вероятно понял, что править андреевский текст бессмысленно, поскольку перед ним — хотя и чуждое его творческому методу и убеждениям, но все же — цельное произведение, Горький же просил и даже умолял Андреева существенно доработать текст. «Алексеич» советовал выкинуть последний эпизод «с нашествием трупов», настаивая на том, что «рассказ чрезвычайно важный и своевременный, сильный», но чересчур болезненный и пессимистичный, он просил Андреева немного «оздоровить его». Мешал Горькому и пробивающийся сквозь факты сюжета авторский голос: «факты страшнее и значительнее твоего отношения к ним в данном случае». Всегда чуткий к его замечаниям Леонид на этот раз оказался «насквозь не согласен». «Оздоровить, — писал он, — значит уничтожить рассказ», «мое отношение к фактам войны — тоже факт». Финал, возможно, и плох, но пусть будет таким, какой есть. Парадокс, но как читатель и критик Андреев готов был согласиться со всеми доводами Горького, и более того — будучи в восторге от «Красного смеха» в ноябре, уже через месяц он полагал, что замысел рассказа прекрасен, а исполнение «кургузое». Однако как писатель он категорически отказывался внести какое-либо, даже самое не существенное исправление, по какой-то неведомой Леониду Николаевичу причине его художническое «я» свирепо охраняло этот текст от любых посягательств[1].

Смущала «болезненность» этой прозы не одного Горького. Даже такой проницательный ум, как Дмитрий Мережковский[2]— и тот упрекал Андреева в чрезмерности: «Художник может созерцать уродство, но не может хотеть уродства; может быть в хаосе, но не может быть хаосом. Художественное творчество Андреева мне кажется сомнительным не потому, что он

---

[1] См.: Переписка. С. 243—246.

[2] См.: *Мережковский Д. С.* В обезьяньих лапах. О Леониде Андрееве.

изображает уродство, ужас, хаос, — напротив, подобные изображения требуют высшего художественного творчества, — а потому, что, созерцая уродство, он соглашается на уродство, созерцая хаос, становится хаосом».

Сей парадокс объяснить теперь довольно просто. По своей экзальтированности, преувеличенности, сгущенности чувств, абстрактности, когда срывается все конкретное, наносное и открывается «чистая сущность» человеческой и пространственной материи, по самому строению формы — «рваной» композиции, незаконченности отрывков, повторам, зыбкости источника повествования, болезненной, гротескной преувеличенности событий, а главное — по тому, что за этими картинами и событиями ощущался крайне эмоциональный авторский — даже не голос, а крик — этот текст является одним из наитипичнейших и наиболее выразительных произведений русского литературного экспрессионизма. Но как мы знаем, собственно экспрессионизма как эстетического течения в 1904 году не существовало не только в русском, но и в европейском искусстве. Сам термин будет введен в эстетический обиход лишь в 1910—1911 годах, а собственно течение начнет утверждаться в европейском искусстве во втором десятилетии XX века. Теперь же русская словесность делилась, по меткому замечанию Зинаиды Гиппиус, на «два мешка»: «декадентов» и «общественников». Леониду Андрееву, каким он уже сформировался к 1905 году, оба эти «базовых качества» присущи не были. Андреев был — «общественное животное», и социальное чувство было развито у него чрезвычайно сильно. В одиночестве, в изоляции от мира, он мгновенно впадал в депрессию, и напротив — чувствовал себя комфортно под чьими-нибудь «знаменами». Более того, в честолюбии своем он хотел, страстно желал быть на переднем плане общественной жизни. Вера в Бога, отвергнутая еще в отрочестве, по мере погружения в ужасы существования человека в выстроенном Создателем мире — все с большей решимостью отрицалась. И — как беллетриста — нашего героя тянуло конечно же к «общественникам» или — по типологии Гиппиус — во «второй мешок». Но как писатель-экспрессионист, творческий метод которого уже сформировался в те годы, он просто не мог уложить себя в схемы, бывшие «в ходу» у писателей «горьковской плеяды». Наш герой и сам чувствовал, что «мешка» — где бы он мог встретить родственных для себя писателей-коллег, еще не «пошили» и что как художник он — «преждевременный человек». Позже он это замечательно сформулировал сам: «Над ржаво-зеленым болотом, где вся жизнь в тине, бурчанье и лопающих-

ся пузырьках, вдруг поднялась на тонкой звериной шее чья-то очень странная голова, очень бледная, очень странная, с очень нехорошими глазами. И все ахнули: "Вот он пришел!" И многие перекрестились от страху»[1].

Но и тогда — в 1904-м писатель как будто уже почувствовал свою «преждевременность». «Разум, который не хочет, не может помириться с войною и гибнет как часовой на своем посту, — разум будущего, а не настоящего», — справедливо и даже провидчески писал Андреев Горькому. «Война — невзгода это настоящее, война — безумие, это завтрашнее»[2], и назавтра эта мысль отзовется не только в истории, но и в знаковых произведениях искусства XX века — «Крике» Мунка, «Мамаше Кураж» Бертольда Брехта, «Гернике» Пикассо.

---

[1] S.O.S. С. 45.

[2] Переписка. С. 242.

Глава шестая. 1905—1906:
ДРАМАТУРГ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ЭМИГРАНТ

«Поэт в России — больше, чем поэт» — Андреев и первая русская революция. Арест и Таганская тюрьма. «Савва» и «К звездам» — начало карьеры драматурга. Смерть в текстах и в собственном доме. «Елеазар». Бегство на Запад. Рождение Даниила. Болезнь и смерть Шурочки. Судьба писателя-мистика Даниила Андреева

«Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, — как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы», — писал наш герой в разгар событий 1905 года. Конечно же в сюжете рассказа «Так было» слышится лишь отдаленное эхо первой русской революции. В действительности крепких уз между «королем и народом», вопреки позднейшим утверждениям историков и писателей почвеннического толка, в России к 1905 году давно уж не было: обложенное налогами, скованное круговой порукой и обделенное землей — скрежетало зубами крестьянство, озлобленные по большей части свинскими условиями труда — рычали рабочие, отстраненное от участия в управлении государством ныло земство, позор японской войны заставил призадуматься даже военных и промышленников, а что уж говорить об интеллигенции! Внук царя-освободителя, называющий конституцию «бессмысленными мечтаниями», и так-то не был особенно популярным государем, внутренняя политика, которую с одобрения Николая Второго с 1902 по 1904 год проводил министр внутренних дел фон Плеве, сделала социальное положение в России взрывоопасным. «И случилось, что в обширном королевстве... произошла революция...»

Русская революция от самого начала оказалась судьбоносной для Леонида Андреева — писателя и гражданина, ее события изменили жизнь, скорректировали гражданскую позицию, но самое важное: революция открыла для Андреева-писателя новые возможности: обнаружилось вдруг, что разрушитель-

ный пафос масс и геройство рыцарей-одиночек стали новым «коньком» Леонида Николаевича, эти темы приносили автору огромный успех.

Два обстоятельства: сам характер первой русской революции и горячая дружба с ее Буревестником — Максимом Горьким — определили место нашего героя среди баррикад. Именно в 1905 году Леонид Николаевич становится буквально *тенью Горького*: события андреевской жизни отражают — правда, в несколько уменьшенном масштабе — горьковские. Еще в 1904 году Леонид Николаевич совместно с другими московскими писателями подписывал гневные обращения к властям, протестуя против жесткого сценария разгона студенческих демонстраций. Накануне Кровавого воскресенья Горький, Гессен, Ник. Анненский и еще семь виднейших представителей российской интеллигенции просят Витте «не допускать крови» во время мирного шествия «рабочих к царю». Сразу после трагических событий 9 января практически все участники этой делегации были арестованы по подозрению «в руководстве противоправительственными организациями в делах свержения самодержавия». Максим Горький оказался в одиночной камере Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. А спустя месяц, 9 февраля, в собственном доме был арестован и Андреев — за предоставление квартиры для заседаний ЦК РСДРП. «Люди уже потеряли власть над событиями, начали действовать стихии, и что даст революция, умноженная на весну, на холеру, на голод, — невозможно решить. А в итоге будет хорошо — это несомненно... Если еще в тюрьме увидите Алексея, поцелуйте его от меня»[1], — писал Андреев Пятницкому. Оба писателя были отпущены из заключения под залог. Семнадцать тысяч рублей за Горького выложила его новая жена — примадонна МХТ Мария Андреева, под денежное поручительство в десять тысяч рублей Андреев был отпущен из Таганской тюрьмы. Поручился за него Савва Морозов. Оба — Горький и «его тень» — в тот же год уехали: Алексеюшка был выслан в Ригу и далее — с бросившей ради него мхатовские подмостки Марией Федоровной — отбыл в Европу, потом — в США. Леонид — с Шурочкой и Диди — в Финляндию, потом — в Германию. Летом 1905 года Андреев «в тени» Горького принимает участие в благотворительных вечерах в пользу Петербургского комитета РСДРП и семей бастующих рабочих Путиловского завода. В мае 1906-го Леонид Николаевич уже в одиночестве выступает с пламенной речью на митинге в Гельсингфорсе, призывая к свержению самодержавия. Но и помимо Максимыча, ближний круг

---

[1] Переписка. С. 256.

Леонида Николаевича составляли «люди баррикад»: беллетристы-«подмаксимовики» Скиталец и Чириков, писатель-марксист Вересаев и писатель-революционер Серафимович.

Однако если Андреев и стал в эти революционные годы тенью Буревестника, то эта тень, как будто следуя известному сюжету, незаметно, но неуклонно отделялась от хозяина. Драматургия отношений Горького и Андреева к революционным стихиям при схожести событийной различалась по жанровым признакам. Как будто исполненный эпической воли исполин отбрасывал странную — то колеблющуюся, бледную, то растягивающуюся на мили, то сжимающуюся в комок — тень. Чуткий к образным дефинициям Андреев сам сформулировал различие: Горький — Красное знамя революции, а я — ее Красный смех.

Горький — под влиянием второй жены М. Ф. Андреевой — окончательно определил свою «политическую платформу» и вступил в ряды РСДРП(б). Теперь, из тренера «команды» так называемых «писателей-общественников», где Андреев, несомненно, выполнял в 1904—1905 годах роль «центрального нападающего», Алексей Максимович выдвинулся на роли политические: он уже знаком с Ульяновым-Лениным, уже живет и действует по заданию партии. Большевики вовсю используют литературную и драматургическую славу Горького, его магнетическую способность воздействовать на массы. В США тот отправился со специальной миссией, писатель и актриса собирали средства для партии большевиков.

Но нашему герою революция, конечно, близка отнюдь не практической стороной, Андреев скорее погружен в «бессмысленные мечтания» о благородном подвиге одиночки, идущего на смерть ради чаяний народных масс. И если бы наш герой всерьез задумался о своих политических симпатиях — он выбрал бы отнюдь не зануд и демагогов большевиков, а романтических эсеров.

В воспоминаниях руководителя Боевой организации Бориса Савинкова есть прелюбопытный эпизод: подготавливая теракт с целью убийства московского губернатора великого князя Сергея Александровича, Савинков как-то раз просто-напросто пришел к Андрееву в Грузины и, назвав свое имя, попросил автора «Красного смеха» о небольшой услуге: будущим убийцам необходим был человек, знающий расписание выездов московского губернатора и этот человек — князь Д. Шаховской — частенько заглядывал «на огонек» к писателю. Андреев, хотя и удивился столь необычной просьбе, через пару дней отрекомендовал Савинкова князю, внеся тем самым и свою лепту в террористический заговор. Трудно сказать, за-

думывался ли тогда Леонид Николаевич о личном участии в революционной борьбе или же просто с жадностью вдыхал «воздух времени». Ясно одно, события 1905-го втянули и его в воронку «практических дел»: 1905 год — своеобразный пик социального «бунтарства» Андреева.

«Это было в начале 1905 года, — вспоминал Скиталец. — Наша “Среда” в полном составе собралась у Телешова. Ожидали, что Андреев прочтет свой новый рассказ, но настроение было у всех повышенное, тревожное: всем хотелось говорить. Вдруг в комнату вбежал художник Первухин, непременный, давнишний член “Среды”. Он был бледен, казался крайне взволнованным.

— Господа, — закричал он, — новость получена сейчас по телефону из Петербурга! Бойня перед царским дворцом! Масса крови!

Все повскакали с мест, загремели стулья, послышались восклицания. Толпой окружили вестника.

— Погодите, дайте отдышаться! — продолжал запыхавшийся Первухин. — Десять тысяч рабочих двинулись ко дворцу с иконами, с хоругвями, под предводительством какого-то священника Гапона. В них стреляли! Масса убитых и раненых! <...> Подробности еще неизвестны, телефон прерван!»[1]

Поначалу революционная эйфория как будто меняет образ мыслей и срывает творческие планы. «События держат мысль в таком напряжении, что ничего нельзя делать: ни работать, ни отдыхать, ни сидеть дома, ни думать о чем-нибудь другом, помимо происходящего, — пишет Андреев в январе. — Так и мечешься весь день как угорелый»[2]. К концу января напряжение только нарастает. «Вы не поверите, ни одной мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции. Вся жизнь сводится к ней, — даже бабы рожать перестали, вот до чего», — с каким-то детским восторгом сообщает наш герой Вересаеву. В начале 1905 года Андрееву, как и многим из его круга, казалось, что вот-вот одна-две баррикады «превратятся в тысячу баррикад. В России будет республика»[3]. Не случайно именно в 1905 году он становится, наконец, драматическим писателем, его образам уже как будто тесно в рамках повествования, и жажда действия выливается в две — пусть еще не совершенных и весьма традиционных по своей поэтике, но ярких и точно отражающих мировосприятие Андреева в те годы — пьесы: «Савва» и «К звездам».

---

[1] Скиталец.

[2] Переписка. С. 256.

[3] Там же. С. 542.

А вскоре революционные вихри буквально ворвались в тихий особнячок в Грузинах, разметав такой приятный и ставший уже вполне респектабельным быт Андреевых: почти вслепую — опять-таки по просьбе неизвестного ему человека Иосифа Дубровинского — писатель «дал свою квартиру для собрания неизвестных ему людей»[1], как только «группа товарищей», входивших, как выяснилось, в ЦК РСДРП, собралась в одной из семи андреевских комнат в особняке Шустова, нагрянула полиция. Среди прочих, в заседании ЦК принимал участие давно разыскиваемый большевик-подпольщик Лев Карпов, именно он и привел за собой «хвост» к дому Шустова, спровоцировав обыск и все дальнейшие события.

Итак, застукав у Андреева «девять лиц, пытавшихся при появлении полиции уничтожить разные рукописи и другие документы, бывшие с ними»[2], некий полицейский чин заявил о том, что в доме будет произведен обыск. Имеющий юридическое образование хозяин немедленно потребовал ордер или — как тогда говорили — «предписание на обыск», с этим, как водится, вышла заминка, однако — пока один из офицеров «поскакал за ордером» — руководящий «операцией» пристав перекрыл вход в особняк, действуя по принципу «всех впускать, никого не выпускать». Второй из «подмаксимовиков», писатель Скиталец по доброй традиции, заехав к Андрееву после бани выпить винца, стал участником вполне комедийной сценки: «...едва отворил дверь подъезда, как дворники захлопнули ее за мной, и я очутился в руках рослых полицейских, которые крепко схватили меня под руки, вырвав узелок с бельем. Я стал вырываться, но меня держали, как в железных тисках.

— Да пустите же! — кричал я. — Что вы меня держите? В чем дело?

— Успокойтесь, успокойтесь! — вежливо сказал мне подошедший околоточный надзиратель, бережно и с каким-то опасением принимая мой узелок. — Пожалуйте в квартиру, здесь производится обыск!»

Длившийся до вечера обыск особенных результатов не дал, все нелегальные издания и бумаги, изъятые у «партийцев», с очевидностью не имели к Андрееву никакого отношения, и казалось, для самого писателя, присутствующих при вторжении Диди и Шурочки да пришедших в гости родственников и Скитальца всё закончится только испугом. Не тут-то было! «Наконец отправили куда-то, вероятно, в тюрьму, партийных людей, а затем понемногу стали выпускать из столовой осталь-

[1] Переписка. С. 250.

[2] ЦГАОР. Ф.ДП, VII. Оп. № 872, 1905. Лл. 1, 5.

ных задержанных. К полночи столовая опустела: в ней остались только я и Андреев. Думали, что вся эта история кончилась, когда вошел жандармский ротмистр, заявивший, что мы оба арестованы и препровождаемся немедленно в тюрьму. Подивились, пожали плечами, развели руками, но, конечно, должны были подчиниться; оделись и вышли в сопровождении двух жандармов. У подъезда стояли два дрянных московских извозчика; на этих клячах нас тихо, не торопясь, как-то буднично, мирно и долго везли в Таганскую тюрьму»[1].

Доказать причастность Андреева и Скитальца к ЦК РСДРП оказалось затруднительно, писателей так ни разу не вызвали на допрос, не предъявили никакого обвинения. «Вегетарианский» характер тюремного заключения отмечали оба арестованных: «Обращались с нами в тюрьме почтительно. Приходил начальник тюрьмы, как-то заискивал и обронил такую фразу: "Время тревожное, кто знает, может быть, скоро вы будете правительством!" <...> Мы пользовались неслыханными привилегиями: нам из дому приносили самую лучшую провизию, тюремный повар, оказавшийся прекрасным мастером своего дела, готовил нам шикарные обеды. Имели какие нам угодно книги, чернила, бумагу, а на прогулку нас выпускали вместе», — вспоминал Скиталец. Хотя, вероятно, ностальгическая восторженность помешала автору донести события в точности: известно, что самого Андреева отнюдь не обольстили разносолы таганского повара, и Шурочка потратила немало сил, чтобы вызволить мужа из тюрьмы, добывая многочисленные бумаги, врачебные свидетельства, поручительства. Ее старания и залог, внесенный Морозовым, «сработали»: Андреев был отпущен 25 февраля. «А ведь я еще сидел в тюрьме как барин — там же были люди — и есть, которые сидят по-настоящему... и для которых Таганка не увеселительная поездка, как для меня, а настоящий "рак мозга"»[2], — писал он другу Максимычу, вернувшись домой после двадцати дней тюрьмы.

«Рак мозга» поразит вскоре Николая Терновского — героя первой пьесы Леонида Андреева «К звездам». Именно в Таганской тюрьме в душу Андреева упало зерно, проросшее в его первых пьесах и далее, в рассказах-шедеврах «Тьма» и «О семи повешенных». В тюрьме писатель встретил лидера оппозиционного крыла партии социалистов-революционеров — эсера Владимира Мазурина, этот 25-летний студент в мае 1904 года за агитацию в Москве был осужден на семь лет тюрьмы, и — как напишет впоследствии Андреев в очерке «Памяти Влади-

---

[1] Скиталец.

[2] Переписка. С. 259.

мира Мазурина» — «В Таганку он был переведен из Бутырской тюрьмы, где его с некоторыми товарищами подвергли зверскому избиению; у одного из избитых началась чахотка, а Мазурин вообще стал слабее здоровьем и уже не мог петь. А раньше пел». Зверское избиение в тюрьме стало поворотным пунктом и в судьбе Дмитрия Терновского — героя будущей пьесы «К звездам»: «В их камеры ворвались тюремщики и били их — по одному. Били руками, ногами, их топтали, уродовали лица. Долго, ужасно их били — тупые, холодные звери. Не пощадили они и твоего сына: когда я увидела его, его лицо было ужасно. Милое, прекрасное лицо, которое улыбалось всему миру! Разорвали ему рот, уста, которые никогда не произносили слова лжи; чуть не вырвали глаза — глаза, которые видели только прекрасное». У героя-революционера Терновского и эсера Мазурина вообще много общего, оба пользуются огромным авторитетом, обоих любят все, кого они встречают на своем пути: «Он пленителен, как юный бог, в нем какие-то чары, против которых нельзя устоять».

Судьбы студента Мазурина и андреевского героя Терновского сложились трагически: амнистированный осенью 1905 года эсер сделался не только героем Красной Пресни, но и главарем банды, ограбившей весной следующего года Московское общество взаимного кредита. Считается, что это был один из самых удачных налетов в истории партии: грабителям удалось вынести 875 тысяч рублей. Полиция же выследила и арестовала зачинщика и главаря удачной экспроприации. Уже в начале осени Владимир Мазурин взошел на эшафот, построенный во дворе той же Таганской тюрьмы, где полтора года назад он прогуливался с известным беллетристом. Андреев с горьким — почти что горьковским — пафосом писал после казни Мазурина: «Бедная Россия! <...> Отнимают от тебя твоих лучших детей, в клочья рвут твое сердце. Кровавым восходит солнце твоей свободы, — но оно взойдет!» «Как садовник, жизнь срезает лучшие цветы», — скажет, узнав о судьбе сына, астроном Терновский.

Но вот что интересно: революционера из пьесы «К звездам» Андреев не казнил, а лишь наградил безумием, своеобразный «рак мозга» «погасил» разум и прекрасную душу Дмитрия Терновского, оставив лишь оболочку: «Он будет долго жить. Он станет равнодушен, он будет много пить, есть, потолстеет, он проживет долго. Он будет счастлив». Вне сомнения, образы революционеров — Дмитрия и его соратника рабочего Трейча — выросли из реальных борцов с режимом, которых встречал Андреев в 1905 году, однако отнюдь не эти герои явля-

ются центром пьесы и определяют ее своеобразие. Дмитрий Терновский, хотя и заявлен среди действующих лиц, — ни разу не появится на сцене, он — как ни странно, герой внесценический. А вот его отец — Сергей Терновский, — уехавший за границу русский ученый, директор обсерватории, построенной на горе, у подножия которой — охваченный революцией город, — образ, вне сомнения, вымышленный, и образ этот еще задолго до начала революционных событий тревожил воображение Андреева.

Уже в 1900 году, когда горьковское «Знание» выпустило перевод книги немецкого метеоролога и астронома Германа Клейна «Астрономические вечера», наш герой вдохновился противостоянием звездного неба и земной обыденности: в его воображении немедленно родился сюжет о том, как «...высоко на горе живет ученый, астроном, немолодой, которому до земли нет никакого дела. А внизу под горой происходит революция, которой нет никакого дела до неба. Из этого я что-то сделаю, не знаю — что, но напишу непременно»[1], — обещает он Телешову. Как ни странно, этот же сюжет вдохновил и Горького, и в 1903 году друзья вынашивали планы сочинять «Астронома» вместе, но кончилось тем, что оба в 1905 году создали собственные драмы: Горький — «Дети солнца», Андреев — «К звездам».

«С рукописью под мышкой я таскался по Москве — и разными чернилами, в промежуток между 11 и 20 октября накатал 4-х актную драму», — сообщал Андреев в конце октября 1905-го Пятницкому, прося выписать под эту драму аванс, добавляя, впрочем, что пьесу «надо еще отделать»[2].

Леонид Николаевич несколько раз переписывал эту первую пьесу, перенося действие из провинции России в некую европейскую страну, а по свидетельству мужа сестры Андреева Зинаиды инженера Виктора Павловича Тройнова, наш начинающий драматический автор как-то раз пересказал первый вариант драмы другу Алексеюшке, и маститый драматург, за плечами которого успех «Мещан» и «На дне», взялся «перекроить» ее сюжет, помогая другу Леониду, «еще не набившему руку в драматургическом ремесле»... Всё действие у Андреева было сосредоточено на горе — залах и комнатах обсерватории, куда из города приносили вести разные персонажи, тогда как герой-астроном так никогда и не покинул свою обитель. Конфликт между небом и землей был понятен писателю, по-

---

[1] Телешов.

[2] Цит. по: Архив издательства «Знание». http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_1310.shtml. Дата обращения 30.10.2011.

скольку нечто похожее назревало и в его душе. Буревестник же настоятельно рекомендовал послать «Николая на баррикады, рассорил семью и сотрудников Терновского... придумывал целые сцены столкновений между персонажами». Андреев был ошарашен: «Но, постой, как же получится? Ты моего Терновского подмастерьем сделаешь, а небесную богиню астрономию в лучшем случае — замоскворецкой гадалкой...»[1] Горький пригибал его к земле, Андреева же влекло в прямо противоположную сторону — в «лапы Космоса», в небо, полное звезд. И в окончательном варианте он проигнорировал почти все горьковские поправки. «Андреев написал пьесу “К звездам”. Очень плохо»[2], — сообщал Максимушка тому же Пятницкому в ноябре 1905 года. С мнением Горького согласилась на этот раз и его главный «враг во литературе» Зинаида Гиппиус: «...но самой слабой, уже не слабой, а прямо позорной, пошло-грубой до скверности, надо назвать драму этого писателя “К звездам”»[3]. Но так ли уж плоха была пьеса? Выразив свое частное мнение, Горький тем не менее не отменил публикацию пьесы в сборнике «Знания», более того, уже в ноябре 1905 года «Звездами» весьма заинтересовался один из столпов МХТ и любимейший режиссер Андреева — Владимир Иванович Немирович-Данченко.

«Сегодня Немирович читал пиесу артистам и вот что пишет мне: “пиеса произвела громадное впечатление, сильное, тяжелое и радостное... Наши хорошо знают все написанное Вами и подтверждают, что это лучшее из всего...” Последнее ерунда. И вообще пиеса — посредственная, скоро я напишу получше, но все же я очень доволен. Вот и я — в драматургах!»[4] — ликовал Андреев. МХТ действительно включил «К звездам» в репертуарный план, однако на титульном листе сохранившегося до наших дней машинописного экземпляра театра черным по белому выведено «К представлению признано неудобным. Спб., 3 января 1906 года». Цензура запретила ставить пьесу почти на всей территории Российской империи, причем вывод цензора звучал как панегирик начинающему создателю пьес: «Вся эта символическая драма, талантливо и с большим подъемом написанная, служит идеализации революции и ее деятелей, вследствие чего не может быть дозволенной к представлению». Однако сценическая судьба «К звездам» на этом не оборвалась, и мы не раз еще услышим о пьесе.

---

[1] Цит. по: Переписка. С. 582.
[2] Там же. С. 420.
[3] Цит. по: Материалы и исследования. С. 31.
[4] Архив издательства «Знание».

«Познакомимся. Я как был, так и остался вне партий, — шутливо представлял он «себя в революции» Вересаеву. — Люблю, однако, социал-демократов, как самую серьезную и крупную революционную силу. С большой симпатией отношусь к социал-революционерам. Побаиваюсь кадетов, ибо уже зрю в них грядущее начальство, не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Об остальных можно не говорить»[1]. Знаменитый портрет Леонида Николаевича, где тот — в красной рубахе — сидит, раскинув руки, на садовой скамейке в позе распятого Христа — безукоризненно красивый, мрачно-задумчивый, как всегда позирующий, словно в кустах — здесь и там — притаились толпы поклонников и хулителей, — этот репинский портрет как нельзя лучше передает нам фигуру Андреева в ту революционную эпоху: его влекла идея освобождения, он готов был отчасти и пострадать за нее, его вдохновляли люди революции и их бескорыстно пролитая кровь, но практика революции, ежедневная, часто весьма грязная работа, хитросплетения политических интриг, бытовые лишения раздражали нашего героя, и Андреев быстро устал от охваченной волнениями Москвы. Отдав бунту и бунтарям множество времени, сил и творческой энергии, к лету 1905 года Леонид Николаевич несколько выдохся и взял «тайм-аут».

Однако эта «передышка» в большей степени коснулась Андреева-человека, Андреев-писатель — только подбирался к теме «русского бунта», отнюдь не исчерпал он и своего героя — «русского бунтаря». Тот творческий заряд, что получил писатель в 1905 году, будет питать энергией андреевское перо на протяжении многих лет: он создаст «Савву», «Губернатора», «Из рассказа, который никогда не будет окончен», он напишет «Тьму» и великие «...Семь повешенных» и, наконец, один из двух андреевских романов — «Сашка Жегулев» — целиком будет посвящен странной метаморфозе: вселению в провинциального интеллигентного мальчика духа бунтаря и разбойника.

В мае семейство Андреевых переехало на Карельский перешеек, в Финляндию; здесь, в тихом местечке Ваммельсуу, где Черная речка впадает в Финский залив, и произошла первая встреча Леонида Николаевича с местом, которое вскоре станет для него второй родиной. Эти модные курортные места с экзотически-притягательными названиями: Райвола, Ваммельсуу, Териоки, Куоккала, Оллила, Келломяки — теперь

---

[1] Вересаев.

известны каждому петербуржцу, как Ушково, Серово, Черная речка, Зеленогорск, Репино, Комарово и т. д. Край этот, после зимней войны 1939—1940 годов отошедший к СССР, несмотря на все усилия моих соотечественников и по сей день хранит былое очарование: белый песок, едкий запах Северного моря и хвои, краснеющий тут и там дикий шиповник и какой-то вольный, веселый ветер, продувающий побережье насквозь даже в самые жаркие дни. Можно только представить, что почувствовал Андреев, впервые взобравшись на холм и увидев раскинувшийся у его ног суровый простор... На время Леонид Николаевич даже перестал писать. «День у него... проходит незаметно: он фотографирует, ездит на велосипеде, катается на лодке, стреляет из монтекристо (купил в Выборге) и сооружает воздушного змея для своего сына; ему часто приходится ездить в Куоккалу, чтобы позировать Репину, однако портрет не нравится им обоим»[1], — вспоминал андреевский быт один из посетивших его в Ваммельсуу гостей.

Судьба как будто выдала последний легкомысленный отпуск Леониду, Шурочке и Диди, всего через два года, уже вдовцом, писатель купит в этом месте участок земли — немного выше по Черной речке и признается, что купил, потому что отсюда он может видеть крышу дома, «где он когда-то был так счастлив». Этот дом за 350 рублей Андреевы наняли на лето 1905 года у петербургского адвоката Лыжина, а недалеко, в Куоккале, поселились Горький с Марией Федоровной, оба друга позировали: Андреев —Илье Репину, работающему в своем домике, известном теперь каждому как усадьба «Пенаты», Горький — одному из репинских учеников. Пребывание модных писателей на модном петербургском курорте произвело фурор среди столичной публики, известный фотограф Карл Булла не мог не запечатлеть этот факт: 27 мая в мастерской Репина состоялась известная фотосессия, где Горький, Андреев и их жены выступали в роли моделей. А очень скоро эти снимки, размноженные на открытках, бойко продавались по всей России.

Отношения Горького и Андреева — теперь почти что братские, их ежедневные встречи, совместные прогулки, обеды и выступления на концертах омрачены лишь мнительностью Леонида Николаевича, отчаянно ревнующего друга к бесчисленным знакомым и разнообразным занятиям, совершенно никчемным с точки зрения Андреева. О «странном характере наших с тобою отношений за последнее время — в Финлян-

[1] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=vammelsuu-fidler&lang=ru. Дата обращения 30.10.2011.

дии», — пишет он другу, буквально вынуждая Горького клясться ему в верности и любви. «...сумма моих отношений к тебе есть нечто очень твердое и определенное, эта сумма не изменяется ни количественно, ни качественно, она лишь перемещается внутрь моего "я" — понятно? — с грубоватой нежностью отвечает Максимушка. — Живя жизнью более разнообразной, чем ты, я постоянно и без устали занят поглощением "впечатлений бытия"...» Занятость Горького конкретной работой на конкретную партию также раздражала Леонида. И здесь другу приходится оправдываться перед «дорогим Леонидом»: «Я социал-демократ, потому что я — революционер, а социал-демократическое учение — суть наиболее революционное. Ты — скажешь — "казарма"! Мой друг — во всякой философии — важна часть критическая, часть же положительная — даже не всегда интересна, не только что важна»[1].

Еще во время размолвки 1903 года друг Максим окрестил друга Леонида анархистом; и склонный к длительной и глубокой рефлексии Андреев тщательно — так и эдак — примерял на себя этот политический «тренд», но, как всегда, почувствовал узость и в конце концов отдал «анархизм» одному из своих героев.

События следующей пьесы Андреева «Савва», второе — латинское название *Ignis Sanat* («Огонь исцеляет») — трудно отнести к буквальному отражению 1905 года, принципиально тут не время, а место действия: дело происходит в российской глубинке — в монастырском посаде. Сын трактирщика 24-летний анархист Савва Тропинин планирует взорвать чудотворную икону во время церковного праздника, чтобы люди увидели, что лик Спасителя — лишь обыкновенная раскрашенная доска: «И когда так будет разрушен десяток их идолов, они почувствуют, холопы, что кончилось царство ихнего Бога и наступило царство человека». Конечно, для самого Саввы этот террористический акт преисполнен символического смысла: «Нужно оголить землю... содрать с нее эти мерзкие лохмотья!» Герой много ходил по России и многое повидал, встречал и людей, «которые бомбочки делают», но для Андреева принципиально то, что его герой — террорист-одиночка, угрюмый рыцарь свободы, проповедник нового — в общих чертах — ницшеанского сверхчеловека: «Он идет! Я вижу его! Он идет, свободный человек! Он родится в пламени!.. Он сам — пламя и разрушение! Конец рабьей земле!» В этом монологе Саввы чувствуются конечно же отголоски горьковского Сатина, да и по ницшеанскому духу и даже по строению своему

---

[1] Переписка. С. 264—265.

эта драма в четырех актах отчаянно напоминает горьковскую пьесу — действие строится на бесконечных спорах о смысле понятий: Бог, человек, культура, рабство, свобода, вера. Сам того не сознавая, в пылу страстных дискуссий Савва пробалтывается о своем намерении взорвать икону чуть ли не всем персонажам пьесы, и в конце концов о готовящемся террористическом акте узнает настоятель монастыря. Хитрые монахи не препятствуют взрыву, а лишь удаляют на это время икону, а наутро все колокола монастыря звонят о свершившемся чуде: церковную ограду — «решетку железную... скрутило всю, как веревку», а икона осталась цела и невредима.

Набежавшие со всех окрестностей паломники в страшной давке устремляются к своему идолу — чудотворному лику Спасителя, они же до смерти избивают героя-анархиста, заученно твердя: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...» Впрочем, после своего поражения Савва сам ищет смерти, и вместо того, чтобы бежать и скрыться от народного гнева, — открыто бросает толпе обвинения в тупости и рабстве. Пьеса, по меткому выражению «заглавного» театрального критика той эпохи, была написана «со всяким реалистическим старанием: привычки, манеры, даже наружность действующих лиц изображены весьма подробно и обстоятельно»[1]. В образе анархиста многие — в том числе и А. Р. Кугель — усматривали «современного Антихриста».

Кем же был Савва Тропинин для самого Андреева? Кстати, прототипом героя стал некто А. Г. Уфимцев, незадолго до революции этот юноша вместе с друзьями взорвал икону Курской Богоматери.

«Мне лично Савва-человек очень нравится, — признавался писатель, окончив пьесу. — Он не “герой мой” — таковым я могу назвать только Тюху — но он силен, полон ненависти к существующему, непримирим, и за это я люблю его»[2]. Что ж... признание автора интересно и показательно, дело в том, что Тюха — старший брат Саввы — горький пьяница, относящийся к миру весьма и весьма своеобразно: «Рожи одни есть. Множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи, я всегда смеюсь. Я сижу, а они мимо меня так и скачут, так и плывут». Вспомнив, что изображение «человеческих рож» — любимое занятие Андреева-гимназиста, мы наверняка призадумаемся над тем, какое место уготовил себе автор в причудливом узоре пьесы. Неслучайно последняя реплика драмы

---

[1] Кугель. С. 151.

[2] Переписка. С. 266.

отдана именно Тюхе, глядя на мертвого Савву, он фыркает: «Какая же у него... смешная... рожа! (*Смеется.*) Рожа!»

Вообще-то — несмотря на заверения Андреева — пьеса одинаково неприязненно показывала как «мир рабов», нуждающихся в идолах, так и анархиста, желающего сделать из всех символических ценностей прошлого и настоящего «хорошенький костерчик» и оголить землю и человека до оснований. Это заметил еще Мережковский: «На чьей же стороне Андреев — на стороне Саввы, предтечи Антихриста, или погромщиков, "слуг Христовых"? А если ни на той, ни на другой, то во имя какой истины отрицает он эти две лжи?»[1] Единственным — никак не участвующим в интриге с иконой — героем был именно Тюха — вечно пьяный резонер, воспринимающий происходящее как бал гротескных персонажей: «Я в трактире сижу и все вижу; меня нельзя обмануть. Какая рожа большая, какая маленькая, и все они так и плавают, так и плавают. Какие далеко, какие совсем близко, как будто хочет поцеловать или за нос укусить». В том-то и дело, что через год после начала революции Андреев уже не мог с уверенностью настаивать на той или иной правде и мужественно делал протагонистом пьесы пьяного солипсиста по имени Тюха.

«Понравится пиеса или нет, это еще большой вопрос — слишком она остра и радикальна. И страшна она, как черт, — размышлял Андреев, окончив «Савву» в феврале 1906 года. — Но самое в ней плохое — это ее нецензурность. Напечатать еще можно, но поставить на сцене и думать нечего»[2]. В этом он не ошибся: судьба его второй пьесы сложилась не слишком счастливо. Опубликованная в горьковском «Знании», она вызвала огромный интерес МХТ и других театров, и — не будь запрета цензуры — «Савва», вне сомнения, стал бы лидером театрального сезона 1906/07 года. Да, к этому герою Андреева, — негодуя и проклиная или же восхищаясь и восхваляя, — российская публика отнеслась бы чрезвычайно серьезно. Дмитрий Мережковский, например, напрямую связывал образ анархиста Саввы с будущим России: «Это — новый гунн каких-то новых Аттиловых полчищ, Гога и Магога, идущих из великой пустыни безбожья. Он первая ласточка страшной весны: сегодня он один, а завтра множество таких, как он. И чем от них защититься, если нет Бога, нет Христа?»[3]

---

[1] *Мережковский Д. С.* В обезьяньих лапах: О Леониде Андрееве. http://philology.ruslibrary.ru/default.asp?trID=233&artID=316. Дата обращения 30.10.2011.

[2] Архив издательства «Знание».

[3] *Мережковский Д. С.* В обезьяньих лапах: О Леониде Андрееве.

В своем отрицании Андреев пошел еще дальше. Новый рассказ «Елеазар» утверждал, что дела человека плохи, даже если его разглядел и отметил Бог — и тогда, даже тогда — нет спасения.

Существует мнение, что произведение, вдохновившее Андреева на создание рассказа, — драма Флобера «Искушение святого Антония», переведенная незадолго перед Борисом Зайцевым и напечатанная в сборнике «Знания». Мне лично связь между загадочным, неровным, ярко исповедальным, существующим во множестве авторских редакций «Искушением...» и жестко выстроенным, холодным и сдержанным «Елеазаром» кажется незначительной, Андреева могла вдохновить фактура флоберовской пьесы, сам исторический контекст — зарождение христианства в недрах язычества и — не более. Но давно уже, давно, неуклонно и естественно шел он к фигуре Христа; расплавленный ангелочек, что жег сердце Сашки и обернулся наутро восковой лужей, должен был спровоцировать какие-то ответные действия. Андреевский апокриф должен был появиться так или иначе, это было предрешено.

Для первого опыта Андреев выбрал нестандартный и в то же время не чуждый для русской литературы евангельский сюжет: обратился к чуду воскрешения Лазаря, о котором читала проститутка Соня Мармеладова убийце Родиону Раскольникову. Как и для евангелистов, для Достоевского эти страницы священного текста преисполнены глубоким символическим смыслом: воскрес Лазарь, воскреснет Христос, воскреснет и душа Родиона. Андреев же разрушает прежний символический смысл этой истории и строит новый: писатель заглядывает туда, куда незадолго до него заглянул лишь французский поэт Леон Дьеркс — его поэма «Lazare» в русском переводе была опубликована в двенадцатом номере «Мира божьего» за 1899 год. Читал ли Андреев Дьеркса — загадка. Однако сюжеты «Lazare» и «Елеазара» — и об этом писал разбиравший рассказ Максимилиан Волошин — пытаются ответить на один и тот же вопрос: а что стало с тем самым Лазарем после воскрешения? Как ему живется? Чем занят сей славный, вырванный из лап небытия чудотворящим Иисусом муж? «Когда Елеазар вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властию смерти, и живым возвратился в свое жилище, в нем долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самое имя его». И хотя внешний облик героя вскоре стал вполне человеческим, внутри Елеазара жил тлен, и тлен этот и определял его облик и образ жизни. Тлен пробивался через безжизненный остановившийся взгляд Елеазара, и тех людей, «...кто встречался с его взглядом, ох-

ватывало тупое равнодушие смерти, вязкая ленивая скука», человек, как будто «заражаясь» от этого взгляда, «спокойно начинал умирать, умирать долгими годами, как дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почве». Так воздействовал герой и на великого римского скульптора, пожелавшего сделать портрет воскресшего мертвеца. Великий Аврелий после ночи, проведенной у Елеазара, впал в глубокую скорбь, а спустя время вот что предъявил он миру: «Это было нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый, неведомый образ. На тоненькой, кривой веточке, или уродливом подобии ее, криво и странно лежала слепая, безобразная, раскоряченная груда чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя. И случайно, под одним из дико кричащих выступов, заметили дивно изваянную бабочку, с прозрачными крылышками, точно трепетавшими от бессильного желания лететь». И только лишь император Август, тоже испытавший силу взгляда воскресшего из мертвых, «овладел собой и поборол смерть». И — «приказал выжечь ему глаза каленым железом и отвести его обратно в пустыню». Там и слонялся слепой мертвец, покуда не сгинул. «Так, видимо, закончилась вторая жизнь Елеазара, три дня пробывшего под загадочной властию смерти и чудесно воскресшего».

Рассказ, который сам Андреев через несколько лет посчитал «началом восхождения на вершину», произвел на русскую читающую публику глубочайшее и, как всегда, неоднозначное впечатление. Волошин[1] посчитал сам образ Елеазара «карикатурно-чудовищным», находя истоки произведения «в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа». Отказывая автору в серьезности и трагичности, поэт, художник и критик уверял публику, что «Елеазар» производит «впечатление не богоборчества, а богохульства». «Да, богоборчество опошлилось, — не согласится с ним через несколько лет Дмитрий Мережковский, — сейчас в России опошлилось оно почти до уличной пошлости — до “мистического анархизма” — мистического шарлатанства — мистического хулиганства». Причисляя «мистического хулигана» Андреева к отряду «вечных русских мальчиков в красных рубашках-косоворотках и студенческих тужурках», Мережковский в самых общих чертах угадал отношения Андреева с Богом: «С Богом навсегда покончено — так думали они вчера; а сегодня не то чтобы поду-

[1] См.: *Волошин М.* «Елеазар», рассказ Леонида Андреева // *Волошин М.* Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 450—456.

мали иначе, но зашевелилось у них что-то на дне прежних дум, как большая рыба в мутной воде. Откуда, что, зачем — они еще сами не знают. Со старой дороги не свернули, а только зашли в тупик и уперлись лбом в стену»[1]. Но более чуток и глубок оказался друг Горький: «Максимушка» без лишних предисловий определил рассказ Леонида как «лучшее из всего, что было написано о смерти в мировой литературе. Мне кажется, что ты приблизился и приближаешь людей к неразрешимой загадке, не разрешая ее, но страшно, близко знакомя с нею»[2].

Что ж, в реакции окружающих было и вправду много точного: Андреев почти что играл со смертью, оставаясь в рамках жизненных обстоятельств. Ни словом не обмолвился его Елеазар о том, «что было там»: что видел и испытывал по ту сторону жизни, нося с собою этот невыносимый груз знания и сделавшись чумою среди живых. Но тот — богохульный или богоборческий — смысл, который вычитывали символисты из «Елеазара», едва ли изначально закладывался автором. Много позже Андреев признавался, что в образе воскресшего Лазаря видел... себя самого: «Я силен и я единственный, пока я разрушаю, пока я "Елеазар", под видом какового в свое время изобразил себя»[3]. Утверждая, что никогда не пишет «о том, чего сам не пережил и не перестрадал», Андреев, весьма вероятно, имел в виду свою завороженность смертью, свое убийственное знание о ней и то, «что недвижимо лежало в глубине черных зрачков его». Таким образом, начав разбираться с христианской мифологией с описания чуда воскрешения Лазаря, Андреев внезапно отложил диалог со Спасителем, поскольку набрел на иную тему — его увлекла сама смерть.

Смерть, ставшая вскоре одной из излюбленных героинь Андреева, незадолго до создания «Елеазара» буквально вошла к нему в дом: осенью 1905 года, вернувшись из Ваммельсуу, Леонид Николаевич попал в обстоятельства метерлинковской пьесы «Непрошеная»: смерть забрала Зинаиду — любимую, так похожую на него младшую сестру. Молодой женщине едва исполнился 21 год, она недавно и очень счастливо вышла замуж, а умерла неожиданно, внезапно, от такой казалось бы мелочи — кровотечения из носа, которому поначалу никто в семье не придавал особого значения. Кровотечения повторялись, вернувшись из Финляндии, старший брат отвез сестру на консультацию к известному хирургу, тот осмотрел больную и настоял на помещении ее в клинику. Диагноз Зинаиде так

---

[1] *Мережковский Д. С.* В обезьяньих лапах.

[2] Переписка. С. 280.

[3] S.O.S. С. 234.

и не был поставлен — через три дня она умерла в больнице, где когда-то лежал сам Леонид. В ночь ее смерти Андреев распорядился зажечь в доме все лампы и — как вспоминала жена брата Павла — «не ложась спать, всю ночь проходил по зале, говоря то с одним, то с другим из своих близких». Он говорил с ними... о смерти... «И так странно жуток был сияющий огнями дом в пустынном переулке»[1].

Шок от смерти сестры, нервотрепка от набегающих каждый день революционных событий: революционно настроенным интеллигенции и студенчеству постоянно угрожали расправами черносотенные организации, к тому же по Москве гуляла какая-то общая лихорадка в преддверии баррикад Красной Пресни, — все это, вероятно, и вынудило Андреева искать «тихую гавань». «...жизнь в Москве для меня становится невозможной. И через участок, и другим путем (толпа, собирающаяся ночью у двери и выражающая желание “убить с[во]лочь” и т. п.) я получаю предостережения и уже два раза должен был перекочевывать с семьею на разные квартиры. В связи со всякими личными делами это делает положение скверным, утомительным: мешает работать и просто жить, — пишет Андреев 24 октября 1905 года коммерческому директору «Знания», проясняя финансовые вопросы. — И решили мы с Шурой так: уехать месяца на 3 за границу, и как можно скорее. Осуществление же этого плана зависит от “Знания”. Принимая в расчет 2 тома, драму и рассказ, к[отор]ый я на днях присылаю Вам, — могу я немедленно на подъем получить 2 тысячи, а затем ежемесячные, как прежде?» Любопытно еще одно объяснение Андреевым своего решения: «...не играя в революционном движении активной роли, я могу быть только пассивным зрителем, — а я вовсе не хочу видеть этих истерзанных тел и озверевших рож»[2]. Подъемные были ему исправно переведены, и в середине ноября 1905 года начинается первое по-настоящему «заграничное» путешествие Андреева: за это время вместе с Шурочкой и Диди он побывает в Берлине, Мюнхене и маленьком швейцарском Глионе.

«Вчера, когда ехали с вокзала по этим улицам, среди этого города, мне жаль было свою Россию — невежественную, бедную, несчастную, обливающуюся кровью» — первая встреча с тем старым Берлином — мощным, удобным для жизни, красивым, утопающим в зелени — еще не разрушенным Второй мировой войной — мгновенно сделал орловца и русака Андреева убежденным западником. «Был дурак, что до сих пор не ездил

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 147.

[2] Архив издательства «Знание».

за границу, — пишет он оставшейся в Москве матери. — Как красиво, как непохоже на наше, как богато!»[1] Его язык как будто уже «настраивался», чтобы вскоре создать здесь, в Берлине, один из своих шедевров — «Жизнь человека». Помните? — «Как богато! Как пышно! Как светло!»

Поселившись в пансионе на Liitzow-Strasse, 46, Андреевы оказались в гуще европейских событий — политических, культурных — новый непривычный ритм полностью поменял их быт: московская расслабленность сменилась европейской деловитостью. «Заграница приучила меня лично к аккуратности, а характеру моему придала стойкость, непреклонность, всему же остальному душевному миру моей психологической конституции дала необходимый колорит», — с какой-то детской радостью пишет он Евгению Чирикову[2]. Поначалу его душа — как будто по инерции — живет интересами революции: в первые дни в Берлине Андреев посещает немецкий парламент — рейхстаг, чтобы послушать выступление одного из лидеров немецкой социал-демократии — знаменитого Августа Бебеля, а в конце декабря читает «К звездам» в Общественном доме района Моабит, его слушают около двух тысяч человек — в основном русских эмигрантов, большинство из которых — политические, вечер этот плавно переходит в митинг с весьма смелыми лозунгами. При этом Андреев отчаянно ругает немцев за отсутствие революционного духа: «С[оциал]-демократы — да, но их так мало, они так незаметны, как капля соленой воды, как слеза, они растворяются в море пресного мещанства. Почти вся немецкая печать — за двумя, тремя исключениями — радуется каждой неудаче революционеров, инсинуирует, шипит. О русских делах сообщают очень мало, столько же, сколько о передвижении ихнего кайзера по Берлину, и называют их “Беспорядки... хаос в России”».

«Беспорядки и хаос в России» — начавшееся в Москве в декабре 1905 года вооруженное восстание, баррикады на Красной Пресне заставляют Андреева отчасти испытывать стыд беглеца, перемешанный с искренним беспокойством за оставленную мать и близких. «Трудно думать и говорить о чем-нибудь другом, кроме героической и несчастной Москвы. <...> Ведь у нас там полтора десятка одних родственников, и все — в районе артиллерийского огня, — пишет он Пятницкому, — знал бы — сил не хватило уехать»[3]. В конце концов, он добивается, что бедная, не знающая ни единого слова ни на одном из евро-

---

[1] Цит. по: Кен. С. 151.

[2] Материалы и исследования. С. 41.

[3] Архив издательства «Знание».

пейских языков Анастасия Николаевна весной 1906 года все же направляется к сыну, захватив с собой в Швейцарию непременный атрибут андреевского быта — московский медный самовар. Она будет выходить не на тех станциях, стремительно убегать от заботящихся о ней русских попутчиках и вопрошать перепуганных швейцарцев о том, не видели ли они ее сына-писателя — Леонида Андреева. Но, несмотря на все нелепости и перипетии, Анастасия Николаевна встретилась-таки с Коточкой, Шурочкой и Диди, и беспокойство Андреева о событиях на родине несколько поостыло.

Но и до приезда матери наш герой так или иначе отдаляется от бурлящей российской реальности: здесь, в Германии он оказывается, наконец, один на один с великим зданием европейской культуры и этот мир вовсю колдует над его душой. «Живем мы в Мюнхене хорошо — насколько возможно жить хорошо сейчас, — пишет Андреев в Россию после того, как в середине января 1906 года семья переехала из Берлина в столицу Баварии. — Нет ни одного знакомого — и жизнь моя проходит между посещением галерей и музеев (удивительных!) и усиленной работой. Своей поездкой я вообще очень доволен: заграница раздвинула мне голову и дала новые мотивы для работы. Есть вещи — задуманные, — которые могли родиться только здесь»[1]. Закончив «Савву», он признается, что вещь эту «можно было написать только при двух противуположных влияниях: заграницы и российских зверств». А уже через несколько месяцев, изрядно поправев, Андреев будет настойчиво звать в Германию друга-подмаксимовика — писателя и драматурга Евгения Чирикова: «И вот что я тебе скажу, по-дружески... в России... ни тебе, ни мне, ни даже Горькому работать невозможно. Даже на революционные темы, сидя в России, писать невозможно: чтобы описывать шторм, нужно по меньшей мере находиться на берегу, а не на корабле, где, кроме морской болезни, ничего другого в момент бури не испытаешь». Окончательно приняв решение провести за границей не три месяца, а более года, Андреев как будто и вовсе перестал скучать по родине: «В России нашему брату можно подохнуть от тоски, от злости, от галлюцинаций — но не работать»[2].

Его впечатляют собрания берлинских и мюнхенских галерей, его поражает живопись швейцарского символиста Арнольда Бёклина, автор «Острова мертвых» близок Андрееву и по стилистике, и по сути: застывшие пейзажи и бледные, без-

---

[1] Там же.

[2] Материалы и исследования. С. 42—43.

жизненные, как будто окаменевшие люди, с кожей, напоминающей о мраморе или анатомическом театре, живописные руины на фоне многозначительно-черных небес, — что ж, за каменной кулисой на каком-нибудь полотне Бёклина вполне мог прятаться Некто в сером — персонаж будущей пьесы Андреева. Здесь, в тишине мюнхенской пинакотеки, впервые возникнут тревожные и неясные мысли о странной по форме драме, ирреальной, но не символистской... Леонид Николаевич чувствует, что шедевры прошлого будоражат его воображение, и — как всегда — увлекается: он жаждет ехать дальше на юг — в Италию, туда — к античным обломкам, к детству христианства... Но, очевидно, не получив на это ни благословения, ни кредита от Пятницкого, вместе с семейством перебирается в маленький швейцарский Глион.

Глион — небольшой городок, недалеко от Женевского озера на Швейцарской Ривьере; от знаменитого Монтрё в начале века к нему поднимались на фуникулере, среди благоухания розовых кустов, над водами одного из самых нежных озер на свете... Само название отеля — «Монт-Флери», стоящий в дверях швейцар в позументах, длинные тягучие коридоры, в которых таяли звуки даже самых решительных шагов, — все это, несомненно, располагало к жизни респектабельной, буржуазной, уютной и далекой от каких-либо, а уж тем более российских проблем.

В марте нарочно, чтобы повидаться с Андреевыми, сюда из Франции приезжают Горький и Мария Федоровна: как ни парадоксально, Буревестник также удирает из России в разгар московских событий: через несколько дней этой паре предстоит сесть на океанский лайнер и отбыть в Соединенные Штаты, где писатель-общественник будет «собирать средства» для русской революции, а бывшая примадонна МХТ — станет его секретаршей и переводчиком. Теперь же Горький остановился в том же «Монт-Флери», и гуляя по горным дорожкам, обедая в небольшой красивой столовой на белоснежных крахмальных скатертях, друзья успели переговорить о партиях в политике и в литературе, о Германии и Франции, запивая фондю дорогим белым вином, они подписали воззвание «К рабочим Швейцарии», призывая тех оказать материальную помощь бастующим рабочим России... Сидя на мягком диване в салоне отеля, Андреев прочел вслух «Савву», которого Горький не только расхвалил, но даже — что, впрочем, случалось с Буревестником частенько — восхитился, прослезился и забрал с собой рукопись пьесы о русском Антихристе, дабы «продавать театрам Америки». Как воды Женевского озера, их отношения были в ту пору спокойными и мирными... «Горький, кстати,

третьего дня уехал с Марией Федоровной в Америку. Пробыл здесь, в нашем пансионе, две недели и был мил, как только может быть мил, когда захочет»[1], — отчитался Андреев Вересаеву вскоре после отъезда друга. Впрочем, друг Горький запомнил эту встречу несколько иначе, впоследствии он писал, что ему «показалось, что он (Андреев. — *Н. С.*) несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш»[2]. Судя по письмам и воспоминаниям, не в восторге остался Максимушка и от «Саввы». Хотя... после разрыва с другом Леонидом тот на многое посмотрел иначе, его очерк об Андрееве полон язвительности, порою переходящей в ядовитый сарказм. Причины две: пришедшая вскоре к Андрееву невероятная слава — слава первого беллетриста и драматурга России и бунт Леонида против опеки «Большого Максима».

Конечно же одним из главных интересов Андреева за границей становится европейский театр. В глубине души понимая, что обе его первые пьесы грешат болтливостью и что, по меткому кугелевскому определению, сценам недостает действия, то есть «кризиса души и столкновения страстей»[3], наш начинающий драматург пытается сопоставить собственный опыт с немецкими образцами. Берлинский театр «нулевых» годов XX века был едва ли не более интересен, чем русский: работали там Макс Рейнхард и Отто Брам, именно в режиссуре последнего Андреев видел спектакль «Ткачи» по пьесе Герхарда Гауптмана в знаменитом «Лессинг-театре». «“Ткачи” хороши до того, что можно на сцену полезть... <...> Дивные актеры; художественное, тонкое, осмысленное исполнение, — делится он с лучшим другом, пьесы которого уже несколько лет идут в Берлине. — Kleines theater, судя по тому, как играют “На дне”, — плохо. Говорят; при Рейнгарте играли “Дно” лучше, но сейчас отвратительно <...> ...весь художественно-философский смысл пьесы — утрачен»[4]. Действительно, как раз в 1905 году один из ярчайших режиссеров и реформаторов немецкой сцены Макс Рейнхард перешел из Kleines theater в Deutsches theater, и вполне возможно, что поставленный им в начале 1903 года по горьковскому «На дне» знаменитый спектакль «Ночлежка» несколько выдохся и потерял первоначальных исполнителей...

---

[1] Вересаев.

[2] Горький.

[3] Кугель. С. 151.

[4] Переписка. С. 262.

Андреев и сам вынашивает честолюбивые планы воплощения собственных пьес на берлинских подмостках: «Мою пиесу Шольц кончает (речь идет о переводе «К звездам» на немецкий язык. — *Н. С.*). Kleines Theater уже заходил ко мне, но я уклоняюсь: очень хочется попасть в Lessing-T[heater], несомненно, здесь лучший!» Уверенности и оптимизма начинающему драматургу добавляет тот факт, что горячо им любимый МХТ вскоре должен приехать на гастроли в Берлин и вместе со знаменитыми спектаклями: «Царь Федор», «На дне», «Три сестры» — гастролеры планируют показать публике «К звездам» начинающего драматурга Леонида Андреева. Еще зимой он предоставил МХТ исключительное право на постановку «К звездам», но, увы, мечта увидеть собственное имя на афише МХТ рядом с Чеховым пока не осуществилась. Немирович-Данченко не успел «приготовить» к гастролям эту, запрещенную к постановке в России, пьесу. Интерес к драматургии Андреева активно проявляли и другие российские труппы и, кстати, петербургский театр В. Ф. Комиссаржевской, но... непреодолимый цензурный запрет привел к тому, что первая пьеса Андреева увидела свет рампы не на родине, а в Европе.

В октябре 1906 года в только что созданном Свободном народном театре Вены актер и режиссер Рихард Валлентин выпустил «К звездам», спектакль имел оглушительный успех у тамошней публики. Впрочем, о художественных достоинствах постановки известно немного, все российские рецензенты пересказывали отзывы немецких изданий, те же — наперебой твердили, что на премьере пьесы «искусство впервые встретилось с народом». «К звездам» — с неизменным аншлагом — выдержала 30 представлений, что по коммерческим меркам совсем неплохо. Конечно же венская демократическая публика с жадностью ловила слова рабочего Трейча в исполнении самого Рихарда Валлентина: «Надо идти вперед. Если встретится стена — ее надо разрушить. Если встретится гора — ее надо срыть. Если встретится пропасть — ее надо перелететь. Если нет крыльев — их надо сделать!» — и тут-то, задыхаясь от социального пафоса, переполненный зал всякий раз устраивал актеру овацию.

После венской премьеры Андреев снова полон радужных надежд относительно будущего своих драматических опусов: «“К звездам” в Вене имели огромный успех — даже удивительно. И приятно то, что ставились они в народном с[оциал]-демократическом театре, и публика — рабочие — лезла на сцену и вообще впала в раж. И все газеты очень похвалили, даже буржуазные... “К звездам” пойдет в Берлине и Гамбурге, а в

будущем пойдет "Савва" в Берлине и Вене»[1]. Эти радужные прогнозы сбылись не в полной мере, успех пьесы «К звездам» оказался кратковременным, но настолько ярким, что умиравший в 1908 году Рихард Валлентин просил вместо псалмов читать над его могилой монолог астронома Терновского.

Что ж... Если бы первой русской революции не было вовсе, ее, ей-богу, стоило бы придумать! Да и не соорудил ли ее, эту русскую революцию тот, кто, затаившись в углу, держал в руке горящую — и уже таким ярким пламенем — свечу? Если так, то Некто в сером постарался на славу: Андреев-драматург появился на свет в эпоху революционных потрясений и его первые — любопытные, но еще несовершенные опыты театрального письма стали громкими событиями именно в силу своей революционности. «Все связывали Леонида Андреева с "Мыслью", с "Василием Фивейским", — вспоминал Евгений Замятин, — но Леонид Андреев и революция... это был совсем новый андреевский лик...»[2] «Новый андреевский лик», как и цензурное запрещение его первых драм на родине сделали славу Андреева не просто грандиозной, публика стала относиться к писателю истерически-восторженно, в общественном мнении его фигура прочно связалась с тем, что Александр Рафаилович Кугель спустя годы с иронией назовет «профетизмом»: «Это значит, что надо сказать вещее слово ... необходимо сказать... Не просто сказать... а как-то особенно, так чтобы хор там какой-нибудь, как в древнегреческой трагедии, проскандировал:

— Смотрите, вот Леонид Андреев разомкнул уста и сейчас на небе будет затмение»[3].

Именно таким впервые увидел Андреева будущий автор романа «Мы» Евгений Замятин на митинге в Гельсингфорсе в начале июля 1906 года. Протестное собрание революционно настроенной интеллигенции, рабочих, матросов было назначено в связи с роспуском в России Первой Государственной думы. Именно в это время Андреевы нанимали дачу в шхерах под Гельсингфорсом, короче говоря, случилось так, что организаторам митинга в парке Кайсаниэмэ посчастливилось «заполучить» Андреева в качестве оратора. Выступал он сразу вслед за одним из депутатов разогнанной Думы. Стоявший

---

[1] Архив издательства «Знание».

[2] *Замятин Е. И.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 267.

[3] Кугель. С. 148.

рядом Замятин заметил, что «он сосредоточенно рассеян, покусывает усы и видимо волнуется. Потом он выступает:

— Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой — голова в короне приближается к плахе. Через день, через три дня, через неделю — капнет последняя и, громыхая, покатится по ступеням корона и за ней — голова...»

Такая, согласимся, несколько наивная и крайне искусственная речь ничуть не смутила слушателей: «Помню одно: тогда это казалось очень значительным, заражало. После каждых двух-трех фраз Андреев останавливался, переводчик, подражая в интонациях Андрееву, переводил его речь по-фински. И это торжественное, медленное, медленное чередование медленных слов напоминало пасхальную обедню: священник и дьякон читают Евангелие стих за стихом, один по-гречески, другой — по-славянски...

Кончил. Долгая овация. Жадной, тесной кучкой осадили его внизу, у эстрады»[1].

Маску «писателя-революционера», впрочем, пришлось немедленно снять: Андрееву совершенно не хотелось разделить судьбу своего героя Дмитрия Терновского: «Этот красногвардейский митинг, на к[отор]ом я действительно закатил сногсшибательную речь, сделал меня для местного населения притчей во языцех, и несомненно, что хозяева, напр[имер], нашей дачи, сгорали от желания предать меня в руки правосудия. И если я стал у финнов бельмом на глазу, то и во мне "прекрасная Финляндия" вызывала постоянную и энергичную тошноту...»[2] Увы, лето 1906 года и, как оказалось впоследствии, — последнее лето семейного счастья Леонида Николаевича с Шурочкой и Диди — вышло скомканным. Они решили провести его в Финляндии по нескольким причинам: во-первых, и Андреев, и уж тем более — его жена соскучились по родным, и во-вторых, Финская губерния Российской империи была, казалось бы, самым удобным местом для встречи. Нанятая огромная дача — *Villa Holm* — оказалась не очень-то удобной: от Гельсингфорса — два часа езды на катере до местечка Фрисанс, а оттуда до самого дома еще полчаса пешком. А родные так и не собрались — брат Андрей в Москве заболел дифтеритом, к счастью, вскоре поправившись, Шурочка же сама поехала в Москву — повидать мать, братьев и сестру, да и, кроме того, Андреевы решали вопрос, где провести следующий сезон: через несколько месяцев Александра Михайловна должна была произвести на свет «нового Андреева». Они подумывали

---

[1] *Замятин Е. И.* Избранные произведения. Т. 2. Цит. изд. С. 268.

[2] Архив издательства «Знание».

о возвращении в Москву, чтобы роды, как и в прошлый раз, принимала старшая сестра — Елизавета Доброва, однако выступление писателя на митинге в Гельсингфорсе существенно изменило планы. И более того, это выступление вынудило Андреева, бросив семейство, 23 июля бежать «на Запад».

Дело в том, что на острове Свеаборг, где находилась база Балтийского флота, произошло восстание матросов и части присоединившихся позже рабочих, решительно подавленное военными. Этот финский «Броненосец Потемкин» спровоцировал в Гельсингфорсе целый ряд арестов. Шурочка, да и все вокруг полагали, что Андреев «вовремя убрался» из Финляндии, где вполне вероятно угодил бы в тюрьму. Да и сам писатель беспокоился: «...неизвестно, посадили бы мою персону в узилище или нет, скорее даже не посадили бы, — но во всяком случае, держали бы ее в постоянном напряжении»[1]. Путешествуя по Швеции и Норвегии, беглец ожидал, пока беременная Шурочка и трехлетний Диди, собрав пожитки, морем доберутся до Стокгольма.

«Итак — мы в Берлине, — сообщает Андреев Пятницкому в начале октября. — Это совсем не хорошо, но, во всяком случае, неизмеримо лучше, чем в Гельсингфорсе. Первое — Шура, для которой удобнее здесь производить на свет нового Андреева, чем в милом, но бестолковом Гельсинки. И в случае каких-нибудь осложнений здесь скорее найдется надлежащая помощь врачей, и знаменитых здесь достаточно». Увы, злокозненная судьба очень скоро напомнит ему, что все человеческие расчеты — тщетны: немецкая медицина так и не смогла спасти Шурочку.

На этот раз Андреевы поселились в Грюневальде — название этому району Берлина дал огромный лесной массив, излюбленное место отдыха местных жителей во все времена. «Я не хочу бранить прекрасный город, который делает все, чтобы притвориться немного лесом, немного садом. Я видел внутри его огромный тенистый парк, в котором на озерцах плавают даже в лодках; и эти газоны, и эти бульвары, и цветники...» — в посвященном уже мертвой Александре Михайловне рассказе «Проклятие зверя», где в некой сновидческой форме отражаются блуждания Его и Ее в огромном — как сказали бы теперь — мегаполисе, роль грюневальдского леса огромна: именно там герой и его Возлюбленная объясняются друг другу в любви, а их подслушивает некий господин с тростью.

«Самый Грюневальд — очень хороший лес, занимающий огромную площадь в несколько десятков верст, с огромным

[1] Там же.

озером-рекою; на опушке весь лес покрыт, как снегом, бумажками от бутербродов, но в глубине тихо и пустынно и совсем хорошо. По воскресеньям и праздникам весь день берлинцы одним сплошным потоком приливают сюда — точно великое переселение народов, но в будни народу мало, а осенью и совсем убавится» — всегда придавая важность пространственному фактору, Андреев был особенно внимателен к жилищу, где Шурочка должна вскоре произвести на свет нового члена семейства: «...занимаем здесь очень хорошую, в 6 комнат, квартиру. Место опять-таки великолепное: вместо улиц — аллеи и вдоль их очень красивые виллы — особняки, летние дачи для берлинских богачей».

Несмотря на постоянные недомогания, общее состояние будущей роженицы ни у кого не вызывало особых тревог, положение плода врачи находили вполне обычным, после всех летних приключений и внезапных разлук Андреевы вдруг почувствовали желанный комфорт и покой: «Наша вилла — Villa Clara — принадлежит бургомистру, и мы занимаем его квартиру. Обстановка очень хорошая, богатая, чистая и красивая; садик — и стоит относительно недорого: 300 марок в месяц. Тут и посуда, и кухня, и все. С приращением семейства будет несколько тесновато, но ничего не поделаешь. Зато — тишина, безлюдье, воздух, будем сидеть точно на пустынном острову. И работать!»[1]

Работал же Андреев над пьесой, которая в будущем сделает его имя нарицательным, принесет славу первого драматурга России, будет зачитана до дыр, поставлена двумя лучшими режиссерами и, триумфально войдя в историю театра, будет забыта им на целых 100 лет, чтобы воскреснуть вновь уже в XXI веке. В 1907 году Андреев сделал на рукописи «Жизни человека» следующую надпись: «Эту рукопись я завещаю после моей смерти Вадиму. Эта последняя, над работой в которой принимала участие его мать. В Берлине, по ночам... когда ты спал, я будил, окончив работу, мать, читал ей, и вместе обсуждали. По ее настоянию и при ее непосредственной помощи я столько раз переделывал "Бал". Когда ночью, ей сонной я читал молитвы отца и матери, она так плакала, что мне стало больно...»[2] Пьеса была закончена как раз перед родами Шурочки, Андреев отправил ее экземпляры Немировичу-Данченко, Комиссаржевской, Горькому и Телешову, последнему — с просьбой прочесть на одной из московских «Сред»: «...вещь по форме новая, — опыт в некотором роде нового строительства пьесы.

[1] Архив издательства «Знание».
[2] Детство. С. 13.

Поэтому, я очень прошу тебя, сообщи, как отзовется “Среда”. Ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я еще сам иду ощупью, — наипаче. И прошу тебя особенно: да не узнают репортеры про “Жизнь человека”. Предупреди товарищей, чтобы никому не передавали содержания, а рукопись храни у себя и выдавай только под расписку»[1]. Так, отпустив свое новое детище в мир, Андреев совершенно погрузился в семейные заботы.

Второе «детище» не заставило себя ждать: мальчик весом девять фунтов или — по нынешним меркам — около трех с половиной килограммов родился под вечер 20 октября. Александра Михайловна родила на удивление быстро, внешний вид младенца, его голос и поведение необычайно радовали уже «опытного» отца. Описывая родным и друзьям «большие как у франта» ногти младенца, его не жалобный и пискливый, но сердитый и громкий плач, «понимающие» глаза, Андреев не мог скрыть гордости и ликования: «А младенец хороший. Заграничная, брат, работа, это не то, что где-нибудь в Чухломе, или Хамовниках. Как бы еще пошлину не заплатить при выезде»[2]. «Произведенный» и рожденный в Европе, Даниил Андреев всю свою не слишком длинную жизнь проведет именно в Хамовниках и Чухломе, если понимать эти географические зоны обобщенно, однако «заграничная работа» самым непосредственным образом скажется на его судьбе. А судьба — отчаянно похожая на Пандору, поджидала мальчика буквально от самого начала его удивительного жизненного пути: свой месячный день рождения он встретит уже сиротой.

Болезнь, отобравшая жену у Андреева и мать у Вадима и Даниила, была того самого свойства, что та, что едва не унесла жизнь Анны Карениной — родовая горячка или, как теперь принято говорить, послеродовой сепсис. В начале XX века медики уже имели представление об инфекционной природе этого заболевания, когда занесенные при родовспоможении микробы проникают в кровь, у больной развивается «гнилокровие», чаще всего приводящее к летальному исходу, но тем не менее только с открытием антибиотиков появились реальные методы эффективной борьбы. А в прежние времена все зависело от самого больного — женщинам лишь давали немного коньяка, чтобы поддержать силы, да клали на голову лед, чтобы облегчить жар; и вот — сильная и полнотелая Анна поборола недуг, субтильная и болезненная Шурочка — оказалась побеждена. Смерть ее не была внезапной: в течение двух недель на-

---

[1] Телешов.

[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 175.

дежда то теплилась, то исчезала совсем. «... на четвертый день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться — как снова жесткий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными впрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды в сущности нет и нужно быть готовым. А сегодня утром неожиданно хороший пульс и так весь день и снова надежда... Но к вечеру температура поднялась и начались сильные боли в боку, от которых она кричит»[1], — с каким-то холодным отчаянием описывал Андреев все стадии болезни жены. За эти дни Леонид Николаевич, вероятно, не один раз обдумывал абсурдность ситуации, в которой вдруг очутился. Буквально ту же сцену, героем которой теперь был он сам, молясь и тщетно взывая к Богу за дверью ее спальни, сцену, в полной мере выражающую «насмешку Неба над землей», он сочинил всего месяц назад и читал Александре Михайловне, и она плакала, слушая, и ему было больно и радостно от ее слез. Четвертая картина «Жизни человека» представляла несчастье главного героя: у Человека умирал сын и Человек — сначала молился, а затем проклинал того, кто прятался в углу, держа в руках свечу его жизни: «Только одно я понимаю, только одно могу я сказать, только одно: Боже, оставь жизнь моему сыну. Нет у меня других слов, все темно вокруг меня, все падает, я ничего не понимаю, и такой ужас у меня в душе, Господи, что только одно могу я сказать: Боже, оставь жизнь моему сыну!.. Быть может, когда-нибудь я оскорбил тебя, так ты прости меня, прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, а не просил, часто осуждал. Ты прости меня. А если хочешь, если такая твоя воля, накажи, — но только сына моего оставь». И глядя на Шурочку, и говоря с ней, он вдруг отыскал реплику Человека для финала пьесы: «Где мой оруженосец? Где мой меч? Где мой щит? Я обезоружен. Будь проклят». «И я помню, навсегда, — запишет Андреев, — ее глаза, как она на меня смотрела. И почему-то была бледна».

Теперь, когда он сам терял «верного оруженосца», сочиненные слова казались картонными, грубыми, неточными, ненаполненными живым человеческим отчаянием, но в том-то и сила придуманного слова, что его невозможно поверить повседневной реальностью, какой бы трагической она ни была. Трехлетний брак с Шурочкой, вероятно, представлялся вечностью — так много было пережито вместе, так органичны и просты были отношения с этой женщиной, те отношения, что еще недавно представляли для Андреева неразрешимую задачу. Тут нечего было придумывать, не с чем бороться, не с

[1] Переписка. С. 283.

чего рыдать и пить запоем, недаром Александра Михайловна не стала прототипом ни для одной из андреевских героинь. В том-то и штука, что она *не была* его героиней. Их переписка летом 1906 года также не дает ответа на вопрос, что же такое был их брак. Первый беллетрист России, обращаясь к жене, как будто переставал быть литератором, он, ничуть не стесняясь пошловатости сочетаний, называл Александру Михайловну то «птичка моя», то «цветочек мой» и даже — «милая моя девочка», он считал ее «единственным домом и единственной родиной», он признавался, что «дохнет от тоски», словно мальчишка-гимназист сообщал: «...я влюблен в тебя, Шурочка!» И в то же время он никогда не упоминал о своей любви к жене в письмах друзьям, лишь только: «Шурка кланяется», «здоровье Шуры нормальное», «Шура уехала нанимать дачу», «мы с Шурой решили». Но та атмосфера полного и безусловного согласия, тот юмор, что оба они проявляли, будто соревнуясь, тот интеллектуальный потенциал, что, вне сомнения, в полной мере открылся у Шурочки за годы их любви, то относительное спокойствие, что снизошло на Андреева со дня женитьбы — делали их брак не просто счастливым, это были годы ежедневной радости оттого, что они — вдвоем.

Шурочка понимала, что умирает, понимала она и то, чем ее смерть может обернуться для мужа. Она велела ему жить дальше, и даже больше: выражая предсмертную волю, она приказала ему жить и писать. И она очень хорошо знала, о чем говорит, знала своего мужа, который даже спустя полгода после ее ухода все еще решал для себя вопрос, «переживу я смерть Шуры или нет, — конечно, не в смысле самоубийства, а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без непоправимого ущерба для души»[1]. Беспокоило Шурочку и то, что с ее смертью исчезнет тот «винт», которого так не хватало Андрееву до свадьбы, она обдумала и этот вопрос, наказав своей матери через некоторое время передать Леониду ее последнюю волю: чтобы он женился опять, но оберегал их детей от возможных обид в новой семье. Сделав для него всё, что еще могла сделать, Шурочка умерла. Это случилось утром 15 ноября, когда в Грюневальде еще стояла золотая осень. Пробыв некоторое время у ее тела, Леонид Николаевич не проронил ни слова, так же молча он вышел из комнаты. И не поехал на похороны.

«У странных писателей часто бывают странные сыновья, у них обычно нет зоологически цепкого дара отца, но на мир они смотрят шире, умнее и терпимее, и обычно у них у всех

[1] Вересаев.

страшные судьбы, переломанные, как кухонная мебель в неблагополучной семье... И самое страшное — они выпадают из своего времени и своей судьбы»[1] — младенцу, которого увозила с собой в Москву безутешная, но, как всегда, деловитая и решительная мать Шурочки Ефросинья Варфоломеевна — суждено будет стать одной из самых интересных фигур в истории русского богоискательства. Даниил Андреев — как считают многие — проложил свой путь из метафизической тьмы, которую навел и среди которой блуждал его отец, — к свету. Сохраняется стойкий миф о том, что Даниил был проклят отцом как виновник смерти матери, эта версия конечно же не выдерживает критики и, более того, представляет Леонида Николаевича человеком недалеким. Доподлинно известно, что в смерти Шуры винил он немецких врачей, но, как мы знаем теперь, винил-то совершенно напрасно. Прямым виновником смерти была судьба: причудливая, изобретательно жестокая, беспощадная. Жесткий характер андреевской судьбы с лихвой унаследовал и Даниил — верный сын своего отца.

Бусенька увезла Даниила в Москву, куда отправили и тело Шурочки, вдовец пожелал, чтобы ее схоронили на Новодевичьем, рядом с могилой его сестры — Зинаиды. Ефросинья Варфоломеевна никогда уже не отдаст ребенка отцу, а новым отцом Даниилу станет уже знакомый нам доктор Добров, матерью — его жена, сестра Шурочки и когда-то — возлюбленная Андреева — Елизавета Михайловна. Судьба Даниила — лакомый предмет для биографа: тут есть и ранняя попытка самоубийства: впечатлительный малыш рос в православной, воцерковленной семье и ему говорили, что его мама на небесах. И вот однажды шестилетний Даня тяжело заболел дифтеритом, от него болезнь перешла ухаживающей за ребенком Бусеньке и та умерла. Мальчику сказали, что его бабушка соединилась на небесах с его мамой. Обдумав ситуацию, маленький Даня решил утопиться, чтобы встретиться с мамой и бабушкой, его случайно спасли в тот момент, когда он уже был готов прыгнуть в речку с моста.

Да, с детских лет,
С младенческого горя
У берегов балтийских бледных вод
Я понял смерть, как дальний зов за море,
Как белый-белый дальний пароход...[2]

Очень рано мальчик начал писать стихи, потом и прозу. После октябрьского переворота Добровы, увы, остались в

[1] *Смирнов А.* Вокруг «Розы мира» // Зеркало. 2007. № 29—30. С. 36.
[2] Стихотворение Даниила Андреева.

Москве, юность Даниила пришлась на советские годы, однако новые времена не только не поколебали веры мальчика в Бога, но и закалили юношу, он тесно общался с прячущимися в катакомбах православными сектантами и сам был членом одного из братств — Непоминающей антисергианской церкви.

Ранняя юность, пятнадцать лет,
Лето московское, тишь, прохлада,
В душу стремится нездешний свет
Первопрестольного града...

Бросив Высшие литературные курсы, Даниил Андреев навсегда отказался от всякой репрезентативности; занимая скромную должность художника-шрифтовика, он превратился в «катакомбного человека»: работал над антисоветским по содержанию романом «Странники ночи», где размышлял над судьбами своего поколения в бурные для России годы. Даниил и вправду был очень странным, он как будто оказался невидим для эпохи, в которой жил, и она — эпоха — так и не смогла оставить на нем ни малейшего отпечатка. Дважды был женат, и оба брака казались современникам и потомкам чрезвычайно загадочными, в годы войны его призвали на самый страшный — Ленинградский фронт, где в похоронной бригаде он читал упокойные псалмы над телами убитых коммунистов... Неоднократно он чудом избегал смерти, в том числе и в тот раз, когда будучи арестован в 1947 году по обвинению в создании антисоветской группы и подготовке покушения на Сталина, он не был расстрелян, поскольку приговор ему выносился в тот коротенький промежуток, когда в СССР отменили смертную казнь.

Ты осужден. Молчи.
Неумолимый рок
Тебя не первого втолкнул
в сырой острог.
Дверь замурована.
Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу —
не ввысь, но вглубь тюрьмы.

Ускользнув «вглубь тюрьмы», он создает «Розу мира» — главное произведение своей жизни, где, фиксируя свое понимание мироустройства и свой мистический опыт и делая христианству «прививку» буддизма, строит многослойную Вселенную и вычерчивает в ней путь для русской души. Эта эпопея стала культурным событием в России лишь в конце XX века, споры вокруг «Розы мира» не стихли и по сей день: одни видят

в Данииле Андрееве нового христианского пророка, другие сравнивают его взгляды с идеями Альфреда Розенберга. Надо признать, что в сегодняшней России слава Андреева-сына превосходит известность Андреева-отца. Что ж... От отца он унаследовал вкус к вопросам «вечности и бесконечности», правда, в отличие от Леонида Николаевича Даниил Леонидович от рождения до смерти был глубоко верующим человеком. Его мистический опыт, его православие, его погруженность в метафизические вопросы привлекают к нему не только умы, но и души людей. Говорят, что Даниил всерьез полагал себя новым мессией и считал, что у него есть ответы на все вопросы. Прожив после освобождения всего два года, он успел завершить «Розу мира» и восстановить множество сгинувших в пасти КГБ произведений. К сожалению, «Странники ночи» оказались потеряны безвозвратно. В 1959 году тяжелобольной Даниил умер в Москве. Прожил он всего лишь на шесть лет больше, чем его отец. А умер как пророк — не оставив прямых потомков.

Глава седьмая. Конец 1906 — начало 1907:

ВДОВЕЦ

Отъезд на Капри. Снова Надежда. Между жизнью и мраком. Андреев и Вересаев. Запои и скандалы. «Иуда Искариот» — как бегство от пустоты. Возвращение в Россию. «Жизнь человека» как зеркало обновления. Спектакль Театра на Офицерской. Слава. Андреев и Мейерхольд

Судьба человека, как и судьбы народов, не имеет сослагательного наклонения. И мы не станем гадать, как бы сложилась жизнь Леонида Андреева, если бы Шурочка победила недуг. Через год с небольшим — в 1908-м — на свет появится посвященный покойной жене рассказ «Проклятие зверя», текст этот содержит множество очевидных отсылок к месту их последнего пристанища в Грюневальде, безусловно, есть в нем и прямые отголоски обрывочных мыслей и чувств писателя в ту грустную пору, когда он платил неустойку за берлинскую квартиру, где в это время паковались вещи и осиротевший, брошенный на гувернантку Диди тщетно стоял у окна, пытаясь угадать в проходящих по аллее фигурах отца или мать...

«Проклятие зверя» — бессюжетный и по интонации — более набоковский, чем андреевский рассказ об огромном городе, посредине которого стоит огромный зоопарк, в центре которого некий зверь, что «стар, он очень болен и скоро должен умереть», «...стоит в своей грязной лоханке... и проклинает проклятием зверя и город этот, и людей, и землю, и небо». Вероятно, в первые дни своего горя Андреев отчасти и был этим зверем: «одинокий... он не искал понимания; он проклинал века и пространства, бросал свой голос в их чудовищную, безумную пустоту». В том же рассказе мелькает образ женщины, что не любит города и живет на его краю посреди леса, а муж — проводит время на раскаленных улицах центра и все же стремится к ней, но как во сне, образы хищного города-оборотня преграждают путь... Самым слабым звеном в этом, непонятом

современниками, отчаянно грустном и проникнутом подлинной тревогой тексте является попытка конкретизировать свои чувства к ускользающей возлюбленной: «Возлюбленная моя! Ограждающая от зла и смерти! Творящая добро и жизнь! Возлюбленная моя! Люди видят тебя как женщину, а ты — великая и светлая тайна, священный престол, у которого надо молиться. Если бы я умирал, ты сказала бы: твоя могила темна и сыра, боюсь, что там будет плохо тебе, — пошла бы за мною. Если бы умирала ты, и я бы сказал: не умирай, ты не знаешь, как мне будет плохо без тебя, — ты преодолела бы смерть и жить осталась бы ты. Если бы я сказал... Кто ты, светлая тайна?» Возможно, именно такой выхолощенный романтизм раздражал и Горького, считавшего, что «"Проклятие зверя" — вещь избитая, написана плохо, о ней не стоит говорить»[1]. Увы, отношения с Шурочкой, ее образ, их взаимное счастье не хотели ложиться на бумагу, так никогда Леониду Николаевичу и не удастся рассказать людям об этой любви.

Горький — еще до болезни и смерти Шурочки — настойчиво звал Андреевых на остров Капри, где сам, вернувшись из Соединенных Штатов, поселился с Марией Федоровной. Теперь же друг стократно увеличил энергию, поскольку собирался в лечебных целях «усадить Леонида за работу». В начале декабря Андреевы — отец и сын, сопровождаемые братом Павлом и гувернанткой, — собрались в путь.

Капри — этот маленький остров Неаполитанского залива — чрезвычайно полюбился Максимушке: «Капри — кусочек крошечный, но вкусный. <...> Народ жулик, но милый, грязен, но красив, любит деньги, но как ребенок. <...> Здесь сразу, в один день, столько видишь красивого, что пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Все смотришь и улыбаешься»[2]. Андрееву остров этот понравился значительно меньше. «Живу я тут... вообще нужно же где-нибудь жить — как-нибудь жить... С наслаждением уехал бы в Россию, — писал он в конце декабря Чирикову, — да не советуют, говорят, могут посадить. <...> Печки тут дрянные, и в комнатах всегда холодно. А как поднимается ветер, так чистая беда. Сегодня второй уже день шторм, слышно, как рычит море, а кругом свист, шорохи, скрипят половицы, стукают рамы и лязгают железные болты. <...> Вилла у меня большая — и пустая, как пусты и безглазы все дни мои»[3].

Маленький островок на юге Италии — вулканического происхождения, крутые, небезопасные и очень узкие петляющие дороги ведут к вершине, в скалы встроены деревушки и

---

[1] Переписка. С. 427.

[2] Там же. С. 279.

[3] Цит. по: Исследования и материалы. С. 45.

поселения, жизненное пространство — небольшое. Андреевы наняли виллу — большую и мрачную, к окнам веранды вплотную подступали пальмы и кипарисы, так что внутри — даже при ярком солнце — было темно. «Случилось так, — вспоминал Горький, — что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую»[1].

Вскоре пришла весна, и уставшего от постоянного напряжения рядом с тоскующим братом Павла сменила Анастасия Николаевна, вновь — ради своего Коточки — преодолевшая несколько границ. На этот раз предусмотрительный Андреев встретил мать в Берлине и привез в Италию. Анастасия Николаевна, как смогла, наладила их быт: заваривала ему коричнево-черный чай, не спала по ночам, прислушиваясь к шагам Ленуши, всегда готовая поговорить, услужить, покормить, а ее вечный спутник-самовар кипел круглосуточно.

Горький «передал» Андрееву своего «управляющего хозяйством». «Существовал на Капри такой на все руки благодетель, вездесущий синьор Моргано, владелец местного кафе "Zum Kater Hidigeigei". Он взял на себя полную заботу об Андрееве: поставлял для него провизию, вино, прислугу, сам заказывал ей обеды и ужины, заведовал стиркою белья, — словом, совершенно освободил Андреева от всяких хозяйственных забот, — вспоминал посетивший Андреева в марте 1907 года Викентий Вересаев. — Андреев серьезнейшим образом был убежден, что все это почтенный синьор делает из любви к русской литературе. И правда, с русскими писателями синьор Моргано был очень приветлив, при встречах далеко откидывал в сторону руку со шляпой и восклицал, приятно улыбаясь:

— Тарой самотершаве (долой самодержавие)!

Но за свои заботы об Андрееве он брал с него тысячу рублей в месяц на наши деньги. Как тут не полюбить русскую литературу!»[2]

Но — несмотря на все усилия матери и синьора Моргано — жилось Леониду Николаевичу трудно. «Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже и внешне казался измятым,

---

[1] Горький.

[2] Вересаев.

раздавленным» — таким впервые увидел вдовца друг Максимушка. Андреев перестал интересоваться старшим сыном, не мог сеть за работу, его душа нуждалась в серьезной терапии, но — как ни парадоксально — ни Горький, ни Мария Федоровна не захотели выполнить роль врача. Спустя шесть лет Леонид со все еще неостывшей обидой писал Горькому: «Это факт: живя с тобою рядом, я ждал приезда Вересаева, чтобы с ним посоветоваться, кончать мне с собою или нет»[1]. Но тогда — еще не понимая, что ближайший друг и крестник обоих его сыновей не способен, да и не горит желанием «врачевать» его душу, Андреев с тревогой размышлял, что «Горький очень милый, и любит меня, и я очень люблю — но от жизни, простой жизни с ее болями он так же далек, как картинная галерея какая-нибудь». И далее признавался Евгению Чирикову: «Между нами — не по душе мне М<ария> Ф<едоровна>. Конечно, человек она с достоинствами, но не верю я ей, вот беда моя. Ничему не верю. И все она среди декораций ходит. Любезности — хоть отбавляй, — а настоящего, человеческого, не ищи. И неуютно у них. Придешь иной раз вечером — и вдруг назад в пустую виллу потянет»[2]. На его счастье, на Капри приехала первая жена Горького — давняя знакомая Леонида Николаевича — Екатерина Павловна Пешкова. Именно ей поведал писатель печальную повесть болезни и смерти Шурочки. Ей — свидетельнице их с Шурой свадебного путешествия — жаловался он на постоянную бессонницу и мигрени. Впрочем, его болезненное, лихорадочное состояние вполне объяснимо. «Стаканами пил он очень крепкий чай, потом опять ходил по комнате, порою подходил к буфету, доставал фиаско (бутыль. — *Н. С.*) местного вина, наливал в бокал и залпом выпивал, — вспоминала Пешкова. — И снова молча ходил по комнате». Екатерине Павловне рассказал Андреев и о том, что частенько видит призрак Шурочки: «Вот сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями... И точно растаяла...»[3]

Увы, юношеский недуг — запойное пьянство — вернулся к Андрееву, его буйные выходки бесили Горького и его новую жену, ужасали мать и беспокоили Викентия Вересаева. Леонид умолял будущего автора «Пушкина в жизни» приехать на Капри: «Отдохнуть тут можно всячески — и лежа на камушке у моря и шатаясь по Риму, Флоренции и пр. — все близко. Вам бы я рад был бесконечно, и тут Вы увидели бы, что по-прежнему,

---

[1] Переписка. С. 324.

[2] Материалы и исследования. С. 45.

[3] Переписка. С. 565.

крепко и хорошо люблю я Вас. Моей мрачности не бойтесь. Я хороню ее в душе глубоко, а в жизни — все такой же, пожалуй, как и был. Разве немного, немного хуже. И с Вами мы предприняли бы ряд всевозможных экскурсий — по морю и по суше. Устроиться здесь можно недорого»[1].

Викентий Викентьевич приехал и действительно нашел, что Андреев изменился к худшему: «...сильно пополнел и обрюзг. Лицо стало мясистое. Бросилось в глаза, какое у него длинное туловище и короткие ноги». Неприятно поразило друга и то, как внимательно Андреев относился теперь к своей славе: «На полке книжного шкафа увидел я у него три толстеннейших тома. Это были альбомы с тщательно наклеенными газетными и журнальными вырезками отзывов о Леониде Андрееве. Так было странно глядеть на эти альбомы!»[2]

Вересаев не знал или предпочел умолчать, что именно Шурочка во все годы их счастливого брака с Андреевым трогательно вырезала, а потом наклеивала в альбомы всё, что появлялось о муже в журналах и газетах. Однако очень скоро — чуткий к настроению друга — он сообразил, что слава — единственное, за что мог ухватиться Андреев в то время, когда земля ускользала из-под ног: «Вскоре мне выяснилось его душевное состояние: оно было ужасно. Смерть Александры Михайловны как будто вынула из его души какой-то очень нужный винтик, без которого все в душе пришло в расстройство. Исчезла вера в себя и в свои силы, он жадно хватался за всякое одобрение и всякую весть об успехе его произведений». Постепенно Леонид Николаевич приоткрыл другу развернувшуюся перед ним бездну: «Была поздняя ночь. Взлохмаченный, он сидел за столом, пил вино стакан за стаканом и говорил:

— Я не знаю, как жить, смогу ли я жить. Третьего дня ночью я был на краю самоубийства. Но я не убью себя так, под влиянием минуты, — потому что сейчас скверно, потому что револьверишко под рукой. Это может быть результатом только твердого, трезвого решения... Я третьего дня в первый раз прочел дневник Шуры. Я не подозревал, какой это был большой, огромный человек, — тут я только узнал... Что со мной делается? С ума я схожу? Я этого не могу принять, не могу понять: как можно любить мертвую? А я ее люблю, продолжаю любить. Сижу вот за письменным столом, разговариваю с вами, случайно взгляну на ее портрет, — смотрит живое, слушающее лицо. Она смотрит, она мне что-то сказала своими глазами. Когда я говорю, — ее нет, а только что замолчал, и она во мне.

---

[1] Вересаев.

[2] Там же.

Она везде со мною, в моих мыслях, в моих снах, поразительно живая, я с нею разговариваю, она мне возражает...»[1]

Существует верное доказательство того, что подобные речи — отнюдь не рисовка, не пустые слова. Дело в том, что его любовь к Шурочке здесь, на Капри, действительно была подвергнута серьезному испытанию. Еще в декабре через брата Павла Андреев связался со своей прежней любовью Надеждой Антоновой-Фохт и попросил ее приехать на остров. Та, как мы помним, когда-то нанесла сердцу Леонида серьезную рану — ее первое замужество в 1899 году — бросило его в лапы беспросветного пьянства, наш герой тогда отчаянно метался между безнадежной страстью к Наде и любовью к Шурочке. В прошедшие с тех пор пять лет молодая женщина успела разочароваться в муже — А. Н. Фохте, который, сменив официальный сюртук чиновника на разноцветный камзол и широкие штаны с бантами, — стал драматическим актером. Вероятно, поэтому она более чем благосклонно встретила ухаживания Андреева — в ту пору уже не нищего студента, не начинающего помощника присяжного поверенного, а одного из самых известных людей России.

В последней тетради андреевского дневника за 1897—1901 годы его рукой сделана приписка-эпилог, заканчивающая линии главных героев этого манускрипта. Запись на этой странице датирована 9 октября 1907 года. Говорится там о женитьбе на Шурочке, о детях, о смерти жены. Второй абзац относится к Надежде: «В начале марта 1907 года на о. Капри приехала ко мне Надежда Александровна Фохт. Отдалась мне. Думали пожениться, но оказалось, что я ее не люблю, люблю только Шурочку»[2]. Каким образом протекал его двухнедельный роман с женщиной, любовь которой казалась ему когда-то вершиной всех земных и небесных благ, неизвестно. Зная увлекающуюся натуру Андреева, можно предположить, что протекал он весьма страстно и решение о женитьбе было принято молниеносно, а сомнения появились уже после отъезда Нади. В апреле Леонид Николаевич еще полон решимости соединить с нею свою жизнь, он планирует свадьбу осенью или зимой 1907 года, он просит брата Павла встретиться с Надеждой Александровной, передает ей деньги и советуется о выборе дачи на лето, которое намерен провести в Финляндии. Тогда же он заказывает знакомому финскому скульптору Галену, который незадолго до этого вылепил бюст Горького, — памятник Шурочке. Горький, кстати, не преминул съязвить на сей счет, сообщая

---

[1] Вересаев.

[2] Дневник. С. 218.

Буренину, что Андреев намерен жениться снова и как бы Галену не пришлось лепить второй памятник.

Однако, как мы уже видели, сватовство это не дает Андрееву душевного покоя, не отменяет ночных кошмаров, не делает его ни на йоту счастливее или увереннее в себе. Почва под его ногами не становится тверже, наоборот, мысли о новой женитьбе начинают страшить его своею определенностью. В результате в начале мая, перед самым отъездом из Италии, Леонид Николаевич пишет брату: «...после многих треволнений, сомнений и колебаний выяснилось для меня, что для меня она человек неподходящий, хотя и хороший вообще. Как ни трудно, но решил вопрос этот прямо, и в настоящее время она уже знает о моем настроении»[1]. Бедная Надя! «Опаздывают все признания и поцелуи, всегда слишком ранние для одного и слишком поздние для другого, лгут все часы и встречи и, как хоровод пьяных призраков, одни бегут по кругу, другие догоняют, хватая воздух протянутыми руками», — напишет Андреев в одном из своих последних рассказов — «Два письма». И тут же изложит собственную версию мимолетного романа на Капри: «А она — она тем временем полюбила меня. Это ничего, что между нами было две тысячи верст расстояния, и что возле нее вертелся какой-то второй не то третий муж — она полюбила меня, как немного подержанная Маргарита не совсем свежего Фауста. Я не вхож в кабинет черта и не знаю его планов; и я решительно не могу вам объяснить, какой смысл был в его затее: вероятно, обыкновенное желание напакостничать — не больше. Но она нашла меня и приехала скорым поездом, — она очень торопилась! — и две недели под превосходным небом Италии совершалась одна из нелепейших комедий, какие только может создать человеческий гений. Простите эту глупую женщину... она столько плакала и страдала».

Итак, Шурочка еще не отпускала Андреева, но в то же время он совершенно не мог стойко и терпеливо переносить одиночество и траур, напротив, как утверждал Вересаев, он твердо решил выполнить ее последнюю волю: «Уже тут, на Капри, стала в нем настойчиво назревать мысль, что необходимо ему опять жениться. И он строил на этот счет совершенно конкретные проекты самого фантастического свойства. Впечатление от него было такое: душа металась и тосковала, замерзала в жутком одиночестве, и ему казалось: найти любящую женскую душу — и все в нем выпрямится, и все будет хорошо»[2]. Так почему же прежняя любовь не дала ему этого шанса? Рискну предполо-

---

[1] «Жизнь...». С. 183.

[2] Вересаев.

жить, что Наденька, во-первых, никогда не была особенно интересным человеком. В прошлом она не представляла, чем же заняты душа и ум столь страстно влюбленного в нее Андреева, не особенно интересовали ее и его первые литературные опыты. Уже замужней дамой, видя стремительно растущую славу Леонида Николаевича, Надежда конечно же прочла его книги, что, вероятно, и спровоцировало в ней стремление к другой, более интересной и возвышенной жизни. В дальнейшем эти «искания» приведут ее на сцену, и Андреев станет заботливо протежировать новоиспеченную актрису: Леонид Николаевич не только устроит ее в театр Корша, но и напишет «Младость», где Надежде Александровне будет предназначена роль героини. Однако ни Коонен, ни уж тем более Комиссаржевской из Наденьки так и не получилось, ее успехи на подмостках оказались весьма скромными.

Но самое важное — эта женщина не имела личной «жизненной силы»: когда-то целиком и полностью завися от властной матери, она и теперь искала в мужчине поддержки — не только материальной, бытовой, но и моральной, в письме брату Леонид называет Надю «измученным человеком». Ей, как и Андрееву, не хватало стержня, как сказали бы сегодня: это была женщина «с комплексами», вот это-то, я думаю, стало решающим в отказе Андреева соединить с ней свою жизнь. Как мы знаем, Леонид Николаевич сам был человеком, отчаянно нуждавшимся в сильной и здоровой душе поблизости, в женщине, способной утихомиривать его душевные бури. Такую женщину ему еще предстояло найти, и — будучи человеком умным и весьма чутким к психологии, он, осмыслив их двухнедельный роман, понял, что Надежда Александровна никогда не станет для него хорошей женой. В дальнейшем их отношения ограничивались редкими письмами и — еще более редкими свиданиями. Судя по дневниковым записям писателя, влюбленной Надежде Александровне все же удавалось — хотя бы раз в год — добиться свидания с уже равнодушным к ней Леонидом Андреевым. Любопытную интерпретацию такой перипетии дала Анастасия Николаевна: «Была у него прежняя любовь, еще до Шурочки, которая тогда отвергла его, что ли, и вышла за другого. Ну, а теперь разошлась с мужем, приезжала к нам. Так что ж? Ничего не вышло! Не такой уж она стала, какой ему прежде казалась. Так и уехала ни с чем»[1].

Но — оставшись на Капри в одиночестве, Леонид Николаевич отчаянно куролесил: временами пил, и пока был пьян — он норовил всякого знакомого превратить в собутыльника, и в

[1] Телешов.

обществе двух-трех товарищей с «упрямыми, невидящими глазами Андреев карабкался через камни, перебирался через водомоины и шагал по тропинкам неверными, чрезмерно-твердыми шагами». Беда в том, что пьяный Андреев не мог оставаться один, и частенько его знакомым приходилось буквально прятаться от его чрезмерной общительности. «Л. Н. Андреев нет-нет да и запивает. Тяжело с ним очень...» — жаловалась жена Горького.

Но отнюдь не всё было так мрачно. Первые признаки выздоровления у Андреева появились еще зимой 1907 года. «Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, — вспоминал Горький, — он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело — как он давно уже не говорил — он начал рассказывать о планах своих работ»[1]. Парадокс, но первый текст, вышедший из-под его пера после смерти Шурочки, — рассказ, первоначально названный автором «Иуда Искариот и другие», — едва ли не самое известное из всего, что создал Андреев. Через несколько лет он признался старшему сыну, что писал первые 40 страниц «Иуды...», не понимая, что он пишет, «...не слыша ни слова. Образ твоей матери неотступно стоял передо мной. Эти первые сорок страниц я выбросил и только потом смог писать»[2].

Как и в случае с «Елеазаром», вдохновившись чужим произведением — в данном случае это было стихотворение об Иуде Искариотском поэта-символиста и одновременно (!) автора текста к песенке «Над полями да над чистыми» Александра Рославлева, — Андреев, по собственному признанию, в три дня написал «нечто по психологии, этике и практике предательства». Прочтя рассказ Горькому, Марии Федоровне и Пятницкому, он еще немного поработал над «Иудой...». «Иуда Искариот», пожалуй, последнее произведение, которое «друг Леонид» активно обсуждал с «другом Максимушкой», последний андреевский текст, безоговорочно одобренный Горьким. Но и по поводу «Иуды...» Алексей Максимович все же не преминул заметить, что «...рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа “Иуда” у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие»[3].

---

[1] Горький.

[2] Детство. С. 20.

[3] Горький.

Читал ли Андреев четыре канонических текста Нового Завета или не читал, остается загадкой, лично я думаю, что все-таки прочел. Но то, что создал он свой собственный апокриф, который надолго задержался в сознании соотечественников, — сомнений не вызывает. И вероятно, многие сегодняшние школьники впервые знакомятся с фигурами Христа, апостола Петра и, конечно, Иуды Искариота, предателя, читая именно этот андреевский текст. Здесь Леонид Николаевич наконец-то вступил в личный диалог со Спасителем, предъявив Сыну Человеческому ряд претензий. И более того, он поставил Иуду, «человека очень дурной славы», на столь же высокий пьедестал, что и Иисуса. Это видно даже по значимому сравнению: «Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус...»

Рассказ этот странного свойства — не обладая ни пространственной, ни временной, ни вообще никакой бытовой конкретикой, текст позволяет воображению читателя наполнить слова смыслом и плотью, в зависимости от его воображения и познаний. Конкретны лишь люди; Иуда: «Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв». Яркости Иуды: «голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха, и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы» противопоставлена бледность Иисуса: «Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра...» Правда Христа — в спокойном уверенном молчании и ясной улыбке, правда Иуды — в яростной жажде все подвергать сомнению, провоцировать, сеять разлад.

Иннокентий Анненский находил, что «...вся трагедия Иуды заключена, как в зерне, в его *безобразии*. А рядом с этим красоту, пускай всепокоряющую и единственную, видит Леонид Андреев там, где столько вер и вдохновений упивалось и упивается безмерностью добра и правды»[1].

Сюжет рассказа построен так: уродливый телом и душой Иуда бросает вызов за вызовом прекрасному Иисусу и его ученикам, а Учитель из Назарета, как мячики, отбивает все атаки

---

[1] *Анненский И. Ф.* Иуда, новый символ // Книга отражений. М.: Наука, 1979. http://annensky.lib.ru/otr/otr2-5.htm. Дата обращения 30.10.2011.

Иуды. Обо всех человекоподобных, включая отца и мать, говорит Иуда дурное: «А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов, про которого вы говорите?» Иуда злословит и лжет, Иисус только улыбается в ответ и поручает Иуде денежный ящик, Иуда крадет динарии, на что Иисус разрешает ему брать денег, сколько захочет. Все попытки Иуды спровоцировать Иисуса на обиду или гнев оканчиваются крахом. Но крахом заканчиваются и все попытки Иуды пробиться к душе Иисуса и стать любимым учеником: «Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? <...> Петр бросал камни — я гору бы повернул для него! <...> Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда».

Правда Иуды — борьба за то, что любишь. Правда Иисуса — смирение и любовь к врагам. Несколько раз, приходя в отчаяние, Иуда восклицает: «А что, если камни у него под ногами, а у меня под ногою — песок только? Тогда что?» Само предательство суть не что иное, как попытка доказать, что мир не таков, каким его представляет Иисус.

Интересно, что, решив предать Иисуса в руки первосвященника, Иуда долго торгуется, буквально оскорбленный тем, что за Иисуса предлагают всего лишь 30 сребреников: «А то, что он красив и молод, — как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А? <...> Тридцать сребреников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром?» — вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов. И далее, уже предав, он мучается, поскольку мысль о собственной правоте оказывается в противоречии с той любовью, которую он испытывает к Иисусу. Иуда хочет расстроить собственные планы: то отговаривая Иисуса идти в Иерусалим, то предлагая ученикам опоясать себя мечами и защищать Учителя до последней капли крови. И когда этого не случилось, Иуда прошел с Иисусом Назареем весь крестный путь, а спустя сутки повесился со словами: «Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус». В финале рассказа Андреев еще раз подчеркивает равенство обеих фигур: «Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей

и Иуда из Кариота, Предатель». Спустя несколько лет Андреев напишет картину: двойной портрет, где Иисус и Иуда связаны общим терновым венцом. Это полотно на протяжении многих лет будет висеть в новом доме Андреева как символ души писателя, его хорошо запомнят все обитатели виллы.

Как всегда, после выхода «Иуды Искариота» в свет, разразился скандал. Критику возмущал не столько сюжет — в начале века к евангельским темам и персонажам беллетристы и поэты обращались частенько — сколько желание автора обвинить в предательстве Христа не только Иуду, но и апостолов и даже народ. Негодование вызывало и то, что мотивы Иудиного предательства были благородны, и своим самоубийством андреевский протагонист оказывался-таки к Христу ближе всех учеников, если брать за основу учения христианскую любовь.

Но та современная Андрееву критика, что читаема и по сей день, сразу почуяла в «Иуде...» не только художественный, но и созвучный эпохе шедевр: поэт и критик Иннокентий Анненский писал, что этот рассказ построен на странных и, казалось бы, необъяснимых контрастах: «Эта грязная волосатая нагота, эти мокрые поцелуи и липкие объятия, эта серая груда тела, из которой в тревожных сумерках вдруг высунутся и... все эти *животности*, часто не только не оскорбительные, но даже не приметные для нашего тупого или рассеянного восприятия, накопляясь в нежной душе художника, создали там муку, безобразие и неразрешимость Иуды, т. е. *нашу* муку, *наше* безобразие и *нашу* неразрешимость»[1].

Итак, вновь взявшись за перо, Андреев уже не выпустил его из рук. По свидетельству Горького, «на Капри он затеял пьесу “Черные маски”, написал злую юмореску “Любовь к ближнему”, рассказ “Тьма”, создал план “Сашки Жегулева”, сделал наброски пьесы “Океан” и написал несколько глав — две или три — повести “Мои записки”, — все это в течение полугода»[2]. В это же время в России и в Германии переиздавались его рассказы, премьеру «Жизни человека» сыграли в театре Комиссаржевской, открытки с его фотографиями продавались в киосках по всей России, поклонники и поклонницы изводили Андреева письмами.

Непредсказуемость жизненных зигзагов Андреева неизменно изумляла не только друзей и близких, но и его самого. «Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о

---

[1] *Анненский И. Ф.* Иуда, новый символ // Книга отражений. М.: Наука, 1979, http://annensky. lib.ru/otr/otr2-5htm. Дата обращения 30.10.2011.

[2] Горький.

том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России...»[1]

Действительно, весной 1907 года тоска по родине нет-нет да и прорывается в письмах: «На лето еду, брат, в Финляндию, все в ту же трижды проклятую Финляндию — жалкий компромисс — между Россией, которой хочется нестерпимо, и заграницей, которая надоела до смерти»[2]. Впрочем, еще в марте Андреев подумывает о переезде в Норвегию — на фьорды, летом прошлого года эта страна чрезвычайно заинтересовала его. Но... так или иначе — чем ближе к лету, тем чаще Леонид Николаевич сетует на собственное житье-бытье «под вечно-голубым» итальянским небом: «...здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие... Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают... Итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни По»[3].

В конце апреля Горький уехал в Лондон на съезд РСДРП, а вернувшись на остров — уже не застал там Андреева. «...Андреев напился и наскандалил здесь на всю Италию, черт его дери! — досадливо, едва ли не опускаясь до сплетни, трактует он отъезд друга в письме их общему издателю Ладыжникову. — Оттого он и сбежал столь скоропалительно. Кого-то столкнул в воду, и вообще — поддержал честь культурного человека и русского писателя. Ах, дьяволы...»[4]

Но — согласимся — едва ли пьяное буйство Андреева кого-нибудь удивило и вряд ли такого рода скандал заставил его поспешно удрать из Италии. События — как это обыкновенно бывало у Леонида Николаевича — накапливались медленно, а происходили молниеносно. Потребность обновления зрела уже давно, зрела — мучительно, неосознанно, неотвратимо. Поступки, а уж тем более разговоры, ночные бдения, пьянство, скандалы — фиксировали слабые отголоски, толчки мощных глубинных взрывов.

Тоска по Шуре никуда не ушла, но полугодовой траур если не примирил его с тем, что жены уже нет, то все же вернул способность ощущать себя не только вдовцом, но и великим русским талантом, деятелем, мужчиной, отцом, строителем. Он вновь почувствовал вкус к жизни, его тянуло к иным ролям,

---

[1] Там же.

[2] Исследования и материалы. С. 52.

[3] Горький.

[4] Переписка. С. 433.

тем, что предстояло сыграть ему на сцене российской действительности при полных аншлагах, при взвинченном экстазе публики, восторженно-негодующем вое газет, в свете софитов, в шуме балтийского ветра, в огромных черных пространствах родины. Внезапно осознав исчерпанность изгнания, Андреев в несколько часов уложил необходимые рукописи, сгреб в охапку Анастасию Николаевну с ее «куфней» и «колдовой» и, покрикивая на гувернантку, подхватив на плечи пятилетнего Вадима, навсегда покинул темную и холодную виллу со стеклянной террасой и пальмами в саду.

Еще в начале января он писал своему «литературному сыну», любимому Зайчику: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое». Теперь же, в конце мая, жарким флорентийским вечером Зайцев встречал его на платформе «скромного вокзала», куда «в грохоте, с пылью» влетел несущийся на север международный экспресс. Борис и его жена с удивлением наблюдали, как на платформу «из первого класса выскочил тот же Андреев, в широкополой шляпе, с летящим галстуком, в артистической бархатной куртке, каким и был он когда-то в Бутове, в Москве. Как и тогда, он ни слова не знал "по-заграничному"; в купе оказалась матушка его, — ни себе, ни ей за весь день он не мог достать стакана чая. Матушка охала. Сам он задыхался от жары в бархате своем, но глаза его так же блестели, как и в былые годы. Он нюхал наши розы; говорили мы быстро, бестолково, ибо некогда было, и через несколько минут он махал нам букетом из окна поезда уходящего»[1]. Вот так, с букетом роз, в бархатной куртке и с горящими глазами, Леонид Андреев мчался к России — ее «городам, народам, полям, морям, наконец, звездам». Этим летом ему исполнится 37 лет.

В том роковом для русского писателя возрасте он, как сам признается позже Сергею Глаголю, «достигнет вершины»: «когда мною написаны: в 1906 — Елеазар, Жизнь Человека, Савва, 1907 — Иуда и Тьма и в одном 1908 — Семь повешенных, Дни нашей жизни, Мои записки, Черные маски и Анатэма»[2]. Здесь, «на вершине», — в жизни и творчестве Андреева произойдет решительный перелом.

В мае 1907 года он перевозит свое осиротевшее семейство с острова Капри сначала в Москву, где впервые приходит на могилу Шуры и безуспешно пытается уговорить Добровых отдать

---

[1] *Зайцев Б. К.* Леонид Андреев // *Зайцев Б. К.* Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М.: Московский рабочий, 1989. http://terijoki.spb.ru/history/tpl2.php?page=andreev3&lang=ru. Дата обращения 30.10.2011.

[2] S.O.S. С. 233.

ему младшего сына. Вопреки страхам и нервному ожиданию, что Андреева арестуют на границе — в Вержболове русская полиция — невзирая на старые «революционные» грешки — ничуть не интересуется его приездом. И далее — как и предполагал — Андреев проводит лето в Финляндии: в Куоккале на берегу Финского залива.

И вот с этих-то пор одна за другой, точно змеиная чешуя, отпадают от человека и писателя Андреева его старые привязанности, увлечения и роли. Не пройдет и трех месяцев — перемены коснутся не только видимости, но и сути жизненного строя писателя. Причем, согласно сценической логике, которой уже неотвратимо подчиняются дни его жизни, почти все старые сущности переменятся на противоположные.

Он сменит место жительства: вместо простодушной и «слишком густой по запаху» Москвы поселится в столичном и чопорном Петербурге, где так хорошо ощущается им «близость целого символического арсенала». Он переменит место работы — вместо горьковского «Знания» его начнет печатать символистский «Шиповник». Он изменит газетный имидж — из «бытописателя» и «первого подмаксимовика» обратится в «факел» и «корифея русского модернизма», из «тени Горького» — в его заклятого врага. Скитальца, Бунина, Зайцева вытеснят в его сердце Блок, Сологуб и Чулков. Вечный странник — станет владельцем огромной виллы. Вдовец обернется женихом, а вскоре — молодым мужем. Сомнительного новичка-драматурга, путь которого в театр наглухо перекрыт цензурой, заменит модный властитель сцены, за его пьесы вскоре будут сражаться лучшие театры империи.

Странно, но все или почти все эти перемены были так или иначе связаны, предугаданы, пророчески заложены в пьесе, разломившей жизнь и судьбу Андреева на две равные доли. Это — «Жизнь человека». «Не берусь судить, насколько эта пьеса изображает жизнь человека вообще, но для жизни самого Андреева она оказалась жутко пророческой — над ним самим сбылась вся жуть этой кошмарной фантазии, — и тогда и потом никто из пишущих об Андрееве не мог обойти этой ключевой драмы, — была “любовь и бедность”, потом “слава и богатство”, фантастический дом “в пятнадцать комнат”, смерть жены, гибель покинутого дома, в котором “мыши скребутся”, и внезапная страшная “смерть человека”. Все сбылось»[1]. Николай Дмитриевич Телешов выразил то общее

[1] Телешов.

место о роли «Жизни человека» в судьбе ее автора, эту мысль разделял и сам Андреев. Никому никогда не простил он отрицательного отношения к пьесе, что была для него, — как с яростью и грустью объяснял он одному из «хулителей», — «не литературой, а мною самим, моей душой...».

«Представление в пяти действиях с прологом», законченное еще до «новой эры» — еще до рождения Даниила и смерти Александры Михайловны — в октябре 1906 года — и ей же посвященное, получает широчайшую, поистине триумфальную известность как раз во время возвращения Леонида Николаевича в Россию. Слава автора нашумевшей пьесы «накрыла» его разом, ибо, по ехидному замечанию О. Мандельштама, «не было тогда дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из “Жизни человека”»[1].

Между тем жизнь «Жизни...» начиналась непросто. Как мы помним, едва закончив работу, Андреев отправляет драму в МХТ, где (о чудо!) ее судьба оказывается удачливее участи младших сестер — ранних реалистических пьес «Савва» и «К звездам» — уже 19 октября В. И. Немирович-Данченко читает пьесу на труппе, читка имеет успех, пьеса без заминок проходит Цензурный комитет и принимается к постановке. Андреев не может скрыть радости: «Придумал новую драматическую форму, такую, что декаденты рот разинут!» — и было отчего: само строение пьесы перечеркивало элементарные понятия о драме — в ней не было ни характеров, ни интриги. Даже смелые искания символистов были не столь радикальны.

«Жизнь человека» не давала зрителю ни малейшего шанса увлечься сюжетом. Уже в Прологе *Некто в сером*, именуемый Он, сообщал: «Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и темным концом». Тот, кто назвал себя «верным спутником Человека», кратко излагал основные вехи жизни героя: «Вот он — счастливый юноша... Вот — счастливый муж и отец. <...> Вот он — старик, больной и слабый. <...> Так умрет Человек». Самое интересное, что дойдя до конца, читатель убеждался, что именно так все и случилось. В пяти коротких картинах пьеса, по меткому определению Зайцева, «в чертах схематически условных обнимала жизненный путь и судьбу “человека вообще”».

Мать родила ребенка, он вырос, женился по любви, он был беден и хотел богатства и славы. По воле случая талант его оценили важные люди, он стал богат, знаменит. Прошли годы — талант погас и Человек обеднел опять. Сын его умер, умерла и

[1] *Мандельштам О. Э.* Шум времени. Л., 1925. С. 70.

жена. Умер и сам герой, одинокий, не любимый никем среди равнодушно галдящих пьяниц. И только Некто в сером — тем же холодным, равнодушным голосом выкрикнул «из глубокой дали, как эхо: — Тише! Человек умер!».

Необычность пьесы поначалу озадачила и самого автора. Отправляя рукопись Горькому, от которого зависела публикация драмы, он предупреждал издателя и друга: «На первый взгляд, — это ерунда; на второй взгляд — это возмутительная нелепость; и только на тридцатый взгляд становится очевидным, что написано это не идиотом, а просто человеком, ищущим для пьесы удобных и свободных форм»[1]. Знаньевцы да и сам Горький, как и предчувствовал автор, ограничились лишь первым и вторым взглядами: трудно сказать, что вызвало наибольшую ярость «горьковского круга» — мрачность и пессимизм содержания пьесы, воспевающей обреченность человека перед лицом рока и смерти, или же возмутительная ее форма.

Наглядно, образно и грубо автор показывал бессмысленность всех человеческих чувств, метаний, устремлений и знаний перед лицом равнодушного Некоего в сером — даже не Бога, не рока, а мелкого чиновника, клерка, нанятого Судьбой. Возмущали и лишенный индивидуальных черт «человек вообще», и безымянные Жена Человека, его Друзья и Враги, вызывали недоумение сознательное огрубление, опрощение ситуаций, отказ от жизненных деталей, действие пьесы казалось «горьковцам» голой и грубой схемой. Отсутствие социальных и психологических мотивов воспринималось апологетами реалистической школы надругательством и насмешкой над всеми сокровенными «идеалами». Вопиющие черты «Человека...», его бессилие перед лицом рока и смерти почти уравнивали андреевскую драму с «плоскими писаниями педерастов», как интимно именовали всех модернистов в горьковском кругу. Такого удара — и от кого? — от наместника и «тени» Горького — не ожидал никто. Андреев поступил как Иуда.

Его пытались образумить: «ты — поторопился. В жизни твоего человека нет человеческой жизни, а то, что есть — слишком условно, не реально». Радикальная критика Горького предварялась добрым десятком комплиментов, тонкий ценитель, он все же не мог не отметить брутальную образность пьесы, хвалил и язык, и форму «древней мистерии», и «простоту и злую наивность лубка»... Однако окончательный вердикт: «ты слишком оголил своего человека, отдалив его от действительности, и этим лишил трагизма, плоти, крови»[2] — не оставлял

---

[1] Переписка. С. 274.
[2] Там же. С. 275.

надежды: в ласково-отеческом «поторопился» можно угадать и отказ в публикации пьесы в сборнике «Знания», и строгий совет не разрешать театрам ее постановку. Андреев, как мы помним, не внял совету и отправил драму Комиссаржевской и Немировичу-Данченко.

Над ним потешались: «Горький, смеясь, рассказывал, как они выщучивали стремления Андреева отдаваться черным переживаниям.

— Смотрим в окно, — идет Леонид, угрюмый, мрачный, видно, все время с покойниками беседовал. Инкубы, суккубы... Мы все делаем мрачные рожи. Он входит. Повесив носы, заговариваем о похоронах, о мертвецах, о том, как факельщики шли вокруг гроба покойного Ивана Иваныча... Леонид взглянет: "А сейчас был на Монте Тиберио, как там великолепно!" Мы, мрачно хмуря брови, — свое...»[1]

Всегда болезненно воспринимающий критику, чуткий и к замечаниям Горького, и к его юмору, — Андреев упорно и угрюмо стоял на своем. Судя по шуткам над андреевскими «новыми настроениями», друг Максимушка поначалу решил, что Леонид просто разозлился и как только обида отойдет, — он вернется в уютный, веселый, почти уж семейный круг Максима и его «подмаксимовиков». Тот не вернулся. Внешние отношения были как будто прежними, но в самом здании их многолетней крепкой, едва ли не нежной дружбы возникла роковая трещина.

Трещина эта освещается в горьковском очерке «Леонид Андреев» скупо, да это и понятно: в своих оценках пьесы, пророчествах о ее дальнейшей судьбе Алексей Максимович, мягко говоря, угодил пальцем в небо. Но главный пункт обнажившихся вдруг противоречий между Буревестником и будущим «факелом модернизма» описывается (хотя, вероятно, не осознается) Горьким с величайшей прозорливостью. Когда-то давно, споря об отношениях человека и смерти, тот признался Андрееву, что и ему «довелось пережить тяжкое время "мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы", о "каменной тьме" и "неподвижности, уравновешенной навеки"», и, что «переварив» сей «арзамасский ужас», он и вовсе выкинул из головы факт, что когда-нибудь умрет. Реакция Леонида оказалась бурной: «Он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе

[1] Вересаев.

есть, — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любуешься, обманывая себя и других, — глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры, — все это только сердило его»[1].

Смерть — вот камень, о который разбилась, казалось бы, нерушимая дружба; проблема в том, что Алексей Максимович жил в отсутствие смерти, а Леонид Николаевич каждую секунду ощущал ее дыхание за своим плечом. «Он мог говорить какие угодно хорошие слова о свободе или о социальной справедливости, но все это для него было чужое, не волнующее кровно, не первое. Первое — только одно: смерть, "жизнь человека" частного, одинокого, обреченного. "Умрем! Умрем! Все умрем!" — вот его крик, его вопль»[2] — согласившись с мнением Чулкова, вынуждена признать, что никакие финансовые, стилистические, человеческие или бытовые коллизии не могли серьезно влиять на разрыв Горького и Андреева. Их дружба была обречена с самого начала, противоречие оказалось сущностным. Как только вопль Андреева: «Умрем! Умрем! Все умрем!» нашел себе адекватную форму и зазвучал в полную силу в пьесе «Жизнь человека», оба они почувствовали взаимную неловкость и взаимное отчуждение.

Дальнейший разрыв, которого Горький пережить так и не смог, заставлял его снова и снова искать причины, мучительно перебирая все значимые разговоры с Леонидом во времена ничем еще не замутненной их дружбы. Когда-то в пьяном угаре тот говорил Горькому: «Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется, — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается»[3]. До «Жизни человека» обруч надежно сдерживал неукротимую бочку, но теперь держать Леонида стало не так-то легко. «Ты мешаешь мне быть собою» — интуитивно автор чувствовал, что путь, на который он вступил в «Жизни человека», ведет в неизвестность, за пределы апробированного и театром, и драмой, и здесь рецепты Горького абсолютно бессмысленны.

Мучительно и сбивчиво формулируя пожелания для Станиславского, который намеревался ставить «Жизнь...». в МХТ,

---

[1] Горький.

[2] *Чулков Г. И.* Леонид Андреев. http://chulkov.ouc.ru/leonid-andreev.html. Дата обращения 30.10.2011.

[3] Горький.

он называет новую пьесу то «неореалистической», то «стилизованной» драмой: «нет положительной спокойной степени, а только превосходная, если добр — то как ангел; если глуп — то как министр; если безобразен, то чтобы дети боялись», а то вдруг говорит о театре «интеллектуальных переживаний». В одном он был абсолютно уверен: «Если в Чехове и даже в Метерлинке сцена должна дать жизнь, то здесь — в этом представлении сцена должна дать только отражение жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то»[1], — настаивал Андреев в письме режиссеру, мучительно надеясь, что его несомненный авторитет и высокое мастерство актеров МХТ сделают очевидным новаторство драматурга и достоинства пьесы. «Жизнь человека» — это не жизнь, не жизнь и не жизнь, — бунтует он против иллюзорного театра и в строках писем и между строк, словно уже предвидя, что его одинокий голос обретет силу и мощь не теперь, отнюдь не при его жизни, на другой территории.

Мысль Леонида Андреева о неиллюзорном, неаристотелевском театре, мысль — как всегда страстная, пророческая и рваная — окрепнет, обретет мощное продолжение и строгое логическое завершение лишь в театральной революции Бертольда Брехта. Это случится через полвека: режиссерский театр должен «переварить» Мейерхольда и Рейнхарда, а драма пройти долгий путь через «дискуссию», «экспрессионизм» и другие «измы». Но увлечение, а точнее сказать, порабощенность этой идеей — создать принципиально новый, не жизненный, однако и не символистский, но какой-то иной, неведомый театр не отпускали Андреева ни в дни горя и траура, ни тогда, когда Горький и его «подмаксимовики» предсказывали «Жизни человека» полный провал.

Мысль его уже вращается вокруг продолжения «Жизни...», в воображении строится целый цикл условных предельно обобщенных пьес, сталкивающий его «вообще Человека» с «вообще Революцией», «вообще Любовью», Богом, Дьяволом, Смертью. В январе, на Капри, он яростно доказывал Вересаеву правильность выбранного пути: «Однажды вечером сидели мы с ним в его кабинете. Разговорились особенно как-то хорошо и задушевно. Андреев излагал проекты новых задуманных им пьес в стиле “Жизнь человека”, подробно рассказал содержание впоследствии написанной им пьесы “Царь-Голод”. В его тогдашней, первоначальной передаче она мне показалась ярче и грандиознее, чем в осуществленной форме.

---

[1] Цит. по: *Андреев Л. Н.* Пьесы. М.: Искусство, 1959. С. 566.

Леонид Николаевич говорил:

— "Революция" — это будет отдельная пьеса. Веселая, вся полная борьбы, энергии. Главное действующее лицо — Смерть. Будет умирать революционер, — и сама Смерть будет рукоплескать тому, как он умирает. Будет еще пьеса "Бог, человек и дьявол". Человек — воплощение мысли. Дьявол — представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог — представитель движения, разрушения, борьбы. Веселый будет Бог. Он будет говорить, потирая руки: "Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!"

Я слушал с увлечением.

— Ну, теперь я готов принять и вашу "Жизнь человека" с ее плоским содержанием.

Леонид Николаевич обрадованно подхватил:

— Ну да же! Ведь это было только искание формы, — возможна ли такая форма или нет.

— Тогда и спорить не о чем, тогда и я ее целиком принимаю.

Я подошел и крепко его поцеловал. Он долго молчал, опустив голову, потом вдруг сказал взволнованно:

— Голубчик, вот — что вы меня сейчас поцеловали, — вы не знаете, что вы мне этим сделали. Спасибо вам!»[1]

Из этой сцены можно вычитать отчаяние и неуверенность Андреева в успехе любимого детища — недоброжелательство и жесткая критика «знаньевцев» все же делали свое дело. Не радовал и театр. Приняв пьесу к постановке, МХТ медлил, постоянно откладывая начало репетиций, надежда на премьеру в сезоне 1906/07 года становилась все призрачнее. Но жизнь Андреева уже как будто подчинялась логике его драмы, где герой и его жена страдали от голода, не зная, «что уже сегодня утром в богатом доме два человека, согнувшись, жадно рассматривали чертеж Человека и восторгались им... И завтра утром, когда соседи уйдут на работу, к их дому подъедет автомобиль, и два господина, низко кланяясь, войдут в бедную комнату и принесут богатство и славу. Но не знают об этом ни он, ни она. Так приходит к человеку счастье — и так же уходит оно».

Осенняя читка «Жизни...» в Художественном театре произвела впечатление не только на его труппу, слухи о необычной форме и скандальном содержании пьесы заинтриговали многие театры. Репертуарный голод — постоянное состояние российской сцены начала XX века, режиссура как профессия не вышла тогда из подросткового возраста, зритель предпо-

---

[1] Вересаев.

читал «ходить на пьесу», и доход театров целиком и полностью зависел от удачных новинок репертуара. Даже не прочитав, а только прослышав о «Жизни человека» в конце 1906 года, Всеволод Мейерхольд загорелся желанием немедленно поставить ее. Конечно, это был еще не тот всемирно прославленный гений, руководитель Государственного театра им. Вс. Мейерхольда, автор шумных «Леса» и «Ревизора», а бывший актер МХТ, 33-летний начинающий свое поприще режиссер, спектакли он ставил по большей части в провинции, а в начале сезона 1906/07 года В. Ф. Комиссаржевская пригласила его «на службу» в свой петербургский Театр на Офицерской. Комиссаржевская разделяла интерес Мейерхольда к никому не известной, ни на что не похожей новой пьесе Леонида Андреева.

Зная о трудностях постановки в МХТ, Мейерхольд подговорил Веру Федоровну просить драматурга разрешить ему ставить пьесу в Театре на Офицерской параллельно со Станиславским. Положение Андреева оказалось двусмысленным: весовые категории и театров, и режиссеров были неравны. О том, чтобы забрать текст у Станиславского — всемирно признанного мэтра, основателя горячо любимого Андреевым театра и передать ее режиссеру-полупрофессионалу со скандальной репутацией «ниспровергателя основ», — не могло быть и речи. Мейерхольд работал в столице первый сезон, его положение в театре Комиссаржевской было весьма шатким, стремясь создать для великой актрисы «новый репертуар», объявляя войну «быту, натурализму и вообще всякой рутине», он с огромными сложностями «внедрял» на петербургской сцене драмы символистов. Да, недавние постановки «Сестры Беатрисы» Метерлинка, «Балаганчика» Блока имели шумный успех, но были и зияющие провалы. С другой стороны, просто отказать великой актрисе начинающий драматург не мог.

Андреев написал Немировичу-Данченко, прося совета, и тут уж «сработала» судьба — его письмо оказалось как нельзя кстати. Уже понимая, что Станиславский не может да и не хочет начать репетиции «Жизни...» в нынешнем сезоне, испытывая неловкость перед автором, Владимир Иванович с легкостью согласился на соревнование МХТ с Мейерхольдом. Вопрос был как будто решен, однако переписка Петербурга, Москвы и Капри «съела» драгоценное время — театральные сезоны заканчивались тогда рано — с началом Великого поста.

Театр Комиссаржевской получил разрешение и пьесу за три недели до конца сезона, но Мейерхольд не привык отступать. Начав репетиции 10-го, Театр на Офицерской объявил премьеру «Жизни человека» 22 февраля. Разумеется, пошить костюмы за 12 дней было немыслимо — их попросту

подобрали в обширной костюмерной театра. Об изготовлении декораций пришлось забыть: художественное оформление спектакля осуществил сам режиссер. И тем не менее эта последняя премьера театра в сезоне оказалась фантастической удачей. Участвовавшая в спектакле актриса Валентина Веригина вспоминает, что «публика принимала пьесу горячо не только во время первого представления... все спектакли “Жизни человека” проходили с огромным успехом, несмотря на то, что Комиссаржевская в них не была занята»[1]. При полных сборах пьесу сыграли десять раз подряд, театральный сезон закрылся, а бурное обсуждение «Жизни человека», которая наконец-то дошла до российской публики, только началось.

Живший тогда на Капри Вересаев свидетельствует, что «к первым телеграммам В. Ф. Комиссаржевской об успехе пьесы Леонид Николаевич отнесся с недоверием, думая, что его обманывают. Потом, когда успех выяснился с несомненностью, его охватила восторженная, чисто истерическая радость»[2]. В марте Андреев получил письмо Мейерхольда — молодой режиссер как будто подслушал самые сокровенные мысли и мечтания Андреева: «Я ставил новаторов, как-никак Ибсена, Метерлинка, Пшибышевского. Приемы постановочные были новые, но *нового театра* не было. Явились Вы, и отныне на прошлом крест! День первого представления Вашей пьесы на сцене — исторический день. Это день создания Нового Театра. Какой это театр — писать не буду... но в другом письме напишу Вам, какой Вы дерзкий зачинатель». Тщательно собирая и наклеивая в альбом решительно все, что печаталось о пьесе в доходивших до Капри русских журналах и газетах, Андреев с нетерпением ждал встречи со спектаклем — его душа ликовала — в поединке с Максимом и «подмаксимовиками» «Жизнь человека» одерживала решительную победу.

Произведение и автор повстречались лишь в новом сезоне, 18 сентября 1907 года Андреев присутствует на премьере в театре Комиссаржевской. Как следует из дежурной записи в журнале, «после третьего и последнего актов публика дружно вызывала Андреева, от театра ему поднесли венок». 21 сентября он вновь пришел на «Жизнь человека».

Никто никогда не пытался реконструировать впечатление Андреева от спектакля, конечно, это — дело неблагодарное, история оставила нам слишком мало свидетельств. Но все-таки мы попробуем представить, как дождливым сентябрьским вечером вошел он в здание Неметти на Офицерской улице, ко-

---

[1] *Веригина В. П.* Воспоминания. Л.: Искусство, 1974. С. 116.

[2] Вересаев.

торое несколько лет назад сняла Комиссаржевская для своего театра, сел в уютное кресло небольшого белого зала с колоннами и куполом, выходящим в небо. Представим, какая мутная смесь из счастья и ужаса поднималась в его душе, когда медленно полз наверх расписанный Бакстом модернистский занавес и переполненный столичной публикой зал погружался во тьму.

«Вот, — в темноте на авансцене появлялся справа едва заметный сноп света, а когда он достигал известной, но небольшой силы, в этом луче виден был старый человек, говорящий пролог» — так описывал первые секунды спектакля тогдашний завпост театра В. К. Коленда. «Этот человек, — вторил ему Блок, — некто в сером — из столба матового света, бросал в театр свои слова: "В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукою, — это жизнь Человека. Смотрите на пламень его — это жизнь Человека"»[1]. Кончен Пролог — и также незаметно и беззвучно пропадали и человек, и луч. «Слова Пролога казались и кажутся многим пошлостью», — писал Блок. — Я помню, что они смертельно надоели и великолепно произносившему их актеру — К. В. Бравичу». Столичная знаменитость — Казимир Викентьевич Бравич — был членом дирекции и пайщиком театра Комиссаржевской, Андрееву, как и многим другим, его исполнение могло показаться суховатым, а сама фигура актера — малозначительной для Рока или Судьбы, однако все тот же Блок признавал, что никогда не мог без волнения вспомнить суховатый особенный голос Бравича: «Посмотрите, как тускло и странно мерцает свеча: точно морщится желтеющее пламя. <...> Ибо тает воск, съедаемый огнем. — Ибо тает воск». Впрочем, Андреев видел «не совсем» Бравича, в новом сезоне режиссер внес поправки в партитуру спектакля, и в «живом плане» актер появлялся только в Прологе, а далее его заменяла деревянная кукла. «Некто в сером — деревянный, Бравич говорит за сценой, кроме пролога»[2], — с детским любопытством отмечал новые штрихи спектакля один из его «фанатов» — Александр Блок. Скорее всего, Пролог Андреев-зритель выслушал с напряженным вниманием, главные сюрпризы ожидали его впереди.

«Вы еще не знаете, — писал Мейерхольд Андрееву после зимней премьеры, — что я для вашей пьесы разбил вдребезги декорации, уничтожил рампу, софиты, разбил все то, с чем тщетно боролся всю зиму, и что пало так легко, как только родилось на свет ваше произведение». Теперь же автор с изумле-

---

[1] См.: *Блок А. А.* Памяти Леонида Андреева. Цит. изд. Т. 6. С. 129—135.

[2] Там же. Т. 8. С. 207.

нием обнаруживал, что перед ним и вправду нет декораций, что голая сцена лишь затянута серыми сукнами, а в каждой картине сноп света выхватывал из серой мглы лишь детали тщательно прописанной им обстановки: диван, стол, стулья или кровать. Отнюдь не сразу Андрееву удалось примириться с тем, что казалось Г. Чулкову главным режиссерским открытием Мейерхольда, — «давать на сцене одно освященное пятно, где происходит действие, в то время, когда вокруг "нет стен и царствует тьма"». Смелое утверждение режиссера о том, что замысел спектакля слился с авторским, представлялось Андрееву по ходу действия все более сомнительным: «Этот мрак... Мейерхольд злоупотребляет им. Всю пьесу он пронизал мраком, нарушил целость впечатления. В ней должны быть и свет и тьма»[1]. Нет, «Жизнь человека» оказалась вовсе не такой, как представлял он в мечтах. Мейерхольд повсеместно отступал от ремарок, в некоторых сценах лиц актеров невозможно было различить, написанные автором гротескные персонажи превращались режиссером в однородные тени, — на миг выскальзывая из тьмы, они вновь ускользали в серую мглу.

Из интервью, которое дал Леонид Николаевич корреспонденту газеты «Русь» через пару дней, следует, что в начале действия два замысла спорили между собой и лишь после третьего акта спектакль сломал сопротивление драматурга и режиссерский текст проник в его сердце. Задумавший ни больше ни меньше — театральную революцию, сметающую со сцены всякое правдоподобие, зритель Андреев вдруг испугался, встретив новый театр лицом к лицу. Увы, где-то в глубине прочно сидел у него «идеал театра», несмотря на все новаторство драматургических исканий, этот зрительский идеал был традиционен — вскормлен ранними постановками Чехова и Горького в МХТ.

Надо отдать должное режиссеру — его «идеал театра» и ви́дение пьесы оказались более радикальны. Здесь Мейерхольд впервые в истории русской сцены, как считают исследователи театра, — «создал развитую световую целостную форму спектакля». Впоследствии некоторые искусствоведы справедливо назовут этот опыт экспрессионистским: «мрак то расступался, то сгущался, контуры комнат расплывались во тьме». Этот прием позволил Мейерхольду практически без декораций построить абсолютно разные пространства для пяти картин — пяти этапов жизни андреевского человека. Такое решение к тому же позволяло смотреть спектакль из-за кулис. Андреев и не подозревал, что в тот вечер, невидимые для зрителей, в сценической мгле за квадратной спиной Некого в сером стояли Алек-

[1] Андреев о Мейерхольде // Сегодня. 1907. 20 сентября. С. 3.

сандр Блок, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин — как будто сами присутствовали «в сферах» при таинстве рождения человека. «Мне привелось смотреть ее (пьесу) со сцены, — вспоминал Блок, — чем я обязан режиссерским трюкам Мейерхольда. Никогда не забуду впечатления от первой картины. <...> В глубине стоял диванчик со старухами и ширма, а впереди — круглый стол со стульями кругом. Сцена освещалась только лампой на столе и узким круглым пятном верхнего света. Таким образом, я стоял в темноте, почти рядом с актерами, я смотрел на зал театра, на вспыхивающие там и сям рубины биноклей. Жизнь Человека шла рядом со мной, рядом пронзительно кричала в родах мать, рядом бегал нервно по диагонали доктор с папироской; и главное, рядом стояла четырехугольная спина "Некто в сером"»[1].

Во второй картине «Любовь и бедность» сноп света выхватывал две кровати и множество разновеликих подушек. Веригина вспоминает, что «Человек и его жена (Чулков и Мунт) с бурной стремительностью вели диалог. Она смеялась гармонично и звонко, поддерживала мужа в его безумной отваге, когда он бросил вызов судьбе, а вокруг жутко молчала темнота и глубина кулис».

Третья картина — «Бал у человека» — поражала воображение даже ярых недоброжелателей пьесы. «Гости сидели на стульях у белых колонн, из-за которых появлялись танцующие, выделывая па польки под старомодную избитую музыку. Они напоминали чем-то фигуры паноптикума, но движения их были обыкновенные, не автоматические»[2]. Сновидческую природу этой картины отмечал и сам Андреев: «Балом у человека — очень доволен. Хотя поставлена не по моим ремаркам, но я этот акт охотно принимаю. И зал хорош, и великолепны танцующие пары и сидящие на постаментах чудища — гости. Бал хорош»[3].

Но впереди был последний акт. «Если Блоку некоторые сцены казались поставленными гениально, то это должно было относиться прежде всего к последнему акту, — вспоминала Валентина Веригина. — Пьяницы сидели в кабаке за столиками в пятнах света убогих ламп, лицом к публике. Они напоминали страшные образы Гойи, и достигалось это совсем не гримом. Произносили слова пьяными жуткими голосами и покачивались: "Я вижу огромные, красные костры, и на них горят люди. Противно пахнет горелым мясом. Черные тени кружатся вокруг костров. Они пьяны, эти тени"». «Во время горячечного бреда Человека, — добавляет актриса, — как бы

---

[1] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 6. С. 133.

[2] *Веригина В. П.* Воспоминания. Цит. изд. С. 115, 116.

[3] Андреев о Мейерхольде // Сегодня. 1907. 20 сентября. С. 3.

от его слов шла волна движений. Пьяницы начинали передвигаться, пересаживаясь с места на место. Как будто поднималась волна, шла и разбивалась. Все на секунду замирало. Все казалось реальным, это был кабак, наполненный посетителями. Но реальность такая как во сне. Гребни волн становились все выше и выше, и последняя, когда вступали Старухи, смывала все. Сон жизни кончался»[1]. Закончился и спектакль. Рискнем предположить, что автор пьесы, как и весь зрительный зал, был искренне взволнован его финалом: «Наконец, последняя картина — Смерть Человека — хороша: эти придавленные тьмою сверху, с боков пьяницы. Я эту картину принимаю»[2].

И все же однозначно ответить на вопрос об отношении Андреева к зрелищу Мейерхольда нельзя. Блок, очевидно говоривший с ним в тот же вечер, написал матери: «Андреева вызывали после третьего акта — он выходил. Очень милый, хотя и слишком простоватый. Ругает всю постановку, кроме третьего акта»[3]. Однако буквально через несколько дней, предъявив режиссеру ряд мелких и даже смешных претензий, Андреев начинает и заканчивает интервью о «Жизни человека» словами: «Мейерхольд — несомненно, талантливый человек, он ищет новые пути в искусстве». Не столько слова, а весь взволнованный тон статьи говорит о том, что Андреев все еще находился под впечатлением от спектакля. Думаю, что прав Александр Блок, не раз повторявший: «Было в некоторых актерах и в режиссере труппы Комиссаржевской что-то родственное Андрееву; даже слабым довольно актерам удалось разбудить тот хаос, который так неотступно следовал за ним»[4].

К тому же Леонид Николаевич не мог не понимать, что мыслящая культурная Россия получила «Жизнь человека» именно из мейерхольдовских рук, поскольку отвергнутая Горьким в печати пьеса появилась лишь летом 1907-го — в первом выпуске нового петербургского альманаха «Шиповник». Но — парадокс — успех любого спектакля воспринимался в ту эпоху как успех автора пьесы.

Известный своим мейерхольдоненавистничеством театральный критик А. Р. Кугель выражал в сентябрьском номере «Театра и искусства» общее мнение: «Если постановка известного своими нелепостями г. Мейерхольда была на этот раз достаточно хороша, то это объясняется тем, что режиссером был сам ее автор, т. е. тот, кто и должен вдохновлять постановку, а не некто в сером и сам серый из серых, вроде г. Мейерхольда».

---

[1] *Веригина В. П.* Воспоминания. Цит. изд. С. 116.

[2] Андреев о Мейерхольде // Сегодня. 1907. 20 сентября. С. 3.

[3] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 8. С. 207.

[4] Там же. Т. 6. С. 133.

Позже Кугель утверждал, что «Жизнь человека» удалась Андрееву «...потому, что самая форма этого произведения — схематический лубок, геометрическое изображение формы человеческой жизни — подходит к свойствам его писательского дарования. Леонид Андреев начертателен. Начертательная и “Жизнь человека”». Но, как чуткий к возможностям и потребностям сцены, тайный поклонник театрального дионисийства и одновременно актерского театра критик Александр Рафаилович отмечал: «Местами от пьесы веет знакомым холодом безучастия и окаменелости, которые так свойственны Андрееву, — но за всем тем, в этой пьесе много художественной гармонии, много красивого, верного, много трагически-типичного и, наконец, иногда прорывается и волна настоящего чувства...»[1]

Даже отдавая дань Мейерхольду, были поражены пьесой и только пьесой Андрей Белый и Александр Блок. «Каждая его фраза безобразный визг как от пилы... Меня эти визги и вопли проникают всего, от них я застываю и переселяюсь в них» — так чувствует «Жизнь человека» Блок в день премьеры. За «рыдающее отчаянье гордого человека» благодарит Андреева Белый. То, что представлялось Горькому главным дефектом пьесы, стало для многих главной, сокрушающей силой. Именно через «Жизнь...» улавливает Блок самую суть андреевского таланта: «В Жизни человека, как во всем ряде произведений Андреева, который открывается этой пьесой, поставлен нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети: “Зачем?” Что ни скажешь ребенку — он спрашивает — зачем? <...> Просто “глупый вопрос”, “детский вопрос” вот то, что лично мне кажется самым драгоценным в Л. Андрееве; он всегда задавал этот вопрос и был трижды прав, задавая его...»[2]

Зачем мы рождаемся? Зачем любовь? Богатство? Слава? — Ведь мы умрем! Умрем, все умрем!

Неприличный, брутальный и одновременно наивный «визг» Леонида Андреева был непохож на «причесанный», изящный культурный шепот символистов. «Метерлинк никогда не достигал такой грубости, топорности, наивности в постановке вопросов, — первым подметил Блок. — За эту-то топорность и наивность я люблю “Жизнь человека” и думаю, что давно не было пьесы более важной и насущной»[3].

В стане самих символистов преобладало смятение. Первой в журнале «Весы» Андреева презрительно «пнула» Зинаида Гиппиус: «Эта узловатая, рабски подражательная форма содержит в себе смятую, да еще банальную мысль о бессмысленном роке». Бо-

---

[1] Кугель. С. 163.

[2] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 6. С. 132—133.

[3] Там же. С. 133.

лее мягко и даже с деланым равнодушием Брюсов упрекнул его в отсутствии настоящего мистицизма, отзыв же Дмитрия Философова напоминал судебный приговор: «“Жизнь человека” — одно из самых реакционных произведений русской литературы. <...> Оно реакционно потому, что уничтожает всякий смысл жизни, истории»[1]. Однако же и тот, и другой, и третий чувствовали себя уязвленными — Андреев одержал победу на их территории. Суть этой победы сформулирует позже сам мэтр — Дмитрий Мережковский в знаменитой статье об Андрееве «В обезьяньих лапах»: «Ведь все-таки, по действию на умы читателей, среди современных русских писателей нет ему равного. Все они — свечи под спудом, он один — свеча на столе. Они никого не заразили; он заразил всех. Хорошо или дурно, но это так...»

Да, детский андреевский вопрос «зачем?» отчего-то волновал душу зрителя. Нашлись поклонники даже в горьковском стане, в «Вестнике жизни» Луначарский отозвался о пьесе как о «шедевре Андреева». И дело даже не в том, что никому из символистов не довелось видеть рыдающих зрителей на своих спектаклях, а во время четвертой картины «Жизни...», где у «человека вообще» умирал невидимый абстрактный, даже не названный в пьесе сын, — в зале неизменно раздавался плач, — суть в трепете, который испытывала и самая простая, и самая рафинированная публика, когда Андреев размышлял «о вечности и бесконечности». Этот трепет сделал писателя настоящим кумиром, его российская слава с момента премьеры «Жизни...» достигла наивысшей точки. Никого уже не удивляло, что огромная фигура Некто в сером появлялась на открытках рядом с портретом Андреева. Прежде относившийся к пьесе прохладно, Станиславский с августа 1907 года на всех парах репетировал ее в МХТ, провинциальные труппы рвали «Жизнь человека» на части, а губернаторы некоторых городов «запрещали ее к представлению», опасаясь излишней экзальтации публики.

Летом 1907-го непропеченных, недописанных «Царя-Голода» и «Анатэму» требовали у автора Комиссаржевская и Немирович... Короче говоря, Некто Всеволод Мейерхольд с полным правом мог крикнуть в темноту: «Тише! Драматург родился!» И этот крик с полным правом мог отнести к себе человек и писатель Леонид Андреев.

Почему же, несмотря на очевидный успех и очевидную созвучность театральных исканий, содружество Мейерхольда и Андреева не имело продолжения? Не стали они и друзьями, хотя летом 1907 года жили по соседству в Куоккале. Подобная

---

[1] *Философов Д. В.* Разложение материализма // Максим Горький: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. http//az.lib.ru/f/filosofow_d_w/text 0060.shtml. Дата обращения 31.05.2011.

холодность просто необъяснима, если учесть мартовское восторженное письмо режиссера автору пьесы. Оба не значились отшельниками, дача Мейерхольда часто не могла вместить многочисленных гостей; едва ступив на финскую землю, Андреев пишет Горькому о том, что живет в Куоккале «широко и весело», что люди вокруг него вращаются постоянно: «Гуковский, Пильский, Рославлев <...> Каменский, Миролюбов, Чуковский, Чеботаревская...» Фактически в круге знакомств Андреева и Мейерхольда было множество пересечений, но... судя по всему, они не торопились стать друзьями и даже просто приятелями. Что же этому помешало?

В отношениях автора «Жизни человека» и ее постановщика разобраться нелегко. Здесь можно строить только гипотезы. Вполне вероятно, что личные контакты оборвались, так и не начавшись, и случилось это в начале лета 1907-го, сразу после прибытия Андреева с Капри. В том же июльском письме Андреева Горькому есть короткое, но важное для нас замечание: «В Териоках на летней сцене изнасиловали “Савву” и “К звездам”»[1]. Увы, «насильником» и в том и другом случае выступил все тот же вездесущий Всеволод Мейерхольд. Не имея привычки к отдыху, еще весной 1907 года режиссер договорился о нескольких постановках с труппой В. Р. Гардина.

Антрепренер и актер Владимир Ростиславович Гардин (впоследствии народный артист СССР) имел репутацию «старого лиса». Будучи знатным приспособленцем, он неизменно бросался в те сферы, что должны были принести немедленный и надежный эффект. Появится кино — он отдаст все свои силы бульварному кинематографу, грянет революция — его кинопродукция начнет славить Третий интернационал. В то лето Гардин снял театр в близких к Куоккале Териоках (нынешнем Зеленогорске). Назвав свой театр «Свободным», антрепренер задумал ставить в Финляндии только запрещенные пьесы, поскольку царская цензура не слишком свирепствовала к западу от реки Сестры. Задуманный эффект не заставил себя ждать: запретный плод сладок — столичный зритель повалил в Териоки. Мейерхольд, планы которого менялись почти ежедневно, некоторое время был увлечен Свободным театром и поставил там несколько пьес.

Как-то не поворачивается рука обозначить эти летние «практики» будущего театрального гения словом «халтура», тем более что сам Мейерхольд полагал, что у Гардина «сильная, достаточно сильная для летнего театра труппа», но... приходится признать, что даже сильные летние труппы состояли в те годы из любителей и начинающих актрис, на репетицию каждой

[1] Переписка. С. 284.

пьесы отводилось два-четыре дня, декорация состояла из летней мебели и наскоро расписанных задников (справедливости ради заметим, что расписывали их подчас великие и просто выдающиеся художники: Судейкин, Сапунов, Бенуа, Сомов). Но, в конце концов, и профессионалы воспринимали подобные опыты как нечто среднее между работой и отдыхом.

Так вот, 27 мая у Гардина состоялась премьера запрещенной андреевской пьесы «К звездам», постановка эта оставила в истории лишь злобное замечание Кугеля о том, что «усердием г. Мейерхольда» даже «понятное и удачное» в пьесе Андреева стало «непонятным и неудачным»[1]. И надо же так случиться, что, едва приехав в Куоккалу, Андреев попал именно на этот спектакль. Был он, естественно, разъярен и режиссурой, и трактовкой, и холодным приемом публики. Надо сказать, что в ответ на андреевскую критику, слух о которой быстро распространился в Куоккале, режиссер изругал пьесу, навязанную ему Гардиным, назвав ее плоской бытовой конъюнктурной драмой на тему революции. Как на грех, еще в апреле Мейерхольд соорудил там же, в Териоках, наскоро срепетированного андреевского «Савву». Спектакль постигла та же участь — ругательные статьи и полное равнодушие публики. Летом, когда Мейерхольд, уже поругавшись с Гардиным, отдавал все свои силы летней музыкальной студии, Андреев все же посетил репетицию «Саввы» и возмущенный общим решением и исполнителями «выговаривал» антрепренеру: «К “Савве” надо искать реалистического решения темы, а у вас — мистическая символика»[2].

Конечно, подобное начало не сулило ни близких, ни даже приятельских отношений, интересно, что на просьбу Федора Комиссаржевского разузнать, как идет у Андреева работа над пьесой «Царь-Голод», которую тот обещал отдать театру в будущем сезоне, Мейерхольд отвечает решительным отказом: «Андреев здесь, но странно — Вы пишете: “Возьмите пьесу”, — ведь он определенно писал, что она будет готова “в августе” или “к августу”, но не “в июне” и не “к июню”, чтобы напоминать о ней в мае. Не правда ли?» Как видно из письма, личные отношения драматурга и режиссера явно не сложились. Леонид Николаевич, как мы знаем, не выносил критики, Всеволод Эмильевич был, в принципе, чрезвычайно взбалмошный человек. Беда, что оба они были людьми совершенно искренними и не имели, что называется, «дипломатического лоска». Если в искусстве их что-то не радовало, и Мейерхольд и Андреев огорчались, злились, дулись прямо как дети. Увы, не нашлось тогда заинтересованного «взрослого» человека, взявшего на себя нелегкий

---

[1] См.: Русь. 1907. 27 мая. С. 3.

[2] Цит. по: Переписка. С. 266.

труд «подружить» двух художников, только недавно обнаруживших единое понимание путей обновления театра и драмы.

Интересно, что вскоре Мейерхольд заметно охладел и к Андрееву-драматургу. Работая в то время над книгой «О театре», он делает попытку классификации русской драмы и в разделе «Театр декадентов» посвящает несколько строк андреевской драматургии. В принципе, положительно характеризовав смелые искания Бальмонта, Брюсова, Минского, Зиновьевой-Аннибал, Гиппиус и Чулкова, он довольно-таки презрительно отзывается об авторе «Жизни человека», «который примыкает к группе декадентов чисто внешним образом, так как по характеру вкуса, по воззрениям и вообще всей своей литературной фигурой принадлежит скорее к кругу писателей, следующих за Максимом Горьким»[1].

То есть, провозгласив однажды Андреева «камнем в основании нового театра», уже в следующем сезоне Мейерхольд решительно «вычеркивает» его из списка драматургов-новаторов, этот круг ограничивается для режиссера именами Блока, Сологуба, Кузмина и Владимира Соловьева. Можно предположить, что не привязанные толком ни к какой культурной традиции «сырые», «грубые» пьесы Андреева теперь уже не представляли интереса для режиссера, вступившего в период новых исканий в области театральной стилизации. Андреев же, решительно выходя от горьковского круга, мучительно искал «новые театральные формы», работая над второй драмой цикла — «Царь-Голод» и уже задумав «Анатэму», оказался вдруг в театральном вакууме — в России эти пьесы, будем откровенны, кроме Мейерхольда, ставить было решительно некому. Дальнейший многолетний мучительный диалог Андреева и МХТ — ярчайший тому пример.

И, как знать, посмотри Андреев «Жизнь человека» на Офицерской раньше, чем злосчастные спектакли у Гардина, — не сложилась бы театральная судьба его будущих пьес совершенно иначе? Соединив усилия, две эти уникальные личности, два искателя — автор и режиссер — к чему бы они пришли? Возможно, Андреев-драматург не опустил бы «кулак бессильного, яростно грозящий небесам», и не вернулся бы на проторенные дороги психологизма и реализма. Возможно, начатый цикл обобщенно-философских пьес был бы триумфально завершен и мир отпраздновал бы рождение экспрессионистской драмы на десять лет раньше. Направленный рукой Мейерхольда, каким бы он мог стать — театр Леонида Андреева? Остается только гадать. «Так приходит к Человеку счастье — и так же уходит оно».

---

[1] *Мейерхольд В. Э.* Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. Часть первая: 1891—1917. М.: Искусство, 1968. С. 143—144.

Глава восьмая. 1907: июнь—декабрь:

ПЕРВЫЙ – ПОСЛЕ ТОЛСТОГО – ЛИТЕРАТОР РОССИИ

Куоккала. Пьянство и женщины. Петербург. «Царь-Голод» и «Тьма». Блок и Андреев. Уход из «Знания». Издательство «Шиповник». Разрыв с Горьким. «Жизнь человека» в МХТ. Алиса Коонен: несчастливое сватовство

«Как писатель, я все еще поднимаюсь. И уже наполовину европейский. В России меня, кажется, считают первым (конечно, после Толстого). Живу в Петербурге. В Финляндии купил землю и строю большую дачу. Проживаю в год от 12 до 18 тысяч»[1], — записал наш герой на последней страничке старой тетради дневника 9 октября 1907 года. Запись эта сделана в квартире 20 дома 13 по Каменноостровскому проспекту, куда осенью — с матушкой и Диди — писатель переехал из финского поселка Куоккала, ныне — Комарово. Лето, проведенное в Финляндии, оставило в нем двойственное ощущение: с одной стороны, Андреев не только встретился со своим огромным семейством, но и вновь погрузился в привычный — веселый и шумный — круг литераторов, издателей, художников, репортеров, критиков: нанятая в Куоккале дача — дача Фиельди — была постоянно наполнена коллегами по перу. «Живу широко и весело, — «докладывал» он Максимушке. — Куоккала, песок, терраса... <...> Дамы, девицы, убийцы. <...> В голове кавардак. Спрятаться негде. Спасаюсь на день, на два на Черную речку, но и там — пронюхали. Купил там кусочек горки и строю крепость — буду прятаться зиму и лето. В доме у меня три брата и одна сестра, с женами, мужьями и детьми. Дидишка счастлив»[2].

Здесь, в Куоккале, он пожинает плоды своей — теперь уже фантастической — славы, буквально купаясь в ней — не проходило и дня, чтобы о Леониде Андрееве не писали газеты,

[1] Дневник. С. 218.
[2] Переписка. С. 284.

обсуждая самые немыслимые слухи: то сообщали, что возле станции в писателя Андреева стрелял, но промахнулся нанятый кем-то — как сказали бы теперь — киллер, или же то, что он сам — как Некто в сером — выступает в летнем театре Териоки в собственной пьесе. Фотокорреспонденты, газетчики постоянно возникали у калитки дачи, Андреев превратился — говоря современным языком — «в медийное лицо», и что греха таить, это обстоятельство приятно щекотало его самолюбие. В то лето он близко сошелся с людьми, по своим убеждениям весьма далекими от прежнего круга: восходящей звездой литературной критики Корнеем Чуковским, поэтом-символистом и издателем Георгием Чулковым, познакомился Андреев и с Валентином Серовым, портреты которого знал и очень ценил. Живущий невдалеке — в районе форта Ино на Финском заливе — художник начинает писать портрет Леонида Николаевича: странная долговязая фигура и по-модильяниевски вытянутое лицо и при этом абсолютно несимметричная композиция картины, где фигура писателя как будто выглядывает в окно, — нравились и нравятся очень многим. Это изображение Андреева украсит впоследствии не одно издание его текстов. Здесь, по-моему, впервые Леонид Николаевич предстает без маски, без позерства, без театра; Валентин Александрович, как мне кажется, почувствовал душу портретируемого и, увлекшись этой душой, писал его легко.

Да, с одной стороны, Андреев как будто перестал страдать от острого одиночества, в любую минуту он мог насытить свою потребность в тонком, понимающем его мысли собеседнике, например интеллектуал и давний друг Александра Блока Георгий Чулков и географически, и духовно был близок писателю. «В Финляндии, — вспоминал Чулков, — мы иногда гуляли с ним по окрестностям. На прогулках он обыкновенно нервно курил папиросу за папиросой и неумолчно говорил о своих замыслах и планах. Он любил, по-видимому, импровизировать, рассказывая о своих будущих повествованиях. Иногда с мнительною робостью он посматривал на собеседника, не скучает ли тот, но перестать рассказывать ему было, видно, трудно»[1]. Сам Чулков — в отличие от недавно приехавшего Андреева — находился в гуще литературных событий: вращаясь в символистских кругах, близко зная Мережковских, он издавал в те годы альманах «Факелы», где Леонид Николаевич впервые напечатал «Так было». Конечно же, бродя по финскому берегу, Георгий Иванович жаждал обсуждать не только плоды бурной фантазии Леонида Николаевича, но и

[1] *Чулков Г. И.* Леонид Андреев.

собственные идеи, например «мистический анархизм», придуманный им недавно, это литературное направление предполагало соединить символизм с общественными чаяниями. Но и ему, вероятно, не хватало духу перебить первого — разумеется, после Толстого — беллетриста России.

Устав от общества, шумных обедов и бесконечных прогулок вдоль берега залива, «первый беллетрист» погружался в мечтания о собственном доме-крепости на купленном в Ваммельсуу участке земли. Тем более призрак будущей виллы «Аванс» уже обретал реальные очертания. Дело в том, что сестра Андреева — «ветреная Риммочка» успела к тому времени развестись с первым своим мужем — Аркадием Алексеевским — когда-то коллегой Андреева по «Курьеру», и теперь жила в гражданском браке со студентом-архитектором Андреем Олем. Незадолго до того момента, как судьба свела этого юношу с Леонидом Николаевичем, Оль стажировался в Финляндии у знаменитого Эпиэля Сааринена — автора железнодорожного вокзала в Хельсинки и других архитектурных шедевров; там, в Финляндии, юный стажер оказался под сильным влиянием изобретенного мэтром национально-романтического стиля. А кроме того, студент Института гражданских инженеров прошел стажировку и в мастерской модного архитектора эпохи модерна — Федора Лидваля. Да, этот молодой человек имел отличную школу, однако самостоятельных работ и солидного круга заказчиков у Оля еще не было. Но... как сказал бы Некто в сером, «богатство уже искало его...»: Андреев рискнул дать новому родственнику первую в его жизни самостоятельную работу, при условии, что тот будет проектировать дачу на Черной речке при непосредственном участии самого заказчика — так летом 1907 года начались срочные работы по воплощению в жизнь андреевской мечты. А вскоре Андрей Оль и «ветреная Риммочка» обвенчались и у зятя Андреева появилось забавное семейное прозвище — Дрюнечка.

Дом на Черной речке стал архитектурным дебютом Дрюнечки, и через год — когда вилла «Аванс» была возведена — у того появилось множество заказов, к примеру, он построил сохранившийся до наших дней особняк Белозерского на Дворянской улице (ныне улице Куйбышева) в Петербурге. Его творческая жизнь — в отличие от человека из пьесы Андреева, тоже, кстати, архитектора по профессии — сложилась довольно удачно: дожив в СССР до глубокой старости — что, в общем-то, само по себе — великое счастье, Андрей Андреевич построил немало интереснейших зданий. Увлекаясь конструктивизмом — он стал автором застройки кварталов в районе Автово, соавтором знаменитого «Большого дома» на Литейном, 4, в Ле-

нинграде, Смоленского рынка в Москве... И в конце концов сделался академиком архитектуры, возглавил группу по восстановлению Петродворца после Великой Отечественной войны. Вот таким образом летом 1907 года Леонид Андреев дал Андрею Олю «путевку в жизнь».

И в то же время это лето омрачалось путаницей и бестолковщиной «на сердечном фронте»: скупая андреевская запись на той же страничке старого дневника носит неприличный, едва ли не фарсовый характер: «Ищу женщину. Которую мог бы полюбить и на которой мог бы жениться. Пока безуспешно. Летом нашел нечто как бы подходящее и она отдалась мне — но она беременная, и ушла опять к мужу. Полюбилась зато еще одна женщина — тоже беременная, и я немедленно охладел, узнав. Есть две женщины, которых я заставляю в себя влюбиться, но безуспешно... Мечтаю о горничной, с которой можно совокупляться»[1]. Однако в подоплеке событий не было никакого фарса, тоскующее сердце Андреева, которым, по его собственному признанию, «безраздельно и страшно владела мертвая Шурочка», жаждало спасения в новой любви.

Как человек умный, Андреев, вероятно, понимал, что найти замену Шурочке не так-то просто, что прошло всего полгода после ее смерти и что, в конце концов, принятый годовой траур по умершему есть не просто высохший ритуал, а нечто органичное, поскольку душа вдовца еще не готова к новому роману и надо дать событиям развиваться естественно... Умом-то он понимал, и свидетельство тому — его письмо Максимушке: «Мне нужна жена, то есть не только тело, но и душа, та особенная женская душа, которой не заменят тысячи мужских душ...»[2] Но... по свойству характера своего Леонид Николаевич просто-напросто не мог существовать без пары, а потому почти в каждой встреченной им молодой женщине он видел потенциальную подругу. И немедленно приступал к активным действиям по устройству нового брака, давая тем самым повод для обильных насмешек и сплетен.

Парадокс, но, будучи окружен женщинами, которые, как писали в газетных фельетонах, в массовом порядке высыпали на улицы Куоккалы, лишь только прослышав, что красавец и знаменитость Леонид Андреев катит по аллее на велосипеде или же едет из города на извозчике, наш герой своей внезапно вспыхнувшей страстью отпугивал почти всех потенциальных «невест». Первый случай, о котором говорится в дневнике, относится к младшей сестре Георгия Чулкова Любочке: брак

---

[1] Дневник. С. 218.

[2] Цит. по: Там же. С. 284.

с известным психиатром и директором психиатрической клиники им. А. А. Морозова Федором Ивановичем Рыбаковым не помешал этой молоденькой кокетке влюбить в себя знаменитого беллетриста и драматурга. Жена Георгия Чулкова Надежда Григорьевна вспоминала, что «познакомившись с Любовью Ивановной, Леонид Николаевич стал нашим постоянным гостем. Иногда он приглашал нас к себе на обед в Куоккалу, где жил с матерью, сестрой и братьями, гостившими у него летом. <...> Мы много гуляли, катались на лодке в Черной речке, вместе обедали и засиживались до позднего вечера. Он делился с нами своими планами его литературных работ, его замыслами о новых книгах и мечтами о будущей даче в Финляндии».

Итак, наш герой без памяти влюбился в Любочку Рыбакову — «очень красивую молодую женщину, веселую и кокетливую». На некоторое время он почувствовал, что душа его возрождается, и «...кончилось тем, что он признался в любви к Любови Ивановне, написал ей несколько писем, полных восторга от ее красы и очарования», и, когда их отношения стали предельно близкими, Андреев умолял Любочку «расстаться с мужем и быть его женой. Но Любовь Ивановна не хотела пожертвовать своей семьей»[1].

Следующей «путеводной звездой» Андреева стала Верочка — жена главного редактора и совладельца петербургского издательства «Шиповник», сотрудничество с коим у Андреева начинается именно этим летом. Ходили упорные слухи, что Вера Евгеньевна Копельман и сама влюбилась в Андреева, но, как рассказывал Корнею Чуковскому «патрон» Копельмана директор «Шиповника» Зиновий Гржебин, была она в ту пору беременна, и она — как и Любочка — не решилась расстаться с мужем. Кстати, отношения между Верой Евгеньевной и Леонидом Николаевичем остались дружескими и нежными, сама не чуждая литературной работе, она была бессменным секретарем издательства «Шиповник», а после смерти Андреева — под своей девичьей фамилией — Беклемешева — опубликовала о нем трогательные воспоминания.

Циничный Корней Чуковский рассказывал, что после отказа Верочки «Андреев тотчас сделал предложение сестрам Денисевич — обеим сразу»[2]. Что ж, с точки зрения лихорадочно стучавшего сердца Леонида Андреева, это — исторически недостоверное — утверждение выглядит правдоподобно. Правда здесь и то, что летом 1906 года в Куоккале Корней Иванович познакомил писателя с двумя переехавшими когда-то —

[1] Там же. С. 283.
[2] Чуковский 1. С. 118.

как и сам Чуковский — в Петербург из Одессы сестрами Денисевич с экзотическими для того времени именами — Виктория и Матильда. Отсюда следует, что именно он, в конце концов, и «женил» Андреева. Сестры были дочерьми довольно известного петербургского юрисконсульта Ильи Денисевича. Матильда к тому времени уже воспитывала маленькую дочь, а скрипачка Виктория казалась свободной, и, вероятно, поэтому Леонид сначала влюбился в нее и даже просил «стать его путеводной звездой», но вдруг обнаружилось, что и Виктория уже состояла в тайном гражданском браке с высланным в Сибирь революционером Вадимом Абрамовичем Фельдманом.

Тола или Толя — как ласково называли друзья Викторию Денисевич — вскоре, отчего-то предпочтя комфортабельной жизни на диковинной вилле с первым — после Толстого — литератором России путь жены декабриста, укатила в Сибирь — к нищему, томящемуся в ссылке Фельдману, чтобы организовать ему побег и выйти за него замуж. А женился-таки писатель... на ее родной сестре Матильде, и — под именем Анны Ильиничны Андреевой —она очень скоро войдет в нашу книгу полноправной героиней. Однако до этого — весьма интересного события — еще несколько месяцев, и женские фигуры в сердце Андреева — как в картине бала из его будущей пьесы «Черные маски» — продолжают сменять друг друга. Четырехлетний Вадим запомнил, что после приезда в Россию «все эти женские лица непрерывно сменялись, сменялись духи, меха, шелковые платья, руки в кольцах, в браслетах, без колец и браслетов, льстивые, ласковые, грубые. <...> Их было так много, что в моем представлении они слились в один волнующий, струящийся, пахнущий духами, призрачный образ».

Этот «призрачный образ» никак не хотел обретать реальных очертаний. Парадокс, но Андреев теперь чувствовал себя гораздо хуже, чем в юности: будучи в зените славы, будучи ежедневно и ежечасно атакуем поклонницами... «Многие женщины, — вспоминал Вадим, — пытаясь завоевать отца... начинали свои военные действия с захвата самого легкого победного пункта, то есть с меня»[1]. Но как только Андреев увлекался сам — дама-призрак непременно ускользала и он снова оставался один на один с тенью мертвой Шурочки. Через полгода, оценивая прошедшее с ним осенью и летом 1907 года, писатель с ужасом признается Максимушке, что «гонялся за мыльными пузырями, задрав кверху пьяно-плачущую рожу», а очнулся с привкусом «дешевого мыла» и на языке, и на сердце[2].

---

[1] Детство. С. 25.

[2] Переписка. С. 302.

«Как-то в сумерках туманного петербургского... дня, когда на улицах только что зажглось электричество, я, идя по Морской, столкнулся на мокром тротуаре с хорошо одетым широкоплечим человеком в собольей шапке того покроя, какие носили при Иване Грозном опричники и сокольничие. Человек, столкнувшись со мною, окликнул меня и, засмеявшись, раскрыл руки для объятия, — тогда я тоже узнал его: это был Леонид Андреев». Николай Телешов, хозяин московских литературных «Сред», бывший когда-то «отцом» на свадьбе Леонида и Шурочки, оставил моментальное фото андреевского быта той осенью: «На Каменноостровском была у него в одном из шикарных “небоскребов” квартира... Настасья Николаевна, по старой памяти, встретила меня тоже радостно и сейчас же стала хлопотать о чаепитии. Хотя сын ее зарабатывал теперь очень много и жил большим барином, Настасья Николаевна оставалась все той же, как и прежде, в дни бедности: простодушной, радушной старушкой, в широкой старомодной кофте. Говорила все тем же “орловским” говором: “идеть”, “пьеть”... Когда сын зачем-то вышел из столовой, она не удержалась, чтобы не поговорить со мной “по душе”, как со старым товарищем Леонида, все о нем же, о своем любимце.

— Хоть бы женился поскорее! — начала она, наливая мне чаю. — Дал бы бог! А то мечется от одной к другой, от другой к третьей, покою себе не находит. Такой же он был и прежде, когда холостой был: мечется-мечется то к одной, то к другой, то к десятой! Ну, а женился на Шурочке, и жили хорошо, успокоился! Бывало, как напишет страничку, так сейчас запрутся в кабинет и читают вместе: вот ведь как жили-то!.. Как похоронили мы Шурочку, он и тоскует. Зашибать стал опять частенько. А ведь ему нельзя пить, не простой это человек — особенный!» Телешов привел еще один трогательный эпизод отношений матери и ее «особенного» сына: надев старинные очки, Анастасия Николаевна читала все рецензии, что выходили об Андрееве: в Петербурге существовало специальное «Бюро рецензий», где по заказу Андреева ежедневно (!) вырезались из газет все имеющие к нему отношение статьи, выходившие в Российской империи. «Уж я сама сначала читаю: которые похуже, то отбираю да прячу, ему не показываю»[1], — признавалась Телешову мать Леонида Николаевича.

«Небоскреб», о котором упоминает Телешов, до сих пор составляет один из четырех углов Австрийской — бывшей Оружейной — площади в Петербурге, и ныне висит на одной из его стен памятная доска: « В этом доме... с... по... проживал Леонид

[1] Телешов.

Андреев». Впервые поднявшись на пятый этаж этого дома, Александр Блок тотчас заметил соразмерность новой квартиры с состоянием души человека, «носившего в себе хаос»: «Андреев жил на Каменноостровском, в доме страшно мрачном: огромная комната — угловая, с фонарем, и окна этого фонаря расположены в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну — и убегают фонари Каменноостровского цепью в мокрую даль. Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна».

Эта встреча произошла 26 сентября 1907 года на первой — из двух — литературной «Среде», но уже не телешовской — андреевской. Леонид Николаевич, пока что не понимая, что веселый, доброжелательный, гостеприимный, хлебосольный и даже несколько фамильярный московский дух совершенно неприемлем ни в этом городе, ни в этой квартире, где от прежней — теплой и уютной — жизни в Грузинах остался лишь самовар Анастасии Николаевны, ни, главное, в нем самом, — наивно пытался привить московский образ жизни петербургскому литературному кругу: «В комнате — масса людей, почти все писатели, много известных... между ними чернеют провалы как за окном, и самый отдаленный от всех, самый одинокий — Леонид Андреев; и чем он милее, чем любезнее, как хозяин — тем более одинок»[1]. На этом вечере сам хозяин должен был прочесть свой новый рассказ «Тьма» и далее — будущий лауреат Сталинской премии и автор «Севастопольской страды», а в 1907-м — писатель Сергеев-Ценский — представить свой, только законченный, опус. Но, как расскажет Блок своей матери, «...у Андреева болел зуб, поэтому его новый рассказ читал вслух я. Были там все — Юшкевич, Чириковы, Сергеев-Ценский, Волынский, Тан. Из декадентов выбраны пока Сологуб, я и Чулков. Новый рассказ Андреева называется Тьма, написан на тему "стыдно быть хорошим"...»[2].

Есть и второй взгляд на этот петербургский вечер, где Андреев, опять-таки по меткому блоковскому слову, стал определять художественную физиономию столицы. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, чей рассказ читался после андреевского, совершенно не принял «Тьму», и атмосфера, воцарившаяся в комнате, после того как Блок прочел рассказ, показалась ему откровенно фальшивой: «Андреев дал читать Блоку. Когда Блок закончил чтение, Андреев попросил его высказать свое мнение. Блок тем же торжественным тоном, что и чи-

---

[1] *Блок А. А.* Памяти Леонида Андреева. Цит. изд. Т. 6. С. 134.
[2] Там же. Т. 8. С. 210.

тал, только с каким-то священным трепетом, ответил, поднявшись с места: "Леонид Николаевич!.. Вы — гениальный писатель... Все, что написано Вами до сего времени, — гениально. Но в этой вещи вы превзошли самого себя"». Сергеев-Ценский — эпигон, которого через некоторое время назовут «главным недостатком Леонида Андреева», явно недооценил рассказа, и поэтому и отклик Георгия Чулкова: «"Тьма" — самая глубокая, самая всеобъемлющая, самая гениальная из всего, что вы написали»[1] — опять-таки вызвал у него лишь насмешку.

Да и вообще немногие в ту пору смогли по достоинству оценить этот текст, входящий ныне в круг лучших произведений Леонида Андреева. Блок, придя домой после вечера у Андреева, значительно умерил восторг, сообщив матери, что рассказ — «...не из лучших для Андреева. Есть великолепные места...». В стане Горького «Тьма» была единогласно признана дрянью. «Тьма — отвратительная грязная вещь», — громко объявил Максимушка *urbi et orbi*. Телешов, социально запрограммированный гораздо менее «Максима и его подмаксимовиков», попытался объяснить причину того, что «...за "Тьму" на Андреева определенно обиделись». Объясняя свою позицию в воспоминаниях об Андрееве, московский литератор пытается проанализировать этот рассказ. «Революционер-террорист, скрывавшийся ночью от ловившей его полиции в публичном доме, встречает там озлобленную против всех "хороших" людей проститутку. "Стыдно быть хорошим, когда я плохая!" — говорит она аскету от революции. Это был голос самых низких низов, тех низов, где пребывали "раздавленные жизнью" проститутки, воры, сутенеры, подлецы, мерзавцы, трусы. Они хотели равенства по-своему, и Андреев указал на пламенную ненависть этих низов ко всем "хорошим", даже к хорошим революционерам, указал на ужас этой безнадежной "тьмы", которая разобьет в черепки и втопчет в грязь все, что было выше их, даже революцию, если когда-нибудь эта "тьма" будет призвана действовать. Но герой Андреева, потрясенный грозным видом неизбежной русской "тьмы", теряет веру в революцию: она никого не спасет, пока существует "тьма слепых от рождения". Действительно, после неудавшейся революции рядовая интеллигенция полезла в "тьму". В особенности ударил по больному месту девиз "темноты": "стыдно быть хорошим", который приписали самому автору»[2].

---

[1] *Сергеев-Ценский С. Н.* Воспоминания // Октябрь. 1965. № 9. С. 212–213.

[2] Телешов.

Несомненно, людям демократических убеждений не нравилась такая постановка вопроса: она не нравилась ни эсерам, ни социал-демократам, поскольку главным героем был бросивший революцию революционер. Особенно раздражало их то, что «правда революционера» была вдребезги разбита «правдой проститутки». «Тьма» не нравилась и народникам, так как выставляла их «святую святых» — угнетенный русский народ как скопище закомплексованных подонков и пьяниц. Она не нравилась символистам, поскольку Бог тут никого не спасал, да и вообще был, что называется, «не у дел». Мережковский заявлял, что автор «Тьмы» определенно находится «в сетях дьявола». Не нравилась «Тьма» и литературным критикам: здесь Андреев уже «по-взрослому», почти на равных полемизировал со светлыми образами «падших» женщин, созданными Достоевским и Толстым. Параллели были очевидны: встреча «борца за идею», назвавшего себя Петром, и проститутки Любы вольно или невольно проецировалась на отношения Раскольникова и Сонечки Мармеладовой, отражалась здесь и другая — уже толстовская — парочка: Нехлюдов — Екатерина Маслова. Но если падшие женщины у Достоевского и Толстого «вызволяли» души героев из тьмы, то в случае Андреева — падшая женщина своими идеями — наоборот — утягивала героя в беспросветную тьму.

Поначалу проститутка Люба оскорблялась, что выбравший ее для любовных утех господин объявил, что не нуждается в ее услугах, и просто завалился на ее мягкие подушки, чтобы выспаться после нескольких бессонных ночей. Проснувшемуся на ее кровати мужчине она объявляла, что углядела в его кармане револьвер и теперь донесет в полицию. Слова не знающего ни женщин, ни вина революционера о том, что он сражается за народное — и в частности — ее благо, возмущают проститутку до такой степени, что она сначала бьет человека, назвавшего себя Петром, по лицу, а потом из глубины ее души вырывается парадоксальная, вскоре ставшая классической реплика: «Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я — плохая?» Одной этой реплики хватило революционеру, который послезавтра собирался пойти «на смерть для людей», чтобы «вдруг с тоскою, с ужасом, с невыносимой болью он почувствовал, что та жизнь кончена для него навсегда, что уже не может он быть хорошим». Оставшись с Любой в борделе, в одну ночь герой узнал и женщину, и вино, а напившись пьяным, он проповедует перед Любиными коллегами — проститутками: «Зрячие! выколем себе глаза, ибо стыдно, — он стукнул кулаком по столику, — ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем

осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем во тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо, — это уже не рай, девицы, а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли». Предав свое дело, Петр наутро оказывается преданным полиции своими собутыльницами, его арестовывают, тем самым разлучив с проституткой Любой.

Совершенно неясно, кстати, на что обиделись писатели-общественники: дело в том, что проститутка Люба прониклась-таки идеей революционной борьбы и незадолго перед арестом объявила проснувшемуся герою, что готова идти с ним на баррикады, но он-то уже «погасил огни и полез во тьму». Ограниченным кажется сегодня и заключение Мережковского: в своей последней статье «Абсолютная реакция: Леонид Андреев и Дмитрий Мережковский» это блестяще доказал поэт, переводчик и тончайший литературный критик Серебряного века Николай Максимович Минский. Минский, перечитывая «Тьму» уже в эмиграции, в 1937 году писал, что здесь у Андреева «заключается завет какой-то новой любви, с культурно-европейской точки зрения, может быть, и не понятной, любви как бы бездейственной и не греющей, а, на самом деле, наиболее энергичной и сжигающей». Подчеркивая, что Андреев является наследником «по прямой» не только Достоевского, но и Толстого и Герцена, Минский просто и убедительно «вычерчивал» линию наследования: «Чем оправдывалось русское народолюбие? Верой в православие — у славянофила Достоевского, в душевную святость — у Толстого, в общину — у Герцена... Какая из этих вер дожила до наших дней? Все они умерли; осталась лишь неоправданная и тем более страстная любовь, и ее глашатаем является Андреев. Но там, где умирает вера, рождается личность — и поэтому тьма Андреева кажется не непроглядной»[1].

Почти та же «стена непонимания» окружила и новую пьесу Андреева «Царь-Голод». Как мы помним, еще на Капри он рассказывает Вересаеву о целом цикле пьес принципиально новой формы, «без реализма и символизма»: после «Жизни человека» были объявлены «Голод», «Война», «Революция». «Царь-Голод» был твердо обещан театру на Офицерской, все лето и сама Вера Федоровна, и ее брат — начинающий тогда режиссер — Ф. Ф. Комиссаржевский беспокоились о пьесе,

---

[1] *Минский Н. М.* Абсолютная реакция: Леонид Андреев и Дмитрий Мережковский. http://az.lib.ru/m/minskij_n_m/text_0180.shtml. Дата обращения 30.10.2011.

которую Андреев намеревался закончить в августе. Поступали «слезные» просьбы и от других театров. Однако за целое лето он так и не смог перенести на бумагу уже сложенную в воображении драму. Лишь в октябрьском — очень коротком письме Максимушке Андреев упоминает о том, что «в шесть дней соорудил “Царя-Голода” — кажется, вещь большая и серьезная. Сегодня читал на “Среде”»[1].

Пьеса эта задумывалась давно, одновременно с «Жизнью человека», еще в 1906 году Андреев упоминает о замысле в письмах обоим режиссерам МХТ: в его фантазии эта — новая пьеса — «сложная, громоздкая, декоративная почти до степени оперы или балета»[2]. «Царь-Голод» — вторая часть цикла драматургии новой формы, такой, «что декаденты рот разинут», как хвалился когда-то Андреев Горькому, — была закончена к осени 1907-го. Действительно, композиция пьесы, ее сюжет, язык реплик, почти полная обезличенность «хора» персонажей напоминают либретто оперы, думаю, эта пылящаяся в шкафу русского театра драма еще поджидает своего Берга или Сати.

Причудливая фабула пьесы опять-таки не отражала ничьей персональной истории, это была история бунта голодных, жестоко подавленного сытыми: в Прологе три аллегорические фигуры Царь-Голод, Смерть и Время-звонарь сговорились устроить бунт голодных людей, чтобы, во-первых, накормить до отвала Смерть телами сытых, а во-вторых, восстановить справедливость на Земле; в последующих двух картинах — Царь-Голод, проповедуя среди рабочих и люмпена идею бунта, доводил до кипения «революционную ситуацию». Идущая за ними — довольно любопытная картина «Суд над голодными» являлась «последней каплей», эта трагическая карикатура на судилище была сделана со скрупулезностью бывшего юриста: здесь голодных — одного за другим — осуждали на смерть за украденный кусок хлеба, а хор сытой публики, пришедшей пощекотать свои нервы, как в римском цирке, обсуждал подробности внешности осужденных и вступал с ними в игривый диалог. И далее они — сытые — дрожали и прощались с жизнью, запертые бунтом голодных на прекрасной вилле. Однако Царь-Голод предал-таки голодных сытым, и в последней картине на красной — от пролитой крови — площади победители — как в музее — расхаживали среди трупов побежденных, а те вдруг — поднимали мертвые головы и открывали мертвые рты — и вот уже над площадью стоял ропот голодных мертвецов:

---

[1] Переписка. С. 300.

[2] *Андреев Л. Н.* Драматические произведения: В 2 т. Т. 1. Л.: Искусство, 1989. С. 504.

«Мы еще придем. Мы еще придем. Горе победителям». Пьеса заканчивалась практически так же, как и «Красный смех»:

«— Мертвые встают!

— Мертвые встают!

— Они гонятся за нами!

— Скорее!

— Бегите! Бегите! Мертвые встают!

Толкаясь, падая, сбивая с ног рыдающих женщин, с диким воем убегают. И, вытянувшись к убегающим всем своим жилистым телом, в исступленной, безумной радости

кричит Царь-Голод:

— Скорее! Скорее! Мертвые встают!

Опускается занавес».

Интересно, что вторая андреевская «Среда», где собственно и читался экспрессионистский и по своей форме, и по своей сути «Царь-Голод», произошла во вторник, 9 октября. Дело в том, что в среду 10-го в театре Комиссаржевской была объявлена премьера спектакля Мейерхольда «Пеллеас и Мелисандра» по метерлинковской пьесе и большинство участников «Среды» да и сам Андреев намеревались быть в театре, по этой-то причине и решили собраться во вторник. Автор сам прочел пьесу вслух и — с удивлением понял вдруг, что она не произвела на слушателей того оглушительного впечатления, которого он так ждал. «“Голод” понравился не очень. Кудревато и не страшно», — немедленно сообщил он своему — теперь уже издателю — Гржебину. Однако писатель прекрасно помнил более чем прохладные отзывы первых читателей «Жизни человека», и уже дважды к тому времени посмотрев спектакль Мейерхольда, он отлично помнил и ажиотаж, связанный с этой постановкой. У Андреева сложилась упрямая уверенность, что воплощенный на сцене «Царь-Голод» произведет еще более сильный эффект, чем «Жизнь человека».

Увы! При жизни Андреева пьеса, которую он, несмотря на появившиеся вскоре практически сплошь ругательные отзывы критики, считал одной из самых удачных своих работ, поставлена так и не была. Вышедшая в 1908 году отдельной книжкой с иллюстрациями мирискусника Евгения Лансере в издательстве «Шиповник», она тут же была запрещена к постановке цензурой. На русской сцене целиком «Царь-Голод» мог бы появиться, кажется, лишь однажды — осенью 1921 года в Первом рабочем театре Пролеткульта. Эта организация рабочей самодеятельности при наркоме просвещения А. В. Луначарском, который, к слову, когда-то назвал «Царь-Голод» «революцией, отраженной в голове мещанина», со дня своего основания оказалась «кузней» новых кадров, дав советской профессиональной сцене

да и кинематографу мощный импульс развития. Режиссером спектакля был назначен никому теперь не известный режиссер В. В. Тихонович, художником же — никому неизвестный тогда — С. М. Эйзенштейн. «Готовим мы Голод к первому октября, получается очень интересным», — писал будущий автор «Броненосца Потемкина» своей маме летом 1921-го. Однако «Царь-Голод» так и не появился на сцене театра. «С "Царем голодом" очень большие осложнения — в связи с просто "голодом" боятся его идеологической стороны, и 90% за то, что он не пойдет. Мою двухмесячную работу конечно оплатят, но будет страшно обидно — это был бы колоссальный бум...»[1] — жалуется он в конце лета. Нехорошие предчувствия оправдались: «Царь-Голод» так и остался по сей день фактически «неоткрытым» для театра.

Вторым на этой «вторничной» среде 9 октября 1907 года читал свои стихи Александр Блок.

Неподвижность не нарушу
И с высоты не снизойду.
Храня незыблемую душу
В моем неслыханном аду —

таким казался себе поэт в 1907 году, том самом, когда он впервые пожал руку Андрееву. В личной жизни Блока был в ту пору если не ад, то нечто очень близкое к аду: его «Прекрасная дама» и «Вечная жена» — Люба Менделеева-Блок металась между мужем и его близким другом — другим поэтом — Андреем Белым. Эта — мучившая Блока уже два года — ситуация одновременно лишала поэта и друга, и жены, и нервы его были на пределе. Личная трагедия, которая еще недавно столкнула в ад душу Андреева, как мы знаем, все еще мучила писателя. Казалось, писатель и поэт могли стать друзьями, но... Пересечение двух линий жизни было — как и полагается — точечным: их отношения, энергично завязавшись осенью 1907-го — уже в следующем году практически сошли на нет...

В прошлом у Андреева и Блока просто не было пространства для личной встречи, жили они в разных городах, а кроме того, поэт родился и взрослел как «младосимволист», а следовательно, принадлежал к «мешку декадентов», Андреев же поначалу прочно увяз в мешке «писателей общественников», где Блока считали русским изданием «худшей половины Поля Верлена», мальчиком, «слишком жадным к славе», «с душою без штанов и без сердца»[2]. Отношения Блока и Андреева довольно загадочны. Леонид Николаевич был старше Алек-

---

[1] Цит. по: *Забродин В. В.* Эйзенштейн: Попытка театра. М.: Эйзенштейн-театр, 2005. С. 100—101.

[2] См.: Переписка. С. 287.

сандра Александровича всего лишь на девять лет, печататься они начали почти что одновременно, но на момент личного знакомства писатель был уже в зените славы, поэт же — лишь поднимался на Парнас и «страшно стеснялся всех известных писателей». Конечно, по происхождению, воспитанию, образованию, образу жизни сей «декадентствующий мальчик» был весьма далек от нашего героя, но все же и близок, близок — в ином измерении: «Как бы ни был странен, инфантилен, потенциально двупол великий Блок, страдавший сексуальным инфантилизмом и нарциссизмом, он признал в Андрееве... своего человека — человека величайшей интуиции и большого чувствователя мрака и хаоса»[1].

Сам Блок много размышлял о своей — метафизической — общности с Андреевым: «Связь моя с Леонидом Андреевым установилась и определилась сразу, задолго до знакомства с ним; ничего к ней не прибавило это знакомство; я помню потрясение, которое я испытал при чтении “Жизни Василия Фивейского”». Чувствуя и зная, что «катастрофа близка», поэт вычитал нечто сходное и в андреевской повести. Потом поразил его «...“Красный смех”, потом — особенно ярко — маленький рассказ “Вор”». Так, еще до первой русской революции Блок ощутил внутреннее родство с Андреевым и дал ему знать об этом: «О рассказе этом («Вор». — *Н. С.*) я написал рецензию, которая была помещена в журнале “Вопросы жизни”, рецензия попалась в руки Л. Андрееву и, как мне говорили, понравилась ему». Так, считал Блок, состоялась их первая встреча: «...я перекликнулся с ним, — вернее, не с ним, а с тем хаосом, который он в себе носил; не носил, а таскал, как-то волочил за собой, дразнился им, способен был иногда демонстрировать этот подлинный хаос, как попугая или комнатную собачку...»[2]

Хаос этот Блок объяснял тем, что писатель Леонид Андреев как никто другой чувствует и предчувствует ту «великую», «мучительную», «страшную» эпоху, «в которую мы живем», и что при всей «корявости» его мировоззрения и экспрессии автор «Ангелочка» и «Жили-были» «мучается проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, зная ее немногим больше меня, пожалуй...»[3]. Читая и рецензируя ранние, еще реалистические рассказы Андреева, Блок находил, что и они «горят безумием; в сущности, всё это один рассказ, где изображены с постепенностью, сдержанностью огромного таланта все стадии перехода от тишины пошлой обыденности к сумасшествию».

---

[1] *Смирнов А.* Вокруг «Розы мира».
[2] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 6. С. 131.
[3] Там же. Т. 8. С. 199.

Что ж, Александр Александрович довольно тонко чувствовал Леонида Николаевича как писателя, но лично мне кажется, что молодой Блок отчасти придумал себе человека Леонида Андреева, выдумал его как товарища, как старшего брата в литературе, с которым мог бы разделить собственный «хаос», свой душевный «ад», свое понимание эпохи, свой страх, свое одиночество. Читатель Блок, как ни странно, испытывал такое же магическое притяжение к андреевским текстам, что и широкие читательские круги, образы и слова Андреева чрезвычайно сильно воздействовали на Блока. В 1907-м он был настолько «ужален» «Жизнью человека» в театре Комиссаржевской, что, как мы помним, на каждом представлении стоял в темноте прямо на сцене за спиной артиста Бравича, жадно ловя каждое слово, как бы немым свидетелем участвуя в спектакле по андреевской пьесе. Ему казалось, что каждая ее фраза — «безобразный визг, как от пилы», поэт почти физически ощущал, как «эти визги и вопли» проникают в его душу, говорил, что оба — он и Андреев — «отчаявшиеся и отчаянные». А когда — на банкете после премьеры — одна из его знакомых актрис — Валентина Веригина — позволила себе нелицеприятно отозваться о драматурге, Блок резко и даже грубо возразил ей и немедленно ушел.

Тем сильнее было блоковское разочарование, когда они с Андреевым встретились «наяву», случилось это, вероятно, 18 сентября в Театре на Офицерской, где «знаменитый человек в куртке особого покроя» впервые видел собственную пьесу на сцене. «Хаоса никакого я не нашел, — с удивлением отмечал Блок, — передо мной был просто известный уже писатель».

Об этой разочаровавшей его «простоватости» своего кумира он будет упоминать неоднократно, однако, придя через неделю к Андрееву на Каменноостровский, — Блок вновь почувствует родство: то одиночество и тот хаос, что так притягивали его в нем. «В тот вечер на фоне мокрой дали с цепочками фонарей был мне мил Л. Андреев, милее, чем в некоторые другие разы, потому что он, сколько я помню, был прост и немного застенчив и не демонстрировал своего хаоса, своей страшной комнатной собачки, которая тем и страшна, что, когда ее увидишь, не испугаешься, а невидимую — чувствуешь»[1]. Уже в 1922-м — после смерти Андреева и незадолго до собственной — Блок напишет: «Сравнительно с тем, что знали мы с Андреевым друг о друге где-то в глубине, — все встречи и письма, а тем более разговоры об иудаизме, Протопопове, гер-

[1] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 6. С. 132.

манофильстве и т. д. были — сплошным вздором, бессмысленной пошлостью. И однако, если бы сейчас оказался в живых Л. Н. и мы бы с ним встретились, мы бы также не нашли никаких общих тем для разговора, кроме коммунизма или развороченной мостовой на Моховой улице»[1].

Андреев же, вероятно, не видел, да и не чувствовал тогда «сверхсюжетных» нитей между собой и Блоком, его увлечение стихами поэта — а некоторые из них, например, «Девушка пела в церковном хоре» — он знал наизусть, выглядит вполне прозаическим: ему нравились эти стихи. И до их личного знакомства он считал Блока «весьма талантливым» поэтом и в последующие годы все так же внимательно относился ко всему, что делал Блок: «Только что прочёл прекрасную драму... "Роза и Крест"; при всей своей символичности, драма великолепно обоснована психологически и дает впечатление живой и волнующей правды»[2].

Впрочем, и у Андреева будут свои душевные драмы, связанные с поэтом: в 1916 году он пригласит Блока в «Русскую волю», а когда тот откажется сотрудничать, поскольку идейная сторона газеты казалась в его среде весьма сомнительной, — тот не на шутку обидится. И вспомнит этот эпизод в 1918 году: тогда в дневнике проклявший большевиков Леонид Андреев с горечью цитирует блоковскую поэму «Двенадцать», которую тот напечатал в большевистской газете «Знамя труда», недоумевая, как мог этот «декадентствующий мальчик» опуститься до частушки на злобу дня... И, позабыв, что и сам поставил когда-то рядом с Христом — Иуду, писатель с горечью возмущается, как мог в душе у бывшего младосимволиста родиться Христос, ведущий по России банду антихристов. Он пытается найти оправдание. «У Блока нет детей, — пишет он в дневнике. — Иметь детей — это быть миланским собором в мраморных кружевах; без детей — бетонированный форт или гладко-кирпичная крепостная стена»[3].

Так, в конце жизни Андреев вдруг думает о Блоке, он мучительно ищет ответа на вопрос, почему тот ушел к большевикам, и он справедливо предчувствует, что русская литература простит Блоку это предательство, потому что «он — поэт»[4]. Нет, ошибался Александр Александрович, им было бы о чем поговорить с Леонидом Николаевичем, встретившись в 1922-м на развороченной мостовой Моховой улицы...

---

[1] Там же. С. 135.
[2] Переписка. С. 292.
[3] S.O.S. С. 61.
[4] Там же. С. 226.

Теперь же, в 1907-м, Леонид Андреев испытывает дружескую симпатию и ищет общества Александра Блока еще и потому, что в 1907 году, «вывалившись» из «мешка» общественников, он внимательно высматривает новых «попутчиков», иными словами, иную, близкую ему теперь, писательскую среду. Фамилии Блок, Белый и Сологуб все чаще мелькают в его письмах, и, в сущности, именно Блок и Сологуб стали формальным поводом к окончательному разрыву Андреева со «Знанием» и «милым Максимушкой».

Еще на Капри — в январе 1907-го — Леонид Николаевич получил «новую должность»: Горький и Пятницкий, желая как можно скорее вернуть безутешного вдовца к нормальной жизни, предложили ему редактировать сборники издательства «Знание». Разумеется, этот резон был далеко не единственный — с конца 1906 года доходы товарищества «Знание» резко упали, как-то внезапно закончилась и всероссийская слава Горького, нет, разумеется, книги его раскупались, подцензурные пьесы — ставились, но... Мережковский в статье «В обезьяньих лапах» объявит приговор: «Публика любила — и разлюбила Горького». Философов в статье «Конец Горького» приведет его в исполнение. Ни повесть «Мать», ни пьеса «Враги» не принесли прибыли, тиражи его книг стремительно падали. По обеим столицам ходили упорные слухи о финансовых сложностях в горьковском издательстве, и авторы-знаньевцы начинали заметно нервничать... А между тем истерическая любовь публики к Леониду Андрееву день ото дня лишь усиливалась, и на вопрос, был ли он уже очень близок к вершине или еще нет, когда он ее достигнет и достигнет ли в принципе, никто не брался ответить. Однако — его имя, его энергия, его — более толерантные, чем у Горького — отношения с беллетристами и критиками — все это должно было «встряхнуть» мешок «писателей общественников», влить туда новую кровь, вдохнуть новый кислород в еще недавно успешный, теперь же несколько прокисший издательский бизнес Горького и Пятницкого.

Расчет оказался верным, подсознательно тоскуя по «Курьеру» и вообще редакционной работе, тоскуя вообще, Андреев с великим энтузиазмом «бросился в бой». Он определил круг авторов, он читал все новые российские журналы и альманахи, он списался с Буниным, с Чириковым, со Скитальцем, с Серафимовичем, с Зайцевым, он советовался со всеми, кто мог дать ему совет. Его официальное «вступление в должность» должно было состояться летом 1907 года, первый сборник, подписанный его именем — № 21, — должен был появиться осенью 1907 года... Он предполагал, что в будущем «соорудит такие сборники, чтобы небу жарко стало!». «Будут у нас и со-

брания, и — журфиксы, — в грязь лицом не ударим», — вдохновлял новоиспеченный редактор братьев по перу[1]. И самое главное, Андреев предполагал значительно расширить круг авторов, выставляя только одно условие: чтобы попасть в альманах, произведение должно быть художественным.

С этими мыслями он приехал в Россию и развернул бурную деятельность, он приглашал, он уговаривал авторов и даже, — не уточнив у шефа издательства, имеет ли он на это право, — выдал авансы Зайцеву, Серафимовичу и Чулкову. В конце июля, видимо, предчувствуя недоброе, новоиспеченный редактор написал Горькому: «Нужно собирать материал для сборника, вообще начать редакторствовать. Нужно приглашать новых (на одних старых далеко не уедешь, жизнь уходит от них). По-моему, например, необходимо пригласить теперь же: Блока, Сологуба, Ауслендера, еще кой-кого. Как бы не вышло у нас недоразумений»[2]. В том же письме Андреев определял и тему первого сборника: «освобождение человека».

То, что вышло из этого письма, едва ли можно назвать недоразумением, это был форменный гром среди ясного неба. В ответ «друг Максимушка» разразился едва ли не площадной бранью в адрес андреевских «кандидатов»: обозвав Сологуба «старым кокетом, влюбленным в смерть», вылив немало ярости и откровенной грязи на Блока, присовокупив, что «Балаганчик» и «Незнакомка» — шалости, за которые не похвалит даже пьяный, он в ультимативной форме запретил Андрееву приглашать их в «Знание». «Все это старые рабы, люди, которые не могут не смешивать свободу с педерастией, например, для них “освобождение человека” странным образом смешивается с перемещением его из одной помойной ямы в другую, а порою даже низводится к свободе члена — только». Прошли горьковскую цензуру лишь писатели: «Зайцев, Башкин, Муйжель, Ценский, Лансьер, Л. Семенов... вот, на мой взгляд, люди, с которыми ты мог бы сделать хорошие сборники»[3]. Ну и где эти люди, Алексей Максимович? — хочется спросить у Горького сегодня, в начале XXI века. Один Борис Зайцев и прошел цензуру времени, да и то... А Блок и Сологуб — вот ведь странность — по-прежнему хорошо продаются.

Однако тогда — в начале XX — «друг Леонид» не стал вступать с «другом Максимушкой» в подобные препирательства. Вместо этого он — в который раз — признался ему в любви

[1] Переписка. С. 287.
[2] Там же. С. 284.
[3] Там же. С. 288.

и категорически отказался редактировать сборники «Знания». Впрочем, несколько аргументов своего отказа он все же привел: да, писатели Блок и Сологуб не демократичны, и «...если бы я вздумал издавать журнал или книги для народа, для масс — они были бы последними, кого я мог бы пригласить. Но в такой журнал я не пригласил бы и Леонида Андреева, ибо, как он ни демократичен по своему письму, — по форме писаний, по темам своим, по направлению мысли он так же далек от народа, как и они». Желая подсластить пилюлю, Андреев писал другу, что не считает разногласие между ними глубоким: «И если ты даже вдруг рассердишься на меня и скажешь пренебрежительно: “а ну его к черту с его педерастами!”, я увижу в этом только коротенькое недоразумение, и больше ничего»[1].

Но летний обмен письмами окончательно расставил точки над «i» в отношениях двух друзей. Горький понял, что проиграл. И, возможно, сожалея о своей запальчивости, он даже не пытался исправить ситуацию, внезапно осознав, что она — непоправима. Друзья еще обменивались посланиями, стараясь соблюдать «хорошую мину», но в следующем году переписка иссякла. К тому же «недемократический» Андреев ушел не только «с должности» — он вышел из «Знания».

Еще в 1906 году в Петербурге образовался, как поначалу казалось, «дубль» «Знания» — издательство с замечательным и таким характерным северным именем — «Шиповник». Под тем же названием здесь — как и в «Знании» — начали выпускать альманах. Сборники стоили поначалу один рубль, что было по тем временам довольно демократично. Впоследствии тиражи альманаха «Шиповник» доходили и до тридцати шести тысяч экземпляров и цена конечно же подросла. Жизнь «Шиповника» сложилась на удивление удачно: от первой и до второй революции он во многом определял «литературную погоду» России. С 1907 по 1916 год вышло 26 сборников «Шиповника», то есть литературно-публицистический альманах издательство выпускало три раза в год.

Основали это издательство два человека: художник-карикатурист Зиновий Исаевич Гржебин и журналист Соломон Юльевич Копельман, поначалу намерения их были чисто коммерческие и выпускали они плакаты и открытки, но, войдя во вкус, затеяли альманах, а затем приступили и к выпуску книг. Думаю, что у начинающих издателей не было никакой издательской политики, такое в разделенной на враждующие лагеря столичной художественной среде выглядело нонсен-

[1] Переписка. С. 292, 295.

сом, но этот-то «нонсенс» предприимчивые Копельман и Гржебин сделали своей «фишкой». «Собрать, — как писал впоследствии Блок, — наиболее интересное и характерное, что может дать современная беллетристика, живопись, лирика и драматургия, притом и русская, и иностранная»[1]. Во втором выпуске альманаха стихи Бунина шли за стихами Городецкого, а грубая проза Муйжеля соседствовала с рисунками Бенуа. «Помещенные в нем вещи ничем не объединены», — удивлялся Корней Чуковский. Однако активность «Шиповника» и те гонорары, что платили авторам Гржебин и Копельман, нервировали писателей-знаньевцев, и нервировали весьма. Поначалу издатели переманили к себе Куприна и Бунина, а с начала 1907 года — взялись за Леонида Андреева. «Что я могу сказать тебе? — писал Андреев Бунину. — С “Ш[иповником]” я заключил трехлетний договор, по коему 2/3 написанного отдаю им, свободны только драмы... и романы»[2]. Переезд литературной звезды в Петербург оказался настоящей находкой для «Шиповника», немедленно обольстив хотя и преуспевающего, но вечно нуждающегося в деньгах для своей огромной семьи и своих грандиозных проектов беллетриста и драматурга, они с легкостью «перетянули» его к себе.

«Полуимпрессионизм, полуреализм, полуэстетство, полутенденциозность характеризуют правый фланг писателей, сгруппированных вокруг “Шиповника”. Самым левым этого крыла, конечно, является Л. Андреев. Левый фланг образуют откровенные и часто талантливые писатели, даже типичные символисты»[3] — так видел место Андреева в альманахе его усердный читатель и конечно же один из авторов, Александр Блок.

Еще весной Андреев отдает для первой книжки «Шиповника» отвергнутую Горьким «Жизнь человека», летом же 1907 года совладельцы издательства буквально «преследуют» Леонида Николаевича, их предложение стать соредактором альманаха подходит как нельзя кстати: «свобода и художественность» как единственный критерий отбора материалов совпадают с его собственными мыслями: «свободная человеческая мысль, вечно пытующая, вечно ищущая, и как лучшее выражение ее — искусство, литература»[4]. Андреев соглашается печататься в «Шиповнике», а вскоре он и Зайцев становятся соредакторами альманаха.

---

[1] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 5. С. 223.

[2] Письма Л. Андреева и И. Бунина // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 171.

[3] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 5. С. 224.

[4] Переписка. С. 292.

Однако финансовые отношения со «Знанием» выглядят крайне запутанными: Леонид Николаевич, как мы помним, ухитрялся брать у Пятницкого авансы не только под готовые для печали произведения, но и под замыслы, ну а, кроме того, «Знание» издавало собрание его сочинений, дошедшее к моменту разрыва писателя и издательства до четвертого тома. К тому же как постоянный автор «Знания» Андреев ежемесячно получал от издательства зарплату — 600 рублей, с обязательством предоставлять Горькому и Пятницкому все — или во всяком случае большинство новых произведений, отдельно оплачивались гонорары и проценты с проданных томов собрания сочинений и книг. Но проживал-то Андреев в год по крайней мере в два раза больше! И выходило, что он был постоянно должен «Знанию», например, к моменту возвращения в Россию его долг составлял 2400 рублей. К тому же летом 1907 года, покупая землю и начиная строительство виллы на Черной речке, Леонид Николаевич взял в долг еще четыре тысячи. Надо сказать, что андреевская дача дорого обошлась не одному «Знанию» — само ее название вилла «Аванс» — раскрывает суть дела.

Таким образом, личный разрыв с Горьким еще не означал окончательного «развода» писателя с издательством. Между Андреевым и Пятницким завязалась изнуряющая переписка: сначала в счет погашения долга автор предложил «Царь-Голод» и «Тьму», но оба текста были отвергнуты Горьким по идеологическим соображениям. Узнав, что Андреев запросто публикуется в других издательствах, возмущенный и до глубины души обиженный другом Максимушка отказался и от написанной вскоре вполне реалистической пьесы Андреева «Дни нашей жизни». Но тут уж возмутился Пятницкий и напечатал-таки «Дни...» в двадцать шестой книжке «Знания» в 1908 году. Читая все, что выходило из-под андреевского пера, Горький отныне был беспощаден к уходящему из-под шляпки «Большого Максима» другу, ругая его тексты по-менторски жестко и грубо, он всюду провозглашал, что Леонид Андреев «нелепо разбазарил» свой дар. Их финансовые скандалы напоминали отношения разводящихся супругов: дошло до того, что в 1909 году «Знание» чуть было не предъявило к оплате андреевский долговой вексель через суд. После смерти друга Горький, как мне кажется, проговорился о том, что чувствовал в тот год, когда Андреев высокомерно и одновременно очень вежливо ушел из его издательства и из его жизни: «...Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и жадно ожидал»[1]. Финансовая распря тя-

[1] Горький.

нулась вплоть до января 1910 года, причем «друг Леонид» — в отличие от «друга Максимыча» — относился к тяжбе довольно вяло. В одном из последних писем Пятницкому он внешне почтительно и официально, а по сути — крайне высокомерно — попрощался с издательством: «...я приношу “Знанию” мою исключительную благодарность за бесконечную и дружескую поддержку, которую оно оказало мне в первые, наиболее трудные годы моей литературной деятельности»[1]. Написал и — перевернул страницу.

Появившееся как-то вдруг андреевское высокомерие в то время ощутил на себе не один Горький; вся, любимая когда-то Леонидом Николаевичем «московская братия» писателей-телешовцев, те, чьим мнением он когда-то дорожил, внезапно утеряла для нашего героя авторитет. «Собрались у кого-то, не помню, в одном из переулков близ Арбата. Андреев должен был читать новую свою драму “Царь-Голод”. Но приехал он совершенно пьяный. Однако упрямо настаивал, что читать будет сам. И прочел первое действие. Читал заплетающимся языком, неразборчиво, с комично-наивным самодовольством подчеркивая места, по его мнению, особенно удачные. В конце концов, почувствовал, что ничего у него не выходит, и предоставил читать своему другу, С. С. Голоушеву, художественному критику»[2], — описывает эту встречу Викентий Вересаев порой — с чувством недоумения, временами — презрительно, во всяком случае, по интонации это уже явно не та — полная искреннего сочувствия — хроника жизни Андреева-вдовца на Капри.

Любопытно, что в Москве — в отличие от столицы — «Царь-Голод» произвел на товарищей по перу довольно сильное впечатление. Но обсуждения так и не получилось, поскольку сам Андреев никому вопросов не задавал, а другие, видя, в каком состоянии находится «живой классик», не рискнули навязываться ему со своими комментариями. Во время ужина началось, как рассказывал Вересаев, «...что-то андреевски-кошмарное. Перед глазами еще тень беспокойно-страстного Царя-Голода, с глазами, горящими огнем кровавого бунта, смутное движение трупов на мертвом поле, зловещие шепоты: “Мы еще придем! Мы еще придем! Горе победителям!”, а кругом: смешные анекдоты, литературовед залихватски бренчит на рояле, театральный критик с огненно-рыжей бородой и ли-

---

[1] Переписка. С. 526.

[2] Вересаев.

цом сатира подпрыгивает на правой ноге, откинув левую назад и вытянув руку вперед... <...> Андреев сидит рядом со мною на диване и с глубоким отвращением говорит, глядя на танцующих: — Может ли вся эта сволочь понимать тр-рагедию?..»[1].

Что ж... положа руку на сердце, мне трудно заподозрить в Леониде Николаевиче тот сорт уродливой спеси, что появляется порой у провинциала, внезапно угодившего в гущу мировых событий. Правда и то, что теперь к собственной славе — первого, после Льва Толстого, литератора — он отнюдь не всегда мог отнестись с надлежащим юмором. Его коллег удивляло, а порой и возмущало, сколь серьезно реагировал этот «властитель дум» на ругательную рецензию, опубликованную в каком-нибудь «Вятском вестнике». Нет, действительно, такие корифеи символизма, как Анненский, Минский, Волошин и даже Мережковский, так или иначе сравнивали Андреева с Достоевским, Гоголем и Толстым, им бредил Блок, восхищались Андрей Белый и Немирович-Данченко, и вдруг — тот самый Андреев уходил в недельный запой и на несколько дней исчезал из дому из-за статьи г-на Н-ва из Одессы или г-на П-го из Жмеринки. И ведь нельзя сказать, что Андреев-человек был глупее Андреева-писателя, общеизвестно, что Леонид Николаевич был отменно умен... Умен, но как тогда объяснить его монологи о собственной славе, об особой миссии и о том, что ругательная критика отнимает у него силы и отравляет его душу?

«Иногда я чувствую, что для меня необходима слава — много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов, и, когда она получит силу взрывчатого вещества, — я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом»[2]. В правдивости этого, воспроизведенного Горьким, конечно же по памяти, монолога можно было бы и усомниться, если бы не было других свидетелей подобных высказываний Андреева. Нет, прав был Корней Иванович Чуковский, поразительно верно ухватил он суть этого человека: андреевская страсть к лицедейству была едва ли не более сильной, чем его страсть к писательству... И вот теперь роль «первого — после Толстого — российского литератора» исполнялась им предельно серьезно и более того — со страстью.

Еще одна возможность выйти на сцену «в свете прожекторов» представилась ему в декабре 1907 года — в МХТ давали громкую премьеру — второе за этот год сценическое воплощение «Жизни человека». Режиссером спектакля был столь же, как и автор пьесы, знаменитый Константин Сергеевич Ста-

[1] Вересаев.
[2] Горький.

ниславский. Разумеется, это событие выглядело, по меньшей мере, общероссийским: в первом театре империи давали пьесу первого (после Толстого) литератора. Немногие из сидящих в мхатовском зале 12 декабря 1907 года знали о том, что путь «Жизни человека» на сцену МХТ был тернист и весьма извилист.

Общеизвестно, что Леонид Андреев любил Художественный театр, а тот — не отвечал ему взаимностью. Владимир Иванович Немирович-Данченко не раз сожалел об этой безответности МХТ: «Я очень признавал его огромный драматургический талант и старался утвердить его в нашем репертуаре. Большая же часть активных работников театра не оказывала доверия ни его художественному вкусу, ни его — казавшемуся слишком острым восприятию жизни». Наиактивнейший из активных — режиссер, актер, содиректор и пайщик театра Константин Сергеевич Станиславский Андреева действительно не любил и не понимал. Впрочем, в то время он еще доверял литературному вкусу Владимира Ивановича, и тот главным образом и строил репертуар. А у Немировича-Данченко была со дня основания театра заветная мечта — выращивать собственных драматургов прямо в здании МХТ, но — как он признавался сам, «мечта наша создавать собственных драматургов, близких задачам нашего театра, как были близки Чехов и Горький, не осуществлялась. <...> Сильнее всех удержался Леонид Андреев, большой своеобразный драматургический талант, неудержимый и бунтарский»[1].

А у Константина Сергеевича к 1906 году уже сформировалась другая мечта — создать собственную систему воспитания актера, новый способ репетирования, то есть «систему Станиславского». И осуществление этой мечты поначалу очень раздражало Владимира Ивановича. «Вчера он собрал всех сотрудников и сотрудниц, а их около ста и просил изображать кошку, собаку, петуха и проч. и проч. Вся эта толпа мяукала, лаяла, пищала, кричала — и он был в восторге. Это ему, видите ли, надо для Синей птицы», — недоумевал он в середине сезона 1906/07 года.

Вот в такой неспокойной обстановке попала рукопись «Жизни человека» в МХТ. И хотя 19 октября 1906 года Немирович-Данченко лично прочел труппе пьесу «Жизнь человека» и она произвела сильное впечатление, — потребовалось

---

[1] *Немирович-Данченко Вл. И.* Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки: 1877—1942. М.: ВТО, 1980. С. 286.

еще множество усилий, и в частности со стороны судьбы, чтобы эта пьеса увидела свет рампы. Позднее Константин Сергеевич признавался: «Не надо забывать, что я всячески отказывался от постановки "Жизни человека" и... писал Немировичу-Данченко слезное письмо, чтобы не заставлял меня ставить "Жизнь Человека"». Действительно, Станиславскому довольно долго удавалось уклоняться от этой работы, и был он увлечен совершенно другими авторами, в ближайших планах театра значились «Ревизор», «Синяя птица», «Каин» Байрона и «Месяц в деревне». Помог, разумеется, Некто в сером: в августе 1907-го после запрещения «Каина» Святейшим синодом пайщики решают сыграть в конце года премьеру «Жизни человека» Леонида Андреева.

Было и еще одно обстоятельство, обратившее Станиславского в сторону пьесы. В это время он с присущей этому человеку страстью и наивностью (что, кстати, делало его отчасти похожим на Андреева — отсюда и подсознательная неприязнь) искал «новой условности», новых приемов и «новых эффектов» в сценическом оформлении сцены. Лабораторные поиски, что поначалу велись горсткой энтузиастов прямо в квартире у Станиславского, привели к «открытию велосипеда»: эффекта «черного бархата», а по сути — давно уже открытого принципа камеры-обскуры, где предметы внезапно — то появлялись, то становились невидимыми, поскольку в обитой черной тканью комнате их то накрывали черной тряпкой, то откидывали ее. То-то было радости у режиссера. «Я побежал в свою комнату, чтобы разобраться в нахлынувших на меня мыслях и ощущениях и чтоб записать то, что может забыться, когда минута просветления пройдет. Колумб, открыв Америку, не был так окрылен, как я в тот вечер. Вера в значение нового открытия была велика. Какие только комбинации и трюки с черным бархатом не мерещились мне тогда!» — писал режиссер в своей знаменитой книге «Моя жизнь в искусстве». Надо добавить, кстати, что эта радость была связана вовсе не с «Жизнью человека», а с замыслом детского спектакля по пьесе-сказке Метерлинка «Синяя птица»: «Можно будет сделать худые фигуры из толстых, вшивая в бока костюма черный бархат и тем как бы отрезая то, что кажется лишним. Можно будет безболезненно ампутировать ноги и руки, скрывать туловище, отрубать голову, прикрывая ампутированные части тела кусками бархата...» Конечно, подобные замыслы были несколько радикальными для детской аудитории, да и выстроенная на большой сцене камера-обскура превратила подмостки МХТ «в мрачное, могильное, жуткое безвоздушное пространство, на сцене запахло смертью и могилой». Режиссер и художник

(оформивший позднее «Жизнь человека» В. Е. Егоров) с ужасом осознали, что для детского спектакля эффект камеры-обскуры попросту неприемлем. «Но судьба и тут позаботилась о нас, — это утверждение Станиславского представляется мне спорным: судьба в данном случае заботилась вовсе не о нем. — Она послала нам пьесу Леонида Андреева “Жизнь Человека”. “Вот где нужен этот фон!” — воскликнул я, прочтя пьесу».

Пьесу начали репетировать в сентябре 1907-го, на роль Человека был назначен один из премьеров МХТ — уже сыгравший на мхатовской сцене Ваську Пепла и Кассия, будущий Пер Гюнт и Митя Карамазов — Леонид Миронович Леонидов. Жену Человека репетировала тогда — выпускница Студии МХТ 23-летняя Вера Барановская — будущая Ниловна в знаменитом фильме Пудовкина по роману Горького «Мать».

Конечно, средства, вложенные в «Жизнь человека» в МХТ, были несравнимы с практически «безбюджетным» мейерхольдовским спектаклем. Репетиции продолжались три с половиной месяца, каждая картина имела свою собственную декорацию, в спектакле участвовала не просто вся труппа, а весь актерский состав, студия, а в ролях друзей и врагов Человека — другие сотрудники театра. Некто в сером (его исполняли сначала И. М. Уралов, а затем В. В. Вишневский) представал перед зрителями четырехметровым исполином, наглухо закутанный в черный бархатный плащ рукавами до полу (капюшон приоткрывал лишь рот исполнителя), в одной руке он держал длинный муляж свечи, которая заканчивалась (!) электрической лампочкой.

Андреев желал лично участвовать в репетициях, чем конечно же весьма раздражал Станиславского. Еще в сентябре в многостраничном послании он исповедался Константину Сергеевичу, в письме этом автор высказал несколько радикальных мыслей относительно актерского исполнения его пьесы: называя «Жизнь человека» не драмой, а представлением, Андреев мечтал, что «...сцена должна дать только отражение жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что стоит перед картиною, что он находится в театре и перед ним — актеры, изображающие то-то и то-то. И сами актеры не должны забывать, что они актеры и что перед ними — зрительный зал. Как дать такое соединение: захватывающую игру и одновременно — искусственность, и можно ли дать — я не знаю»[1]. Этого, увы,

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 193.

не знал и Станиславский, и, думаю, он был последним из режиссеров, кто в 1907 году мог хотя бы задуматься над подобной идеей. Наоборот, Константин Сергеевич как раз страстно размышлял о том, как можно в таких искусственных условиях, как сцена, заставить актера забыть, что перед ним зритель, а зрителя убедить, что перед ним проходят картины подлинной жизни. Станиславский всю свою жизнь был погружен в идею создания «правильного» иллюзорного театра, Андреев же — как говорилось уже не раз — мечтал о театре неиллюзорном. Впрочем, по улицам баварского города Аугсбург уже — с ранцем за спиной — бегал мальчишка, которому через два-три десятилетия удастся соединить «захватывающую игру и искусственность», и тогда — на смену иллюзорному — в мир придет брехтовский — неиллюзорный театр. Увы, Андреев не будет свидетелем театральных опытов Бертольда Брехта, однако в какой-то мере считается ныне его предтечей.

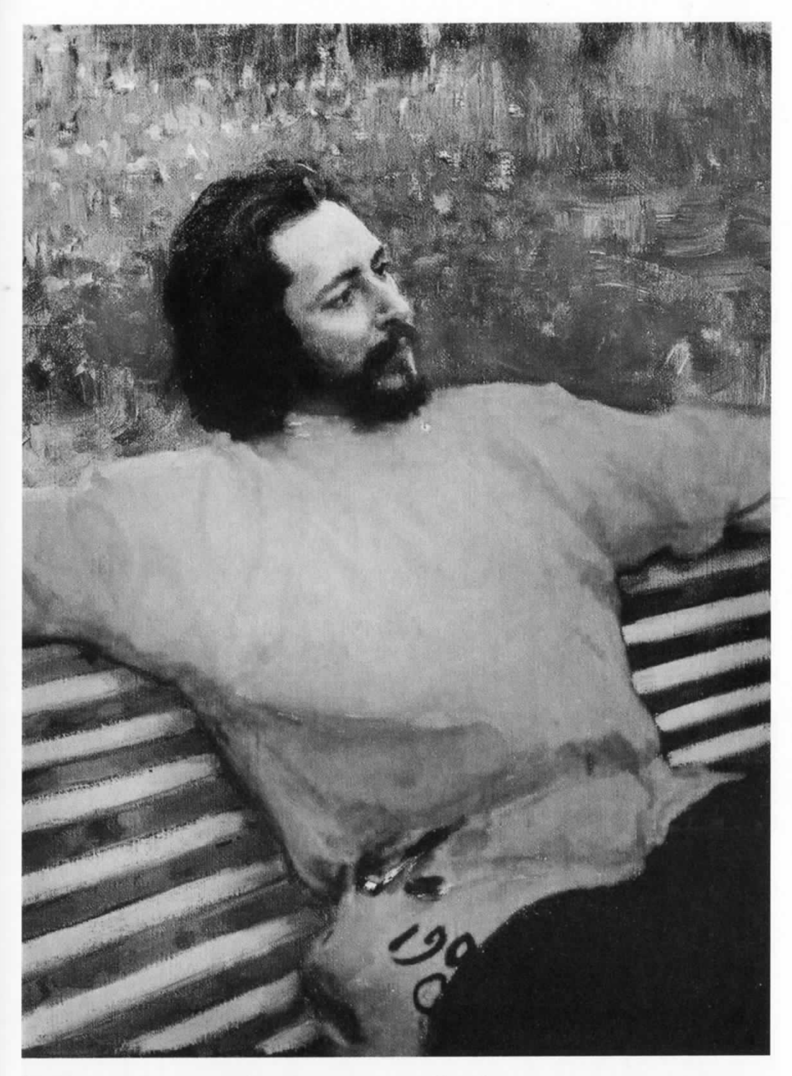
Итак, посмотрим, что же получилось в результате союза столь непримиримых художников? «С чего начинать? — размышляет в ночь с 12 на 13 декабря 1907 года рецензент газеты «Голос» А. Тимофеев. — С выражения ли горькой досады на Л. Андреева, что писатель... решился опубликовать и даже поставить на сцене произведение — явно неудачное? Или с оценки... той высокой художественности, которой отмечена постановка и исполнение в Художественном театре “Жизни Человека”?»[1] А вот и высказывание, прямо противоположное. «Идея пустоты заменена стращанием, лубочность Бердслеем, трагедия безвкусицы — безвкусной трагедией, — так отнесся к воплощению «Жизни...» в МХТ уже знакомый нам столичный критик А. Кугель. — Станиславский груб в своем символизме, доводя его до простой аллегории, как груб в реализме, опуская его до натурализма. Он не вслушался в пьесу Андреева»[2]. Верхом нелепицы Кугелю показался тот штрих, что восковая свеча в руке клерка Судьбы была заменена режиссером электрической лампой.

Собственно, вся критика разделилась на «андреевцев» и «станиславцев»: одни считали, что прославленные актеры МХТ оказались бессильны в пьесе Андреева, а серьезность, с которой игралась «Жизнь...», вообще ей противопоказана; другие — что МХТ открыл для себя новую дорогу и Станиславский «переиграл» Мейерхольда на его территории. Кто же из них был прав?

---

[1] МХТ в русской театральной критике: 1907—1918. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. С. 102.

[2] Там же. С. 146.



Знаменитый портрет Андреева в красной рубахе, написанный И. Репиным в революционном 1905 году

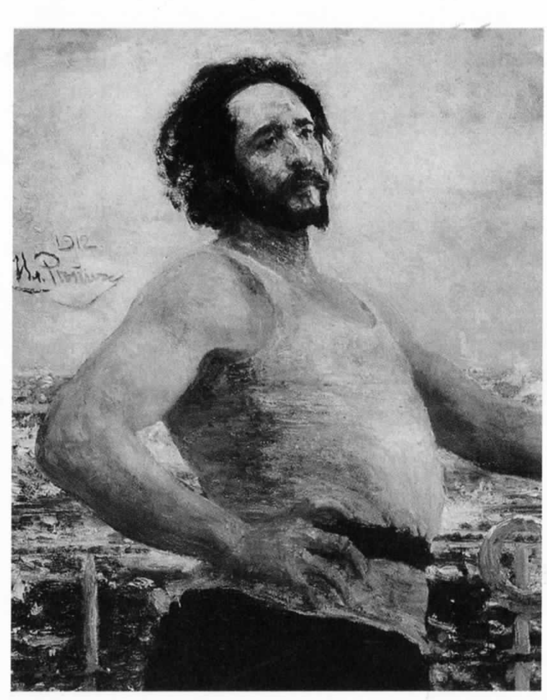
Вилла «Аванс» в Ваммельсуу, где Андреев поселился в 1908 году

Гостиная в доме писателя

Анна Денисевич —
вторая жена Андреева



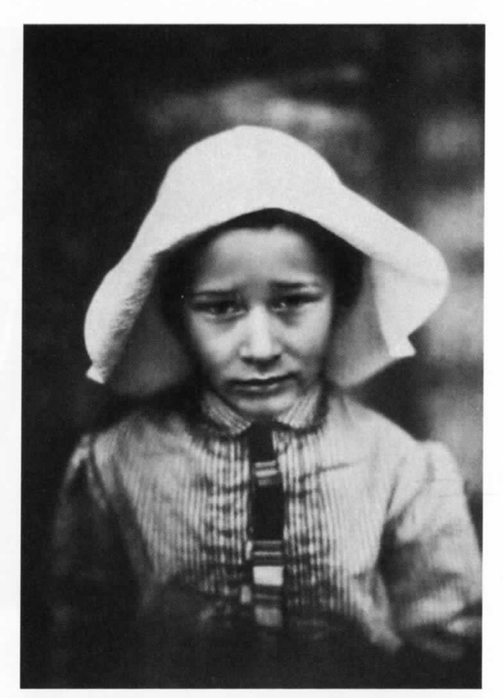
Андреевская «дама с собачкой».
Анна Ильинична,
ее брат и Вадим Андреев
у дома в Ваммельсуу



Еще один репинский портрет Леонида Андреева, написанный в 1912 году

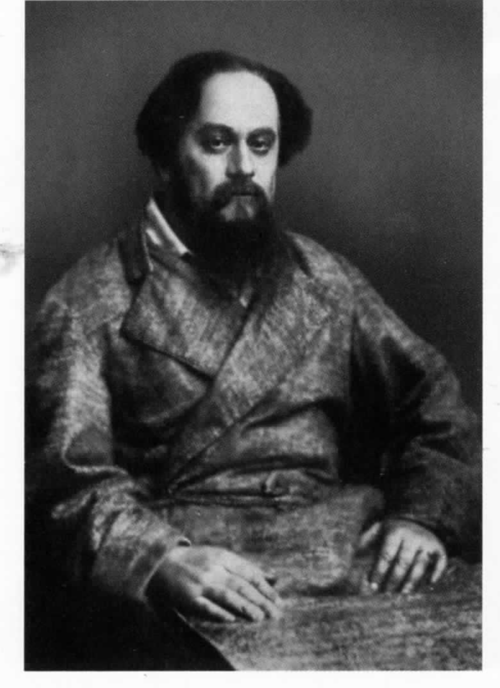
Лев Толстой на смертном одре. *Рисунок Л. Андреева*

Сын Андреева
Даниил. *1912 г.*



Дочь Анны Ильиничны
Нина Карницкая
и дети Андреева
от второго брака —
Савва, Вера, Валентин

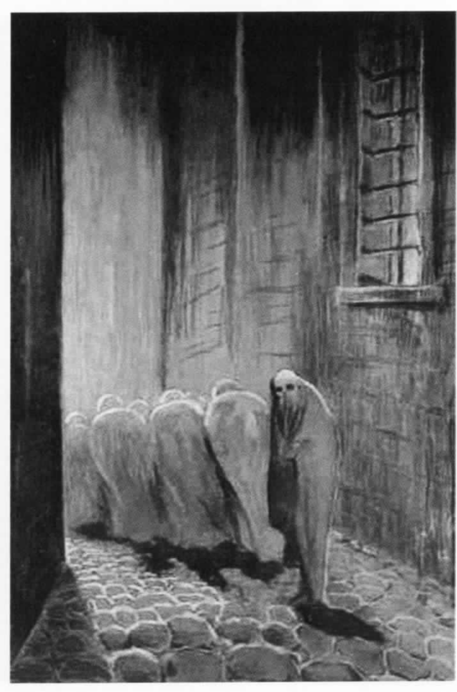
Эскиз декорации к пьесе «Жизнь человека».
Художник В. Егоров



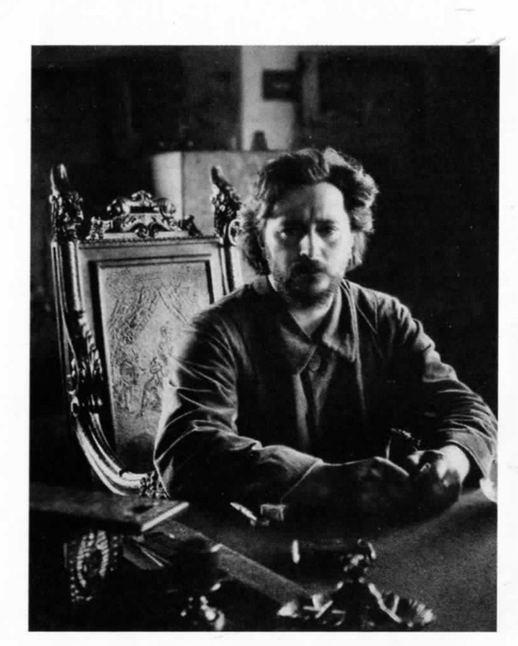
Актер Л. Леонидов в роли Керженцева в андреевской пьесе «Мысль»

Леонид Андреев на фоне сделанной им копии офорта Гойи. *1910 г.*





«Один оглянулся». *Рисунок Л. Андреева. 1912 г.*

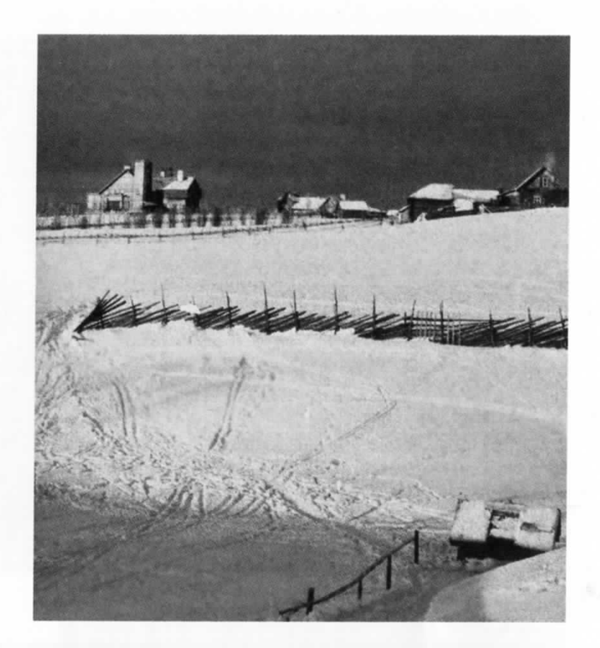


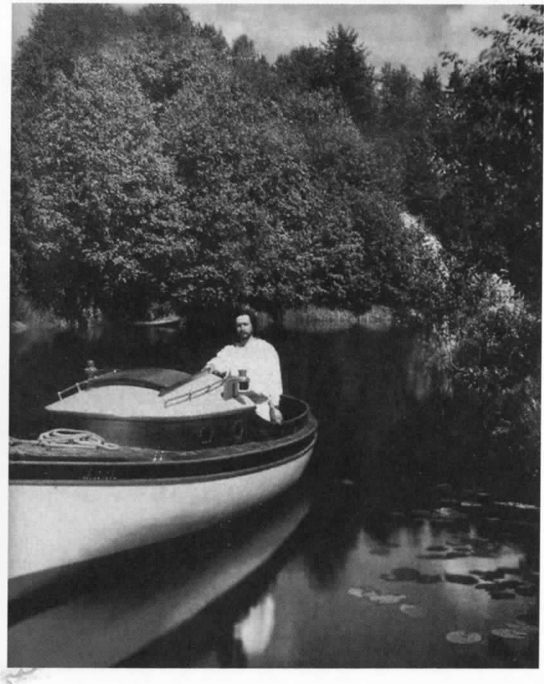
Андреев за письменным столом



В 1910-е годы писатель увлекся фотографией, снимая среди всего прочего и самого себя

Заснеженные
поля вокруг
виллы «Аванс»



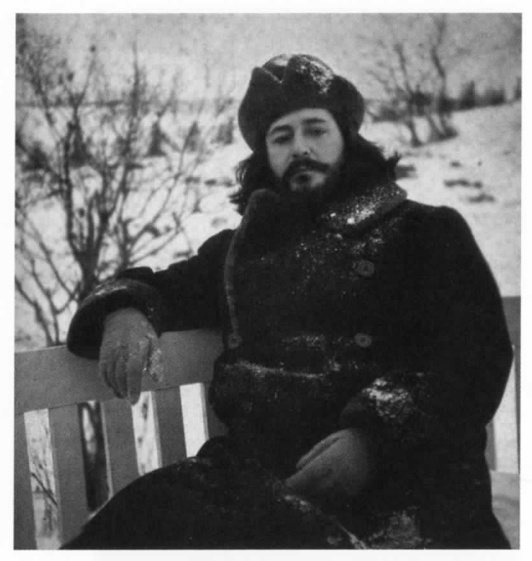


«Капитан Андреев»
на моторной лодке
«Савва»

Кабинет писателя на вилле в Ваммельсуу

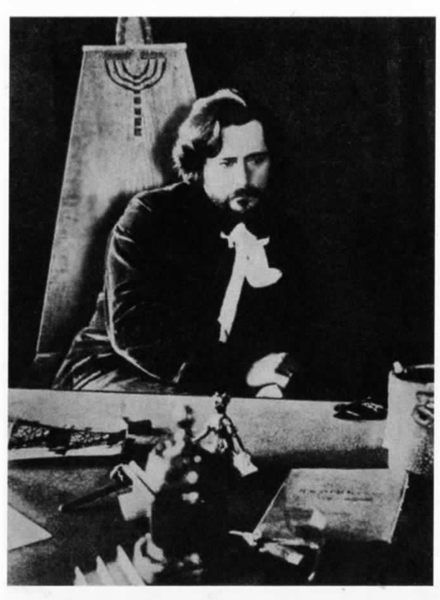
Среди уютного усадебного быта произведения Андреева становились все более мрачными

Еще один
фотопортрет
Андреева,
на этот раз зимний.
1912 г.





Анна Ильинична
в Риме. *Фото 1914 г.*



Писатель, углубившийся
в историю религии.
Фото 1910-х гг.

В столовой виллы «Аванс»

Людмила Чирикова —
поздняя любовь Андреева



Фотографический
автопортрет в траве

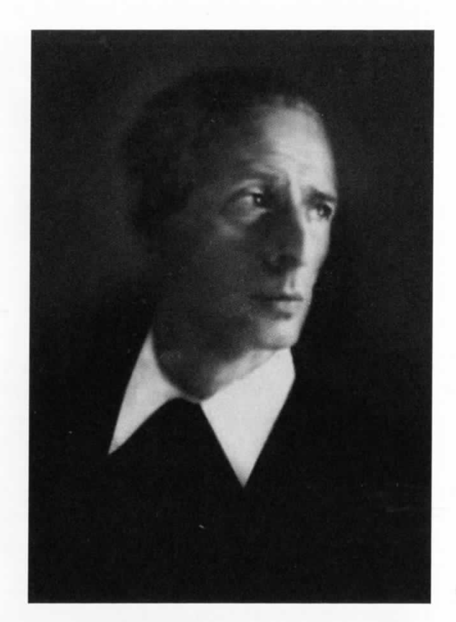


Памятник Леониду
Андрееву на кладбище
в Метсакюля
(ныне Молодежное)

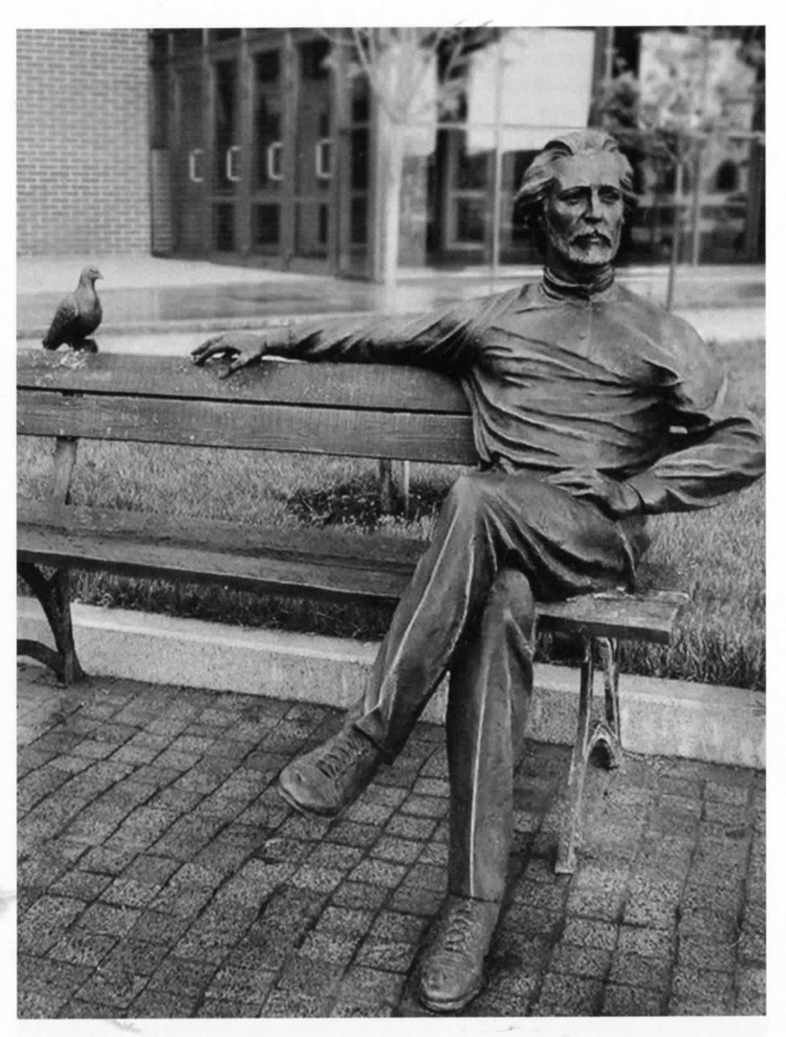


Могила писателя
на Литераторских мостках
Волкова кладбища
в Санкт-Петербурге

Вадим Андреев —
поэт, дипломат, участник
французского Сопротивления



Писатель-духовидец
Даниил Андреев со своей
верной спутницей
Аллой Александровной



Памятник Леониду Андрееву в Орле

Конечно же черный бархат, примененный в «Жизни...», дал определенный эффект. «В пьесе Андреева жизнь человека является даже не жизнью, а лишь ее схемой, ее общим контуром, — утверждал Станиславский. — Я достиг этой контурности, этой схематичности и в декорации, сделав ее из веревок. Они, как прямые линии в упрощенном рисунке, намечали лишь очертания комнаты, окон, дверей, столов, стульев. Представьте себе, что на огромном черном листе, которым казался из зрительной залы портал сцены, проложены белые линии, очерчивающие в перспективе контуры комнаты и ее обстановки. За этими линиями чувствуется со всех сторон жуткая, беспредельная глубина». Это решение произвело впечатление и на зрителя, и на рецензентов: «Первая картина — рождение человека... Не какая-нибудь данная, конкретная, определенная комната в том или ином стиле, взятом из прошлого или настоящего, — а схема комнаты. Сцена представляет комнату углом с ярко подчеркнутыми гранями, где сходятся стены и потолок, с нарисованными серебристыми окнами, кошмарными, уродливыми. Схематичные стулья серебряные, простые, схематичная этажерка, сливающаяся с фоном стен и пола, кошмарные фигуры бесшумно передвигающихся старух... Все это не простая, яркая, угловатая действительность, а эхо, отголосок, сон, бред действительности»[1].

Еще одна — ставшая уже хрестоматийной и вошедшая в историю театра сцена — картина бала. Вот как увидел ее московский критик, друг и когда-то коллега Андреева Сергей Глаголь: «Весь акт был у человека какой-то тягостный кошмар. Перед зрителем ряд наряженных в черное, белое и золото фигур, точно перенесенных с рисунков Бердслея. Это и люди и не люди. Они говорят обычным голосом, говорят довольно обычные слова, но если бы эти люди вдруг исчезли, растаяли в пустоте или если бы у них на плечах вместо людских появились бы вдруг хогартовские птичьи головы, то и это бы никого не удивило. Мимо этих людей призраком проходит человек со своею женой, его друзья и враги; над ними на черной подставке, похожей на роскошное подножие гроба, жуткие очертания трех, то неподвижно, то мерно, как куклы, движущих руками музыкантов.

А дальше... белые контуры окон, прорезающие мрак, делают эту залу похожей на катафалк. И с эстрады музыкантов льются плачущие звуки тоже призрачного танца, под который мерно движутся странно диссонирующие со всем остальным — белоснежные девы... И вдруг среди тишины оборвавшихся

[1] *Тимофеев А.* Жизнь человека. Там же. С. 104.

звуков — такие знакомые людские речи, полные пошлости, зависти, чванства, глупости и тщеславия»[1].

Судя по этим описаниям и весьма выразительным эскизам Егорова, мейерхольдовскому минимализму при постановке «Жизни человека» была противопоставлена здесь декоративная роскошь «под Бердслея» — мрачноватого английского графика, чьи гравюры в ту пору воспринимались обывателем как «фирменный знак» декаданса. Думаю, в такой атмосфере текст пьесы и впрямь «резал ухо» плоской многозначительностью. Комбинация лубка и Бердслея — вероятно, не слишком радовала людей хорошего вкуса. Актеры, от которых Станиславский добивался «жизненности», также производили на критику двойственное впечатление. Одни — хвалили Леонидова, и особенно Барановскую, считая, что безусловное существование в условном пространстве дает интереснейший эффект, другие — как Немирович Данченко — полагали, что в спектакле «все сделано для того, чтобы уйти от пьесы к самой элементарной психологии». Во всяком случае, Станиславский абсолютно пренебрег соображениями Андреева: «нет положительной спокойной степени, а только превосходная, если добр — то как ангел; если глуп — то как министр; если безобразен, то чтобы дети боялись», а вплоть до премьеры добивался от актеров «живого диалога».

Да, впечатление оказалось двойственным. Практически каждый критик, превознося в спектакле что-то одно, резко критиковал нечто другое. Лично мне кажется, что Станиславскому не был органичен текст Андреева, он действительно имел самые общие представления о пьесе и постарался всю ее условность, всю «схему жизни» переложить на плечи декораций и массовки, втиснув в эти рамки сцены с актерами — психологические по своей природе. Но даже это — не главный минус. По сути, его режиссерское решение было всего лишь иллюстративным. «Как красиво! Как пышно! Как богато!..» — восторгались гости в картине бала, и всё, что видел зритель, было действительно и красиво, и богато, и пышно. Мейерхольд же — как мог, старался облегчить — как сказали бы теперь — чересчур «навороченный» текст Андреева, и главное, ему удалось воспроизвести на сцене атмосферу этого текста, сочетание философской страстной эмоции и лубка; думаю, у него был более осмысленный, более цельный и более легкий спектакль, чем «громада» Станиславского.

Но — что интересно — андреевский текст не рухнул под тяжестью черного бархата, спектакль МХТ имел оглушительный успех, принеся автору пьесы очередную «порцию славы». «Шумно, весело и даже восторженно публика приветствовала

[1] *Тимофеев А.* Жизнь человека. С. 112.

Леонида Андреева и все время вызывала Станиславского», — писал рецензент Тимофеев. Станиславский, впрочем, вообще не вышел в тот вечер на поклоны, возможно уже осознав, что «Жизнь человека» — это шаг в сторону от маршрута его жизни в искусстве: как написал он впоследствии в своей главной книге: «Несмотря на большой успех спектакля, я не был удовлетворен его результатами, так как отлично понимал, что он не принес ничего нового нашему актерскому искусству».

Не был удовлетворен результатом Станиславского и сам автор «Жизни...». Спустя полгода после премьеры, будучи спрошен, «доволен ли он постановкой "Жизни человека" в Московском Художественном театре», Андреев ответил: «Не очень. Куда более удовлетворила меня постановка в Театре Комиссаржевской»[1].

Жизнь прославленной пьесы оказалась яркой, но — короткой: в течение двух-трех лет она ставилась по всей России, правда, иногда особым распоряжением губернатора-самодура тот или иной город запрещал спектакль к показу по совершенно неведомой нам причине. Пьеса разошлась на цитаты, фотографии из мхатовского спектакля печатали на открытках, ее пародировали, иные репортеры брали себе имена ее персонажей как псевдонимы, но... в русский репертуарный топ-лист «Жизнь человека» так и не вошла и — более того, оказалась прочно забытой театром на целый век. Любопытно, но совершенно неожиданно пьеса «всплывает» в 1944 году: «Жизнь человека» ставится театром Василия Вронского в Одессе во время оккупации (!) города немецкими и румынскими войсками, пару раз ставилась она в Восточной Европе...

Лед был разбит только в 2009 году: режиссер Борис Мильграм отважился вернуть на отечественную сцену забытый и двусмысленный шедевр Леонида Андреева, его спектакль «Жизнь человека» — вызвавший, как это всегда бывало с текстами Андреева, — разнообразные, в том числе и полярные отзывы, оказался на удивление прочным. «Жизнь человека» можно увидеть на сцене Пермского академического театра драмы и в нынешнем — 2013 году. А вот дальнейшую театральную судьбу этой пьесы я, честно говоря, предсказывать не берусь.

...Нервно куря во время репетиций «Жизни...» в МХТ, Андреев не сводил глаз с четверки изящных «босоножек» — «белоснежных дев» — как окрестил их в рецензии Сергей Глаголь — юных танцовщиц на бале у Человека. Обозначенные в программке как «Танцующие», девушки, вероятно, своей юностью, белыми хитонами и гармоничными слитными движе-

---

[1] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: характеры и суждения.

ниями должны были, во-первых, оттенять «беспросветность» андреевской «вечной ночи», воплощенной в черном бархате Станиславского, а во-вторых, изящные белые фигурки на черном фоне — вот уж точно казались прямыми цитатами из Бердслея, что отвечало замыслу режиссера и художника. Третьей в этом ряду танцевала ученица студии МХТ восемнадцатилетняя Алиса Коонен. Кем была в 1907 году эта худенькая московская девушка польско-бельгийской крови? Вчерашняя гимназистка, «сбежавшая» в театр, даже не окончив гимназию? Статистка, не сыгравшая толком еще ни одной роли, по сути, еще не начавшая «свою жизнь в искусстве»? Тем более странным выглядел этот роман: Алиса поразила его воображение, «гвоздем» засела в сердце и — отвергла не только андреевское сердце, но даже и руку. Леонид Николаевич долго не мог поверить, что этой девочке-студийке действительно не нужна его любовь, не нужен он сам — со всею своею славой, богатством, безднами души и чертежами грандиозного замка...

На одной из танцевальных репетиций их познакомил сам Человек — Леонид Леонидов, своей улыбкой Алиса, как потом скажет ей Андреев, чем-то неуловимым напомнила ему покойную Шуру. Леонид вернулся в Петербург, но вскоре приехал опять. А приехав, стал серьезно и планомерно ухаживать за юной студийкой: по вечерам сажал ее в сани и долго катал по темной и уже морозной Москве, потом они ехали за город, и Андреев говорил Алисе о своей любви. Уезжая в Петербург, он писал ей нежные письма: «Далекая и чужая — Вы таинственно близки мне душой»... В один из своих приездов он вдруг раскрыл перед ней чертежи своего будущего «замка» на Черной речке — виллы «Аванс» и долго объяснял назначение будущих комнат огромного дома с высокой башней. В конце этого, крайне удивившего юную студийку, «доклада» знаменитый писатель сделал ей предложение руки и сердца: «Алиса, я хочу, чтобы в этой башне жили вы». Несмотря на изумление, девушка ответила твердым отказом: «Что вы, больше всего на свете я не люблю замков и башен, тем более таких высоких. Я брошусь вниз, если вы меня там запрете».

Наш герой притворился, что не услышал отказ Алисы. Напротив, вскоре он привез в Москву Анастасию Николаевну. «Мамаша» и будущая трагическая актриса театра Таирова провели вместе три мучительных часа. Девушка попала в чрезвычайно сложную ситуацию: Андреев вел свою битву за ее сердце, что называется, «мощными кратковременными атаками». Как-то в январе 1908 года поздней ночью он пьяным явился к Алисе домой и имел объяснение с ее отцом, объявив: «Она засела, как гвоздь в сердце...» Поднятую из постели Алису просто вынудили сказать «нет» прямо в лицо знаменитому

писателю. Казалось бы, инцидент был исчерпан, в одном из последних писем Андреев обещает: «И больше писать Вам не буду. Зачем? Прощайте»[1]. Впрочем, все-таки он не выдержал и писал ей опять. А через год, когда уже был женат, во время гастролей МХТ в Петербурге явился в ее гримерку и чуть было не застрелился на глазах молодой актрисы. Впрочем, думаю, прихватил с собой револьвер Андреев «на всякий случай» и серьезного намерения стреляться тогда уже не было. А вот зимой 1907/08... как знать, как знать? Леонид отчаянно страдал. Именно тогда он узнал, что в сердце Алисы давно уже живет другой: его счастливым соперником был не кто иной, как будущий андреевский Анатэма — актер Василий Качалов.

На самом деле, отчаивался и горевал Андреев совершенно напрасно: в истории с Алисой Коонен у него не было ни малейшего шанса. И дело было даже не в Качалове. Эта девушка с самого детства сама определяла свою судьбу, конечно же картины «идеального будущего», что рисовала себе восторженная гимназистка, упорная студийка, молодая актриса — восходящая звезда МХТ — менялись, менялись и кумиры, неизменным было одно — в центре композиции неизменно оказывалась она сама — упрямая Алиса Коонен. Она сама строила свою жизнь, а люди вокруг были, в сущности, лишь помощниками, «подручными» на этой грандиозной «стройке века». Разочарованная Станиславским, а вернее всего — подсознательно почувствовавшая, что центр композиции здесь уже занят ее учителем, Алиса, игравшая к 1913 году почти все роли молодых героинь, внезапно ушла из МХТ... в никуда... в Свободный театр, который стал вскоре подвальной студией... Но это оказался дальновидный, снайперский жест, именно там она и встретила вскоре Александра Таирова. Что ж, ее избранником стал тот, кто сумел — на равных — включиться в ее грандиозную «стройку»: бросившая МХТ «звездочка» и малоизвестный актер и режиссер выстроили общую судьбу — Камерный театр, где в центре всегда стояла она — трагическая актриса — Алиса Коонен. Так, собственно, и записано в истории.

А какую судьбу мог предложить этой девушке Леонид Андреев? Быть его секретаршей, хозяйкой мрачной виллы на берегу холодного моря? Вместо титула «Алиса Коонен» с гордостью носить титул «вторая жена Леонида Андреева»? Андреев отчаянно злился, вероятно, понимая, что причина этого любовного поражения — иная, чем в остальных случаях. Не муж, беременность или его безумный характер, а ничтожный капитал, который мог предложить мхатовской студийке Алисе Коонен первый — после Льва Толстого — литератор России Леонид Андреев.

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 201.

Глава девятая. 1908—1909:
СТРОИТЕЛЬ

Новая жена: Андреев и Матильда Денисевич.
Новый дом: вилла «Аванс»: замысел и воплощение.
Новые сочинения: «Черные маски», «Рассказ о семи повешенных».
Андреев и Толстой. «Мои записки». Андреев и Достоевский

Внешне жизнь Леонида Андреева в годы его наивысшей славы напоминает комедию абсурда. События никак не укладываются в линейную схему, наоборот — захлестывают друг друга или же — несовместимые — происходят параллельно, не позволяя серьезному биографу логически вывести предикат из множества посылок. И более того, наш герой в те годы настолько компрометирует себя иными выходками, что даже близкие ему люди отказываются от серьезных комментариев или размышлений над теми или иными поступками Леонида Николаевича. Так, судорожные попытки Андреева во что бы то ни стало добыть себе жену породили множество насмешек. Вера Беклемешева писала, что по Москве ходил анекдот, что «он сделал предложения всем артисткам Художественного театра поочередно»[1]. Еще одна история — уже петербургского происхождения: знавший Андреева еще по «Курьеру» Петр Пильский рассказывал, что когда настойчивый жених вдруг посватался к недавно разошедшейся с мужем Марии Карловне Куприной, она насмешливо ответила: «Нет, довольно в моей жизни было и одного писателя»[2]. Чуковский утверждал, что как только Виктория Денисевич отказала Андрееву летом 1907-го, он тут же поклялся жениться на ее сестре Матильде, которую на тот момент не знал и даже не видел.

Удивительно — но романтическая и сильно задевшая его сердце влюбленность в юную Алису Коонен проходила на фоне сватовства писателя к той самой, практически неизвестной

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 200.

[2] Цит. по: Материалы и исследования. С. 388.

ему, Матильде Денисевич. И — более того — сравнивая письма, которые он писал в декабре 1907 года обеим, видишь, что писатель, не особенно напрягаясь, использовал в любовных посланиях одни и те же словесные клише: «моя дорогая, неизвестная, далекая»...

У меня — как и у современников Андреева — сложилось впечатление, что этот «первый жених России» зимой 1907/08 года рассылал предложения руки и сердца — веером: кто-нибудь да обязательно согласится. Так, впрочем, и случилось: андреевский расчет оказался правильным.

Тогда — осенью и зимой — наш герой частенько бывал пьян и — пьяный — ночами шатался по улицам и вокзалам и в этом состоянии совершал эксцентричные, а чаще — просто-напросто абсурдные поступки. Так, пьяный, он нанес первый визит в дом Алисы Коонен, пьяный — сделал предложение Матильде, написав на бланке журнала «Современный мир»: «Матильда Ильинична! Хотите быть моей женою? Леонид Андреев. Это серьезно, как смерть. Пока ни слова сестре»[1].

Но — и протрезвев — Андреев продолжал с той же настойчивостью, с которой он ухаживал за Алисой, — добиваться внимания со стороны Матильды, для которой предложение руки и сердца известного и знаменитого, но почти что незнакомого с ней человека — оказалось полнейшей неожиданностью. «В отчаянно тяжелую минуту пишу я Вам. Чувство и сознание у меня такое, что я взят и брошен в пропасть, и буду лететь, пока не расшибусь. Не на чем остановиться глазу — Вы понимаете — во всей громаде жизни нет светлого, на чем бы мог остановиться глаз. И поймите, ради Бога, поймите меня, когда теперь, трезвый, с сознанием ничем не затемненным — я снова тянусь к Вам сердцем, как к последнему другу. Другу! Я Вас не знаю совсем, я видел Вас только два раза и почти не говорил с Вами — но есть же что-то, чего я не умею назвать, что с силою толкает меня к Вам. Зачем — я не знаю. Пьяный, сумасшедший, я предлагал Вам быть моей женою (и если бы Вы знали, как безумно, как искренне было это предложение) — трезвый, я прошу немногого — сам не знаю чего — понять что ли — пожалеть... ей-Богу не знаю», — пишет он Матильде 30 ноября 1907 года, когда его отношения с юной актрисой МХТ также бурно развивались.

И всё же, сравнивая письма Алисе и Матильде, сквозь повторяющиеся сочетания слов кажется, что они написаны разными авторами: один — мрачный, преисполненный романтических чувств, таинственный и гордый рыцарь, готовый бро-

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 203.

сить свои завоевания к ногам юной избранницы; другой — измученный жизнью, больной, задыхающийся от одиночества, временами страшащийся сам себя, весьма зависимый от алкоголя и не слишком молодой уже человек, остро нуждающийся в няньке, в существе, готовом разделить с ним все его дневные проблемы и разогнать ночные кошмары. «Все последнее время, — пишет он своей будущей жене в ноябре 1907-го, — особенно последние дни в СПб, я находился в таком печальном и диком состоянии, если Вы захотите, я расскажу Вам о том, что привело меня к тому безумному письму, и, надеюсь, Вы поймете меня и не осудите так строго»[1].

Судя и по этим строкам, и по дальнейшим событиям из этих двух ролей «по Станиславскому» Андреев играл только последнюю: ему нужна была хозяйка дома, мать его детей, сторож его снов, женщина, с которой он мог бы делить самого себя. Леонид Николаевич — в одиночку не мог, увы, управиться с самим собою. Вероятно, после года неспокойного траура по жене он почувствовал, что второй Шурочки на свете нет, а все его любовные увлечения не отменяют главного — глубокого одиночества, которое нельзя вынести, как острую боль. Потому и пил.

Что ж, если первой женитьбе нашего героя предшествовали пятилетний роман, долгое и трепетное сближение двух душ и тонны исписанной на сей счет бумаги, то во второй раз женился Леонид Андреев и скоропалительно и почти что случайно. Мельком увидев Матильду летом 1907 года, угостив ее папиросой на осенней премьере у Мейерхольда, куда та ходила вместе с сестрой, писатель делает «пьяное предложение» в ноябре, период «бурного ухаживания» начинается зимой, с февраля эта молодая женщина официально работает его секретаршей, 2 апреля — как напишет в дневнике сама Анна-Матильда — «там, на Каменноостровском я стала женой Леонида»[2], а 21 апреля 1908 года многие российские газеты напечатают маленькие объявления о венчании знаменитого писателя Леонида Андреева в Ялте. Интересная деталь — Андреев первоначально ухаживал за сестрами своих будущих жен: тогда — в 1895-м — за старшей сестрой Шурочки Елизаветой Добровой, в 1907-м — за младшей сестрой Анны-Матильды Викторией Денисевич.

Так кем же была Матильда, а точнее, Анна-Матильда — четвертая — и последняя героиня андреевского романа?

Трудно представить себе женщину, оставившую после себя столь противоречивые отзывы, нет единого мнения даже о дате ее рождения. Старший сын Андреева Вадим утверждал,

[1] «Жизнь...». С. 203.

[2] Леонид Андреев. Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 122.

что родилась она в 1883 году, в дневнике самой Анны Ильиничны присутствует запись: «мое рождение 31 января 1883 года»[1]. А внучка ее свидетельствует, что в год знакомства с писателем бабушке было уже 26, а следовательно, год ее рождения — 1881-й. Это была молодая, но уже опытная женщина: за ее плечами — короткий неудачный брак с неким присяжным поверенным по фамилии Карницкий, а на руках — четырехлетняя дочь Нина.

Интригует и то, что женщина имела два имени: Анна и Матильда. Говорили, что эксцентричный отец, желая сына, поклялся, что будет называть всех родившихся дочерей в честь их матери — Аннами. Сына он — судя по всему — так и не дождался. Две Анны, повзрослев, взбунтовались и выбрали себе новые имена: старшая назвала себя Матильдой, а младшая — Викторией. Как рассказывал Чуковский, жених Андреев перед венчанием настоял, чтобы его невеста вернула себе имя, данное при рождении, — Анна, поскольку каждая вторая проститутка в Петербурге в те годы называла себя «Матильда». Так Анна-Матильда навсегда превратилась в Анну Ильиничну Андрееву.

Даже и внешне Анна Ильинична была полная противоположность Александре Михайловне: в день венчания Андреева Александр Блок писал матери, что «благодушный теперь» Леонид Николаевич «преспокойно женился в Крыму *на дебелой и приятной брюнетке*»[2]. На фотографиях — а их сохранилось множество — Анна-Матильда выглядит действительно монументально: довольно полная, но весьма пропорциональная фигура, приятное округлое лицо, впрочем несколько неопределенное, скрывающее под маской какого-то равнодушного спокойствия все добродетели и пороки... Не передают фотопортреты и обаяния ее глаз: дружившая с Анной Ильиничной в 1920-х Марина Ивановна Цветаева звала ее «черноглазой и даже огнеокой». Сравнивая жен Леонида Николаевича, орловские родственники Андреева находили, что Шурочка была «прелестная барышня», тогда как вторая жена «была очень красива, но мало была ему подходяща»[3].

Я не нашла почти ни одного развернутого портрета Анны Ильиничны в воспоминаниях людей, окружавших Андреева: вторую жену писателя не заметил, пожалуй, никто из его коллег по перу. Чуковский писал о ее прижимистости, многие острили, что Андреев обзавелся женой как важным дополнением к даче, один лишь Скиталец отметил красоту — «яркого южного типа» и умение «стучать на машинке» по

---

[1] Там же. С. 133.

[2] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 8. С. 237.

[3] Фатов. С. 178.

семь часов подряд. В 1908 году, то есть вскоре после свадьбы, Анна произвела на него «впечатление женщины серьезной, умной, уравновешенной», но — не более. А вот Фридрих Фидлер усомнился в красоте второй жены Андреева. «Она не красива, но миловидна, — записал он в дневнике после знакомства с ней. — Пикантность, лишенная неприятного привкуса. Немного декадентская прическа; чтобы привести ее в порядок, потребуется минимум час времени. Плечи и роскошная грудь обтянуты тканью, через которую просвечивает тело. Держится естественно и приветливо. Курит»[1]. А вот через 16 лет — в 1924 году — Анна Ильинична — уже вдова Андреева, живя с детьми в Чехии, произвела совершенно иное впечатление на Марину Цветаеву. Вдова Андреева показалась поэту одним «из самых увлекательных и живописных и природных женских существ», каких она когда-либо встречала. Анна и Марина жили бок о бок много лет, Цветаева называла вдову Андреева своим «большим женским другом»[2].

Происхождение Анны-Матильды весьма интересно: дедом ее со стороны матери был архиепископ Таврической губернии о. Яков Чепурин. Вообще, если семейство первой жены Андреева представляло собой типичную обедневшую, но сохраняющую традиции дворянскую семью, то семейство Анны-Матильды — это люди нового времени. Мать Анны — типичная героиня андреевских рассказов — ушедшая в революцию поповна, впоследствии она получила художественное образование и стала скульптором. Жизнь ее как в царское, так и в советское время была связана с Севастополем, где и родились обе Анны, когда Анне исполнилось семь лет, семья перебралась в Одессу, потом в Москву. Вообще, судя по дневнику Анны Ильиничны, они с матерью и сестрами то и дело переезжали с места на место. Интересно, что оставшись с большевиками, их мать, как ни странно, не только не была репрессирована как бывшая эсерка, но даже возглавляла один из городских музеев в Евпатории. В юности православная поповна ознаменовала разрыв с семейной традицией и своим замужеством, соединив судьбу с евреем — юристом Ильей Денисевичем, впрочем, в дальнейшем мать и отец Анны развелись, Илья Николаевич жил в Петербурге, где его карьера прекрасно развивалась, и вскоре женился опять. Илья — как называл своего тестя наш герой — имел тесные связи с партией эсеров, именно через не-

---

[1] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: характеры и суждения.

[2] Наследие Марины Цветаевой. http://www.tsvetayeva.com/letters/let_veprickoj.php. Дата обращения 30.10.2011.

го Андреев впоследствии хорошо узнал этот круг. Переехала в столицу и мать двух Анн, где снова вышла замуж и стала профессором Академии изящных искусств. Обе девушки, по их же воспоминаниям, окончили консерваторию и говорили на нескольких иностранных языках... Анна-Матильда, судя по ее дневнику, училась также и философии, и скульптуре, ко времени знакомства с Андреевым она неплохо знала историю живописи, не раз бывала в Париже... Она хорошо играла на рояле и продолжала серьезно заниматься музыкой все годы жизни с Андреевым. Однако — как и ее сестра — Анна-Матильда вела довольно бестолковую жизнь...

Семейство это как будто состояло сплошь из героев ненаписанных андреевских книг, о чем не раз размышлял писатель в дневниковых записях: например, на одной из последних страниц в тетрадке 1919 года: «Не знаю, писал я или нет, что 20-го июля в Лугано умер Илья Николаевич Денисевич. Было очень жаль его. Была какая-то нотка в его душе, которая заставляла его любить, при всей его нелепости, наивной аморальности, почти птичьем малодумье, при том, что он является началом всех дурных свойств в своих детях, их попустителем, покровителем, развратителем, хотя и невинным»[1]. Ну чем не психологический портрет капитана Лебядкина? Сама же смерть тестя должна была вдохновить Андреева на создание текста в духе «Весенних обещаний»: «Умер он ужасно — заслуженно и ужасно: от разрыва сердца, от волнения и гнева, когда амертер Тола (младшей сестры А[нны, которая после смерти первого мужа — Фельдмана вышла замуж за француза Ф.-Р. Бертрана]) начал бить ее, Тола закричала, и Илья вбежал в комнату, но уже обратно из комнаты его вынесли мертвым».

Размышляя о смерти тестя, Андреев как будто нащупывает тему в не слишком-то счастливых судьбах членов этой семьи. «Редко где с такой очевидностью, — пишет он, — проявляла себя логика жизни»[2]. Смысл андреевского обобщения таков: в семействе этом все получают от жизни по заслугам, а из исходных данных можно без труда логически вывести, чем закончится та или иная затея этих странных, жалких, но чем-то весьма привлекательных людей. Все их безумные проекты — будь то и первое, и второе замужество Виктории или же «революционная деятельность» матери двух Анн — при всей своей фантастичности — легко удаются, но... всегда приводят к плачевным результатам. Он определяет их родовое свойство как *разрушительную чепуху*, то есть глупость, энтузиазм и вера в

[1] S.O.S. С. 189.
[2] Там же.

химеры. Честно признается, что «есть губительное и опасное и в Анне, я спас ее от полного падения, но *чепуха* осталась и угрожает». После одиннадцати лет брака с Анной-Матильдой, и даже после того, как она однажды фактически спасла ему жизнь (речь об этом — позже), Андреев, прячась под маской «объективности», пишет о своей жене со скрытым раздражением и страхом: «Анна может сделаться невольным убийцей, нечаянным отравителем...»

Упреки эти — отнюдь не плод раздраженного воображения Андреева: в семейных преданиях Добровых живет рассказ о том, как Анны Ильинична чуть было нечаянно не *убила* младшего сына Шурочки и Андреева Даниила. Как-то раз, когда трехлетнего Даню привезли из Москвы к отцу и дети пошли кататься на санках с ледяной горки, Анна Ильинична в воспитательных целях велела няньке пустить Данечку одного на санках с горы. Под горкой белела замерзшая река, а в ней — невидимая прорубь, куда и угодил ребенок, свалившись с санок. Только самоотверженность и быстрая реакция шестнадцатилетней няньки, бежавшей вслед за санями и немедленно схватившей ребенка за ногу, и спасла для человечества будущего автора «Розы мира». После этого случая Даниила перестали привозить к отцу, а в доме Добровых имя Анны Ильиничны оказалось под запретом.

Что ж... писатель не раз говорил, что Анне-Матильде трудновато ужиться с Андреевыми, поскольку «она вышла из плохой семьи». Семья Денисевичей — притом что социально они стояли недалеко от Андреевых и Добровых — отличалась, вероятно, не образованием, не материальным уровнем, а «степенью интеллигентности»: отношением к людям и между людьми. В семье Анны-Матильды, скорее всего, не было ни тонкости — когда один человек «чувствует» другого без слов, ни душевной искренности — когда ложь неприемлема ни в каком виде и за нее осуждают и детей, и взрослых. Уже после смерти Андреева сестра Анны Тола добивалась от нее выплаты по подписанному Андреевым векселю через суд... Причем Тола прекрасно знала, в каком положении находится Анна — вдова с тремя маленькими детьми.

Сама же Анна Ильинична — по молодости — была эгоцентрична, резка, горда собою — еще бы! — она превратилась вдруг в супругу первого литератора, и — конечно же с легкостью задевала и обижала окружающих, даже и не замечая этого. Уже после смерти Андреева она писала о себе почти по-«цветаевски»: ни в чем не знаю меры. В дружном семействе Андреевых Анна явно выделялась, ей недоставало душевной тонкости, а это, знаете ли, не прощается. И вот ведь парадокс... Выпуск-

ница консерватории, она всю жизнь музицировала, вращаясь в литературной среде, перепечатывая все андреевские тексты, должна была быстро настроиться на художественную волну, как это когда-то произошло с Шурочкой. Но, похоже, этого не случилось. «Вся беда Анны Ильиничны в том, что она была недобра, ограничена, лишена какого бы то ни было артистического вкуса, будучи в то же время человеком цельным, волевым и по-своему оригинальным»[1], — утверждал ее пасынок Вадим Андреев уже спустя много лет после смерти Анны-Матильды. Этой фразы ему долго не могли простить дети Андреева и Анны Ильиничны, которые обожали свою мать. В воспоминаниях Веры Андреевой сквозит, вероятно, их общее мнение: Анна Ильинична была слишком образованна для простоватой семьи Андреевых, именно поэтому — ее там не любили.

Сегодня уже трудно оценить долю объективности каждого, ясно одно — вторая жена Андреева оказалась сильной личностью и ярким, своеобразным человеком. Цельность и воля Анны-Матильды сыграли немаловажную роль в этом союзе, найдя в этой женщине душевную силу, которой так не хватало ему самому, Леонид Николаевич многое прощал жене. Психологически она представляла андреевский тип женщины, да, ей недоставало тонкости и чутья Шурочки, но не было и комплексов Надежды Антоновой, душевной сломленности, нестабильности: спала эта женщина хорошо — ее не мучили ночные кошмары.

Очевидно, что семья Андреевых, как и семья Добровых, относилась к Анне Ильиничне с трудно скрываемой неприязнью. Вадим вспоминал, что даже всё прощающая Ленуше Анастасия Николаевна так и не смогла простить ему женитьбы на Анне Денисевич. Едва войдя в андреевский дом, новая жена смертельно обидела и своего пасынка: тотчас после вселения Анны в спальню пятилетнего Диди не пустили утром поздороваться с отцом, он горько плакал перед дверью, но эта дверь отныне оказалась для него навсегда закрыта. С той поры Анна Ильинична сделалась для Вадима «злой мачехой», и хотя более никаких «злодеяний» в его жизни она как будто не совершила, но само присутствие в доме мачехи надолго отравило ему жизнь. И то правда, подросток Вадим успел изрядно помучить ее своей дерзостью, в последние годы жизни Андреева «мачеха» и «пасынок» поменялись местами: Вадим постоянно «задевал» и «критиковал» Анну Ильиничну.

Итак, домашние категорически не приняли Анну, с годами они лишь смирились с ее существованием. Не помогли ни

[1] Цит. по: Материалы и исследования. С. 128.

та самоотверженная и даже героическая любовь новой жены к Леониду Николаевичу, ни то, что она подарила Анастасии трех прекрасных, здоровых внуков... Ни то, что она — как и Шурочка — стала для него нянькой, литературным секретарем, напарницей во всех его безумных проектах: в семье Андреевых на Анну Ильиничну всегда смотрели с подозрением. Боюсь, что и сам писатель относился к ней с подозрением всю свою жизнь...

«У Анны действительно нет ничего, кроме меня и Саввки (первый сын Анны и Андреева. — *Н. С.*): потерять нас для нее действительно равно смерти, но "бережет" она нас так, как деньги: теряя, забывая, никогда не зная счета», — писал Андреев в дневнике[1]. «Демон извращенности» — опасное свойство душ всех Денисевичей, в этом через 11 лет совместной жизни он горько упрекает свою жену.

Была еще одна, и пожалуй что — главная болевая точка в отношении Андреевых к Анне, — едва войдя в их жизнь, она «разбила сердце» своему мужу. Уехав с ней в свадебное путешествие в апреле 1908-го, Леонид Николаевич пребывал в счастливейшем состоянии духа: внезапно его отпустили ночные кошмары, перестала мучить головная боль. Его душевная тоска улеглась. Из Орла, где по дороге в Ялту остановились «молодые», Андреев писал Анастасии Николаевне, что чувствует себя «...хорошо, очень хорошо. Помимо всего прочего все время хохочем и настроение великолепное у обоих»[2]. Переживая дни страстной, и — как ему казалось тогда — взаимной, ничем не замутненной любви, Леонид Николаевич как будто бы «менял кожу»: в Ваммельсуу плотники уже вовсю «стучали топорами», возводя его бревенчатый замок, где писатель с новой подругой и собирался начать совершенно иную, красивую жизнь.

Не тут-то было. «Анна — в еще свежий дом внесла драму»[3] — и до конца жизни Андреев ей этого не простит. Драма, судя по дневниковым записям писателя, состояла в том, что с самого начала их отношений Анна-Матильда лгала ему: «Когда она сходилась со мной, отдавалась, вешалась — она была капризною, честною женщиной, прожившей с плохим мужем пять месяцев и разведшейся с ним; потом — четыре года она жила одна, без любви, "не испытывая физических влечений" (ее слова)»[4]. Более того, Анна Ильинична часто — по его требова-

---

[1] S.O.S . С. 189.

[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 206.

[3] S.O.S. С. 38.

[4] Леонид Андреев: Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 89.

нию — клялась Андрееву, что ни один мужчина, кроме бывшего мужа, «не целовал ее». Но — как Леонид Николаевич выяснил через полгода после венчания, найдя письмо от ее бывшего любовника, — невеста, а потом и жена ему лгала: были у Анны и другие мужчины. Судя по конспективной автобиографии, что приводит Анна Ильинична в дневнике в 1921 году, в 1908 году у нее действительно был любовник — некий З. — очевидно, медик. И последнее свидание с З. произошло у Анны-Матильды 1 апреля — как раз накануне той ночи, когда она впервые осталась у Андреева и согласилась быть его женой. И, судя по записям, уже летом под давлением мужа она созналась в этом «грехе». Но оказавшийся вдруг ревнивцем Андреев подозревал и даже был уверен, что он все еще делит эту женщину с ее прежним любовником. Так это было или нет, мы не знаем, да и стоит ли углубляться в этот вопрос?

Думаю, нам теперь трудно объективно оценить праведный гнев и всю глубину андреевской драмы, ведь он и сам после смерти Шурочки пустился, что называется, во все тяжкие. Да и нравы Серебряного века вполне позволяли свободной молодой женщине иметь не только одного, а даже и двух любовников. И на первый взгляд «страшная история с Анной», когда «чистая оказалась развратной, честная — бесчестной»[1], кажется со стороны Андреева явным преувеличением. Но — только на первый.

Суть дневниковой записи Андреева от 8 сентября 1908 года — а в тот день он наконец-то уличил свою молодую — и уже беременную их первым ребенком жену во лжи, а быть может, и в измене, — так вот, вся суть в том, что он признается дневнику, что подозрения в женской опытности Анны он испытывал едва ли не с первых дней их близости. И, судя по андреевским обмолвкам, в сексе Анна-Матильда чувствовала себя весьма раскрепощенно, и на этом поле она оказалась — как сказали бы теперь — гораздо смелее и притягательнее Шурочки, это и волновало, и интриговало, и ужасало Андреева. Предполагаю, что к Анне Ильиничне наш герой внезапно испытал настоящую мужскую страсть, а — потому — постоянно мучил невесту, а потом и жену расспросами о ее прошлом. Этим можно объяснить и ту власть, что имела она над ним в первое время, и то, что, узнав об измене, Андреев не имел сил ни порвать с ней, ни даже разлюбить, а только — все сильнее и сильнее подавлял эту женщину, заставлял быть с собой по 24 часа в сутки. Даже на время разлучившись с нею, он изводил себя и Анну «черными мыслями»: «В черные минуты мне представляется

[1] Там же.

такая возможность. Вот ты снова обманула меня, изменила мне как-нибудь очень нелепо, ненужно и страшно, и, конечно, я расхожусь с тобою. Но — разойдясь — перестаю ли я тебя любить? Но, узнав, что ты безнадежно... лжива, себялюбива, изменчива — перестану ли я тебя любить? И страшный получается ответ: кажется, не перестану»[1].

После смерти мужа Анна Ильинична некоторое время вела дневник, есть в нем престранная страница, датированная 23 августа 1921 года, уже через два года после смерти Андреева она записала: «...Странная вещь... Леонид говорил о себе: только когда отрицаю — я силен... И еще: "Но, написав Жизнь Человека, потом Елеазара, я дошел до такой тьмы, что я погиб бы, лично погиб. Моя жизнь с Шурой вела к этому. Как женщина она не существовала для меня. Холод и мрак. Узнал женщину впервые — тебя". Все это говорил скупо, короткими фразами, предварительно так: "Знай это, больше не спрашивай. (Я никогда не спрашивала о жизни с Ш., о ней.) Скажу коротко: если бы сейчас воскресла Ш. и вошла бы в эту дверь, я сказал бы — иди, откуда пришла. И остался бы с тобою"»[2]. Конечно, Анна Ильинична могла и выдумать этот разговор, мог и Леонид Николаевич в увлечении своем «ради красного словца» не пощадить и памяти Шурочки, но... отчего-то кажется мне, что ни тот ни другой не врали «сердцем» — при всем душевном мезальянсе этот брак был крепко замешен на нешуточной мужской страсти Андреева, страсти, которую Анна-Матильда возбуждала в нем в первые годы их брака.

Что ж, будем считать, что ключи от этих непростых отношений лежали в спальне Леонида Николаевича и Анны Ильиничны. Однажды войдя и в его спальню, и в его жизнь, Анна-Матильда была рядом с писателем вплоть до его смерти, а после — с гордостью носила титул вдовы Леонида Андреева. С 1907 года в произведениях Андреева появляется и новый тип женщины: молодая, обворожительная, порой — чувственная, всегда — возбуждающая страсть и — безнадежно «испорченная»: Екатерина Ивановна, Елена Петровна, Анфиса, Далила, Елизавета из «Собачьего вальса», Мария из «Дневника Сатаны»...

А душевное смятение после новой женитьбы, разбитых надежд и «черных мыслей» перекочевало в новую пьесу — «Черные маски». Леонид Николаевич закончил ее осенью 1908 года, и, кстати, отныне — и до конца жизни множество своих

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 226.
[2] Леонид Андреев: Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 145—146.

текстов он будет диктовать Анне Ильиничне, а она — отменно быстро, точно и грамотно печатать их прямо с голоса на самых последних моделях пишущих машинок.

Увы, «Черные маски», эта радикальнейшая драма о том, как мысли и чувства герцога Лоренцо под видом масок пришли к нему в замок и что из этого получилось, — была построена очень плохо. Молодой Сергей Эйзенштейн в «Заметках касательно театра», сравнивая «Черные маски» со «Смертью Тентажиля» Метерлинка, поставил Андрееву нелицеприятный, но справедливый диагноз. «Теперь Андреев, — писал Эйзенштейн. — У него абстрактная идея перепутана с бессвязным и лишенным логического хода действием. Вы каждый момент... каждую сцену не воспринимаете как звено общего хода действия, а — как лоскут, что-то бесформенное, отдельное...»[1] Да, логику драматического действия писателю в «Масках» выстроить не удалось, недаром эту пьесу сразу и без малейших колебаний и споров отвергли в МХТ. Но тем не менее в «Черных масках» театру были предложены несколько весьма новаторских и продуктивных идей, которые сцена «распробовала» лишь спустя несколько десятилетий.

Андреев выставил здесь на обозрение публики внутренний мир героя (такой прием современник Андреева — режиссер и теоретик театра Н. Евреинов — назвал «монодрамой»). «Маски — это чувства, мысли Лоренцо, сошедшего с ума, которые вышли из него, облеклись в конкретные образы»[2], — расшифровывал театральный критик Николай Эфрос название пьесы.

Итак, на балу в замке герцога Лоренцо вместе с главным героем в потоке его сознания кружатся: его Сердце — очаровательная синьора в красном, которую обвивает черная змея, его Мысли — «черный мохнатый паук» и «отвратительное чудовище на зыбких, колеблющихся ногах», его Лихорадка, названная Длинное Серое — маска, похожая на труп, бал посетили и его Подозрения о неверности матери: гордая и неприступная Королева, которую обнимает пьяный Конюх, ну и, конечно, — куда же без них? — следом из души Лоренцо прямо в зал «гуськом вбегают семь горбатых, сморщенных Старух». И далее эту неприятную, но в общем-то знакомую хозяину публику начинают теснить «черные маски» — слетевшиеся на свет, зажженный во всех комнатах и на башне замка, — дьявольские

[1] Мнемозина: Документы и факты из истории театра XX века // Исторический альманах. Вып. 2. М.: URSS, 2000. С. 230.

[2] Цит. по: Материалы и исследования. С. 299.

осколки, черные дыры... И, кстати, Аркадий Алексеевский, назвавший свои воспоминания об Андрееве «Герцог Лоренцо», объяснил *urbi et orbi* происхождение этих образов: мелькание перед глазами черных кругов — симптом мигреней, что посещали Андреева. Эти предвестники мигрени возникают сперва небольшими кругами и полукружиями, делая своеобразные «дырки» в картине мира, затем, мерцая, они все расширяются, сливаются друг с другом, и вот уже перед тобой совершеннейшая чернота — предтеча ужасной головной боли. Леонид Николаевич всю жизнь страдал мигренями, но особенно сильные приступы, как рассказывал Алексеевский, испытывал перед смертью близких людей: отца, сестры Зинаиды, Шурочки...

Надо сказать, что Андрееву удалось в первых двух картинах пьесы передать ужас «заполонения» пространства замка — вначале пугающими, но яркими, а потом — одинаковыми черными фигурами в масках... Но далее, как мне кажется, драматург так и не смог развить и завершить отношения герцога и выползших внезапно из его недр чудовищ, и они так и остались любопытным фоном. Внезапно в третьей картине он поменял прием — «раздвоил» самого Лоренцо, устроив дуэль между герцогами-двойниками, убил одного из них, выставил реальных персонажей у его гроба, короче говоря, предельно запутал и без того крайне сложно построенный сюжет, действие же — по сути — топталось на месте и вдруг неожиданно сворачивалось — огромный пожар пожирал и замок, и Лоренцо со всеми его мыслями и метаниями.

Ignis sanat (огонь исцеляет) — это визуальное послесловие, эффектно воплощенное, кстати, в театре Комиссаржевской, ничуть не снимало множества возникающих у зрителя и читателя вопросов. Сам Андреев с печальным юмором рассказывал: «Я не могу забыть буфетчика в театре, у которого на “Черных масках” спросили, как идет торговля; и, разведя руками, горько отвечал буфетчик:

— Недоумевают — и не пьют»[1].

Недоумевала не только публика, но и критика, многие справедливо полагали столь буквальное воплощение внутренних проблем и страхов Леонида Андреева неприличным. Но — несмотря на это — в сезоне 1908/09 года «Черные маски» ставились по меньшей мере трижды. После бесплодной переписки с МХТ Андреев предложил пьесу театру Комиссаржевской, где уже не работал Мейерхольд, но начинал свою режиссерскую карьеру младший брат великой актрисы Федор Комиссаржевский. Режиссерами спектакля в Театре на

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 221.

Офицерской были он и А. Зонов. Художником — молодой Н. К. Калмыков, только что создавший сновидческие декорации к запрещенной цензурой «Саломее» в постановке Н. Евреинова. Режиссеры и художник, воплощая замысел «первого драматурга», не жалели фантазии, дирекция — средств, в роли герцога выступал премьер театра и партнер Комиссаржевской Казимир Викентьевич Бравич (Некто в сером, столь полюбившийся Блоку в мейерхольдовской «Жизни человека»), но... вызвав интерес и горячие споры искушенной публики, спектакль немедленно перестал давать сборы, как только в зал «прорвалась» обычная жизнь. Пьеса ставилась и в провинции труппой Гайдебурова, и в Москве — в театре Незлобина шел — и довольно успешно — спектакль Константина Марджанова. Позже к этой драме Андреева практически не обращались. Театру так до сих пор и не удалось «разгрызть» «Черные маски», вероятно оттого, что радикальные авторские идеи и несколько блистательных сцен не составляют целого. Жаль, что не было уже рядом с Андреевым строгого критика, который бы, ужасаясь и плача, повторял бы ему: «Не то, Лёнечка, не то...», заставляя по десять раз переделывать сцену за сценой.

Была в этой пьесе и еще одна тема: в хороводе масок Лоренцо терял любимую жену — юную донью Франческу, он звал ее — она всякий раз являлась в маске, он — узнавал ее: «Позвольте мне заглянуть в ваши глаза: из тысячи тысяч женщин я узнаю мою возлюбленную по ее глазам», но тут появлялась другая — и тоже в маске. И та, вторая — говорила голосом Франчески: «Вы звали меня, Лоренцо? Кто эта синьора, что смеет так нежно обращаться с вами?» Как только он понимал, что вот она, настоящая Франческа, а та — первая — была обманом, приходила третья и эта, третья, тоже была Франческа; и трое, они говорили ему: «Лоренцо! Мой любимый!»... И тут-то бедный герцог осознавал, что все эти маски — только обман, а он и вправду потерял донью Франческу... Как мне кажется, задумывая эту сцену, Андреев сам неотчетливо понимал, что́ за возлюбленную ищет его герой: лживую и «огнеглазую», прячущую настоящее лицо под маской нежности — Анну или нежную и хрупкую, выскальзывающую из рук, преданную и призрачную — Шурочку...

Еще одно, занимавшее воображение автора «Масок», — сценическое пространство — тот самый замок Лоренцо, где из кабинета на узкую винтовую лестницу была приоткрыта «низкая, массивная дубовая дверь и видны были ступени». И «сводчатые тяжелые потолки, и маленькие окна в глубоких каменных нишах», и яркий огонь в огромных каминах, и главное — высокая башня, башня, что должна «гореть, сверкать, должна

подниматься к черному небу, как один огромный пламенный язык!». Писавший эти строки и сам мог уже подняться — по узкой винтовой лестнице в возвышавшуюся надо всей округой финского побережья башню — весной 1908 года Андреев переехал в Ваммельсуу, чтобы уже навсегда поселиться в собственном доме.

Как мы помним, вилла «Аванс» была задумана летом 1907 года, вместе с зятем Андреем Олем Леонид Николаевич погрузился в проектирование «дома своей мечты». «Знаешь мое давнишнее мечтание — уйти из города совсем, — писал Андреев М. Горькому тем летом. — И вот я ухожу из него — в глушь, в одиночество, в снега. Ведь люди не помогают моей работе, а только мешают ей — и как я буду там работать! Накоплено во мне много, и я уже чувствую, как оттуда, из тишины той, я буду бросать в мир какие-то слова — большие, сильные!»[1] Его лихорадочная энергия привела к тому, что этот огромный дом возвели уже через год. Теперь он мог — как и хотел, спрятаться «за забором» и оттуда метать в мир тяжелые камни.

Вилла «Аванс» — официально она называлась вилла «Белая ночь», но это имя как-то не прижилось — стала для современников не меньшей сенсацией, чем «Бездна» или «Жизнь человека». Ну, во-первых, это было странно для русского писателя, ведь все они либо мерили шагами скрипучие полы дедовских усадеб, либо кочевали по съемным квартирам больших городов, а то — и по комнатам швейцарских, баварских, берлинских, венецианских пансионов. Но... остановиться в какой-то точке земли и — подобно средневековому феодалу — возвести здесь замок, да еще — по собственному проекту, да еще таким, каким он являлся ему во сне, рисовался в воображении, да еще — чтобы он был оборудован согласно новейшим достижениям техники, — нет, таких жестов русские писатели — при всех их чудачествах — не совершали. Леонид Николаевич стал первым.

Во-вторых, странная была тяга Андреева — орловца и русака — к бледной и невыразительной финской природе. Но — факт остается фактом: развившаяся с годами страсть к морю и постепенно возникающая влюбленность в «невзрачные финские болота» сделали Ваммельсуу второй родиной Андреева, вскоре он уже был уверен, что «никакие красоты Кавказа, Крыма и Волги не могут сравниться со скромной, глубоко человечной финской природой».

[1] Переписка. С. 284.

«Но была и смутная мысль, — мысленно отмечая десятилетия своего дома, вновь сформулировал Андреев цель «ухода в Ваммельсуу», — сесть в какой-то границе, в нейтральной, интернациональной и безбытной зоне. Сделать красивую жизнь. Сурово замкнуться для трагедии»[1].

На ум приходит еще один резон. Вспомним, что сам Леонид Николаевич полагал себя вторым, после Толстого, писателем Российской империи. И все чаще и чаще его невольно сравнивали с «великим старцем», и возможно, мысль «об уходе в Ваммельсуу» отчасти была рифмой яснополянскому отшельничеству Льва Толстого.

Забегая вперед огорчим читателя: в отличие от крепкого и простого дома Николая Андреева на Пушкарной, что стоит и по сей день, вилла «Аванс» — этот «воздушный замок» Леонида Андреева — до наших времен не дожила. После смерти хозяина его вдова продала уже разваливающийся дом и постройки, новые владельцы раскатали строение на бревна, из этих бревен, как говорят, в Ваммельсуу была сложена финская школа, но и та — недотянула до сегодняшнего дня. Парадокс, но современники были уверены, что это строение — на века. «Его дом в деревне Ваммельсуу, — писал Корней Чуковский, — высился над всеми домами: каждое бревно стопудовое, фундамент — циклопические гранитные глыбы»[2].

Но, хотя виллу и постигла участь всех воздушных замков, у тех, кто жил когда-то в этом «замке», бывал там часто или только единожды, в памяти сохранился отпечаток — восхищение, возмущение, недоумение или насмешка, — и сегодня мы могли бы издать многотомный труд, посвященный отзывам современников о замке Леонида Андреева.

«Когда в мае мы приехали на Черную речку, дом еще не был готов — только начали снимать леса. — Шестилетний Вадим Андреев стал одним из первых обитателей виллы, в дальнейшем он будет свидетелем «расцвета» и «падения» дома. — Во дворе были сложены кучи красной кровельной черепицы, штабеля гигантских двенадцативершковых бревен, толстенных досок и груды кирпичей, изразцов и строительного материала. После того как мы переехали в дом, пахнувший краской и смолою, еще несколько недель продолжалась разгрузка двора. Спешно заканчивались постройки дворницкой и бесчисленных сараев — дровяных, каретных, конюшен, сеновалов, ледников и погребов. Внизу, под семисаженным обрывом, на берегу реки строили купальни, здание для водокачки и две пристани: одну —

---

[1] S.O.S. С. 37.

[2] Чуковский 2.

поставленную на бревнах, вбитых в дно (ее снесло первым же ледоходом), и другую — плавучую, на громадных просмоленных бочках, с высокой белой решеткой. Эту пристань зимой вытаскивали на берег, и она лежала, полузасыпанная снегом, похожая на скелет доисторического чудовища»[1].

Все сооружения возводились на совершенно голом участке земли, на возвышенности, и таким образом дом Андреева легко просматривался с четырех сторон света. Стилевые особенности виллы происходили из архитектуры северного модерна, а кроме того, и молодой Оль, да и сам Андреев находились под влиянием суровых скандинавских строений; проектируя виллу в «нордическом» — как называл его хозяин — стиле, они выбирали для отделки особые материалы. Двухэтажное здание было сложено из цельных бревен, несимметричные скаты крыш покрыты ярко-красной черепицей, огромные абсолютно разные по форме и величине окна расстеклены мелкими квадратами, а прямая — как у замков раннего Средневековья — пятнадцатиметровая башня с как будто «срезанной» крышей — на несколько лет стала архитектурной доминантой Ваммельсуу. Вместо крыши башню венчала открытая смотровая площадка. «Дом, построенный по рисункам отца, был тяжел, великолепен и красив, — большая четырехугольная башня возвышалась на семь саженей над землею. Огромные, многоскатные черепичные крыши, гигантские белые четырехугольные трубы — каждая труба величиной с небольшой домик,— геометрический узор бревен и толстой дранки — всё в целом было действительно величественным. Года через два дом перекрасили прозрачной краской, сквозь которую проступал рисунок дерева,— из рыжего он стал сине-черным, сделавшись еще красивее, но вместе с тем мрачней и тяжелей»[2].

А вот еще одно свидетельство только что подъехавшего к дому гостя: «...большое и довольно странное здание, деревянное, с высоко поднятой черепичной крышей, с бревенчатой башней, общего тусклого, красновато-коричневого тона. На первый взгляд, оно скорее некрасиво, угрюмо и как бы шершавое». Но, внимательно рассмотрев дом, самарский гость — писатель и критик А. А. Смирнов постепенно поддался обаянию его суровой и продуманной красоты: «Высокие крыши срубов под черепицей. Черепица же спускается на бревенчатые стены, а дальше стены наполовину покрыты гонтовой чешуей[3]. От этого и шершавая, и ершится как-то дача. Окна

---

[1] Детство. С. 33—34.
[2] Там же. С. 30.
[3] Черепица из дерева.

снаружи кажутся разнокалиберными: и большие, в сплошных звеньях, и маленькие, и высокие узкие, и широкие длинные, и разбросаны они в беспорядке; только в дому убеждаешься, что это беспорядок — придуманный и хитро удобный»[1].

С каждой стороны дом открывал гостю новое лицо, самое известное — со стороны Черной речки, где второй этаж здания буквально сливается с как будто «прилипшим» параллелепипедом башни, с первого этажа сюда выходили огромные окна столовой, со второго — терраса и окна андреевского кабинета. Как говорили, в доме насчитывалось 40 комнат. Стены и перегородки внутри были такими же бревенчатыми, к ним Андреев и Оль использовали сукно, которым был обит пол, из сукна же делались драпировки, подчас заменяющие двери. Помещения были огромны и соединялись множеством деревянных лесенок.

Да, обитатели и гости этого дома столь детально рассказали о нем, что теперь и мы, пожалуй, могли бы пройти этажами этого «замка». Главное пространство первого этажа — холл, он же — и гостиная, и столовая. Это — целая зала, где-то в глубине ее теряется обеденный стол на 20 персон. Яркий свет бьет справа: там — огромное — через всю стену окно с мелкой квадратной расстекловкой. Длинный диван, кресла, камин — жмутся к стенам, вся мебель здесь сделана по рисункам Оля или специально выписана из Германии. Диван стоит как будто на постаменте, к нему ведет отдельная ступенька. По вечерам окно закрывается суконной до полу занавеской, скользящей по длинному медному шнурку, а над огромным столом загорается низко висящая лампа и тогда — пространство сжимается, и комната делается уютнее. Прямо из столовой через коридорчик можно войти в спальню Леонида Николаевича и Анны Ильиничны, с другой стороны от холла-столовой — тоже через коридор — две одинаковые детские комнаты, жилище Анастасии Николаевны, комнаты гувернанток и нянь, гостевые, в противоположной — восточной стороне — кухня и людские. Кстати, многие вещи делались прямо в огромных комнатах, и когда — после смерти хозяина — вдова пыталась продать что-то из мебели, столы и кресла оказалось невозможно вынести из дома по узким лесенкам. Дом как будто не желал расставаться со своими внутренностями...

На второй этаж — в царство самого Андреева — из столовой наверх вела широкая лестница. Посередине — между первым и вторым этажами — находилась площадка, где — как вспоми-

---

[1] *Смирнов А. А.* У Л. Андреева / Публикация М. Перепелкина. http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=vammelsuu-avans&lang=ru. Дата обращения 10.07.2011.

нала дочь Андреева Вера — было всегда темно. Именно оттуда — из темного угла, с огромного, нарисованного мелками на картоне портрета — сверлил своим взглядом обитателей дома Некто в сером. Лестница упирается в маленькую квадратную комнатку с четырьмя дверями: одна из них скрывает еще одну — винтовую лесенку — в башню, где обычно помещают гостей, вторая ведет — в гимнастическую, третья — в комнату Анны Ильиничны, четвертая же — в сердце этого замка — кабинет хозяина... Здесь, как утверждали все в один голос, масштабы предметов и вещей уже намного превосходили обычное человеческое измерение. «В огромном кабинете, на огромном письменном столе стояла у него огромная чернильница, — поражался Корней Чуковский. — Камин у него... был величиной с ворота, а самый кабинет точно площадь»[1]. И правда, чтобы поставить на камин свечу, приходилось вставать на ступеньку, вспоминала невестка Андреева Анна Ивановна. Свечи ставились, очевидно, в медные семисвечники, во всяком случае, о них вспоминал Серафимович... Огромный письменный стол размещался не у стены, а так, чтобы к нему можно было подойти с четырех сторон. Вообще же — многие вещи были немного приподняты — стояли как будто гробницы — на постаментах, что придавало обстановке весьма своеобразную — похоронную — атмосферу. Правда, тут же на ступенях камина уютно кипел самовар: хозяин — с гостями или без — непременно пил чай по ночам... Окна кабинета выходили на террасу, терраса — на обрыв и Черную речку. Темно-серый шероховатый потолок пересекали балки из темно-коричневых дубовых бревен. Те же бревна опускались вдоль стен. Длинный суконный темно-синий занавес отделял кабинет от библиотеки. Комнату украшали репродукции и картины, писанные самим Андреевым: портрет больного Толстого, копии Гойи, сделанные углем на сером картоне: черт, стригущий ногти, и старец с крыльями летучей мыши. По контрасту — между двумя жутковатыми копиями — белело католическое распятие. Дубовые кресла с высокими готическими спинками невозможно было сдвинуть с места.

Этот кабинет был придуман и выстроен как таинственный цех по производству андреевских шедевров, и вся читающая Россия знала, что где-то в глуши финских болот на берегу серого моря писатель Леонид Андреев «шагает по ковру, пьет черный чай и четко декламирует; а пишущая машинка стучит как безумная, но все же еле поспевает за ним»[2].

Поскольку этот дом неоднократно сравнивали и с декорациями к третьему акту «Жизни человека», с замком Лоренцо

[1] Чуковский 2.

[2] Там же.

из «Черных масок», — я не стану прибегать к такого рода сравнениям, замечу лишь, что те, с кем Андреев дружил в дни небогатой юности, — называли это пространство безжизненным, неуютным, не подходящим для писателя. «Жутким показалось мне андреевское "веселье". Не понравился фантастический, мрачный замок его...»[1] — огорчался Скиталец, посетив старого друга на Черной речке. Тем же, кто узнал писателя позже, вилла скорее нравилась, поскольку, как им казалось, в точности выражала андреевский дух: «Как величаво он являлся гостям на широкой, торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую! Если бы в ту пору где-нибудь грянула музыка, это не показалось бы странным»[2].

Честно говоря, я больше доверяю мнению последних, во всяком случае, в первые годы жизни это был веселый и шумный дом. Здесь, в Ваммельсуу, Андрееву удалось воплотить еще одну заветную мечту: летом на Черной речке собиралась вся его огромная семья — братья и сестры с мужьями и женами, в детских же — располагался целый «питомник»: тут росли дети самого Андреева: Вадим, Савва, Вера, Валентин, дочь Анны Ильиничны — Нина, приезжали отдыхать племянники и племянницы Лариса, Ирина, Игорь, Галина, Лев, Леонид... дети знакомых, иногда гувернантки вели купаться на речку целую «орду» — голов 15 кричащих, хохочущих, плачущих, дерущихся ребятишек... Было весело. А кроме детей — были еще и взрослые.

Картинку счастливой семейной жизни в Ваммельсуу, так напоминающую деревенскую идиллию, оставил нам частый гость Андреевых Чуковский. Корней Иванович признавался, что из всех андреевских «масок» больше всего на свете любил одну: «Леонида Андреева — очень домашнего, благодушно-бесхитростного, и как удивился бы каждый читатель его раздирающих душу трагедий, если бы увидел его в иные минуты в кругу многочисленной и дружной семьи. Вот он сидит за большим самоваром, рядом со своими братьями Андреем и Павлом, и его сестра, голубоглазая Римма подает ему шестую чашку чая, а тут же, невдалеке от него, кутаясь в темную старушечью шаль, сидит его мать Настасья Николаевна и смотрит на него с обожанием»[3]. Семейные шуточки, несерьезные подначивания, розыгрыши сопровождали эти безмятежные дни в строгих «нордических» интерьерах. Как и в прежние годы, Андреев вовсю потешался над матерью, а та — лишь ухмылялась, прятала лицо в темный платок и курила — папиросу за

---

[1] Скиталец.
[2] Чуковский 2.
[3] Там же.

папиросой. Хотя иногда шутки знаменитого сына над «мамашей» носили едва ли не садистский характер: даже живя на вилле, где держали множество прислуги, в том числе и трех сторожей, она до ужаса боялась воров. Прекрасно зная о материнских «фобиях», Леонид как-то раз положил пару «мужицких» сапог в материнской комнате, с тем расчетом, чтобы женщине показалось, что некто «шарит» у нее под кроватью, а сам, спрятавшись в коридорчике, наслаждался произведенным эффектом...

Сынок просто обожал сочинять и рассказывать о своей «мамаше» весьма несуразные истории. «Хотя у нее были темные волосы, он почему-то называл ее "Рыжей", уверяя — тут же, за чайным столом, — будто она влюблена в одного итальянца, и очень смеялся над тем, что она говорит "калидор", "карасин", "апельцыны". На все эти шутки она отвечала улыбкой. <...> И вся семья вместе с ним веселела, и в доме на две-три недели водворялся какой-то наивный, очень искренний, простосердечный, провинциальный уют. Именно провинциальный: даже в том, как сражался Леонид Николаевич в шашки, как безудержно и лихо острил, как долго просиживал с семьею за чайным столом, выливая на блюдечко чашку за чашкой, как любил слушать игру на гитаре, как любил послеобеденный сон, чувствовалось неискоренимое влияние провинции, в которой прошло его детство». Это была, конечно, немного бестолковая, но по-настоящему крепкая, по-хорошему провинциальная семья во главе с «герцогом Лоренцо». «Но замечательно: при всей провинциальности, — подчеркивал Корней Иванович, — в нем не было и тени мещанства. Обывательская мелочность, скаредность, обывательское "себе на уме" были чужды ему совершенно; он был искренен, доверчив и щедр; никогда я не замечал в нем ни корысти, ни лукавства, ни карьеризма, ни двоедушия, ни зависти»[1].

Правда, как уже говорилось, существовали иные мнения. «Хорошо было удалиться из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица перекочевала к нему в самом суетном и жалком облике; взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму и обманывала»[2], — в оценке Бориса Зайцева много несправедливого, но факт остается фактом — «столица» частенько навещала «изгнанника». Расцвет виллы «Аванс» пришелся на предвоенные годы. У Андреевых постоянно кто-то жил, гостил, устраивались праздники, пикники, ну и конечно же читки новых произведений. Самый воздух этого удивитель-

---

[1] Чуковский 2.

[2] *Зайцев Б. К.* Леонид Андреев.

ного дома был пронизан волей к творчеству, полагал старший сын Андреева, даже слуги здесь начинали писать романы...

Казалось бы — вот оно! Его мечта воплотилась и стала фактом действительности. Но — мечта, приближенная к реальности, конечно же чревата неожиданными гримасами. Даже и теперь на Карельском перешейке скромные владельцы сарайчиков, как и обладатели роскошных «замков», мучаются одними и теми же «вечными» вопросами водопровода, канализации и тепла, иными словами — инженерных сооружений, их ремонтом, обслуживанием и прочими изрядно выматывающими нервы техническими нуждами. Разумеется, никаких централизованных водопроводных и канализационных систем в те годы в Ваммельсуу не было и в помине, нет их, кстати, и по сей день. И учитывая, что Андреев и Оль задумали виллу с полным автономным обеспечением водой, электричеством, предполагалось закупить и установить самое современное оборудование для водопровода, канализации, камины проектировались таким образом, чтобы отапливать все огромное пространство. Всего на участок, строительство дома, приобретение обстановки и возведение инженерных сооружений Андреев истратил 75 тысяч рублей. Что — даже учитывая его высокие заработки за эти годы: 50 тысяч за 1907-й и около 40 — за 1908-й — оказалось немалой суммой. Все дела по строительству Леонид Николаевич доверил зятю: Андрей Оль выполнял обязанности прораба: именно он производил закупки, нанимал рабочих, рассчитывался с ними и поставщиками материалов.

Но как только в конце мая 1908 года семья вселилась в еще не до конца отделанный дом, случилось нечто непредвиденное, хотя, если вдуматься, — вполне закономерное. Обнаружилось, что, увлекаясь архитектурой и дизайном, ни молодой архитектор, ни заказчик не продумали технической стороны вопроса, да и продумать-то хорошенько не могли: Оль — в силу неопытности, Андреев — потому что ему это вообще не приходило в голову.

«Дом многообразно протекает, — писал тесть Олю через несколько месяцев после переселения на Черную речку, и то была лишь одна из множества бед. — Это нечто возмутительное. Во всей этой истории с водопроводом я занимаю положение самое жалкое: я профан, я ничего не знаю и принужден верить всему, что мне скажут. И вот теперь...»[1] «Теперь» стало очевидным, что его надули, и как шутил Чуковский, «гигантская водопроводная машина, доставлявшая из Черной

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 207.

речки воду, испортилась... в первый же месяц и торчала, как заржавленный скелет...»[1]. Но для обитателей виллы это были вовсе не шуточки. За установку водопровода Андреев заплатил восемь тысяч, подрядчик же привез ему старую, слабосильную машину, которая немедленно вышла из строя. Печальный итог: «Полтора месяца без воды, с вонью от клозетов, которые и в нормальном состоянии действуют прескверно. Трубы в доме проложены так, что они неизбежно должны замерзать. Как же теперь быть, Андреич?»[2] — взывал Андреев к прорабу и архитектору, разумеется, уже понимая, что платить придется опять.

Суровость финских почв также портила прекрасный проект. «Невдалеке от дома, под горой была возведена исполинская вышка, и человек двадцать рабочих вручную буравили артезианский колодец. Огромный пятидесятипудовый молот тяжело, со скрипом поднимался на блоках и потом со свистом падал, загоняя бурав в землю»[3]. — Вадим Андреев вспоминал, что спрятавшиеся под землею огромные валуны ежедневно ломали бурав, работа останавливалась, потом начиналась опять. Так, путем невероятных усилий рабочие пробуравили почву на глубину 150 метров и... не обнаружили воды! От идеи артезианской скважины пришлось отказаться и использовать не очень хорошие воды близкого залегания. И так далее... Зимой выяснилось, что красивейшие камины и массивные печи съедают уйму дров, но в морозные дни дом не прогреть и по утрам в умывальниках замерзает вода, а ночью — частенько лопаются водопроводные трубы... «Его огромный камин, — писал Чуковский, — поглощал неимоверное количество дров, и все же в кабинете стояла такая лютая стужа, что туда было страшно войти... Тенистые большие деревья, которые со страстным увлечением каждую осень сажал Леонид Николаевич, пытаясь окружить свою усадьбу живописным садом — или парком, — каждую зиму почти всегда вымерзали, оставляя пустырь пустырем»[4]. Ну а в довершение картины — уже через год начала клониться набок и знаменитая башня — и с каждым годом крен увеличивался...

Андреев, уже вскоре после вселения хлебнувший бед от многочисленных бытовых «но», возникающих на пути к красивой, разумно организованной жизни, спустя годы с горечью признался самому себе: «Чтобы держать в порядке, надо очень много денег, постоянный ремонт и постоянная внимательная

---

[1] Чуковский 2.
[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 208.
[3] Детство. С. 34.
[4] Чуковский 2.

любовь». Он с горечью пишет о том, что постепенно в огромном сорокакомнатном доме поселился «демон разрухи»: «И крыша стала протекать, а в клозете появилась книжка с вырванными листами, и я ослабел»[1].

И все же более десяти лет этот дом — «мрачный, разумного уюта» — стоял, возвышаясь надо всей округой, жил, притягивал взоры и сердца, этот «замок Лоренцо» был, как вспоминала Анна Ивановна, жена Павла Андреева, «одухотворен присутствием Леонида Николаевича. Дом настолько жив, живы даже мертвые вещи — камины, мебель; душа Леонида Николаевича живет во всем, ее видишь, осязаешь»[2].

Слава Андреева в тот год достигла вершины, достигает предельной зрелости и его мастерство. Незадолго до женитьбы и вселения в «замок Лоренцо» окончил он самый известный из своих шедевров. «Рассказ о семи повешенных» — с этим-то текстом ему и предстояло войти в «пантеон великих». Здесь — внешне в самой простой, по сути — изощренной и неуловимо изысканной форме – Андреев поведал миру о том, как встретили свою казнь пятеро «бомбистов» и два уголовных преступника. Современники посчитали опубликованный в пятом выпуске альманаха «Шиповник» «Рассказ...» своеобразным «послесловием» к первой русской революции. Потому-то разгневанный Горький в статье «Разрушение личности» возмущался, что революционеры Андреева «совершенно не интересовались делами, за которые они идут на виселицу, никто из них на протяжении рассказа ни словом не вспомнил об этих делах»[3]. И он был прав — социальный пафос писателя, его гражданская позиция целиком и полностью растворились здесь в бытийных вопросах, в сущности — в одном: как встречает человек свою смерть. Совершенно справедливо «Рассказ о семи повешенных» считают предтечей экзистенциализма, поскольку не угнетенные против угнетателей, не богатые против бедных, не серость против просвещения, — а «инстинкт жизни» воюет против «инстинкта смерти» на этих страницах.

Все это, конечно, стало общим местом только сегодня, тогда же «Рассказ о семи повешенных» читался как произведение злободневное, описывающее провал операции «Летучего боевого отряда Северной области» — организации эсеров, совершающих террористические акты против крупных чиновников и членов царствующей семьи.

---

[1] S.O.S. С. 37—38.

[2] Цит. по: «Жизнь...». С. 210.

[3] Переписка. С. 439.

6 февраля 1908 года семь членов группы должны были забросать бомбами министра юстиции Щегловитова и великого князя Николая Николаевича — родного дядю Николая Второго. Первая главка рассказа называется «В час дня, Ваше превосходительство». Не имеющему ни имени, ни фамилии министру сообщают, что «покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода». Действительно, группа ЛБОСО была выдана полиции знаменитым Азефом, и далее, уже 14 февраля, четверо мужчин и три женщины: Лебединцев, Синегуб, Распутина, Лебедева, Стуре, Баранов и Николаев — военно-окружным судом были приговорены к повешению. «— Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, — наивно обругался Головин. — Так и нужно было ожидать, — ответил Вернер спокойно».

Осужденных казнили через три дня, 17 февраля 1908 года в Лисьем Носу, на берегу Финского залива, трупы их были сброшены в море. «Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер. — Море, — сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух. — Там море».

Да, «Рассказ о семи повешенных» скользил по фабуле реального, всколыхнувшего общество события. Да и самому Андрееву этот опыт казался поначалу высказыванием «на тему о смертных казнях. Чувствую, что сейчас голосу настоящего нет, — думал он во время работы, — а хочется крикнуть: не вешай, сволочь!»[1]. Да, писатель знал об этом процессе и чудовищном приговоре не только из газет, да, ему был знаком один из казненных — руководитель группы Всеволод Лебединцев, выведенный им под именем Вернер. Этот человек был близким другом Ильи Николаевича Денисевича, тестя Андреева, а в конспекте автобиографии Анны Ильиничны есть такая запись о свидании с прототипом Вернера «у решетки Летнего сада». Кстати, писатель, вероятно, слышал рассказ участника процесса над бомбистами — присяжного поверенного Александра Леонтьева о том, как вели себя подсудимые в зале военно-окружного суда, как встретили они смертный приговор. И более того, тем ранним февральским утром в Лисьем Носу среди других была казнена и Анна Распутина — родная сестра Владимира Шулятникова, с которым Андреев долгие годы работал в «Курьере». И, возможно, именно последние слова Ан-

[1] Переписка. С. 307.

ны: «У нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой» — стали важнейшей вехой в рождении замысла. Но все эти детали не могут объяснить той степени пронзительной художественной правды, которой он достигает в этом, посвященном Льву Николаевичу Толстому, тексте.

То, что отнюдь не социальная тема волновала автора, следует прежде всего из композиции. Андреев недаром уравнял и палачей, и жертв; и политических, и уголовных преступников. Вместе в эсерами к смерти идут и полуграмотный темный Янсон — работник, зверски убивший своего хозяина, и орловский «Соловей-разбойник» по прозвищу Цыганок. Как ни странно, к ним прибавлен и «очень тучный, склонный к апоплексии» министр, переживающий свою гипотетическую смерть от бомб террористов в огромной спальне на чужой вилле, куда его спешно перевезли полицейские чины. «В час дня, ваше превосходительство! — сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом». Именно спасенный министр — первым из восьмерых героев — становится жертвой «инстинкта смерти»: ночью, на чужой вилле его настигает апоплексический удар: «Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом». Так, в двенадцати главках текста «только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо», провоцирует немедленную работу «инстинкта смерти» над душами и телами героев.

Один из террористов — Василий Каширин от самого суда «весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас», а эстонец Янсон, «этот человек с маленьким, дряблым личиком», что «никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела», теперь стал бегать по замкнутому пространству, поскольку «почувствовал ясно, увидел, ощутил», что смерть «вошла в камеру и ищет его, шаря руками». А юная «бомбистка» Муся «была счастлива». «Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо» и вела с человечеством и собой беспрерывные разговоры. «— Тебя казнят. Вот петля. — Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я — бессмертна?» Так ночь перед казнью ставила всех семерых лицом к лицу с тем, от че-

го нельзя было отмахнуться... И «не было таких понятий в... человеческом мозгу, не было таких слов на... человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное». И кто-то, как бесстрашный Цыганок, «стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем», а кто-то, как «неизвестный по прозвищу Вернер», «от гордой и безграничной свободы пришел к нежной и страстной жалости»...

Но не эта ночь, не душераздирающая сцена предсмертного свидания одного из террористов с матерью и отцом, на мой взгляд, вот уже более ста лет делают эту вещь близкой любому читателю, а та атмосфера кафкианской тоски, что возникает поверх сюжета и слов диалога. «Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей цокали звонко или хлябали по мокрому снегу». Сегодня этот текст — визитная карточка Андреева на самых разных языках; мир, прочитавший Кафку и Камю, мир, переживший Холокост, отменивший смертную казнь и вернувшийся к терроризму, до сих пор читает «Рассказ о семи повешенных» как текст автора-современника.

А тогда — в марте 1908 года Андреев лично прочел «Рассказ...» у себя на Каменноостровском, потом еще раз — в Орле. И в столице, и в провинции слушатели расходились молча, были подавленны. Приглашенный в качестве «эксперта», слушал этот текст в Петербурге и некто Стародворский. Бывший заключенный Шлиссельбурга, — когда-то осужденный на смерть, но перед казнью помилованный, — грустно сказал писателю: «Меня удивляет, как вы, человек, не переживший на самом деле тоски неизбежной смерти, могли проникнуться нашими настроениями до такого удивительного подобия. Это все удивительно верно»[1]. В целом современники встретили «Рассказ о семи повешенных» хорошо — 23 тысячи экземпляров пятого выпуска альманаха «Шиповник» разошлись в несколько дней, однако реакция публики оказалась куда более сдержанной, чем на «Черные маски» или «Тьму». Здесь не было ничего скандального или неожиданно яркого, всем казалось, что этот — по сути глубоко новаторский — текст плавно движется в русле русской реалистической литературы. Нашлись и те, кто писал, что Андреев поднялся в «Рассказе...» до вершин Толстого.

Однако сам Лев Николаевич, прочтя посвященный ему «Рассказ о семи повешенных», с раздражением произнес: «Отвратительно! Фальшь на каждом шагу! Пишет о таком пред-

---

[1] *Измайлов А. А.* Литературный олимп. М., 1911. С. 291.

мете, как смерть, повешенье и так фальшиво!»[1] Недоволен был он и сценой свидания Сергея Головина с родителями, заявив близким, что и сам бы не взялся за эту тему. Что не помешало ему отправить Андрееву вежливое письмо, поблагодарив за посвящение.

Отношения первого и второго литераторов России малоинтересны; их встреча в Ясной Поляне в год смерти Толстого носила вполне официальный характер, и хотя оба бродили тогда по краю пропасти: Толстой вынашивал планы бегства из дома, Андреев близко подходил к кризису, но о какой-либо откровенности между писателями свидетельств нет.

Известно, что 21 апреля 1910 года Толстой записал в дневнике: «...приезжал Андреев. Мало интересен, но приятное, доброе обращение. Мало серьезен»[2]. Андреев же в многочисленных интервью, которые он раздавал после возвращения из Ясной Поляны, как вызубренный урок твердил о том, что «сейчас Лев Николаевич представляет единственное в мире явление. Он давно уже переступил какую-то грань, за которой нет борьбы, за которой — тишина и сияние святости. Он светится весь. В каждой его улыбке, взгляде, в каждой морщине лица столько же, если не больше, глубочайшей мудрости, как и в его словах»[3]. Много хвалил Леонид Николаевич и усилия жены Толстого Софьи Андреевны, по всей видимости, подвергшись в Ясной Поляне и ее «облучению».

Толстой и Андреев вместе снимались, обедали, гуляли по лесу, Лев Николаевич и Софья Андреевна показывали гостю дом. Официально говорили они о кинематографе, что занимал тогда Толстого, Леонид Николаевич даже рассказал патриарху о своих впечатлениях о новых картинах и о своем совете русскому кинематографисту Дранкову устроить конкурс для писателей в целях создания лучшего репертуара. Толстой задумался и долго расспрашивал Андреева о кино. «Повестка дня» предусматривала и разговоры о литературе и литераторах: обругав декадентов за то, что пишут сложно, Толстой с огромной похвалой отозвался об Александре Куприне и даже пытался читать вслух не так давно напечатанный в газете «Утро России» рассказ «По-семейному» — «очень искренний, красивый и ясный». О том, что Андреев вынес за скобки официальных интервью, мы можем лишь догадываться. Думаю, любовь мэтра к Куприну, который, кстати говоря, становился в те годы

---

[1] Цит. по: *Гусев Н. Н.* Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 162.

[2] *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 58. М.: Художественная литература, 1934. С. 41.

[3] Цит. по: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1978. С. 410—413.

все более популярным, была обидна Андрееву. Обидным, вероятно, было и то довольно прохладное мнение, что с глазу на глаз высказал Толстой Андрееву о его сочинениях.

Это парадокс, но в истории сохранился миф о том, что Толстой не любил Андреева, как и миф об обожании патриарха от литературы нашим героем. Хотя, по свидетельству секретаря Толстого Н. Н. Гусева, Андреев был именно тем новым русским литератором, чьи тексты более всех прочих занимали Льва Николаевича, и, начиная с «Жили-были», он внимательно читал практически всё, что выходило из-под андреевского пера. Андреев же — едва ли столь же прилежно знакомился со всеми подряд сочинениями Льва Толстого, «Анну Каренину» и «Воскресение» он, разумеется, знал, а вот прочел ли Леонид Николаевич — от корки до корки — «Войну и мир» — это еще вопрос.

Был ли писатель Андреев близок читателю Толстому, очевидно нет, не был. «Сладкий» автор «Олеси» Куприн был любезнее сердцу патриарха русской литературы. Как же так? Однажды ответить на этот вопрос попытался сам Андреев. «Кто следит за отзывами Толстого о пишущей братии, — рассуждал он в интервью «Петербургской газете» летом 1908 года, — тот должен признать, что Толстой крайне нетерпим: хорошо у него только то, что похоже на толстовское, все другое — никуда не годится. Между Толстым и Куприным, при всем различии в глубине и объеме дарований, много общего. Он ищет правду там же, где и Толстой. Читая Куприна, Толстой доволен, что писатель идет с ним по одной дороге. Он хвалит Куприна, как хвалит все другое — толстовское. У меня и у Куприна учитель — один, но дороги наши расходятся. Толстой никак не может мои произведения одобрить... они слишком самостоятельные»[1]. И, кстати, в том же интервью Андреев в который раз признал Толстого своим учителем.

Хотя едва ли, положа руку на сердце, мы сегодня можем причислить Андреева к ученикам и последователям Льва Толстого. Здесь приходят на ум иные фамилии: писатель, как правило, проходит у нас по «гоголевско-достоевскому ведомству». И думаю, что отношения с Толстым были для Андреева — хотя и бессознательно — частью публичного имиджа, ведь Толстой был жив, Толстой активно писал, еще более активно он высказывался по социальным вопросам, не примыкая ни к одному из политических или литературных лагерей. Толстой был непримирим ко всему, что считал неправильным, и на

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 216.

Ясную Поляну оглядывалась вся Россия. Андрееву во многом нравился образ Льва Николаевича и даже скорее образ его «бытования»: с почти ежедневным «не могу молчать!», с антибуржуазными привычками, с проклятиями как в адрес попов и российского правительства, так и в адрес «русского бунта», что без оглядки на революционные настроения интеллигенции печатно высказал Толстой в 1905 году. Тот же «анархизм», который в какой-то мере исповедовал на общественном поприще Леонид Николаевич, был свойствен и Льву Николаевичу.

Но — как литератор — Толстой закрывал собой век уходящий, Андреев же — открывал наступающий, и в его — даже несовершенных — творениях «варился бульон» будущих «измов» XX века. Толстой лишь глухо раздражался перед этими прорастающими зернами, советуя Андрееву выполоть их как зловредные сорняки. И — как не мог великий старец воспринять уже ни пьес Чехова, ни стихов Блока, так и андреевские тексты, где автор «заворачивал» подчас свои новаторские идеи в простые и ясные толстовские слова, бесили яснополянского гения.

Крен Андреева в сторону Достоевского, о котором наш герой до поры до времени помалкивал, стал совершенно очевиден после выхода в свет рассказа «Мои записки». «Читала “Мои записки” Андреева? — спрашивал Горький у Екатерины Пешковой. — Вещь озлобленная, противная. Погибает Леонид, с каждым шагом вперед он опускается куда-то вниз. Меня не удивит, если он напишет что-то в духе “Бесов”»[1]. Проницательно угадав направление вектора, бывший «друг Максимушка» не смог конечно же сдержать желчи, разлившейся у него после чтения «Записок». Не только для Горького — для многих — этот рассказ — монолог пожизненно осужденного — стал раздражающей «костью в горле». Двойственность героя была задана от самой первой страницы этого двенадцатичастного монолога: «Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни». «Чудовищное и страшное злодеяние» — убийство отца, брата и сестры, совершенное 27-летним профессором математики, — никак не умещается в его сознании, да и сам Андреев не торопится разоблачать героя, давая тому возможность морочить и себя, и читателя вплоть до самого финала рассказа. Смертная казнь «злодея, не только убившего трех беззащитных людей, но и в

[1] Переписка. С. 445.

какой-то слепой и дикой ярости изуверски надругавшегося над ними», «была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере», где собственно и происходило действие рассказа.

Итак, идеальный потомок «подпольного человека» ведет многолетние записки, тщательно закрывая хаос, рвущийся из подсознания, цепочками логических рассуждений, фиксирующих развитие мысли, обострение тех или иных чувств, изменения характера героя, и этот герой в конце концов выводит собственную формулу жизни. «Почему небо так красиво именно сквозь решетку? — размышлял я, гуляя. — Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому *голубое* чувствуется особенно сильно наряду с *черным*? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому *безграничное* постигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его в *границы*, например, включения его в *квадрат*?» С годами, сделавшись не только апологетом, но и «гордостью тюрьмы», заключенный начинает весьма активную жизнь в социуме — как во внутритюремном: его беседами наслаждаются все служащие вплоть до господина начальника тюрьмы, так и во внешнем: один раз в неделю он «проповедует» свою формулу для всех желающих услышать его.

Но — чем более тюремный быт и отношения внутри этого маленького социума обволакиваются интонацией глубокого, всепоглощающего умиления, тем менее доверчиво воспринимает читатель невиновность героя «Записок». Узнав, что один из заключенных, выломав ножку кровати, неожиданно убил вошедшего надзирателя, наш математик изобретает усовершенствование — окошечко, через которое охранник может наблюдать за действиями заключенного, уничтожая тем самым последнее преимущество одиночного заточения — приватность. С ласковостью уссурийского тигра герой сообщает о своем изобретении тюремному начальству... «И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений». Читатель сегодняшнего дня уже давно ломает голову над тем, что все это ему напоминает... ну конечно же «Приглашение на казнь» Набокова, не сомневаюсь, что Владимир Владимирович, помимо Достоевского, вдохновлялся именно этим андреевским текстом.

Итак, спокойное и достойное существование «лучшего заключенного» в самом рациональном из мироустройств — тюрьме — иногда подвергается сомнению: так, портрет героя, на-

писанный другим заключенным — художником К., «с поразительным сходством» передает лишь нижнюю часть лица, «где столь гармонически сочетаются добродушие с выражением авторитетности и спокойного достоинства». Однако верхняя часть портрета — «остановившийся, застывший взгляд, мерцающее где-то в глубине безумие, мучительное красноречие души бездонной и беспредельно одинокой» —возмутила саму модель. «— Да разве это я? — воскликнул я со смехом, когда с полотна на меня взглянуло это страшное, полное диких противоречий лицо. — Мой друг, с этим рисунком я вас не поздравляю. Мне он не кажется удачным. — Вы, дедушка, вы! И нарисовано хорошо, вы это напрасно. Вы куда его повесите?»

Что ж, прием отраженного восприятия конечно же одолжен Андреевым у Гоголя, когда, к примеру, герой повести «Записки сумасшедшего» позиционирует себя перспективным чиновником, искателем руки директорской дочки и возмущается отзывом о себе начальника, прекрасно видящего, что Поприщин «иной раз метается словно угорелый», имея в голове «такой ералаш», «что сам сатана не разберет».

Шестая главка «Записок», где наш герой с усердием проповедует «священную формулу железной решетки» перед паломницами, заставляет конечно же вспомнить приемы страждущих старцем Зосимой из «Братьев Карамазовых», двусмысленность, замутненность отдельных поступков героя также отсылают нас к известной манере Федора Михайловича. Постепенно, при помощи оговорок и отраженных фактов читателю открывается истинное лицо *садиста*: убивая родных, он «последние удары наносил уже мертвым». В глубине подсознания самого осужденного зарождается мысль, что убийца «*временно* перестал быть человеком и стал зверем, сыном изначального хаоса, детищем темных и страшных вождений». Он вспоминает, «что убийца после совершения преступления пил вино и кушал бисквиты — *остатки того и другого были найдены на столе со следами окровавленных пальцев*. Но есть нечто ужаснейшее, чего ни понять, ни объяснить не может мой человеческий разум: закуривая сам, убийца, по-видимому, в чувстве какого-то странного дружелюбия, вложил зажженную сигару в стиснутые зубы моего покойного отца». Сразу же после этих воспоминаний, словно тень отца Гамлета, в камеру героя приходит труп отца с горящей сигарой в зубах и «крик, который я испустил и который так обеспокоил моего друга-тюремщика и произвел некоторый переполох в тюрьме, был вызван внезапным исчезновением призрака, столь *внезапным*, что образовавшаяся на месте трупа пустота показалась мне почему-то более ужасною, нежели сам труп».

Интересно, что этот образцовый заключенный, этот проповедник формулы «железной решетки», дослужившийся в конце концов до УДО, на воле так и не смог ужиться сам с собою и со свободными людьми, там — он чуть было не проговорился о своей вине любящей его женщине... И, опомнившись, словно в монастырь — андреевский герой добровольно уходит обратно — в заключение. В последней — двенадцатой главке рассказа он поведал читателю, что бросил все оставленные ему матерью средства на строительство личной тюрьмы, где под охраной нанятого им опытного и честного тюремщика он сможет теперь до конца своих дней наслаждаться неволей. «При закате солнца наша тюрьма прекрасна».

Странно, но это удивительно прозрачное по замыслу и стройное по исполнению произведение вызвало в 1908 году недоумение читателей, в один голос вопрошающих автора, виновен его герой или нет. Андреев был вынужден дать интервью, где сообщил недогадливым людям, что вначале «был убежден в его невиновности, но с некоторых пор стал подозревать его в убийстве». Но, побоявшись, что этого окажется недостаточно, он раскрыл карты, указав недотепам, «что дойти до таких чудовищных логических построений мог только человек, за плечами которого стоит какое-нибудь тяжкое преступление»[1].

Безусловно, давая портрет злодея и садиста, который пытается приспособить свое сознание к совершенному преступлению, Андреев шел по следам Достоевского и должен был привести героя не только к приятию камеры и несвободы, но и к провозглашению «священной формулы железной решетки», рабом которой и становится в конце концов он сам. Один шаг, на мой взгляд, отделял героя «Моих записок» от того, чтобы сделаться идейным палачом, вложив «звериный хаос души» в логическую и «гармоничную» формулу узаконенного и «правильного» убийства и мучения другого человеческого существа. Недаром проваливаются все попытки героя «Записок» прочесть Евангелие — эту величайшую проповедь человеческой свободы: «Но сопротивление, которое оказывает книга, поразительно сильно и временами доводит меня, — мне стыдно в этом сознаться, — почти до неистовства: даже под пыткою слова молчат, и за жесткою скорлупою, разбитою с таким трудом, я нахожу странную и несомненно лживую пустоту».

Опять-таки на этот страшный и такой, как казалось современникам, «нежизненный» образ ложатся тени будущего: причем не только Набокова, Кафки и Сартра, но и «тени всех

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 222.

Бутырок и Треблинок», тени будущих исполнителей узаконенных пыток и массовых убийств.

Что ж... Называя — в большом интервью «Петербургской газете» — среди своих учителей Толстого, Диккенса и Гаршина, Андреев, возможно, искренне заблуждался. Но возможно и другое... Размышляя над собственным художественным методом, активно читая чужие книги и составляя мнение о прочитанном, Леонид Николаевич старался и все-таки никак не мог разгадать, по какой же дороге в искусстве он движется. Отчасти это мучило его, отчасти делало — уже зрелого мастера — столь уязвимым для критики. Недоумевал не только сам автор, но и его рецензенты и критики. «...в каком направлении тревожно ищет душа и в свете каких идеалов переоценивает существующее?»[1] — вопрошал себя и читателя Александр Рафаилович Кугель, заканчивая очерк о драмах Андреева. В ближайшие годы Леониду Андрееву предстояло ответить на этот неудобный вопрос.

---

[1] Кугель. С. 160.

Глава десятая. 1909—1914:

ТЕАТР ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

«Анатэма», «Дни нашей жизни». Новый драматический театр. «Письма о театре». «Панпсихе». «Анфиса» в НДТ. «Екатерина Ивановна» и «Мысль» в МХТ. Театр жизни. Новые роли: помещик, морской волк, отец огромной семьи. Андреев — носитель масок — версия К. Чуковского. Покушение и драка. Заморские впечатления. Капри и старый друг

«Когда я прочитал "Анатэму", мне сам Л. Андреев представился блуждающим, усталым путником в необозримой пустыне, среди раскаленных зыбучих песков, под палящими лучами солнца»[1]. В действительности же «блуждающий путник» на тот момент нашел себе новое и — как ему казалось — во всех отношениях превосходное и надежное пристанище — драматический театр. Воодушевление Леонида Николаевича было столь велико, что, он, впрочем, как и обычно, решил отдаться новому поприщу безраздельно, публично объявив в феврале 1909 года: «Несомненно, я с беллетристикой почти кончаю и перехожу главным образом к драме»[2]. К тому же и сцена приняла драматурга Леонида Андреева с энтузиазмом: в течение десяти лет его пьесы ставили практически все выдающиеся и просто известные режиссеры Российской империи: Мейерхольд, Станиславский, Немирович-Данченко, Комиссаржевский, Таиров, Марджанов, Санин, Сахновский и даже Евтихий Карпов. Хотя... долгого и плодотворного творческого союза не случилось у нашего драматурга, пожалуй, ни с одним из представителей этой славной профессии, нет такого союза, увы, и по сей день. Но — так или иначе, начиная с 1907 года прославленный беллетрист ощутимо влияет на театральный процесс: он пишет пьесу за пьесой, вступая в соревнование с российской цензурой, которая едва успевает запретить очередной андреевский опус, как появляется следующий. И более того, в эти годы Леонид Николаевич становится во главе репертуара петербургского Нового драматического театра,

[1] Кугель. С. 154.

[2] Беседа с Л. Андреевым // Новая Русь. 1909. 19 февраля. С. 6.

он намеревается разработать собственную — андреевскую — «теорию драмы», для чего пишет и публикует теоретический трактат «Письма о театре».

Итак, «Жизнь человека» открыла нашему герою дверь в театральный мир, где — всего за несколько лет — он стал весьма значительной фигурой. В 1908 году громкими событиями сезона были «Дни нашей жизни», в 1909-м — «Анфиса» и конечно же «Анатэма».

Последняя пьеса оказалась для драматурга в какой-то мере программной, она продолжала линию «Жизни человека». Еще на Капри, рассказывая замысел драмы Викентию Вересаеву, Андреев упомянул ее первоначальное название: «Бог, человек и дьявол». Ему хотелось во что бы то ни стало столкнуть эти стихии. «Человек — воплощение мысли. Дьявол — представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог — представитель движения, разрушения, борьбы», — фантазировал Андреев. Странная была задумана антиномия. «Веселый будет бог, — делился он с другом. — Он будет говорить, потирая руки: “Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!”»[1]

Воплощенный замысел конечно же видоизменился: автор так и не решился вывести на сцену самого Господа Бога, вместо этого, как и в «Жизни человека», воспользовавшись его представителем — Некто, охраняющий входы, подобно Некоему в сером транслировал персонажам и публике не только «высочайшую волю», но и «высочайшие соображения», в которых не было, увы, никакого веселья. А вот дьявол — под именем Анатэма (Анафема) — на этот раз появился на сцене, что называется *in corpore* — почти что в человеческом облике. И надо сказать, персоной он оказался словоохотливой, разве что не болтливой: с первых же секунд сценического действия в многословных монологах объясняя зрителю свои намерения: «Никто не верит мудрому Анатэме, даже говорящему правду, — а кто же любит правду больше, нежели Анатэма?» В Прологе пьесы Некто, охраняющий входы, и Анатэма едва не подрались, когда дьявол — как надоедливый проситель у кабинета начальника, пытался проникнуть на прием к Богу: «Молчаливый пес, грабитель, укравший истину у мира, железом заградивший входы! (*Яростно бросается на Некоего, ограждающего входы, и с визгом ужаса и боли отступает пред грозной непод-*

[1] Вересаев.

вижностью его. И ноет жалобно, припадая серой грудью к серому камню.) Ах, у дьявола седые волосы! Плачьте, возлюбившие Анатэму, стенайте и горюйте, стремящиеся к истине, почитающие ум, — у Анатэмы седые волосы! Кто поможет сыну хари, — он одинок во вселенной. Зачем, великий, ты напугал так бесстрашного Анатэму — он не хотел тебя ударить, он только приблизиться хотел. Можно подойти к тебе, скажи? (*Некто, ограждающий входы, молчит, но Анатэме слышится что-то в его молчании. Вытянув змеиную шею, он кричит страстно.*) Громче, громче! Молчишь ты или говоришь, я не понимаю? У преданного заклятию тонкий слух, и в твоем молчании он улавливает тени каких-то слов; смутное движение мыслей он чувствует в неподвижности твоей — но он не понимает. Говоришь ты или молчишь? Сказал ли ты: "подойди", или мне только послышалось это?»

В пьесе слышались отголоски «Фауста». В отличие от гётевского героя, так и не добившись приема у Бога, Анатэма — этот упрямый наследник Мефистофеля — безо всяких конвенций с Небом — затевал похожий эксперимент: дьявол намерен заполучить душу злосчастного и нищего, но честного и сердобольного еврея Давида Лейзера, являясь к тому под личиной адвоката Нуллюса с известием о миллионном наследстве.

В андреевском мире у Анатэмы есть конечно же более близкий предок: это — Иуда Искариот, предатель. Как и Иуда, Анатэма любит и Бога, и истину, но считает, что Создатель напрасно держит на нее монополию: мир живет не по Божьим законам, и человек не достоин своего Господина. Ставя свой эксперимент на Лейзере и его собратьях, Анатэма полон решительности доказать Всевышнему, что истина Анатэмы в нынешнем мире гораздо актуальнее божественной. Потомком Анатэмы будет конечно же американский миллиардер Вандергуд из «Дневника Сатаны» — последнего романа Андреева. Вообще, Анатэма весьма близок к самому автору. «Я силен, пока я разрушаю», — не раз говорил о себе Леонид Андреев. Однако разрушительный пафос героя-протагониста — этот как всегда у драматурга — пафос предельно страстной мысли, а поэтому андреевский дьявол не циничен, а скорее — чистосердечен и как ни парадоксально — наивен.

Фабула пьесы напоминает притчу: получив наследство и раздав его бедным, Давид Лейзер объявлен ими «Давидом, радующим людей», и вот уже толпы нищих, несчастных и больных проводят ночи и дни у его дверей в ожидании чуда. Вместе с живыми ждут чуда и мертвецы: принесенные на носилках жителями окрестностей близкие, умершие день, два или три назад. Даже жена Давида — старуха Сура верит в то, что он —

чудотворец, приведя к нему в комнату женщину с мертвым, уже почерневшим младенцем, она умоляет мужа воскресить ребенка «вне очереди».

В конце концов осознав, что чуда не будет, разъяренная толпа побивает Лейзера каменьями и тот умирает на руках Анатэмы; последнее, что слышат на земле уши праведного Давида, — страшная реплика дьявола: «Ты мертв. И мертвы дети. Земля мертва — мертва — мертва». В финале, торжествуя, приходит Анатэма к Богу, но тут он слышит от непреклонного охраняющего входы «секретаря», что Давид Лейзер оказался угодным Небу и что его душа — уже там, за железными воротами, там, куда Анатэме нет входа: «Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь». А он, Анатэма, никогда не узнает истину: «Анатэма — несчастный дух, бессмертный в числах, вечно живой в мере и весах, но еще не родившийся для жизни».

Едва закончив эту «героическую трагедию», Андреев передал ее в МХТ, и, хотя поначалу пьеса понравилась лишь Немировичу-Данченко, этого оказалось достаточно для принятия ее к постановке, тем более что Владимир Иванович связывал с «Анатэмой» «обновление всей художественной линии МХТ». Станиславский же после «Жизни человека» относился к писателю настороженно, если не враждебно. «Лучше совсем закрыть театр, чем ставить Сологуба и Андреева»[1], — заявил он в одном из интервью, в письмах же ставил автора «Жизни человека» в один ряд с прочими: «все эти чириковы, найденовы, андреевы...» Однако заинтересованность второго лидера МХТ решила дело: проведя две предварительные беседы о пьесе в мае, Немирович-Данченко начал репетировать «Анатэму» в августе и 2 октября 1909 года за 89 репетиций выпустил спектакль.

Премьера принесла Владимиру Ивановичу немалую славу. Дело в том, что, взвалив на свои плечи основной груз руководства прославленным театром, творчески — Немирович нередко ощущал себя в тени «великого Станиславского», что, безусловно, мучило его душу. Успех «Анатэмы» вывел режиссера из тени «Орла», как ласково в театре называли создателя «системы Станиславского». «Без фраз, постановка “Анатэмы” в Художественном театре дает право Вл. И. Немировичу-Данченко на звание большого художника»[2] — таков был вердикт

---

[1] Беседа с К. С. Станиславским // Утро России. 1910. № 190. 6 июля. С. 3.

[2] *Эфрос Н.* «Анатэма» в Художественном театре: От нашего московского корреспондента // МХТ в русской театральной критике. Цит. изд. С. 222.

большинства критиков после премьеры. Действительно, этот спектакль с первых минут изумлял зрителя, так привыкшего к реальным стульям, столам, скамейкам, лесенкам, пению птичек, жужжанию мушек или шуму морского прибоя. Старый «мхатовский волк» художник Симов выстроил нереальную картину Пролога на контрасте сияния и тьмы. «Внизу — тьма и скалы, вверху — что-то золотое, сверкающее, заключенное в рамы, напоминающее отдаленно какие-то иконостасы, царские врата», — писал Сергей Яблонский в «Русском слове». Через несколько минут сценического действия выяснялось, что «иконостасы» есть не что иное, как два крыла Охраняющего входы, чья маленькая фигурка темнела на фоне золота этих мощных ангельских крыльев. «А внизу, как пресмыкающийся червяк, ползает Анатема. Это не человек. Не человек это у автора, не человек и у Качалова. То есть не то, что это артист, загримированный дьяволом, нет, это воистину не человек. Он, вероятно, не подчинен земным законам, например, закону притяжения земли: так ловко, неслышно ползает он по скалам, поднимаясь по ним, словно злые испарения земли»[1].

Что ж, если премьера «Анатэмы» в МХТ лишь упрочила громкую славу и Немировича-Данченко, и Андреева, то для исполнителя роли дьявола — актера Василия Качалова — 37 представлений «Анатэмы» оказались ступеньками на олимп. «Вылив своего Анатэму из бронзы», он сделал невротичного андреевского дьявола центром спектакля, с очевидностью затмив всех прочих персонажей. «И что бы на сцене ни происходило, какой бы момент вы ни выбрали, везде надо было смотреть на Качалова, — с удивлением и восторгом рассказывал рецензент «Русского слова». — Страдает или радуется Лейзер — смотри на Качалова... Негодует Роза, умиляется Сура — смотри на Качалова»[2]. Трудно сказать, была ли тому виной лишь сила актерского дара Качалова или невыразительность других исполнителей... Честно говоря, рецензенты вообще не уделяли внимания другим персонажам, а восхваляя игру Качалова, многие сходились на том, что актер играл *не человека*: его как будто мертвая голова излучала невидимые лучи, в нем явственно ощущалась некая дисгармония, на всякие лады критика с восторгом описывала его голос, его смех, напоминающий кашель. «Откуда такая силища? Откуда такой талант? такой голос, в котором тысячи ин-

[1] МХТ в русской театральной критике. Цит. изд. С. 217.
[2] Там же. С. 218.

тонаций и ни одной фальшивой, даже если там воспроизводится величайшая фальшь»[1]. Самого Василия Ивановича роль дьявола просто-таки измотала, он признавался близким, что возненавидел Анатэму, и, кстати, он сделал его вовсе не таким страстным, каким представлялся этот трагический герой автору. Однако, увидев Василия Ивановича, Андреев был сражен: «Качалов вступил со мною в борьбу и победил меня»[2]. Все, все признали Качалова-Анатэму, а для актера эта роль стала предтечей Ивана Карамазова, Гамлета, Николая Ставрогина.

В целом же режиссерское решение, казалось, разочаровало и даже разозлило Андреева, во всяком случае, после спектакля он уехал из театра, даже не зайдя за кулисы. Немирович-Данченко за глаза назвал автора «зазнавшимся хамом», но вскоре их отношения наладились: драматург публично выразил глубочайшее уважение к спектаклю МХТ, не скрыв при этом несогласие с общим решением своей пьесы. Противоречия между автором и театром были скорее стилистическими. Нищета и смирение народа, его тупая и упорная вера в чудо, рабская злоба и мстительность доводились Андреевым до абсурда и подавались достаточно жестко, гротескно, а Немирович-Данченко искал теплоты и, мечтая о «реализме, отточенном до символа», все же не смог выдержать спектакль в едином тоне, и частенько реализм созданный им постановки оборачивался бытом, актерское исполнение — характерностью. «Есть в ваших драмах нечто, чего Художественный театр не может выполнить, — признавался он Андрееву. — И потому, что не может, и потому, что не хочет»[3].

Например, в первой картине пьесы автор, представляя зрителю «подопытного» Анатэмы Давида Лейзера, предельно заострял среду его обитания, выстраивая своеобразный рынок среди пустыни: ряд мелких еврейских лавчонок, где продают воду, которую некому покупать. «Мне, кстати сказать, очень понравились эти лавчонки, не знающие покупателей. — А. Р. Кугель, по-моему, тоньше других сумел истолковать андреевский символ. — Земля, не приносящая плодов, жара, не знающая влаги, человек, не ведающий улыбки, море, в котором нет судов, небо, лишенное облаков, — вся жизнь как голый скелет, освобожденный от всяких, чувственно радующих нас, заманчивых покровов, — следовательно, и лавчонки, у которых нет покупателей»[4]. Но многие отмечали, что «голый скелет жизни» и дух

---

[1] Там же.

[2] Беседа с Леонидом Андреевым // Русское слово. 1909. 15 октября. С. 3.

[3] *Радищева О. А.* Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных отношений: 1909—1917. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. С. 23.

[4] Кугель. С. 153.

библейской притчи на сцене МХТ после Пролога сменялись бытовыми сценками из местечковой жизни, что конечно же не могло удовлетворить амбиций автора «Анатэмы».

Но одновременно с МХТ эту пьесу репетировали в Петербурге. В Новом драматическом театре за «Анатэму» взялся режиссер Александр Акимович Санин. Долгие годы идя «в ногу» со Станиславским, этот постановщик массовых сцен в лучших исторических спектаклях Художественного театра уже несколько лет как пустился в свободное плавание и успел самостоятельно поработать даже на императорских сценах. Александр Акимович — будущий европейски прославленный музыкальный режиссер, работавший на лучших оперных сценах: в Ла Скала, Гранд-опера, антрепризе Дягилева, — скорее всего, владел театральной формой лучше Немировича-Данченко. К тому же, работая в тесном контакте с Андреевым, он старался создать на сцене мир, предельно близкий авторскому, принимая подчас и прямые советы драматурга. Художником спектакля был год назад сотворивший выдающееся оформление к «Черным маскам» Н. Калмаков, он сочинил настолько «декадентские» костюмы и декорации, что в Прологе зритель вообще не понимал, где происходит дело: предельная условность, абстрактность «прихожей» Бога явно дезориентировали публику. В итоге этот спектакль, появившийся на свет несколько позже мхатовского (премьеру «давали» 27 ноября 1909 года), вызвал недоумение публики, разочаровал критику, но... понравился автору. Защищая санинскую версию «Анатэмы», Леонид Николаевич признавал, что сам петербургский Анатэма (П. Самойлов) «судорожно отвратителен», отмечал, что актерский состав спектакля в принципе слаб, однако считал, что «пьеса поставлена хорошо, с тончайшим пониманием задачи»[1]. Неожиданно Андреева поддержал московский рецензент Сергей Мамонтов: сравнивая московскую и петербургскую постановки, он находил, что «в Москве есть один великий дьявол — Качалов», зато в Петербурге есть «Лейзер, умеющий передать общие стороны души общечеловеческой». Но самое главное, подчеркивал Мамонтов, «...всю постановку и тон пьесы г. Санин толкует ближе к Библии и его толкование гораздо удачнее, чем толкование Вл. И. Немировича-Данченко, переносящее зрителя в вульгарное предместье»[2].

Пьеса была востребована в провинции, еще неизданная, она уже игралась в Киеве, Одессе, Харькове, Пензе, в нача-

---

[1] Цит. по: *Болхонцева С. К.* Леонид Андреев и Новый драматический театр в Петербурге // Русский театр и драматургия XX века: Сборник научных трудов. Л.: ЛГИТМиК, 1984. С. 108.

[2] Там же. С. 109.

ле 1910 года в Риге спектакль по «Анатэме» поставил никому тогда еще не известный Александр Таиров. Его премьера была последней в череде «Анатэм» — 9 января 1910 года решением министра внутренних дел П. А. Столыпина пьеса была запрещена к постановке на сценах Российской империи... В какие бы одежды ни рядил автор «Анатэмы» главных героев пьесы, ее коллизия — Бог, дьявол и человек — проступала в каждом слове, поступке и образе. Этого русское православное духовенство конечно же стерпеть не могло. «Я сел писать, чтобы мысленно пожать Вашу руку, чтобы сказать Вам, что не одиноки Вы в этом новом горе, что много сердец задернулось трауром над этим новым победным ударом пошлости» — такими словами после запрещения пьесы утешал знаменитого Андреева Таиров, обещая автору, что «настанет все-таки день, и оживет "Анатэма", ибо это трагедия не злобы дня, а вечности...»[1]. Ошибся ли будущий создатель Камерного театра или время «Анатэмы» все еще не пришло — сказать трудно. Сам Александр Яковлевич больше никогда не обращался к драматургии Леонида Николаевича, а сценическая судьба «Анатэмы» так и закончилась, увы, в начале 1910 года, и ныне эта пьеса не интересна никому, за исключением тех счастливчиков, чей труд — вчитываться в тома собрания сочинений писателя.

Совершенно иная судьба ждала написанные и поставленные чуть ранее «Дни нашей жизни». Интересно, что эта самая репертуарная пьеса Леонида Андреева никогда не воспринималась самим автором сколь-нибудь серьезным явлением. Многие, в том числе и Телешов, вспоминали, что сам автор всегда относился к этой драматизированной истории из своей студенческой жизни с легким пренебрежением. Пьеса, впервые поставленная в Новом драматическом театре годом раньше «Анатэмы» — 6 ноября 1908 года, стала источником постоянного дохода для антрепризы Ф. Н. Фальковского и А. Я. Леванта, пьесу давали каждый вечер при полном стечении публики.

По замыслу и исполнению пьесу эту трудно назвать типично «андреевской». «Здесь перед нами молодой автор, сбросивший оболочку "новых форм" и не доискивающийся до "новых слов". Странно, что вечный критик Андреева А. Р. Кугель полюбил именно «Дни нашей жизни» за ее простоту. — Драма в том, что девушка, несмотря на сильную любовь к студенту, все-таки спускается почти до уровня проститутки; драма в том, что студент, который понимает, какой это ужас, однако любит и страдает». «Обыкновенная житейская драма про любовь студента фальц-фейновских номеров к девушке из

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 231.

тех же номеров, которую мать продает не только оптом, но и в розницу»[1], оказалась овеяна особой — ностальгической дымкой, атмосфера легкого сожаления о днях прошедшей молодости, возможно, вопреки желанию автора пропитала пьесу от первой до последней страницы, значительно приглушив ее социальную проблематику, а это — вкупе с бульварной историей — так нравилось публике 1910-х и более того, продолжает нравиться зрителю в 2010-х.

Эта незатейливая вещица из студенческой жизни, однако, возмутила эстетов, Блок с отвращением писал матери о спектакле Евтихия Карпова: «Это ужасающая плоскость и пошлость, систематическая порча людей. Отныне для меня заподозрен и весь прежний Андреев. "Любовь студента" (под таким названием пьеса шла в НДТ. — *Н. С.*) — плоская фотография, наглый пессимизм»[2]. Ну а менее прихотливый зритель, повторяю, упивался любовью студента Глуховского к продажной девушке Ольге, которую ласково называл Оль-Оль. Первый петербургский спектакль выдержал рекордное количество представлений — 110, и далее при жизни Андреева пьесу эту ставили и в глухой провинции, и на столичных сценах, нет-нет да и появлялись «Дни нашей жизни» и в советские годы, теперь же она переживает «второе рождение», и — как я думаю — надолго, если не навсегда утверждается в афише российского театра.

Отчего же сам автор, встав на точку зрения интеллектуалов, считал успех этой — столь биографической и столь правдивой — пьесы «сомнительной радостью»? Кажется, что его уже угнетал «здоровый реализм» этого сочинения. «С каждым уходящим годом я все равнодушней к первой действительности, ибо в ней только я раб, муж и отец... Сама природа — все эти моря, облака и запахи я должен приспособить для приема внутрь, а в сыром виде они слишком физика и химия. То же и с людьми: они становятся интересны для меня с того момента, как о них начинает писаться история, т. е. ложь, т. е. все та же наша единственная правда, — мысль сформулировать собственное credo одолевала Андреева все чаще. — Я не делаю из этого теории, — писал он Борису Зайцеву, — но для меня воображаемое всегда было выше сущего и самую сильную любовь я испытал во сне... И чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды... Ибо само слово принадлежит

[1] Кутель. С. 157.

[2] *Блок А. А.* Цит. изд. Т. 8. С. 262.

ко второй действительности, само по себе оно картина, рассказ, сочинение»[1].

Как драматург Андреев опять-таки балансировал над пропастью между символистами и реализмом. Он мог оттолкнуться от реальности, мог — от чужого произведения, услышанной мелодии, увиденного предмета, а мог — от анекдота или философской теории, от газетной или сказанной за столом фразы — не суть, важна была только искра, чтобы «поджечь» воображение, и далее Андреев уже сочинял без оглядки, коверкая и топча реальность... Однако целиком переместиться в мир отвлеченных абстракций писатель органически не умел, да и не хотел: парадокс, но это был глубоко социальный художник.

Отпраздновавший в 1911 году свое сорокалетие, наш герой давно уже чувствовал себя классиком: всего через год «Товарищество А. Ф. Маркс» приступило к выпуску полного собрания его сочинений; это издание вышло как приложение к популярнейшему журналу «Нива», редактором полного собрания сочинений товарищество пригласило близкого Андрееву Корнея Чуковского. К 1913 году восьмитомное собрание сочинений Леонида Андреева пришло в дом к каждому из 225 тысяч подписчиков «Нивы» и отныне темнело в книжных шкафах рядом с томиками Пушкина, Толстого и Достоевского.

«Его красивое, смуглое, точеное, декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, легкая поступь — все это гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл. Здесь была его коронная роль, с нею он органически сросся. Шествовать бы ему во главе какой-нибудь пышной процессии, при свете факелов, под звон колоколов»[2] — да, этот портрет Чуковского, думаю, верно отражает самоощущение Леонида Николаевича в начале 1910-х, кроме шуток, наш «герцог» давно уже ощущал желание возглавить некое начинание, где мог бы объединить усилия многих, создать свое, андреевское, направление, повести за собой и публику, и коллег... Но куда, в какую сторону собирался вести за собой других Леонид Андреев? Прекрасную возможность осознать это направление предоставил ему Новый драматический театр, который в Петербурге так и называли: «театр Леонида Андреева». Симптоматично, что этот театр возник в том доме на Офицерской, где публика впервые увидела пьесу драматурга Леонида Андреева — «Жизнь человека» в постановке Мейерхольда.

Новый драматический театр — частная антреприза промышленника и врача А. Я. Леванта, где управляющим или директо-

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 216.

[2] Чуковский 2.

ром был хорошо знакомый Андрееву драматург и журналист Ф. Н. Фальковский, — в свой первый сезон 1908/09 года давал спектакли (главным образом «Дни нашей жизни» Андреева) в Кононовском зале на Мойке, 61, а после того, как в конце сезона закрывшая свое детище Вера Федоровна Комиссаржевская покинула здание Неметти на Офицерской, театр переехал туда. Незадолго до переезда Левант и Фальковский предложили Леониду Андрееву «возглавить репертуар» Нового театра или — как сказали бы теперь — стать его художественным руководителем. Между Андреевым и Левантом был составлен договор, где прописывались довольно широкие полномочия «заведующего репертуаром». «Я, Андреев, имею право налагать запрещение на постановку в театре Леванта пьес...» — гласил пятый пункт этого удивительного договора. «Я, Левант, обязуюсь руководствоваться всеми указаниями Андреева, касающимися художественной стороны постановок, насколько позволяют это все имеющиеся при театре силы и средства»[1], — утверждал шестой. Вероятно, любой мало-мальски юридически грамотный человек немедленно скажет вам, что пункт шестой, как, впрочем, и договор в целом, открывал для Андреева не слишком широкий правовой коридор. Дело состояло, однако, не в букве, а в духе: привлекая Леонида Николаевича, и Левант, и Фальковский честно хотели создать с его помощью театр, где эстет — по мере возможности — управлял бы кассиром, а не наоборот. В одном из интервью на вопрос, не будет ли НДТ петербургской «репликой» МХТ, Андреев отвечал: «В искусстве нет подражаний. Что такое сам по себе Художественный театр? <...> Такая удивительная и гениальная комбинация, как Немирович и Станиславский, бывает раз в сто лет! И нам хотелось бы создать свой художественный театр. Но, как молодой, наш театр будет более подвижен, чем Московский Художественный. У нас будет более свободы в действиях, чем там»[2].

Мысль Андреева была совершенно ясна. Еще на Капри он вдохновился идеей создания «театра авторов», где ставились бы современные пьесы, причем в полном согласии с авторской волей и — по мере возможности — при непосредственном участии драматурга. В идеале — во главе репетиционного процесса стоит автор пьесы и, более того, для каждого автора руководство обязано подобрать и пригласить «подходящего» драматургу режиссера так, чтобы Мейерхольд, к примеру, ставил условные пьесы, а Карпов — бытовые.

---

[1] Цит. по: Русский драматический театр и драматургия начала XX века. Л.: ЛГИТМиК, 1984. С. 111.

[2] Цит. по: Там же. С. 95.

Репертуар Нового театра, по мысли Андреева, должен быть составлен из современных хороших пьес — без какой-либо оглядки на «измы». Конечно же, памятуя об успехе сыгранных в прошлом сезоне «Дней нашей жизни», владелец театра настаивал, чтобы основу репертуара составляли пьесы новоиспеченного художественного руководителя. Именно для НДТ Андреев пишет «Gaudeamus», «Анфису», репетировался здесь и запрещенный цензурой «Океан», и — как мы помним — уже в первом сезоне Санин выпустил «Анатэму». Но, разумеется, Леонид Николаевич не собирался строить репертуар исключительно на пьесах Леонида Андреева, новый заведующий тщательно составил афишу из имен Блока, Найденова, Чирикова, Зайцева, Сологуба, Горького, Шолом-Аша, Гамсуна и даже Бернарда Шоу. А чтобы создать соответствующую новым задачам театральную труппу, пригласили и главного режиссера — энергичнейшего, опытного и талантливого А. А. Санина.

Картина будущего была нарисована уверенными мазками и яркими красками, на деле же — как всегда — начались проблемы: Санин скандалил с Левантом буквально по поводу каждого актера, которого намерен был пригласить, и в результате труппа НДТ была сформирована из рук вон плохо. К тому же ее премьером оказался Павел Самойлов — отчаянный пьяница, впоследствии не раз срывавший спектакли и как-то раз в сердцах названный Саниным «пропойцей-паралитиком». Этот актер — из старинной александринской династии Самойловых — в системе амплуа значился как «герой неврастеник», ранее он работал в труппе Комиссаржевской и, судя по тому, что Мейерхольд назначил его на роль Человека, — премьерствовал и там. Теперь же для Андреева Самойлов оказался недобрым гением: с треском провалил он роль Анатэмы, ужасался заврепертуаром и тому, как сыграл премьер Костомарова — главного героя новой драмы Леонида Андреева «Анфиса».

На открытии театра — 15 сентября 1909 года давали обновленную Саниным редакцию «Дней...» и эта, столь полюбившаяся публике, пьеса на старте обеспечила начинанию грандиозный успех. Леонид Николаевич просто-напросто не мог уйти со сцены: публика горела желанием видеть автора пьесы практически после каждой удачной реплики. Однако премьера «Анфисы» — этот спектакль Санина впервые играли 10 октября 1909 года — повергла в растерянность петербургскую критику, большая часть которой увидела в новом драматургическом произведении Андреева «грязную историю блудливого козла». Честно говоря, когда я сегодня просматриваю старые театральные рецензии, мне трудно понять, отчего так нервничал и грустил Леонид Николаевич, читая «Обозрения театров»

или «Русь». Более десятка плоских и глупых рецензий-однодневок, проклинающих и пьесу, и спектакль, с лихвой перевешивала одна — фундаментальная работа Иннокентия Анненского «Театр Леонида Андреева»[1].

«Опять три сестры на сцене. Но на этот раз уже не чеховские. Те были барышни высокой души и чарующей нежности, а эти — черствые и злые мещанки. — Виднейший поэт и критик Серебряного века мгновенно почувствовал, во-первых, странный тон новой пьесы Андреева; во-вторых, диалог ее автора с Чеховым. — Те озаряли, а с этими страшно. Те были воздушные, а эти — Анфиса с сестрами — снедаемы темными страстями».

Действительно, это — странная пьеса. Внешняя фабула не отличается оригинальностью: приехавшая погостить в семью к старшей сестре Анфиса влюбляет в себя ее мужа — адвоката Костомарова, по которому вздыхает и младшая сестра — Ниночка. Фишка же была в том, что порой объяснения и перипетии происходили в присутствии неподвижно сидящей глухой бабушки, которая тем не менее слышит, но только то, что желает услышать. Эта «молчащая старая бабушка, вяжущая чулок, — длинный, бездонный, как сама вечность», понравилась даже Кугелю: «Красота... в том... что этот символ сплетен с жизнью, ее реальностями, ее обыденным ходом»[2]. Спутавшийся вконец клубок человеческих отношений докатывается до ног старухи и... исчезает в торжественной темноте, ее окружающей. «Леонид Андреев воспринимает жизнь как мучительно-острую загадку, — писал Анненский. — Аляповатое зрелище это волнует новым волнением».

Зрелище, судя по всему, действительно волновало публику, несмотря на то, что вконец спившегося Самойлова в роли Костомарова пришлось заменить молодым и неопытным М. Муратовым. Андреева — как и других — радовала игравшая Анфису Ольга Голубева, вложившая в эту ставшую в спектакле Санина главную роль и «инфернальность», и «змеиную гибкость», и «скрытую огненность». «По темпераменту и сложению — она худая, жаркая и страстная. А в лице у нее отпечатлелась какая-то раздвоенность. Ее губы и глаза говорят различное. Она от Иуды, от его неслитостей; она угловатая, загадочная и странно-нелюбимая, она — выморочная какая-то», — с удовольствием описывал героиню Анненский.

---

[1] См.: *Анненский И. Ф.* Театр Леонида Андреева // Книга отражений. М.: Наука, 1979. http://annensky.lib.ru/otr/otr2-5.htm. Дата обращения 30.10.2011.

[2] Кугель. С. 157.

«Как-никак, в Анфисе заговорило нечто уже исконно и абсолютно трагическое. Нам, мягкотелым, привыкшим прощать ранее, чем об этом прощении попросят, и жутка и привлекательна Анфиса, именно как гений возмездия» — читая сегодня театральную критику Серебряного века, просто поражаешься, насколько удавалось Блоку, Белому, Анненскому, Волошину перенести в текст неуловимое *ощущение* от спектакля. Читатель их строк получает некую уверенность в том, что он не то чтобы сам видел описываемое зрелище — спектакль, но во всяком случае, присутствовал где-то неподалеку, слыша обрывки реплик, наблюдая игру теней...

О чем же была эта, забытая ныне, пьеса? О человеческих страстях, о неведомых силах, бродящих внутри души и тела и вдруг — вырывающихся наружу? О том — что эти силы — благо или зло? Как и в «Анатэме», здесь была попытка ответить на этот вопрос, не слишком оглядываясь на авторитет Бога... Именно такая трактовка вопроса, возможно, и привлекала, и волновала публику. И публика — в отличие от большинства рецензентов — полюбила «Анфису». В НДТ санинский спектакль сыграли 75 раз с неизменными аншлагами. «Они унесли, как и я, из театра впечатление какой-то сложной игры, не разрешимой ни на почве психологии, ни на почве сценических эффектов» — вполне вероятно, что Иннокентий Федорович и переоценил художественное чутье обычной публики, что уж говорить об обычных зрителях, если и сам автор пьесы так и не смог по достоинству оценить те зерна будущего театра, которые он щедро разбрасывал в своих пьесах. Рискую, конечно, показаться грубой, только мне кажется, что публика большей частью шла на «историю блудливого козла» и только единицы могли оценить новизну проблематики этой пьесы и, по-моему, никто, кроме Анненского, — новизну ее «тона».

Присутствие старухи, вяжущей бесконечный чулок, как и стоящий когда-то в углу комнаты Некто в сером создавали элемент *отстранения*, порождая двойные смыслы семейных драм, — вот в чем, на мой взгляд, была штука. Сформулированный и развитый Брехтом, этот прием создаст новую систему координат в театре XX века, причем даже сам XX век будет не в состоянии осмыслить и оценить последствия этой революции, оставив размышления эти для следующего столетия.

«Театру авторов», увы, не суждена была долгая жизнь, и через два года антреприза Леванта благополучно разорилась. «*Искал ли я денег?* — спрашивал себя Андреев, исповедуясь перед Немировичем-Данченко, когда НДТ не стало. — Нет,

какие там деньги, у вас бы я получил много больше; искал ли я славы? — нет, после той славы, что дала мне "Анфиса", дальнейшее сияние ее нечувствительно для глаза. Так зачем же я, безумец, залез в эту печную трубу, из коей вылезаю черным как трубочист? <...> А затем залез, что думал помочь созданию нового театра...»[1] Что ж, просуществовавший при участии Андреева два сезона Новый драматический театр — при всех его падениях и взлетах, при слабой труппе и скандалах между Левантом и Саниным — все-таки оказался весьма достойным, с серьезным продуманным репертуаром. Однако — положа руку на сердце — он не состоялся как новый театр, а вот это было связано уже и с теми идеями, руководствуясь которыми хотел его строить Леонид Николаевич. На дворе уже более десяти лет бушевала эпоха режиссерского театра и конечно же «театр авторов» для 1910 года оказался не самой актуальной идеей. В защиту Андреева могу заметить, что сама мысль создать «театр драматурга» благополучно дожила до сегодняшнего дня и даже реализуется на современных подмостках с бóльшим или меньшим успехом.

И вот еще один парадокс: воспитанный на ранних спектаклях МХТ, влюбленный в «Три сестры» и «Вишневый сад» Чехова, Леонид Николаевич упорно не видел то, что после первого представления «Анфисы» разглядел Иннокентий Анненский: его собственный талант не укладывается в прокрустово ложе психологического театра. В «отрывочных и кратких» мыслях о состоянии современной сцены, которые были изложены и опубликованы под заголовком «Письма о театре» спустя два года после закрытия НДТ — в 1912—1914 годах, он ностальгически восторженно вспоминает первые чеховские постановки МХТ, объявляя этот — новейший из всех — тип театра «театром панпсихе»: «Для меня, как я понимаю, новый театр будет исключительно театром панпсихизма». Суть «панпсихизма», по Андрееву, лучше всех сумел выразить А. П. Чехов: «Чехов одушевил все, чего касался глазом: его пейзаж не менее психологичен, чем люди; его люди не более психологичны, чем облака, камни, стулья, стаканы и квартиры. Все предметы мира видимого и невидимого входят лишь как части одной большой души; и если его рассказы есть лишь главы одного огромного романа, то его вещи есть лишь рассеянные по пространству мысли и ощущения, единая душа в действии и зрелище. Пейзажем он пишет жизнь своего героя, облаками рассказывает его прошлое, дождем изображает его слезы, квартирой до-

[1] Цит. по: Русский драматический театр и драматургия начала XX века. С. 94.

казывает, что бессмертной души не существует. Таков Чехов в беллетристике — но таков же он и в драме своей».

МХТ же показал в Чехове не только и не столько персонажей, но главным образом «одушевленное время, одушевленные вещи... вот в чем тайна очарования чеховских пьес, доселе не сходящих с репертуара Художественного театра».

Разумеется, автор «Писем...» весьма своевольно трактовал и чеховское творчество, и чеховские спектакли МХТ. Вспомним, что еще с детства Андреев придавал окружающему пространству гипертрофированное значение, а юношей — зачитывался Гартманом, оттуда впервые Андреев и выудил красивое слово «панпсихизм», а теперь попытался применить его к театру. Однако, огорошив читателя загадочным термином, автор трактата очень скоро забывает о нем, не открывая зрителю, на каких принципах он будет строить театр «одушевленных облаков», автор трактата погружается в размышления о природе обычного психологического театра.

Надо признаться, что сегодняшнему читателю это сочинение Андреева о театре и драме покажется сборником общих мест: Леонид Николаевич многословно доказывает, что с появлением кинематографа театр утратил необходимость показывать зрителю напряженные и многособытийные фабулы: «Новый театр будет психологическим. <...> Новая драма исключительным содержанием своим будет иметь... душу». Все это — и гораздо более убедительно — к тому часу было сказано и Метерлинком, и Шоу, да и многими современниками Андреева. В середине трактата Леонид Николаевич, как всегда, увлекается: объявив Чехова и МХТ апостолами «панпсихе», он и вовсе отвергает все типы театра, кроме театра психологического, полагая, что в прошлое уходят «комедия игры, драма зрелища и действия, древний пышный и торжественный балаган». Причем психологический театр понимал он скорее не по Станиславскому, а по Немировичу-Данченко: достаточно узко — как театр «рацио», театр причины и следствия, где задумываются о побуждениях человеческих отношений, раскапывают основания чувств и мотивы поступков.

Что ж... его «теория» не предлагала принципиальной новизны, однако увлекательно и доходчиво преподносила публике достаточно новые для нее идеи, а потому вышедшие поначалу в журнале «Рампа и жизнь», а потом в двадцать третьем альманахе «Шиповника» «Письма...» произвели благоприятное впечатление на обычного читателя. Характерно, что, пообещав: «...до следующего письма оставляю я открытым вопрос о новом “театре слова”, который, по моему глубокому убеждению,

явится завершительной ступенью театра психологического и поглотит его в своей еще невиданной широте и глубине», Андреев так никогда и не напишет этой — последней — части.

Так, его попытка встать во главе «направления» оказалась не слишком удачной, и как мне кажется, именно оттого, что четко и внятно сформулировать это направление Леонид Николаевич так и не смог. Однако подобные размышления над природой современного театра отчасти и спровоцировали его собственный разворот: в начале 1910-х годов Андреев-драматург погружается в пучину человеческой психологии. Свернуть с дороги условной пьесы, где действовали Бог, Дьявол и Человек, обратиться к драме обыкновенных мужчин и женщин, даже и названной элегантным словом «психе», — его подталкивает и давняя любовь к МХТ. Покончив с проектом собственного театрального строительства, Леонид Николаевич желает быть частью этого театра, театра, который опалил его в юности.

Не раз повторяя, что именно МХТ заставил его обратиться к драме, Андреев, возможно, постепенно и сам стал опасаться тех личинок нового, что — пока едва заметно — копошились в его творениях. Действие его пьес все чаще возвращалось в гостиные, на веранды и на бульвары... И вместо стихии Океана там бушует теперь стихия обыденности.

Он не мог вырваться из пут МХТ, а отношения с этим театром становились все напряженнее, позже подобная история произойдет с Михаилом Булгаковым. Немирович-Данченко, согласно давней договоренности, первым читал каждую новую драму Андреева, Владимир Иванович вообще-то любил и очень ценил драмы Леонида Николаевича, режиссер и драматург постоянно писали друг другу длинные письма. Но — как мы помним — в МХТ любовь Немировича к Андрееву разделяли немногие. И более того, думаю, что для этого сложного и трепетного организма Леонид Николаевич был и вправду чужим. И как человек, и как художник. Тем удивительнее, что, преодолевая сопротивление, второй директор МХТ сумел в эти годы включить в афишу еще два драматургических опуса Андреева: пьесу «Екатерина Ивановна» и инсценировку одного из лучших его рассказов — «Мысль».

Впрочем, была, вероятно, и еще одна подспудная причина, побудившая Андреева-драматурга обернуться в сторону реализма и психологии: цензура и коммерческий успех. Продолжающий линию «Жизни человека», написанный в 1910-м и изданный в 1911-м «Океан» был категорически отвергнут МХТ, вскоре запрещен к представлению на всей территории России. Не имели зрительского успеха «Черные маски». Под

спудом цензуры лежали «Царь-Голод» и «Анатэма», провинциальные премьеры «Жизни человека» частенько сопровождались скандалами. Да, публично разбираться «с вечностью и бесконечностью» в православной России было тогда практически невозможно. Поневоле задумаешься о «панпсихе»... Парадокс — духовенство — как черт от ладана — шарахалось от Дьявола во плоти, но души, погрязшие в грехе, могли разгуливать по российским подмосткам как им вздумается.

«Екатерина Ивановна», едва выйдя из-под пера Андреева, немедленно легла на стол Немировичу-Данченко. И хотя новая пьеса показалась «колючей» и самому режиссеру, в декабре 1912 года спектакль появился на сцене МХТ. Станиславский немедленно окрестил «Екатерину Ивановну» «гнойным нарывом» репертуара. Да, героиней ее была недвусмысленно порочная женщина. Горький — в одном из поздних — «оттепельных» — писем Андрееву ехидно и зло заметил: «бабы тебе удаются только до половины, меряя снизу»[1]. Немирович же хотел показать «андреевскую блудницу» «одной из самых чистых женщин русской литературы». Режиссер включился в работу с «напряжением всех своих сил». И результат не заставил себя ждать.

«Сказать, что Екатерина Ивановна не имела в Художественном театре на первом представлении успеха, — это значит сказать неточно, гораздо вернее будет сказать, что пьеса возбудила ненависть к себе значительного количества зрителей»[2] — так описывал рецензент первое представление «Екатерины Ивановны» в МХТ. История о том, как муж стреляет в жену, несправедливо заподозрив в измене, ломает тем самым ее тонкую душу, и далее она изменяет ему со всеми «друзьями дома», — взбесила московскую публику. Как странно: бульварное содержание, завернутое в сиреневый туман сентиментальности и ностальгии, еще несколько лет назад так хорошо «работало» в «Днях нашей жизни», сработало оно и в «Анфисе», здесь же подобный прием отчего-то дал сбой. А ведь в этой пьесе автор намеревался развернуть психологию, а возможно, и дать «трагедию женской души», создать нечто напоминающее по силе протеста «Грозу» Островского. Но... не помогли ни режиссура, ни звездный состав исполнителей: Екатерину Ивановну играла Мария Германова, вокруг нее — вращались Качалов, Москвин, Берсенев, Коонен... А публика никак не соглашалась сочувствовать, ей было не жаль красивую грешницу, постепенно

[1] Переписка. С. 250.

[2] *Яблонский С.* Театр и музыка. «Екатерина Ивановна» // МХТ в русской театральной критике. Цит. изд. С. 466.

впадающую в бесстыдный разврат, ей было неинтересно наблюдать за душевным кризисом героев, вникать в их претенциозный и претендующий на исключительность, а на деле же — скучноватый «панпсихе»... Увидев спектакль, Андреев сам почувствовал, что ключом «психологии» пьесу эту открыть сложно, и последний акт, где героиня уже недвусмысленно предлагает себя всем присутствующим, у мхатовцев явно не получился...

И все-таки, несмотря на то, что сразу после премьеры Немирович-Данченко отбил Андрееву телеграмму о провале спектакля, бытование Екатерины на сцене МХТ сегодня выглядит скорее скандальным, чем провальным. Множество рецензентов склонялись к тому, что пьеса не дает актерам необходимого пространства для «психологии», например, Николай Эфрос полагал, что сам душевный кризис героини, ради которого и задумывалась эта история, происходит не на сцене, а за кулисами, предъявляя публике лишь две маски Екатерины Ивановны: чистой и падшей женщины. Но в этом-то и были вся странность и очарование Екатерины Ивановны, Андреев подчеркивал, что его героиня — «танцующая женщина», она пришла в эту жизнь «танцевать», а потому и сломалась так «быстро, легко и как-то странно». Как когда-то грубое слово делало из наследного графа фон Мора разбойника, так и подозрение в измене сделало из добродетельной матери и жены — блудницу. Как мы видим, характер главной героини был выстроен более в романтической, чем в психологической традиции.

Пьеса ставилась в провинции, а в 1917 году появился петроградский спектакль в театре Незлобина, уже после смерти автора — в 1920-м пьеса добралась и до бывшей императорской сцены. В 1915 году режиссер Уральский снял фильм, сценарий к которому написал младший брат Андреева — Андрей, но вскоре о «Екатерине Ивановне» прочно и надежно забыли. И лишь сегодня, когда жесткая — в том числе и жанровая — режиссерская интерпретация стала общим местом на российских подмостках, руки режиссеров вновь потянулись к «Екатерине Ивановне». Предельно сокращая или пробалтывая многословные разглагольствования героев, театр подчас пытается извлечь из нее «человеческую комедию», а публика — отказывающаяся 100 лет назад плакать, похоже, теперь охотно смеется над «бедной Катей». Или же, договаривая все то, о чем стыдливо умалчивает или же половинчато сообщает Андреев, вложив в уста одного из героев: «Боже мой, какая это темная сила — человек! Не знаю, чувствуешь ли ты это сама или нет, но от тебя исходит какой-то дьявольский соблазн...», театр «выворачивает наизнанку» заложенный драматургом

смысл. Так, беря мысль о «дьявольском соблазне» за основу трактовки, сегодняшний режиссер неожиданно превращает пьесу в эротический триллер, где реабилитированный Фрейдом Эрос вселяется в прекрасную женщину, лишая покоя и ее саму, и всех окружающих, и публику в том числе... Мне бы очень хотелось, чтобы в каком-нибудь из миров наш герой посетил поставленный по «Екатерине Ивановне» спектакль Евгения Марчелли. Ах, как любопытно было бы взглянуть на лицо Леонида Николаевича, сидящего в зрительном зале Ярославского драматического театра им. Федора Волкова на втором действии своей «Екатерины Ивановны»...

Однако вернемся в прошлое. Гораздо более страшный — теперь уже форменный провал ожидал «Мысль». Инсценировка знаменитого рассказа была сделана Андреевым в середине сезона 1913/14 года — ровно в тот момент, когда он уже основательно обдумал идею театра «панпсихе». Как писал он сам Немировичу: «“Мысль” — это не инсценировка, а совсем самостоятельная работа, т[ак] к[ак] рассказ написан без лиц и без диалога... Я чувствую возможность дать еще более, чем в “Екатерине Ивановне”, нечто весьма правдивое, серьезное и важное. Никаких поз, игры, нарочничанья, заигрывания с залом, никаких эффектов»[1]. И хотя пьеса была закончена уже в разгар сезона — спектакль появился-таки в марте 1914 года. Роль убийцы — доктора Керженцева — играл Леонид Леонидов, после блистательно сыгранного Мити Карамазова[2] за ним закрепилась слава трагического актера. Андреев и рассчитывал на трагедию — предельно уменьшив число внешних поворотов действия, он выстроил пьесу как одно медленное и тягучее событие — убийство Керженцевым мужа любимой им женщины — писателя Савелова, правда, за этим следовала попытка любовника вырваться из лап настигающего его безумия. И надо сказать, что Андреев инсценировал свой рассказ гораздо тщательнее, чем это обычно делают авторы с собственной прозой: в доме Керженцева появился новый персонаж — умирающий от тоски орангутанг, с которым герой-убийца подчас вел диалоги, эта странность: тоскующее животное — своеобразное зеркало Керженцева — работала на общую атмосферу пьесы. Были тут и какая-то душная и страшноватая дымка надвига-

---

[1] Архив Музея МХАТ. Ф. Н.-Д. Ед. хр. 3146/13.

[2] Эту роль он сыграл недавно в двухчастном спектакле «Братья Карамазовы», поставленном по роману Ф. Достоевского Вл. И. Немировичем-Данченко в сезоне 1910/11 года.

ющегося безумия, и неплохие диалоги убийцы с возлюбленной — Татьяной...

Однако невольное сравнение с рассказом все же обнажает главную ущербность пьесы: великолепный, фантастический монолог Керженцева, где действие происходит в таинственных высотах (или извилистых глубинах?) человеческого сознания, оказался распылен на ряд необязательных вполне реалистических эпизодов, не говоря уже о том, что словно неофит Андреев вынес на сцену открытое насилие — само убийство Савелова Керженцевым — с помощью папье-маше и на глазах у изумленной жены. Кстати, режиссер — впрочем, довольно нелепо — пытался исправить этот явный «ляп» автора: ровно за секунду до убийства МХТ стыдливо опускал занавес.

Будем справедливы: бомба под этот спектакль была заложена самим драматургом: субъективная оптика прозы трансформировалась Андреевым в заурядный общий план, мы видели Керженцева уже не изнутри, а снаружи, его внутренний мир, и составляющий по сути содержание «Мысли», оказывался в пьесе лишь слегка приоткрыт, внешний же — весьма надоедлив в своей унылой конкретике. Это была конечно же огромная драматургическая ошибка. Истратив на пьесу, где он хотел дать «трагедию мысли», чуть более полутора недель, Андреев проиграл. Сергей Мамонтов назвал постановку МХТ «антихудожественной». И тут уж все, даже близкие театру рецензенты, согласились с тем, что в недобрый для театра час взялся Владимир Иванович за эту андреевскую пьесу. Даже и признавая сильное исполнение Леонидовым роли доктора Керженцева, критика буквально в один голос твердила, что этот трагический талант абсолютно напрасно тратит себя на воплощение достоверного образа клинического сумасшедшего, в чем театр ему несомненно помогает, бросив все силы на создание в последней картине убедительной обстановки психиатрической клиники. Таким образом, «трагедия мысли» обернулась каким-то полууголовным, полумедицинским казусом, и тут уж каждый, у кого за пазухой был камень, — бросил его в драматурга.

Неприятные вести о неуспехе «Мысли» застали Андреева в Италии, судя по письмам Леонида Николаевича, он долгое время не хотел верить в провал спектакля, а получив убедительные свидетельства, обозвал публику и рецензентов «ослами». В письме Станиславскому и Немировичу автор попытался успокоить мхатовцев. Трудно сказать, чем руководствовался Андреев, решив взбунтоваться против общего мнения, однако вскоре он провозгласил, что никем не понятый МХТ одержал серьезную творческую победу. Немирович выслушал его веж-

ливо, однако спектакль был снят после девятнадцатого представления. И, увы, это была последняя пьеса Леонида Андреева, поставленная в Художественном театре.

Но — неудачи в МХТ были отчасти компенсированы тем, что именно в это время драматургия Андреева наконец-то воцаряется на императорских сценах. Почти одновременно с «Екатериной Ивановной» еще одна, написанная с оглядкой на «панпсихе», пьеса — «Профессор Сторицын» — оказалась востребована обеими «казенными» сценами: 14 декабря 1912 года «...Сторицына» играли в столичном Александринском, 17-го — в московском Малом театре.

В целом же театральный проект «панпсихе» нельзя назвать особенно удачным: не тонкости психологии, а бурная и страстная «философская эмоция» делала театр Леонида Андреева уникальным явлением. Да и в жизни — его бросающаяся из стороны в сторону романтическая натура существовала отнюдь не по законам психологического реализма. «Он любил огромное»[1] — так начал свой удивительный очерк о драматурге Корней Чуковский.

Его «Леонид Андреев — большой и маленький» дает нам портрет героя — носителя масок, человека, живущего в плену своих многочисленных и ярких образов. «Андреев ходит по огромному своему кабинету и говорит о морском — о брамселях, якорях, парусах. Сегодня он моряк, морской волк. Даже походка стала у него морская. Он курит не папиросу, а трубку. Усы сбрил, шея открыта по-матросски. Лицо загорелое. На гвозде висит морской бинокль». Море — одна из самых сильных страстей Андреева. Вадим, вспоминая отца, выделял маску «морского волка» из прочих «личин»: «Он любил море по-настоящему, полной грудью, всем своим существом, и это была, вероятно, единственная любовь, лишенная надрыва, в которой не чувствовалось желания уйти от самого себя»[2]. Сам Андреев определял свое отношение к морю как «самую настоящую, доподлинную нежнейшую любовь и многолетний роман»[3].

Летом вся семья погружалась в построенную по чертежам Андреева моторно-парусную яхту «Далекий» и морем двигалась за много верст от Ваммельсуу: в глубину Финляндии, в шхеры. Андреев сам стоял у штурвала, рядом с ним постоянно находился его верный спутник — Николай. Николай Степанович Иванов — столяр и монтер на суше и постоянный помощник «морского волка» в странствиях. Часто семья проводила

---

[1] См.: Чуковский 2.

[2] Детство. С. 62.

[3] S.O.S. С. 57.

лето на каком-нибудь из необитаемых финских островков, а сам капитан, выгрузив женщин и детей, вместе с Николаем уходил еще дальше, и иногда два месяца подряд бороздили они холодное Северное море.

И конечно же морская прогулка входила в обязательную программу мероприятий для его гостей: «Утром на баркасе “Хамо-идол” мы отправляемся в море. И откуда Андреев достал эту кожаную рыбачью норвежскую шапку? Такие шапки я видал лишь на картинках в журнале “Вокруг света”. И высокие непромокаемые сапоги, совсем как у кинематографических пиратов. Дайте ему в руки гарпун — великолепный китобой из Джека Лондона. <...> До позднего вечера мы носимся по Финскому заливу, и я не перестаю восхищаться гениальным актером, который уже двадцать четыре часа играет — без публики, для самого себя — столь новую и трудную роль. Как он набивает трубку, как он сплевывает, как он взглядывает на игрушечный компас! Он чувствует себя капитаном какого-то океанского судна. Широко расставив могучие ноги, он сосредоточенно и молчаливо смотрит вдаль; отрывисто звучит его команда. На пассажиров никакого внимания: какой же капитан океанского судна разговаривает со своими пассажирами!..»

Надо сказать, что этот гротескный портрет Чуковского вовсе не совпадает с репинским, где знаменитый «морской волк» изображен без малейшего сарказма, напротив, с любованием. Нет, маска «морского волка» явно не удалась Чуковскому: Андреев был ловкий и умелый мореход, а это, знаете ли, требует немалой выдержки, физической силы и если не мастерства, то по меньшей мере — ремесла и сноровки. Согласимся, на одном лишь актерстве яхту по петляющему фарватеру Финского залива провести невозможно.

Но в целом в этом — почти что карикатурном — портрете Чуковского живет доля правды. Немалый эксцентризм придавала частной жизни Леонида Николаевича слишком частая смена занятий: «Когда через несколько месяцев вы снова приезжали к нему, оказывалось, что он — живописец.

У него длинные волнистые волосы, небольшая бородка эстета. На нем бархатная черная куртка. Его кабинет преображен в мастерскую. Он плодовит, как Рубенс: не расстается с кистями весь день. <...> Всю ночь он ходит по огромному своему кабинету и говорит о Веласкесе, Дюрере, Врубеле. Вы сидите на диване и слушаете. Внезапно он прищуривает глаз, отступает назад, окидывает вас взором живописца, потом зовет жену и говорит:

— Аня, посмотри, какая светотень!..

Вы пробуете заговорить о другом, но он слушает только из вежливости. Завтра вернисаж в Академии художеств, вчера приезжал к нему Репин... Вы хотите спросить: "А что же яхта?", но домашние делают вам знаки: не спрашивайте. Увлекшись какой-нибудь вещью, Андреев может говорить лишь о ней, все прежние его увлечения становятся ему ненавистны».

Соблазнительно было бы назвать такие метания ребячеством, но та основательность и те видимые результаты, которых достигал наш герой в каждом своем увлечении, будь то картины, графика, фотографии или же — яхты и дома, построенные по его чертежам, говорят нам об обратном: это были интересы взрослого человека, кто мог и даже горел желанием довести каждое дело до значительного итога. Не мечтания и не размышления о фотографии, а глубокое и скрупулезное изучение технической и художественной стороны дела занимало Андреева; я уже упоминала о том, что, купив у разработчиков экземпляр фотокамеры, производящей снимки в цвете (!), Андреев оставил миру сотни цветных снимков отменного качества. Конечно, их некорректно сравнивать с высокими образцами фотоискусства, однако любитель — Андреев достигал порой весьма неплохих результатов. Чуковскому очень нравились, например, его пейзажи: «Не верилось, что это фотография, — столько в них было левитановской элегической музыки». И фотографическое дело представляло собой в 1910-е годы сложнейший процесс, лишь малая толика которого относилась непосредственно к съемкам, весьма трудоемкими были именно проявление и распечатка снимков.

Для этой страсти на вилле была оборудована целая фотолаборатория: темная комнатка под чердачной лестницей, прозванная домашними «Палатой № 6». Здесь, по воспоминаниям Вадима, «в полной, непроницаемой мгле четко стучал секундомер, раздавался плеск воды и таинственный шорох наполнял комнату. Потом открывалось окошечко сперва с зеленым стеклом, потом с красным. Наклонившееся над кюветкой с проявителем, в тусклом луче света, его (Андреева. — *Н. С.*) лицо казалось совершенно нереальным, прозрачною маской, повисшей в воздухе... Так часами, не зная усталости, даже забыв о папиросах, отец проявлял, пока не кончался запас снятых за день пластинок». Много хлопот доставляло Андрееву еще одно увлечение — «на голом куске земли, где стоял наш дом, — вспоминал Вадим, — появился парк; каждое лето выяснялось, что половина новых посадок погибла, и каждой новой зимою привозили закутанные в солому... новые деревья — клены, липы, дубы и ели...»[1].

---

[1] Детство. С. 61.

А была еще и роль путешественника: в те годы Андреев часто бывал за границей: в 1909 году вместе с Евгением Чириковым на грузовом пароходе они отплыли в Гамбург, оттуда в Амстердам. «Меня принимают за итальянца и испанца. Женичку за американца»[1], — писал он матери. Потом он — вместе с женой — побывал в Германии, во Франции, в Италии, летом 1912 года заехал на Капри в надежде помириться с Горьким. Предпринятое весной 1914 года итальянское паломничество было самым длительным: Леонид Николаевич, Анна Ильинична и их пятилетний первенец Савва выехали из Ваммельсуу в конце января и вернулись домой лишь к середине мая.

Они приехали в Венецию в канун знаменитого карнавала. «Устроились мы хорошо, — писал Андреев матери, — с балкона видно пол-Венеции, под окнами целый день кипит жизнь, движется веселая толпа, приходят и уходят огромные океанские пароходы»[2]. В середине февраля семья переехала в столицу Италии: «Бегая по Риму как заяц, я снял все знаменитые фонтаны — коллекция единственная, не снимал только мелких фонташек»[3], — вообще же, эти «итальянские письма к матери» — любопытный пример, каким легкомысленным, домашним и остроумным мог быть Леонид Николаевич. Отвечая на беспокойное письмо, где Анастасия Николаевна, вероятно, негодовала на рецензентов, проклинающих мхатовскую «Мысль», сын отвечал: «И будь ты спокойна: никаким провалом я Мысль не считаю. Вот раз у Козла в Царицыне постель подо мною провалилась, так это был действительно провал, а когда неизвестно, к верху проваливается человек или к низу, так это называется авиация». Описывает жизнь семейства в Риме Андреев с той же иронической интонацией: «Все мы здоровы, только у Анечки чахотка от фотографии, да я сегодня так раскакался, что удержу нет. Савка очень мил: первый мой ребенок, который относится ко мне по-матерински. Стоит у меня голове заболеть, или кисел я, он уже полон беспокойства; ночью, проснувшись для пиписи, спрашивает: а теперь папа здоров?»[4] Но конечно же три месяца, проведенных в Вечном городе, вдохновили не только Андреева-фотографа, но и Андреева-беллетриста, его последний — речь о нем впереди — не вполне завершенный роман «Дневник Сатаны» полон Римом, его развалинами, его католическим духом, его каменным древним величием. Возможно, он помнил пример Гоголя,

---

[1] Цит. по: Материалы и исследования. С. 34.
[2] Там же. С. 97.
[3] Там же. С. 109.
[4] Там же. С. 113.

писавшего «Мертвые души» среди раскаленных камней *Strada Felice*, но — едва вернувшись домой, Андреев заявил, что в будущем намерен на целый год поселиться в Риме. Этим планам, увы, помешала начавшаяся вскоре германская война.

Еще одна роль, которую Андреев разыгрывал, кажется, с невероятной легкостью и даже небрежно — это роль отца огромного семейства: ведь в браке с Анной появились у него и новые дети. В 1909 году родился всеобщий любимец Савва, через два года — единственная дочь Вера, а еще через год — в 1912-м — младший Тинчик — Валентин. Вместе с отцом росли и Вадим, и дочь Анны — Нина, разлука с Даней произошла, как мы помним, по воле Добровых, но и с ним Андреев виделся, как только бывал в Москве, а когда мальчик подрос — Добровы стали вновь отпускать его на лето к отцу. Дети — «свои, чужие и общие» — населяли, как мы помним, виллу в Ваммельсуу со дня ее основания; невзирая на все свои «маски» и многочисленные занятия, несмотря на то, что он один своим пером содержал этот огромный многонаселенный организм, Леонид Николаевич никогда не тяготился ребячьим обществом, наоборот, часто — свои развлечения и путешествия разделял с детьми... Нет, конечно, ни в коем случае не был писатель «детским человеком», как, например, частый гость Ваммельсуу Корней Чуковский, но дети, общение с ними, безусловно, составляли необходимую часть его жизни.

Морские поездки и пикники, розыгрыши, праздники — подчас Андреев был воистину мастером организовать «счастливое детство». «Изредка летом устраивались пикники, — с особой ностальгией рассказывал Вадим в книге о детстве. — Как и все, что предпринимал отец, были грандиозны и наши поездки в Лиственницу — мачтовый лес, посаженный еще Петром Первым. Сборы были похожи на отправление экспедиции в неисследованные страны — телеги грузились самоварами, кульками, посудой... Сверху сажали нас, детей... и мы длинным караваном, цыганским шумным табором ехали в лес, где на берегу реки, около веселых и шумных порогов нас понемногу разгружали. Отец уходил с нами дальше, вдоль берега, и, выбрав между камнями тихую заводь, купал нас в холодной темной воде. Он спрыгивал к нам в реку... схватив кого-нибудь за ногу, "топил", а мы, даже соединенными усилиями, не могли его сдвинуть с места. И чем больше было визга и шума, тем довольнее был отец»[1]. Его хватало даже на то, чтобы вычер-

[1] Детство. С. 42.

чивать, а потом заказывать по этим чертежам особые санки, и чтобы зимой ребята не чувствовали себя заброшенными, рядом с домом заливали огромную горку, а кроме того, все — и взрослые, и детвора, и прислуга — ходили на лыжах...

Но развлечения — развлечениями, а все же воспитание состоит не только из них... Был ли Леонид Андреев образцовым отцом? Вадим, которого больнее всех «обожгла» смерть Шурочки и новая семья Андреева, полагал, что нет, не был: «во-первых, отец любил только маленьких детей до пятилетнего возраста. Единственным исключением был мой брат Савва... отец любил его без перерывов, до самой смерти. Вообще у него существовали странные, атавистические причины любви и нелюбви, и в этом он бывал жесток и несправедлив: он, например, был совершенно равнодушен к девочкам»[1]. Действительно, Андреев позволил Анне Ильиничне, любившей своего первенца до умопомрачения, учредить некое неравенство по отношению к детям, что ранило конечно же не одного Вадима, но и начинающую подрастать Веру.

К счастью, Савва преимуществами «любимого сыночка» испорчен не был, наоборот, все окружающие твердили, что растет он умным, необыкновенно внимательным и добрым к окружающим мальчиком. Не стало особой драмой для Саввы Леонидовича и то, что с самого детства его готовили в художники: беря уроки у Репина, мальчик, которого «силком тащили в живопись», не осознавал или не мог сказать взрослым, что его способности и его желания лежат совершенно в иной области. Не видели этого и его родители. Свое призвание двадцатилетний Савва обнаружил совершенно случайно, уже после смерти отца, в эмиграции, поступив в дягилевский балет. По́зднее начало карьеры, возможно, не позволило ему сделаться известным танцовщиком, однако очень скоро он стал танцевать профессионально и зарабатывал этим ремеслом всю свою жизнь.

Сам же Вадим с момента женитьбы отца на Анне Ильиничне глубоко страдал, чувствуя отчуждение, одиночество, обиду и одновременно — огромную любовь к Андрееву. Как ни странно, его отец, — обдумывавший в те годы модель психологического театра, — проявил здесь поразительную психологическую глухоту: он так никогда и не заметил мучений старшего сына и был крайне удивлен, когда однажды — уже подростком — Вадим рассказал ему об этом. Да, приходится признать, что роль отца во многом была для Андреева романтической маской, его любовь к детям составляла лишь малую толику его

[1] Детство. С. 46.

жизни и он, вероятно, никогда не задумывался над ней, хотя исполнял ее подчас с блеском и природной органикой.

«И вообще эта помпезная жизнь казалась иногда декорацией. Казалось, что там, за кулисами, прячется что-то другое», — конечно же Чуковский был прав. В этом доме существовало и закулисье. В рассказе «Он», показывая быт богатого дома господина Нордена, стоящего, как и вилла «Аванс», на берегу холодного моря, Андреев чутко, хотя опять-таки в несколько романтическом духе новелл Эдгара По, попытался описать «странности» жизни здесь, как видел бы их «человек со стороны». «И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их.

— Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец?.. я буду жаловаться мисс Молль, а она вас накажет, как дурного мальчика. <...> Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. <...> А музыка все гремела, скатываясь к нам по... ступенькам... и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а, танцуя и кружась перед темными, бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? Что со мною?»

Любопытно, подобную сцену вспоминал и Вадим Андреев: «Иногда... в шутках отца появлялся элемент надрыва. Тогда все слова, произносимые отцом, все его действия внезапно приобретали двойной смысл — внешне он оставался неудержимо веселым, бесшабашным и смешным, но странной, неприятной судорогой кривились его губы, мертво и холодно блестели глаза. Все веселье становилось сразу неестественным, вымученным и уж никак не смешным».

Вадим рисует не менее причудливую, чем в рассказе отца, картину «семейного веселья» на вилле, где Андреев вдруг втягивает домашних в странную фотосессию: «...он снимал бабушку верхом на маленькой детской лошадке с огромным знаменем в руках, с несчастными, потухшими глазами за стеклами очков; дядю Павла, лежащего на земле, сжимающего средневековую секиру с пенсне, съехавшим на самый кончик его длинного печального носа; Анну Ильиничну в фантастическом наряде, в шляпе, утыканной лохматыми страусовыми перьями, с опущенными глазами и совсем невеселым лицом...»[1]

---

[1] Там же. С. 41.

Подобные сцены обычно предваряли дни, когда у Андреева начинался запой, и он исчезал из видимости детей, да и вообще — из видимой жизни, целиком отдаваясь этой — вернувшейся вдруг неодолимой страсти. В эту пору на вилле действительно жить становилось страшновато, и домашние, и прислуга старались быстро и неслышно проскользнуть по лестницам и коридорам, опасаясь встречи с «призраком» — с опухшими глазами, бледным лицом и мелкими капельками пота, стекающими со лба, передвигался хозяин по своему владению. В те дни он почти не ел, не мог спать, боясь протрезветь во сне. Он был в постоянном движении, дни и ночи искал собеседника: обычно эти «бдения» разделял с ним брат Павел; Анастасия Николаевна запиралась у себя в комнате, где плакала и поглощала валерьянку.

Пил Андреев, как говорили близкие, или вино, или коньяк, никогда их не смешивая. Но и в пьяные дни его мозг продолжал творить, в порыве пьяных откровений он не только жаловался на жизнь и рассуждал о самоубийстве, но и «набрасывал», например, картины, каким трауром должна одеться земля, потеряв писателя. Выходил из запоя Андреев всегда тяжело, и когда все семейство собиралось за обедом, он угрюмо молчал, стараясь не встречаться ни с кем глазами, но постепенно опять-таки Павел втягивал старшего брата в общий разговор, и после первой андреевской шутки у домашних как будто общий камень падал с души: Леонид Николаевич выздоравливал, и жизнь возвращалась в прежнее русло. К счастью, с возрастом Андреев все реже и реже платил дань Бахусу, думаю, что в глубинах его организма назревал серьезный протест, да и здоровье уже не выдерживало столь серьезных испытаний. А бросил пить Леонид Николаевич опять-таки стремительно и эффектно: в самом начале германской войны — летом 1914 года он дал зарок, что не возьмет в рот ни рюмки вплоть до победы России над Германией. И — держался четыре года: жил — по его собственному выражению, «без единой капли алкоголя». И далее — даже времена разнообразных бедствий и смут не вернули старый недуг.

«Эти годы — с 1908 по 1914 — третий акт “Жизни человека”. Во внешнем шуме и блеске, при полном материальном благополучии, отец жил странной, очень нервной и вместе с тем ненастоящей жизнью», — полагал сын писателя. Что ж, согласимся с Вадимом, что временами жизнь на вилле могла показаться воистину странной, да и в отношениях с людьми отнюдь не всё строилось у Леонида Николаевича согласно тем законам причины и следствия, о которых так много рассуждал он в своих статьях. Люди, попадающие в орбиту Андреева, частенько

были случайными, подчас — не вполне адекватными, иногда же — представляли прямую опасность для обитателей виллы и самого хозяина.

Подросшему Вадиму необходим был учитель, и в 1909 году Андреев совершенно случайно — по газетному объявлению — пригласил выпускника Петербургского университета Михаила Семеновича Петренко. Этот высокий и стройный юноша с черными усами и бородкой клинышком, вероятно, приглянулся Андрееву не только чрезвычайной красотой, но и независимыми суждениями, во всяком случае, с таким «учителем» можно было и поболтать в свободную минуту, его не стыдно было и «предъявить» гостям как интересного собеседника. Вадим же с первых дней возненавидел Михаила Семеновича, и судя по всему, в том числе — и дальнейшим событиям, это был не просто детский каприз. Юноша вел себя по отношению к мальчику, мягко говоря, неадекватно: за малейшую провинность, а подчас и без оной — «сажал в тюрьму» — запирал в пустой комнате и заставлял тупо сидеть за пустым столом, не разрешая подходить даже к окну. А после подобных пыток — часами изводил мальчика разговорами, допытываясь, отчего тот «не любит своего учителя». Ни случившийся однажды ночной побег ребенка из дома, ни его робкие жалобы не производили на отца ни малейшего впечатления: учитель-садист нравился самому хозяину, и несчастный Вадим был отдан во власть этого человека.

Поощряемый хозяином юноша вскоре почувствовал себя в доме достаточно свободно, порой он запросто заходил в кабинет к Андрееву, где беседовал с Леонидом Николаевичем, он получил разрешение пользоваться библиотекой... А когда весной 1909-го Андреевы уехали в Крым, учитель пребывал в доме уже на столь независимом положении, что — в отсутствие хозяина — распорядился оставить на вилле случайно пришедшего туда беглого преступника. Это был еще один странный человек — как выяснилось позже — некто Румянцев, крестьянин из Новгородской губернии, осужденный и сосланный в 1906 году по уголовной статье, бежавший в 1909-м и живущий по чужим документам. Объявив себя «политическим», этот — как называли его дети — дядя Абрам по рекомендации учителя был взят Андреевым на работу. Выполнял он разные обязанности: был садовником, следил за водопроводным насосом, мастерил игрушки для детей, охранял дом, для чего ему был запросто выдан револьвер, а также боевые патроны.

Все свое свободное время беглый посвящал чтению книг и обсуждению их с Михаилом Семеновичем, несмотря на разницу в образовании, эти люди прекрасно ладили и понимали друг друга. Со временем учитель и так называемый «политический» составили нечто вроде «тандема» и в отсутствие Андреева, уютно расположившись в его кабинете, вели нескончаемые философские диспуты. Учитель со временем совершенно забросил занятия с Вадимом, что, объективно говоря, стало для мальчика великим благом. Чем мягче было отношение Андреева, а его, я думаю, подчас забавляли «высокие рассуждения» Абрама, тем наглее и самоувереннее чувствовали себя участники странного «тандема» на вилле.

В конце 1911 года, вернувшись из очередного путешествия, Андреев был неприятно поражен беспорядком в кабинете, а также тем, что в его отсутствие учитель и садовник запросто пользуются его вещами и — пачками — выносят из кабинета журналы и книги. Состоялось объяснение, где эти, не вполне адекватные, люди были призваны к порядку. Замечательно, что оба — и выпускник университета, и беглый каторжник — восприняли замечание хозяина как личное оскорбление. Дальнейшие события стали поводом для многочисленных газетных статей: обиженный Абрам в принципе перестал работать по дому, обнаружив это, Андреев решительно приказал ему в самое ближайшее время покинуть виллу. Очевидно, решение Леонида Николаевича многократно обсуждалось Абрамом с учителем и возмущению обоих не было предела. Оба работника посчитали «зазнавшегося хозяина» своим личным врагом. Кризис наступил 29 декабря, когда вечером садовник — с огромной стопкой книг — хотел проследовать в кабинет Андреева, чтобы, вероятно, швырнуть «барину» в лицо взятые им из библиотеки «сокровища». Анна Ильинична, зная, что муж работает, преградила ему дорогу, Абрам, грубо обругав ее, швырнул книги на пол, в этот момент на шум из кабинета вышел сам хозяин. Андреев очень твердо попросил работника немедленно убираться вон, на что получил ответ: «Ты мне не грози, я не уйду». Писатель, тоже придя в неистовство, вернулся в кабинет и взял револьвер.

Дальнейшую «вспышку насилия» описывает Вадим, слышавший эту сцену из-за приоткрытых дверей спальни: «... наступило странное молчание, отдельные возгласы, голос Анны Ильиничны и опять страшный крик отца: — Уходи, или я буду стрелять. Вслед за криком почти тотчас же раздался резкий звук револьверного выстрела — отец стрелял вверх, в потолок. Я вы-

скочил из кровати, но прежде, чем успел добежать до двери, раздался второй выстрел: Абрам стрелял в отца почти в упор — на расстоянии четырех шагов. В этот момент Анна Ильинична бросилась на Абрама, ударила его по руке, пуля прошла мимо, чуть не задев отца, и попала в стену — на высоте живота. На одно мгновение в светлом квадрате полуотворенной двери я увидел отца, которого, схватив сзади за локти, отталкивал Михаил Семенович, Анну Ильиничну и Абрама, упавших на пол, Анна Ильинична вырывала у нападавшего револьвер. Во время борьбы он прокусил ей палец до кости. В следующую секунду невидимая рука со страшным треском захлопнула дверь, и я остался в темноте»[1].

В начале 1912 года газетные сообщения о том, что слуга в доме Андреева покушался на его жизнь и что писателя спасла жена, облетели Россию. Сам Андреев старался «загладить» происшествие, неоднократно подчеркивая, что покушавшийся крестьянин внезапно «сошел с ума», и даже пытался объяснить это сумасшествие «психологически». Румянцев же сбежал с револьвером с дачи Андреева в Куоккале — на дачу Чуковского, где Корней Иванович приютил его на ночь и утром тайно отправил в Петербург. Сам Чуковский признавался, что слово «политический» оказывало на него в те годы магическое воздействие и именно поэтому он и помог Абраму «бежать». Вскоре Румянцев был задержан в Петербурге, осужден и приговорен к трем годам каторжных работ. Михаила Семеновича — к огромной радости Вадима — просто уволили.

Но весь этот случай — еще один повод задуматься над психологическим «слухом» Андреева-человека, сначала отдавшего своего сына в руки не вполне адекватного юноши с наклонностями садиста, а потом — по его рекомендации — поселившего у себя в доме беглого ссыльного и давшего ему оружие. И это в доме, где проживали беззащитные женщины и множество детей. И едва ли Леонид Николаевич относился к безопасности близких легкомысленно, дело было в другом. Частенько общаясь и с Абрамом, и с учителем, Андреев не замечал и не чувствовал в этих людях ничего подозрительного, темного, ничего странного или опасного. Наоборот, он категорически отвергал все мольбы Вадима об избавлении от Михаила Семеновича. Не смутило его и то, что работник Абрам, нежно любя скотину и детей, упорно ненавидел всех женщин в доме, постоянно ругался с прислугой и даже грубил Анастасии Николаевне и Анне Ильиничне. Не почувствовал Андреев и уже открытой угрозы в тандеме «учитель—работник», когда перед

[1] Детство. С. 65—66.

Новым годом решил рассчитать Абрама. Этот случай опять-таки наводит меня на мысль, что природа не одарила Леонида Николаевича психологическим чутьем и свои отношения с окружающими он строил чаще всего на принципах «романтической мелодрамы». А потому казусы и «эффекты» постоянно сопровождали «дни его жизни».

Следующее происшествие было связано с коллегой Андреева по перу — писателем Александром Ивановичем Куприным. Почти ровесник Андреева, преуспевающий беллетрист, Куприн имел все основания для соперничества с нашим героем: рано став сиротой, в юности он — как и Леонид Николаевич — мучительно боролся с нищетой, его литературная слава росла так же стремительно, как и андреевская, и к его репутации у читающей публики примешивалась подчас горчинка «бульвара», и даже пил он запоями — так же, как и Андреев. Но — не было у вышедшего в отставку армейского офицера Александра Куприна того блеска, той вопиюще эффектной внешности, того импозантного и странного образа жизни, что связывался в умах и сердцах публики с писателем Леонидом Андреевым. Чуковский забавно описывал реакцию Куприна, когда тот впервые увидел виллу «Аванс»: «— Ты думаешь, это гранит, — говорил пьяный Александр, стоя перед фасадом огромного дома. — Врешь! Это не гранит, а картон. Дунь на него — он повалится. Сколько ни дул Куприн, гранит не хотел валиться...»[1] Случившийся позднее инцидент, в сущности, напоминает пьяный порыв Куприна «сдуть» красавчика и счастливчика Андреева со своего пути.

В ноябре 1912 года на одной из литературных вечеринок, что время от времени «давал» известный актер Александринского театра Николай Ходотов, в разгар веселья уже изрядно подвыпивший Куприн, сидя на диване, «подставил ножку» проходящему мимо Андрееву, а когда тот, споткнувшись, упал на пол — набросился на него и начал душить. Причем окружающие свидетельствовали, что поначалу сцена эта напоминала просто злую шутку, но через секунду стало ясно, что бывший офицер «взялся за дело» всерьез. К счастью, сын орловского землемера тоже оказался не промах и, почувствовав, что железные пальцы нешуточно сжали его горло, вырвался и врезал обидчику. Писателей разнимали «всем миром», и несмотря на то, что Андреев наутро приложил немало усилий, чтобы «замять» инцидент и ни в коем случае не вносить его «в историю литературы», этот курьезный случай угодил в газеты и вскоре стал фактом биографии обоих забияк-литераторов.

---

[1] Чуковский 2.

Что ж... мне лично и этот казус опять-таки представляется показательным. Андреевская реакция на купринскую придурь кажется мне неестественной: он как будто воспринял как должное ненависть к себе обидчика и вместо того, чтобы вместе с газетчиками посмеяться над этим случаем, стал упорно заглаживать происшедшее, пытался стереть, вымарать инцидент из своей и купринской жизни, как будто этот случай приоткрывал нечто сокровенное, какую-то глубоко спрятанную боль. Все чаще и чаще писатель — устно и письменно — жаловался на свое одиночество в литературном мире. Это одиночество — притом что число его корреспондентов в те годы значительно увеличилось — постепенно становится манией Леонида Андреева. Ему казалось, что он окружен лишь недоброжелателями, и его это мучило, мучило всерьез. Его многочисленные друзья-писатели: в прошлом — Телешов, Вересаев, Скиталец, теперь — Чириков, Белоусов, Серафимович, Чуковский, Кипен, Брусянин, Фальковский, Чулков, а потом и сам Сологуб, художники Репин и Серов, а в будущем и Рерих, люди театра, журналисты, издатели отчего-то не заполняли его души.

Да, далеко не все, из тех, кто ездил в дом к Андрееву, любили его как человека, но действительно любили — многие. «Блестящая жизнь» Леонида Николаевича никогда не отменяла внутренней готовности писателя помочь людям, Чуковский трогательно рассказывает о том, что «с детской радостью доставал он (опять-таки тайком от домашних!) свою чековую — не слишком-то пухлую — книжку и быстро-быстро выписывал чек для любого просителя еще раньше, чем тот успевал подробно изложить свою просьбу»[1]. А некоторых литераторов — например Брусянина и Кипена — Андреев просто-напросто поставил на ноги.

Все эти знакомые, а также и его многочисленное семейство, не говоря уже об Анне Ильиничне, с которой подробно обсуждал он не только любое свое начинание, но и каждую мысль, должны были отнимать у Андреева массу времени. Еще часть — занимала переписка. Существенную часть — многочисленные хобби. А ведь для творчества ему были необходимы часы полного одиночества. И, если бы Леонид Николаевич мог взглянуть на свой образ жизни объективно, ему следовало бы, вероятно, жаловаться не на переизбыток, а на острый дефицит одиночества... И более того, живи он по законам «психологического реализма», потребность в крепкой, порывистой и искренней дружбе с годами бы в нем, вероятно, значительно ослабла.

[1] Там же.

«Как сердцу высказать себя?
Иному как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи» —

истина, открывшаяся еще не достигшему и тридцати Тютчеву, так и осталась закрытой для нашего героя. Наоборот, Андреев и в 40, и в 45 лет по-прежнему жаждал какой-то особой — сверхромантической — дружбы, а умную и подчас справедливую критику склонен был рассматривать как тотальное отрицание, нелюбовь, а подчас «всеобщую ненависть». Что и говорить, «он любил все огромное».

«Дорогой Алексей! Конечно, я волнуюсь, обращаясь к тебе с этим письмом и этим именем и едва ли напишу что-нибудь путное... Между нами несколько лет тяжелого молчания». В августе 1911 года, когда ему только-только исполнилось сорок, Андреев внезапно написал Горькому: «Друзей у меня, как и прежде, никого нет, кроме тебя... Люблю я тебя очень сильно». Суть двухстраничного послания сводилась к тому, что хорошо было бы забыть прошлое и зажить как когда-то в молодости: споря, строя что-нибудь общественно значимое, любя и уважая друг друга: «На душе молодо, как в ту далекую пору, и кажется, что адрес письма не Капри, а Нижний, и вообще хочется быть в числе драки»[1]. Горький был, вероятно, немало изумлен, получив исповедь Андреева, удивлен не столько содержанием письма, сколько его миролюбивым и таким человеческим тоном. Дело в том, что Алексей Максимович уже давно — и приватно, и публично — высказывался об Андрееве-писателе грубо и даже враждебно, он был твердо уверен, что тот «разменял свой талант», страдает манией величия, бессовестно врет и т. д. и т. п. Человеческая интонация послания Леонида Николаевича поставила Горького в тупик. Ответ «друг Максим» сочинял более двух месяцев, но добиться такого же мирного и дружеского тона ему явно не удалось.

«И мое отношение к тебе, Леонид, в существе и глубине — не изменилось: все так же, как и раньше, дорог ты мне, так же интересен... в талант твой верю, цену ему знаю и люблю его», — начав послание вполне миролюбиво, буквально на втором абзаце Горький скатился на менторский тон и «выдал» Андрееву за «Тьму», за «Мои записки», за славу, за дружбу с разными, вредоносными, с его точки зрения, литераторами. Правда, по-

[1] Переписка. С. 312.

сле перечисления «смертных грехов» бывшего друга Максимушка не советовал тому оправдываться, а предлагал вместе «заварить новую кашу»[1]. Леонид смог внятно ответить только через полгода. Излив на страницы все взаимные обиды, друзья, казалось бы, почувствовали облегчение и переписка пошла: весь 1912 год — с оговорками, с резкими несогласиями, спорами, с неоднократными предложениями прекратить переписку и встретиться, они все-таки писали: Андреев душевно и трепетно, Горький — суховато и резко, но, кажется, для них обоих эти письма стали душевной потребностью. Конечно, здесь не было уже той особой фамильярности, не было ни «Максимушки», ни «дорогой моей Леониды», Горький вообще предпочитал никак не обращаться к Андрееву, но в этих текстах все же чувствуется какая-то слабая ниточка, казалось, вот еще... одно письмо... и еще... И вот уже Леонид — как в старые времена — высылает Максимушке изданные в России книги и рукопись своего «Сашки Жегулева», вот уже Горький зовет его принять участие в организации «музея по истории борьбы за освобождение России»; последнее письмо «друга Леонида» 1912 года заканчивается словами: «Еду на Капри, завтра. Целую, очень рад, что увижу. Твой Л.».

В середине января «твой Л.» сошел с трапа парохода, примчавшего его на Капри из Неаполя, и, даже не поселившись в отеле, прямо с пристани отправился на виллу Горького. После обычных приветствий друзья поднялись в кабинет Максимушки, где, как предполагал Андреев, рухнут преграды и «польются, как встарь, глаголы живой жизни». Что случилось между ними в тот вечер — доподлинно не известно никому. Заключительную часть «свидания титанов» видел живущий тогда на Капри Иван Бунин. По его словам, в горьковском кабинете атмосфера была натянута как струна. Хозяин, мрачный как никогда, сидел в своем кресле, Андреев расхаживал по кабинету. Разговор был явно завершен, но оба друга еще не могли в это поверить, в комнате повисло «тягостное молчание», лишь изредка оно прерывалось репликами: «Да, так вот, Леонид», «Ты понимаешь... понимаешь... Алексей», «Так вот, Леонид». Бунин клялся близким, что эта сцена тянулась час, пока всех троих не позвали к чаю: «За чаем стало немного легче, хотя фальшиво-натянутая атмосфера продолжалась»[2].

«Ах, дорогой Александр Александрович, какое скверное чувство унес я с Капри от свидания с Горьким», — не открывая подробностей встречи, пишет о ней Андреев, добавляя забав-

---

[1] Там же. С. 318.
[2] Там же. С. 592.

ную и — с моей точки зрения — глубоко верную характеристику бывшего друга: что «...учительствует сухо и беспрерывно, и, учительствуя, имеет вид даже страшный: человека как бы спящего или погруженного в транс»[1]. Действительно, Алексей Максимович, чья и общественная, и личная жизнь была во все времена крайне запутанной, чьи убеждения частенько менялись, причем совершенно незаметно для их обладателя, имел поучения прямо-таки на все случаи жизни. Этот уникальный человек, высказываясь буквально по любому поводу, казалось, ни на секунду не сомневался в собственной правоте. Есть конечно же и другие мнения о Горьком 1910-х годов, но для Андреева у Максимушки оказалась припасена лишь маска «учителя жизни». «Строго осуждает любовь, ревность, детей, Россию, пессимизм, за восемь лет не научился итальянскому и живет среди народа как глухонемой...»[2] — так с недоумением вспоминал Леонид об этой — крайне неудачной — попытке «склеить» старую дружбу.

Интересно, что в дальнейшем, — когда Алексей Максимович вернулся в Россию и поселился невдалеке от Андреева — в Мустамяки, а потом в Нейволе, — бывшие друзья изредка общались и, как ни странно, еще не раз пытались повторить «каприйское» объяснение. Одну — видимо, последнюю — попытку описал Вадим: «Это было, вероятно, зимой 1915—1916 года. Горький приехал к нам на Черную речку поздно... на другой день он и отец... обедали вдвоем, отдельно ото всех. Сразу после обеда ушли в кабинет... <...> Неожиданно резко стукнула дверь кабинета и я услышал глухой голос отца, взволнованный и захлебывающийся: — Нет, нет, Алексей... То, что ты говоришь — чудовищно. — Уж и чудовищно! Ты бы на землю спустился, вот тогда бы и узнал, что такое — чудовищно. <...> У отца было лицо необычное и страшное — оно все подергивалось мелкой судорогой, Алексей Максимович стоял на площадке и смотрел на меня в упор, но меня не видел. Не поворачиваясь к отцу и не вынимая рук из карманов, он сказал: — Что ж, Леонид, прощай, — и быстро пошел к лестнице, ведущей вниз, в столовую. Отец хотел было вернуться в кабинет, но потом пошел за Горьким. Однако спускался по лестнице он так, как будто шел в гору»[3]. Что сказал Андрееву Горький в тот день? Возможно, бросил ему в лицо те гневные порицания, которыми в письмах другим частенько «награждал» писателя Леонида Андреева, объявляя, что тот «лишен общественного инстинкта» и «зоологически эгоистичен», хотя и «несколько смущен этим»?

[1] Переписка. С. 537.
[2] Там же.
[3] Детство. С. 122.

Позже, уже после смерти друга, Горький напишет о том, что стена между ними была сооружена Андреевым, но теперь, после публикации писем обоих друзей, мы понимаем, что это не так. Горький неоднократно — чрезвычайно грубо и несправедливо — и письменно и устно — задевал Леонида Николаевича, а тот — в те же самые годы старался сохранять деликатность и даже лояльность по отношению к другу. И лишь после того, как накликавший-таки «бурю» пролетарский писатель пошел на сотрудничество с большевиками, — Леонид Николаевич позволил себе резкие слова в его адрес. Да и то, записывая в дневнике, что Горький «прямо преступен, его руки в крови»[1], в беседах с людьми он явно уклонялся от столь резких выпадов в адрес бывшего друга.

А вот личная — возможно и подсознательная — неприязнь Горького к бывшему товарищу выражалась впоследствии и прямо, и косвенно. Например, в четвертой части его главного романа «Жизнь Клима Самгина» один знакомый центрального героя — некий Бердников рассказывает: «В третьем году познакомился, случайно, знаете, мимоходом, в Москве с известным литератором, пессимистом, однако же — не без юмора. Конечно, — знаете кто? Выпили. Спрашиваю: “Что это вы как мрачно пишете?” А он отвечает: “Пишу, не щадя правды”. Очень много смеялись мы с ним и коньячку выпили мало-мало за беспощадное отношение к правде. Интересный он: идеалист и даже к мистике тяготеет, а в житейской практике — жестокий ловкач, я тогда к бумаге имел касательство и попутно с издательским делом ознакомился. Без ошибочки мистик-то торговал продуктами душевной своей рвоты. Ой, — засмеялся, забулькал он. — Нехорошо как обмолвился я! Вы словцо “рвота” поймите в смысле рвения и поползновения души за пределы реального...» Вот это самое словцо — «рвота» — даже и с оговоркой — и составляло, по-моему, суть оценки «другом Максимом» всех поздних сочинений «друга Леонида». И конечно же андреевский «порыв дружбы» был заранее обречен. Но — как и все порывы нашего героя — он был частью «театра жизни» Леонида Андреева, а этот театр — романтический по своей сути — отвергал законы жизненной логики.

---

[1] S.O.S. С. 113.

Глава одиннадцатая. 1914—1916:

ЗАКАТ СЛАВЫ

Начало войны: оборонческая активность. «Иго войны». Болезнь Россией: «Сашка Жегулев», «Самсон в оковах». Публикации очерков. «Король, закон и свобода». Андреев — редактор «Русской воли». Квартира на Мойке. Милочка Чирикова. «Тот, кто получает пощечины». «Собачий вальс» — поэма одиночества. Снова Достоевский: «Милые призраки»

«За четыре года войны было много чудовищного, необыкновенного, разительного (Верден, сражение в немецком море, наше отступление и т. д.), но по силе впечатления, по глубине и необыкновенности ощущения *мировой* войны ничто не может сравниться для меня с первыми днями, двумя-тремя неделями»[1], — запишет наш герой в дневнике 28 апреля 1918 года. Прыжок из «стихии мира в стихию войны» был для него внезапен: в начале июля 1914-го Андреев, как всегда, «спасался на шхерах», моторный катер «Далекий» был пришвартован где-то в районе Эсбо, где наш герой — «обожженный солнцем, овеянный ветром», избавленный от головной боли, ничего не пишущий, вполне примиренный и собою и с миром — наблюдал закаты и восходы над необитаемыми — скалистыми и лесистыми островками... Ну уж если быть предельно точной, сараевский выстрел Гаврилы Принципа и собственно 1 августа — день официального объявления Германией войны Андреевы встретили в финском Нодендале, куда приехали погостить к Добровым, нанимавшим дачу в этом маленьком приморском городке, недалеко от Або.

Именно отсюда — с августа 1914-го — начинается для Андреева эпоха «вычитаний и потерь», где первой жертвой пал его личный «Андреевский флот»: «Далекий» так никогда и не вернулся к хозяину, оставленный в Эсбо, катер был продан через несколько месяцев после смерти писателя Анной Ильиничной. Остальная флотилия, постепенно разрушаясь, без-

[1] S.O.S. С. 59.

жизненно томилась на приколе у чернореченской пристани: Финский залив уже до конца жизни Андреева станет акваторией военных действий. Интересно, что от самых первых дней войны между отдыхающими Карельского перешейка ходили упорные слухи о германских подводных лодках, которые якобы бороздят его просторы, опасались, что очень скоро немецкий десант высадится в Куоккале. Так эпоха «морского волка» неожиданно закончилась, и, вернувшись домой «сушей», Андреевы застали уже совершенно иную жизнь.

«Красные товарные вагоны, переполненные мобилизованными, переполняли все пути — и на север, и на юг, и на запад... Они были окружены пением и визгом и непрерывным, то стихающим, то вновь нарастающим, похожим на морской прибой криком “ура”». <...> В Петербурге «спешно снимались вывески немецких колбасных... улицы были переполнены крестными ходами, над которыми в пыльном и жгучем воздухе раскачивались золотые хоругви и портреты Николая Второго... проходили наспех сформированные полки в шинелях, измятых от долгого лежания в интендантских складах, под звуки медных труб и дробь барабанов...»[1], — кажется, что в этой, нарисованной Вадимом Андреевым, картине нет и не будет места для его отца. Элементарная логика подсказывает, что писатель, чья возлюбленная — «вечность и бесконечность», чья работа — отрицать и разрушать, теперь уже окончательно должен превратиться в «затворника Ваммельсуу», чтобы, меряя неслышными шагами бесконечные просторы своего кабинета, одно за другим — «отливать в бронзе» проклятия «безумному кровавому миру», разоблачая и победителей, и побежденных, и поджигателей войны, и ее безропотных жертв. Ничуть не бывало! Писатель Леонид Андреев оказался в первых рядах «трескучих барабанщиков», с первой недели этой войны он — исключительно по собственной инициативе — открывает личную кампанию «ура-патриотизма» и германофобии.

«Мы протестуем и выражаем наше презрение германскому народу, который совершает анти-человечные поступки, а совершая, оправдывает их: и будем презирать его до тех пор, пока он не станет другим, и сам, своей державной рукой не покарает истинных виновников, заливших землю кровью, растерзавших Бельгию, отнявших у матери детей и явивших миру неслыханные примеры гнусной жестокости», — достав из кладовки изрядно пронафталиненную маску Джеймса Линча, Андреев ежедневно строчит газетные статьи «на злобу дня».

---

[1] Детство. С. 101.

Объединенные в сборник, эти публицистические тексты под заголовком «В сей грозный час»[1] совсем скоро выйдут отдельным изданием.

По «горячим следам» захвата германскими войсками Бельгии Андреев задумывает антигерманскую пьесу: «Подумайте: хочу писать военную пьесу, самую настоящую из теперешней войны. Герои — по секрету! — Метерлинк, король, Вандервельде и прочее». В принципе, предчувствуя, что за эту пьесу критики в большинстве своем назовут его «жуликом», писатель делает в письме постоянные оговорки. «Конечно, это не патриотический моветон, а нечто вроде "драматической летописи войны", немного в формах "Царя-Голода", а главное в настроениях. Долго колебался, прежде чем решиться, но факт тот, что быть *иносказательным* как-то стыдно, и нет ни спокойствия, ни отвлечения для чисто художественной работы. Буду уж прямо жарить. Конечно, настоящее не может быть материалом для чисто художественной вещи, но мне кажется, что, взяв Бельгию, я дам то необходимое расстояние, которое должно отделить сцену от зрителя»[2], — пишет наш «неутомимый патриот» Немировичу-Данченко, и когда? — 27 августа, когда еще и месяца не прошло с начала войны. В октябре четвертая картина пьесы была напечатана в «Биржевых ведомостях», а вскоре вышла полностью — отдельным изданием журнала «Отечество». И более того, в том же 1914 году пьеса «Король, закон и свобода» была поставлена Саниным в Московском драматическом театре, а в декабре состоялась ее премьера на Александринской сцене. Стоит ли говорить, что после этих премьер «жуликом», паразитирующим на злободневности, объявило Андреева едва ли не каждое издание, а заголовок «Не те слова!» в «Северном голосе» воспринимался как общественный приговор драматургу. Авторские объяснения и оговорки — частные или публичные — уже не могли спасти репутацию Леонида Андреева. Кстати говоря, даже тринадцатилетний Вадим Андреев открыто заявил отцу, что ему не нравится «Король, закон и свобода», что конечно же произвело сенсацию в семействе Андреевых.

Андреев-публицист смущал своей категоричностью даже Андреева — художника слова. Герой его новой повести «Иго войны» — Илья Петрович Дементьев, петербургский бухгалтер и счетовод, как-то раз прочел в столичной газете до глу-

---

[1] *Андреев Л. Н.* В сей грозный час. Пг., 1915.

[2] Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917) // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 266. Тарту, 1971. С. 254.

бины души возмутившую его статью некоего господина, «по какому-то недоразумению» считавшегося «одним из корифеев нашей литературы». Этот герой — прямой наследник Башмачкина, пытающийся примирить свою робкую и сугубо штатскую душу к «красному смеху» войны, буквально входящей в его квартиру, описывает в дневнике свои впечатления от патриотической статьи — и кого? Совершенно очевидно — автора повести — публициста и беллетриста Леонида Андреева: «По самой строгой совести моей, его подлую статью я могу назвать только подлой и преступной, как бы ни восторгалась ею наша бестолковая контора. Безбожная статья! В самых трескучих и пышных выражениях, виляя языком, как адвокат, этот господин уверяет нас, что война принесет необыкновенное счастье всему человечеству, конечно, будущему. А про настоящее человечество он говорит, что оно со всею покорностью должно погибать для счастья будущего. Нынешняя война — это-де что-то вроде болезни, которая убивает отдельные клеточки в теле и вместе с тем весь организм ведет к обновлению; и пусть на том клеточки и утешатся. А кто же эти клеточки? А это, по видимости, я, Инна Ивановна, наш несчастный убитый Павлуша и все те миллионы убитых и истерзанных, кровь и слезы которых скоро затопят несчастную землю», — протестует герой «Ига...».

По моему мнению, гениально задуманное «Иго войны» незаслуженно оказалось на периферии андреевских сочинений, а ведь эта, созданная с очевидными отсылками к гоголевскому петербургскому циклу повесть — еще и весьма точная рифма к «Красному смеху». «Красный смех» — дневник участника военных событий, «Иго войны» — дневник мирного обывателя. Он ведет его от самого первого дня войны, и здесь и там — автором исследуется соприкосновение человеческой души с «красным смехом».

Как и в «Красном смехе», война постепенно вползает в сознание, неслышно вползает она и в жизнь, постепенно сметая все «мирные реалии»: Илья Петрович теряет маленькую дочь, работу, его дом сотрясают рыдания: на войне гибнет младший брат его жены, а после — любимая супруга Сашенька фактически покидает героя: день и ночь проводит в госпитале, ухаживая за ранеными. В конце концов душа этого человечка измотана до такой степени, что психологически он абсолютно готов к смерти: «Будучи призраком среди живых людей, предаюсь подолгу странным и призрачным размышлениям, на всю жизнь смотрю сбоку, как посторонний, или даже сверху, с птичьего полета». Так, война не оставляет бухгалтеру иного шанса, нежели стать ее участником и сгинуть в ее чреве.

И как всегда у Андреева, многие реалии, в которые погружен этот, казалось бы, жалкий и смешной персонаж, — реалии жизни самого автора: так, сцена прощания с уходящим на фронт братом жены — Павлушей — явно «списана с натуры»: почти те же картины о последнем свидании с ушедшим на фронт младшим братом Андреем — набрасывает Андреев в личном дневнике. «Последний раз видели мы Павлушу 4-го августа, еще на даче, когда и мамаша гостила у нас. Их полк из глубины Финляндии, где они стояли, отправляли на позиции, и вот Павлуша, между двумя поездами, на полтора часа забежал к нам. Было это уже к ночи, и как мы удивились тогда, расстроились, потерялись! Одет он был в тяжелую походную форму, с котелком и мешком, весь черный, запыленный, особенно пахнущий, неузнаваемый в своем солдатском виде, с короткими, но уже немного подросшими волосами. Лес они где-то там рубили, землю копали, и скорее пах он мужиком-лесовиком, нежели солдатом! Нам успел шепнуть: поздравили с походом, идем к Варшаве — а от мамаши на первое время скрыли». В дневнике Андреева есть запись от 15 августа 1914 года — о столь же неожиданном приезде в Ваммельсуу ушедшего на фронт добровольцем Андрея. «Что будет? — спрашивает себя старший брат, проводив младшего на фронт. — Мне кажется, что он не вернется; и эти мои мысли, уже не новые, кажутся мне страшными»[1].

Отданы герою «Ига...» и прогулки по пустынному Петербургу, неожиданно ставшему Петроградом, подобные прогулки по незнакомым для него улицам стали для Андреева в 1915 году вторым «открытием города». Из клиники Герзони, где он находился на лечении, Андреев часто ходил гулять по Суворовскому проспекту, потом — через новый Охтинский мост — на Охту... Так и его герой — потерявший работу Илья Петрович изучает «Петроград наподобие туриста или философа» и однажды долго стоит «на Охтинском мосту, а потом затратил шесть копеек и на пароходике проплыл всю Неву, до Васильевского острова».

Но что-то мешало Андрееву сжать этот — местами великолепный — текст как пружину, «не те слова» расползались по страницам, повествование теряло энергию, к финалу все больше места отводил автор дневника пересказу газетных статей, а последняя запись Ильи Петровича, отчего-то воспроизводящая ужасы армянского геноцида в Турции, о коих он только что прочел, и вовсе путала читателя и уводила в сторону от главной темы. «Моя мысль — враг моей работе», — напишет он

[1] S.O.S. С. 22.

позже, анализируя неудачи тех лет. Да, есть такое ощущение, что художник Андреев в какой-то момент совершенно стушевался под напором публициста Андреева. Возможно, рациональное, умственное начало помешало Андрееву вдохнуть полной грудью и сделать «Иго войны» шедевром, подобным «Красному смеху». Мысль героя все время рвется. Возможно, интуитивно автор хотел завершить повесть столь же бессвязно и отрывочно, как когда-то Гоголь «Записки сумасшедшего»? Прекрасная идея, но и она не была реализована в «Иге...», поскольку Андреев-патриот мешал Андрееву-художнику...

Андреев, для которого смысл войны был «велик и значителен», Андреев, который неизвестно отчего полагал, что русский царь совместно с «демократией всего мира» борется «с германским цезаризмом и деспотией» ради приближения «революций во всех европейских странах», конечно же «закрывал рот» тому Андрееву, который как будто собственной кожей ощущал все ожоги и удары, что сыпались и сыпались на жителей Европы, чей мозг «плавился», оттого, что он видел, как земля — одного за другим — выдавливает из себя мертвые тела, не в силах больше держать в себе столько убитых...

Что ж... приходится сделать вывод, что с августа 1914 года наш герой пребывает в состоянии тяжелейшей раздвоенности, эта внутренняя смута и мешает ему «отливать в бронзе» правильные слова. Посвященная И. Е. Репину и вышедшая в «Шиповнике» в начале 1916 года повесть «Иго войны», увы, так и осталась незамеченной читателями и критикой вплоть до сегодняшних дней.

«Не те слова» расползались и по газетным страницам, и слова эти — выспренние, холодные и чрезвычайно путаные с точки зрения нормальной логики, призывы к войне до победного конца — сопровождались поступками, которые делали новую андреевскую роль еще более двусмысленной. Уже в середине войны, когда многим, даже и впавшим поначалу в эйфорию патриотизма, стало очевидно, что Россия идет в пропасть, Андреев упрямо призывал: «Но мы чувствуем каждою частицею души нашей и то, что вне победы — для нас нет спасения. И мы будем драться, будем еще дальше и дальше влачить наше темное существование, ибо вне победы — для нас нет спасения. Не будем загадывать о конце всех этих ужасов: ведь все равно загрызем друг друга от самопрезрения и ненависти, если останемся живы, но биты. Нас много погибло и еще много погибнет, но что ж!.. Наденем на себя гробы и станем у раз-

верстой могилы, куда уже ушло столько наших любимых, но ядовитого мира из рук "победителя" не примем!»[1]

Призыв «надеть на себя гробы» был бы фантастичен, но приемлем из уст человека, несущего на своем горбу все ужасы германской войны, как, например, Гумилева. Поэт, как и многие его современники, в первые дни войны ушедший добровольцем на фронт и заслуживший за храбрость два Георгиевских креста, конечно же имел моральное право рядить Победу «как девушку в жемчуга», поскольку знал о ее цене не из газет, рассказов или — как наш герой — писем брата.

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня —

улан Гумилев мог написать «мы», имея в виду сражавшихся и павших, беллетрист и журналист Андреев такого морального права не имел. Он не был готов на жертвы. Вернее, был: «Интеллигенту и писателю надо добровольно наложить на себя трезвость и воздержание, иначе будет стыдно перед мужиком»[2], — согласимся, подобная «жертвенность» выглядит просто неприлично, откровенно пародийно. Ну как тут не вспомнить нелепо-галантерейные строки другого «ура-патриота» тех лет — Игоря Северянина:

Когда отечество в огне
И нет воды, лей кровь как воду...
Благословение народу!
Благословение войне!

Как мы помним, зарок трезвости действительно был Андреевым дан и соблюдался неукоснительно, что же касается второго условия, то тут уж у биографа нет ни материалов, ни свидетельств, чтобы что-либо утверждать или опровергать.

Мучила ли Андреева собственная позиция? Как известно, он отвергал все предложения «поехать на фронт», отшучиваясь: «Я подожду, пока фронт подойдет к моему дому» (и дождался-таки! — но об этом — позже). В дневнике героя «Ига войны» читаем: «Дело в том, что мне, по счастью, сорок пять лет, и я имею полное право не трогаться с места, думать и рассуждать, как хочу, быть трусом и дураком, а может быть, и не дураком — мое право. Судьба! Вместо того чтобы называться Ильей Петровичем Дементьевым и жить в городе Петербурге,

---

[1] *Андреев Л. Н.* Горе побежденным // Русская воля. 1916. № 1. С. 1.
[2] Переписка. С. 547.

на Почтамтской, я мог быть каким-нибудь бельгийцем, Метерлинком и теперь уже погиб бы под немецкими снарядами. Но я именно Илья Петрович, которому сорок пять лет и который живет на Почтамтской, в Петербурге, куда никогда не прийти озверелым германцам, и я счастлив». Двусмысленный текст выдает, возможно, и ночные страхи, и невеселые мысли автора, и где-то в глубинах души Андреева живет понимание того, что проповедовать войну, даже не понюхав пороху, — стыдно.

Думаю, что эта коллизия и вправду угнетала Андреева, лишала его покоя, отнимала энергию. Впоследствии — уже понимая, что репутационные потери из-за его «воинственности» в годы войны — огромны, писатель некоторое время упрямо не признавал ошибок. «Я не был обманут позолотою тех дней», — запишет он в дневнике, тут же прибавляя, что если бы от него зависело, начать германскую войну или оставить Россию решать свои проблемы в состоянии мира, он, Андреев — выбрал бы... войну! И предлагает столь туманное объяснение своей позиции, но мы с вами, читатель, даже не станем тратить время, чтобы вникнуть в эти, лишенные элементарной логики, резоны. Вадим Андреев объяснял позицию отца тем, что с началом войны у Леонида Николаевича «появилось то новое, всепоглощающее чувство», сын называет это чувство «болезнь Россией», добавляя, что «первое проявление этой болезни» — написанный в начале 1910-х годов роман «Сашка Жегулев». Похожую разгадку патриотической идее Андреева предлагал и Горький: в одну из последних встреч бывшие друзья обсуждали «судьбы великорусского племени», отношение к которому у Алексея Максимовича было «тревожно-скептическое»...

«По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже как будто с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было. Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней убежденностью». Горький признается, что ему очень трудно было понять логику друга: «...сила ее (убежденности. — *Н. С.*) заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способным». Алексей Максимович вспоминал, что этот «приступ русофилии» был отчасти болезненным: «он дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая», кричал, что «достаточно гения одного Достоевского, чтоб оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен — будем

лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то — "лишь в больной раковине растет жемчужина"»[1]. Довольно новая и неожиданная для Андреева идея любви к русскому народу и жертвенности во имя русского народа, очевидно, вынашивалась с давних пор.

Действительно, главный герой «Сашки Жегулева» этого, довольно неоднозначного с художественной точки зрения и изрядно забытого сегодня романа, робкий гимназист Саша Погодин с ранних лет чувствует, что просто обязан сложить свою головушку за «правду» русского народа. В 14 лет, прочтя в газете о гибели «Варяга», подросток из провинциального городка заявляет матери, что та не имеет права его беречь, в дальнейшем же, связавшись с революционером Колесниковым, Саша уходит в лес и возглавляет народную разбойничью шайку. Роман написан по следам реальных событий: в 1909 году на юге России была обезврежена банда «благородных разбойников» — крестьянского отряда, совершавшего набеги и экспроприации в имениях Могилевской губернии. Любопытная деталь: в вещах реального предводителя крестьян — а звали его Сашей Савицким и был он человеком образованным и городским — нашли вырванные из «Шиповника» странички с «Рассказом о семи повешенных».

Изданный в 1911 году «Сашка Жегулев» не вызвал ни малейшего интереса у критики, что, разумеется, обидело его автора. Андреев полагал, что никто не понял главной идеи романа, и был он тут, конечно, неправ: идея лежала на поверхности, но именно она многим и показалась сомнительной, а главное, что как-то не слишком убедителен оказался весь художественный строй «Сашки...». Блок признавался, что едва дочитал до конца этот холодный текст... Написанный в «психологическом ключе» роман не давал психологически обоснованных мотивов весьма неординарным поступкам героя, заменяя их мутноватыми «роковыми» предчувствиями, ощущениями и пейзажами, впрочем, и они были выписаны робко, как будто бы и вовсе не андреевским пером. И тем не менее именно «Сашка Жегулев» казался Вадиму Андрееву чрезвычайно важным — «переломным» для отца текстом.

В начале войны из-под его пера выходит еще один чрезвычайно странный текст, приоткрывающий, как мне кажется, понимание Андреевым «русского вопроса». «Самсон в оковах», пьеса, так и не опубликованная при жизни автора, из-за ко-

[1] Горький.

торой его отношения с МХТ были разорваны окончательно, пьеса, которая, кажется, никогда еще не видела света рампы, писалась под «облучением» начавшейся войны. Симптоматично, что именно в это время — в ноябре и декабре 1914 года — Андреев лежал в клинике Герзони. «Милая, никому ненужная трагедия», — как называл пьесу сам автор в письме брату, — отсылает читателя к одной из частей Библии, а именно — Книге Судей. Известный каждому россиянину по золотой статуе Козловского — мифологический Самсон не имел ничего общего ни с Россией, ни с россиянами. С рождения «посвященный Богу», этот богатырь и военачальник когда-то — в глубокой древности — вел непрерывную войну с досаждавшими Израилю филистимлянами. В конце концов, плененный и ослепленный врагами, он — придя в их храм во время национального праздника — сломал несущие конструкции и — ценою собственной жизни — похоронил под обломками всю вражескую элиту и большую часть войска. «Погибни моя душа с филистимлянами!» — этот возглас библейского героя вдохновил Андреева на создание сложнейшей, даже несколько запутанной исторической пьесы, в общих чертах повторяющей библейскую легенду о деяниях Самсона во вражеском плену.

По моему мнению, МХТ напрасно отказался от этой «современной трагедии», поскольку, как и во всех «странных» пьесах Андреева, драматургия предлагала сцене весьма интересные и новаторские приемы. Самсон был слеп — от начала до конца действия, эта — и бытовая, и символическая слепота многообразно обыгрывалась автором в различных ситуациях. Немирович-Данченко хотя и побаивался «странности» этой трагедии, но все же был готов ее ставить. Однако играть Самсона в 1915 и 1916 годах было некому: Леонидов надолго выбыл из репертуара, Качалов решительно просил не занимать его в подобных ролях, Станиславский вообще не желал больше играть, а уж тем более — в пьесах Андреева. Сопротивление мэтра и других членов правления МХТ, считавших пьесу «малопонятной и неподходящей для МХТ», заставило второго директора «сложить оружие» и признаться драматургу, что «пьеса не пойдет».

Нам и теперь непросто отыскать действенные пружины и смыслы «Самсона в оковах». Самым прозрачным оказывается символический смысл этой «громаднейшей трагедии»: слепой, закованный цепями, грязный, нечесаный богатырь томится в пещере, «филистимлянские собаки» используют лишь его физическую силу, заставляя вращать жернова. Его «божественные возможности» дремлют под неприглядной оболочкой тела, его то и дело называют «грязным слепым скотом», так, соб-

ственно, оно и есть: тьма окружает его не только физически, но и духовно: он не помнит о своем высоком предназначении и одержим лишь животными желаниями: пища, тепло, вино, рабыня. Но — пробужденный к жизни, Самсон становится смертью для своих врагов, ломая все хитроумные интриги вражеских царей, желающих «натравить» богатыря на свой собственный народ, он снова «прорывается» к Богу и обретает «божественную» силу. Но — увы, что делать с этой силушкой, слепой богатырь не ведает, умоляя Бога дать ему и разум: «Боже Израиля! Непреклонна Твоя воля, но сосуд нечистый избрал Ты для Духа Твоего, и недостоин я вести Израиля. <...> Я полон скверны, я раб и собака, я люблю золото, вино и песни... <...> Что делать мне с силою Твоею? Ни храма Тебе я не создам, ни славы Твоей не умножу, — я слеп и ничего не вижу!.. О Господи Боже, куда мне пойти с силою Твоею?» Не получив ответа от Бога, Самсон колеблет колонны и с криком: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» — обрушивает храм. Собственно, аллюзии были очевидны: слепой и подверженный всем мыслимым порокам народ таит в себе божественную силу, прозрев же — он мог бы сокрушить любого врага. Именно ради такого «прозрения» народного, полагал Андреев, духовные лидеры нации и должны идти на разнообразные жертвы.

Но тут, применяя логику жертвенности к нашему герою, биограф становится в тупик: а чем же пожертвовал Леонид Николаевич во благо России и ее народа? Призывы к жертвенности во имя народа — это, конечно, хорошо... Но — как мы уже знаем — на фронте писатель не появился ни разу, идея организовать на вилле военный госпиталь — как поступили его герои — мирные обыватели «Ига войны» — не пришла ему в голову, и даже первый свой доход от представления «Короля, закона и свободы» картинно перевел он... в пользу Бельгии и бельгийцев. Нет, концепция Вадима не кажется мне исчерпывающей, я даже рискую предположить, что «болезнь патриотизма» была лишь симптомом более обширного заболевания Леонида Николаевича. Болезни, превратившей автора «Красного смеха» в пропагандиста «войны до победного конца».

Как мы уже видели, позиция эта отчасти была поперек горла и самому писателю: первое свидетельство тому — двусмысленность и автобиографичность «Ига войны». Второй фактор — те душевные истерики, что все чаще случались с Андреевым, и я думаю, разговор, который приводит Горький, — лишь поверхностные отголоски глубинных бурь. И самое главное, с начала 1915 года Леонид Николаевич все чаще болеет, снова —

как в юности — он активно лечится в клиниках — у Герзони, у Штейна: его диагноз — «острая неврастения», ее симптомы — постоянные боли: рука, спина, голова. «Сейчас я в больнице, вот уже четвертую неделю, — запишет он в дневнике 28 февраля 1916 года, — и дела мои плохи. <...> Жизнь мучительна от постоянных головных болей, похожа на длительную пытку; когда ночью не в силах спать от боли, сидишь на постели или помутившимися глазами смотришь на занавеску, на молодой восход, на серый рассвет, на рождение нового дня, на мимо бегущую жизнь, то уже отчетливо ощущаешь себя в полумертвых, отошедших, обреченных»[1]. Болезнь, причину которой пытались отыскать многие, да и сам писатель, как ни парадоксально, была совершенно точно названа лечащими его врачами.

Это был невроз или — как говорили в начале XX века — «острая неврастения».

Одна из страничек дневника Андреева 1918 года открывает нам горькое признание: «Начало душевной отраве положила война»[2]. И далее наш герой с поразительной точностью описывает анамнез собственного заболевания, когда «наряду с верхним, правительственным воображением, введенным в рамки строгой официозности, работало тайное... подпольное воображение, и в то время, как в бельэтаже благолепно и чинно разыгрывались союзные гимны, в подвале творилось темное и ужасное». Андреев осознает, что именно этот «подвальный» (читай «подсознательный») уровень рассылал и рассылает по его телу «смертоносные яды»: «эти дурманы головы, эти сверлящие боли сердца, эту желтую тягучую отраву, которою так тяжело и больно налито все мое тело»[3].

Что ж, картина болезни схвачена верно, а вот в определении ее причины Леонид Николаевич ошибался. К весне 1918 года он пришел к выводу, что принятием официозной позиции по отношению к войне 1914 года он «спасался от безумия», «подсознательно удерживал воображение», иначе — «красный смех» новой войны свел бы его с ума. Это соображение и было ошибочным. Леонид Николаевич так и не смог победить свой недуг до самого конца жизни. Наоборот — здоровье его становилось все хуже, а жалобы — все обильнее... И видимо, «источник отравы» скрывался отнюдь не там, где предполагал сам Андреев.

Я полагаю, что для нашего героя «уход в болезнь» был воистину спасением от конфликта, в основании коего лежал все тот же «личностный романтизм». Как мы помним, Андреев «лю-

[1] S.O.S. С. 26.
[2] Там же. С. 51.
[3] Там же. С. 52.

бил все огромное». И судьба — явно потакая нашему герою, подбрасывая ему то «огромную» популярность, то «огромные» доходы, то «огромный» дом — чрезвычайно избаловала его. Но только в одном, возможно, самом главном, упорно отказывал писателю Некто в сером: срывались все «статусные» попытки Андреева... Писатель так и не смог возглавить «огромный» театр, стать ключевой фигурой в «огромном» издательстве или же — лидером направления «огромного» эстетического значения... До последней своей минуты, до последнего дыхания Андреев стремился утвердиться в этой роли: министром правительства в изгнании или идеологом «спасения России»... Не здесь ли таился корень всех бед?

Пьеса «Король, закон и свобода», которую, думаю, никто не читал со времен германской войны, интересна нам отнюдь не как художественное произведение, хотя нет-нет да и всплывают в ней любопытные экспрессионистские черточки, а исключительно как источник идей, лозунгов, явных соображений и тайных оговорок драматурга. Действие пьесы происходит в современной автору Бельгии, на которую напала мощная кайзеровская Германия: «Они идут такой сплошной массой людей, железа, машин, орудий, коней, — что остановить их нет возможности. Мне кажется, что сейсмографы должны отмечать то место, по которому они проходят: так давят они на землю. А нас так мало!» Писатель, национальный гений бельгийцев Эмиль Грелье, а под этим именем, как мы помним, был зашифрован выдающийся бельгийский драматург Морис Метерлинк, несмотря ни на старческий возраст, ни на то, что его сын Пьер сражается с захватчиками, намерен и сам вступить в бельгийскую армию: «Когда мой кроткий народ осужден, чтобы убивать, то кто я, чтобы сохранить мои руки в чистоте? Это была бы подлая чистота, Пьер, гнусная святость, Пьер! Мой кроткий народ не хотел убивать, но его вынудили, и он стал убийцей — ну, значит, и я стану убийцей вместе с ним».

Однако ход дальнейших событий указывает старику Грелье на его истинное место в бельгийских событиях: в его дом за советом приходят «государственные люди»: сам король Бельгии Альберт Первый под именем графа Клермона, а также военный министр Лагард. Не в силах остановить германцев, они задумали применить «последнее средство» — «правда, довольно страшное средство» — взорвать плотины, чтобы полстраны — в том числе и домик писателя — оказалась под водой. «Мы все, и он и я, мы тело, мы руки, мы голова, а вы, Эмиль Грелье, — вы совесть нашего народа. Ослепленные войной, мы можем невольно, совсем нечаянно, совсем против нашего желания нарушить заветы человечности — пусть ваше стро-

гое сердце скажет нам правду». Не стоит говорить, что старик Грелье соглашается потопить пол-Бельгии и далее сам едва не гибнет, спасаясь от хлынувшего на землю потока воды. Но последние слова «национальной совести» конечно же полны веры в будущую свободу: «Плачь, кричи, ты мать, я сам плачу с тобой — но клянусь Богом: Бельгия будет жива! Мне дано видеть, и я вижу: здесь зазвучат песни, Жанна. Здесь будет новая весна, и деревья покроются цветами, — клянусь тебе, Жанна... Я вижу новый мир, Жанна... я вижу новую жизнь!»

На мой взгляд, эти ходульные реплики отнюдь не затемняют, а лишь высветляют фантастическую картину, нарисованную в пьесе, где Леонид Николаевич попытался определить место художника в системе ценностей государства, сделав своего Грелье «совестью нации». Причем, вопреки всем законам драматического искусства, совесть эта отнюдь не была в конфликте с властями предержащими, а в трудный для отечества момент лишь «освещала» то, что они собирались сделать с родиной. Естественный вопрос, отчего же бельгийский король не обратился за подобной «духовной экспертизой» к священнику, отпадает сам собой: именно оттого, что автор этой пьесы был атеист и всерьез полагал, что абсолютный авторитет Бога вполне может и даже должен быть заменен абсолютным авторитетом земным. Бог если и поминается в этой пьесе, то необразованными женщинами и в несколько карикатурном ключе: «Боже мой, что сделали они с небом! Прежде в небе Ты был один, а теперь и там подлые пруссаки».

Несомненно, в глубине души Леонид Андреев уже давно примеривался к роли «первого российского литератора», а это место, как мы помним, с 20 ноября 1910 года оставалось вакантным. И почему бы нам — в рамках рабочей гипотезы — не предположить, что себя-то где-то в глубинах подсознания и полагал Андреев достойным звания не только «первого литератора», но и «совести нации», именно с этой целью спешил он дать ответы на все общественные вопросы, спешил, даже когда его никто не спрашивал, спешил, даже если и сам еще твердо не был уверен, как ответить на тот или иной вопрос. Новая — «огромная» роль непогрешимой и безошибочной как Бог личности, к которой в трудную минуту за советом идет и народ, и правитель, грезилась Андрееву в тиши кабинета. С пылом и обычной своей наивностью бросился Леонид Андреев навстречу новой роли, и, увы, в конце концов, наш «анархист» и индивидуалист стал «государственником».

К 1915 году, когда даже ему стало ясно, что запасы проклятий и яда, что непрерывно лились из-под андреевского пера на головы «германских варваров», совершенно исчерпаны,

Андреев-публицист изобретает иные аргументы в защиту оборончеcкой позиции, а Андреев-беллетрист в рассказе «Ночной разговор» облачает эти идеи в тюремную робу и полководческий мундир. В тексте возникает идейный поединок пленного бельгийца, который на поверку оказывается русским эмигрантом-революционером, с германским императором Вильгельмом, который провозглашает себя «могильщиком старой Европы» и новым Цезарем, рожденным для того, чтобы установить новый порядок в обветшалом мире. Пленный считает, что Вильгельма сметут с лица земли не вражеские орудия, а естественный порядок вещей: против него поднимутся материя и природа, женщины и дети, озера и дороги, бревна и песок. Под этой поэтической эспланадой — реальная позиция автора: Андреев полагал, что война России с Германией — война оборонительная, где происходит возвращение русского духа «в его естественные границы», что воюя, русские занимаются «восстановлением тех особенностей нашей души, мышления и жизни, морали и эстетики, политики и общественности, на которых лежит тяжелейшее ярмо пруссачества»[1]. Андреев всерьез полагал и публично провозглашал, что всё в России — начиная с системы образования и заканчивая способом мышления людей — построено «по чисто прусскому образцу» и что это не дает развернуться вольнолюбивому русскому духу. И что именно ради свободы русского духа русским солдатам и офицерам необходимо вести войну до победного конца. Как говорится, *no comments*...

Играя эту, едва ли не самую двусмысленную из своих ролей, Андреев, что называется, «рвал страсти в клочья», в военные годы с ним случился как будто «романтический криз». Все, что касалось Германии и войны, Андреев полагал своим личным делом: так, однажды увидев в газете «Утро России» составленное Иваном Буниным и подписанное несколькими петроградскими коллегами воззвание «против германских зверств», писатель смертельно обиделся, что тот посмел не спросить подписи под воззванием у него. «Не сделав этого, Вы совершили дурной и не товарищеский поступок, что дает мне основание прекратить личные отношения и просить Вас отныне не считать меня в числе Ваших знакомых»[2] — так заканчивалась коротенькая записка Леонида Николаевича Ивану Алексеевичу. К счастью, ссора оказалась не вечной, спустя некоторое время отношения писателей возобновились. На тех немногих, кто любил Андреева вне зависимости от идей, ко-

---

[1] Материалы и исследования. С. 253.

[2] Переписка Л. Андреева и И. Бунина // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 173.

торые им высказывались, писатель в те годы «производил впечатление ребенка, заблудившегося в дремучем лесу»[1].

Но — мы-то уже отлично знаем, что во всяком своем увлечении — будь то архитектура или мореходство — наш герой достигал значительных результатов. И эта — отнюдь не ребяческая — черта не позволяет нам объяснять странные поступки нашего героя инфантильностью. Леонид Николаевич вовсе не был инфантилен: все свои «роли» он «проживал» и в любом случае — стремился к максимальному результату. И роль «совести нации» в этом отношении не стала исключением: в 1916 году у него появилась собственная «трибуна»: Леонид Николаевич был приглашен во вновь созданную проправительственную газету «с миллионным бюджетом» на должность редактора трех отделов. «Мои отделы: беллетристика, критика и театр», — писал он коллегам, убеждая их, что он — в рамках газеты — будет издавать нечто совершенно самостоятельное. Примерно так оно и было. В конечном же счете — после Февральской революции — Андреев стал главным редактором «Русской воли».

Друзьям Андреева эта «новая роль» казалась чистым авантюризмом, Корней Чуковский писал о «кучке жуликов», которые втянули писателя в круг своих «грязных афер»: «Основали на какие-то грязные деньги большую ежедневную газету с какой-то темной политической программой, которую на первых порах не решались открыть, и пригласили его заведовать в этой газете литературным и театральным отделами. Он принял приглашение, простодушно уверенный, что все слухи о “темных деньгах” — клевета»[2]. На деле же газета «Русская воля» была создана летом 1916 года по инициативе бывшего октябриста и будущего министра внутренних дел и управляющего корпусом жандармов Александра Дмитриевича Протопопова на средства, выделенные крупнейшими российскими банками. Кто же в действительности стоял за «Русской волей» и каковы были цели создания этой газеты?

Несколько сообщений о создании нового издания — крупной общественно-политической газеты — можно было прочесть в русской прессе еще весной. Издание тут же окрестили «протопоповским», еще не начавшись, его деятельность уже обрастала слухами. По одним — газета должна была стать частью «правительственного проекта» учреждения новых, государственных изданий, способных конкурировать с общественными и проводить взгляды «официального Петрограда». Но — с другой стороны — никаких денег из государственного

---

[1] Чуковский 2.

[2] Там же.

бюджета изданию не выделялось, для этих целей господин Протопопов довольно удачно привлек средства пайщиков — это были крупные банки: Международный коммерческий, Русско-Азиатский и др. Как писали летом 1916 года, пообещав акционерам сотрудничество Горького, Андреева, Короленко и Плеханова, Протопопов тут же получил на издание «Русской воли» пять миллионов рублей. Эта сумма отчего-то особенно возмущала общественность. «5 миллионов! На газету 5 миллионов! Ведь не для пустой славы (каковы, дескать, молодцы — для народного просвещения и кования обществ<енной> зрелости — 5 миллионов!) бросить деньги! Рубля не бросят люди, у которых на счету каждый грош. А тут — такое единодушие! И г. Протопопов!»[1] — так аргументировал Андрееву свой отказ от сотрудничества один из писателей. Ну и конечно же Горький и Короленко, а чуть позже Плеханов публично открестились от сомнительной затеи.

Предприятие выглядело крайне рискованным, в издательских кулуарах газету прозвали «банковской печальницей». Как писал сам Андреев Блоку, приглашая к сотрудничеству, газету «зовут банковской, германофильской, министерской — все это неправда»[2]. Слухи, однако, множились: истинная причина, побудившая пайщиков создать издание, была скрыта. Ходили даже упорные разговоры о том, что газета будет носить чисто рекламный характер и что ее основная задача — «продавать сахар», что было по тем временам ни с чем не сообразным нонсенсом. Версия, что газета эта создана на немецкие деньги и будет руками подкупленных русских писателей гнуть «вражескую линию», была озвучена Пуришкевичем с трибуны Государственной думы.

Как мы видим, одна версия как будто исключала другую. Позднейшее — сформированное уже в советские годы — отношение к «Русской воле» как к изданию «погромному» и крайне реакционному установилось благодаря меткому «ленинскому словцу». «Граждане! Газета “Русская Воля”, основанная царским министром Протопоповым и презираемая даже кадетами, ведет погромную агитацию против нашей партии, против газеты “Правда”, против наших товарищей Ленина и Зиновьева, против Петербургского комитета нашей партии, помещающегося во дворце Кшесинской», — писал Ильич летом 1917 года. Разумеется, его ненависть не знала границ, ведь именно «Русская воля» публиковала разо-

---

[1] *Шмелев И. С.* Письмо к Леониду Андрееву. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977. http://az.lib.ru/s/shmelew_i_s/text_0140.shtml. Дата обращения 30.10.2011.

[2] Переписка. С. 555.

блачительные факты о связи ленинской партии с «германским золотом», именно это издание последовательно требовало расследования дела о тайном финансировании лидеров РСДРП(б) германским правительством и суда над Лениным и Зиновьевым. И сегодня, когда у нас есть некоторые основания полагать, что в этом отношении «Русская воля» не так уж и заблуждалась, я думаю, пришла пора дать объективную оценку деятельности этого издания в 1916—1917 годах. Кстати, первый выпуск газеты состоялся лишь 15 декабря 1916 года, а просуществовала она до 26 октября 1917 года, когда и была закрыта большевиками. То есть всего-то жизни «Русской воле» отпущено было десять месяцев, но в историю России она вошла, что называется, «острой занозой».

И как мне кажется, главной особенностью этой газеты, отличающей ее от прочих российских ежедневных изданий, был, как ни странно, ее огромный бюджет. Он-то и провоцировал в обществе брезгливое отношение к тем, кто сотрудничал с «Русской волей», а также порождал сонмы слухов о глубоко спрятанных — «темных и грязных» — целях истинных хозяев издания, имен которых, кстати сказать, не знал даже Андреев. В эмиграции в 1918 году наш герой вдруг оказался соседом двух бывших пайщиков уже закрытой «Русской воли»: банкиров Григория Блоха и Ефима Шайкевича. «Блох — любопытная фигура, один из воротил Международного банка и вообще финансового мира... один из пайщиков, "хозяев" "Русской воли"», — записал Андреев в дневнике. И тут-то, общаясь с соседями, писатель — уже *post factum* — выяснил, что сами пайщики газеты не слишком хорошо представляли себе, зачем она им нужна. И более того, постоянно ссорились по этому поводу. Ссорились они и относительно тех, кто возглавлял и идейно вдохновлял газету: Блох, например, был против союза с Протопоповым, не любил он и первого главного редактора «Русской воли» Михаила Горелова, терпеть не мог влиятельного заведующего отделом публицистики фельетониста Александра Амфитеатрова. Короче говоря, Андреев вдруг ясно осознал, что у газеты, по сути, и не было никаких тайных целей, а вернее те, кто ее финансировал, никак не могли прийти на этот счет к единому мнению, и, в сущности, лицо газеты определяли ее высокооплачиваемые редакторы.

Огромный бюджет, как мы знаем, редко способствует открытости, так, неся на знамени имя Леонида Андреева и получая под это имя немалые средства, газетное начальство стремилось ни в коем случае не подпускать его к пайщикам, о чем в 1918 году поведал Андрееву Блох: «...Горелов и все прочие старались не допустить моего знакомства с ним и Шайкеви-

чем, “не подпустить меня к кассе”, зная, что это даст мне силу и “погубит их всех”»[1]. Короче говоря, мы можем себе представить, какие невероятные интриги плелись вокруг Андреева в редакции и какие противоречия раздирали тех, кто «осваивал бюджет» «Русской воли».

Андреев подписал контракт с «Русской волей» летом 1916 года. По этому контракту для публикаций в отделах беллетристики, критики и театра он мог приглашать кого угодно и печатать то, что считает нужным. «Иными словами, — писал он брату Андрею, — влияя на общее положение дел, я имею в газете как бы свой собственный журнал по вопросам наиболее мне близким и важным». Финансовые условия казались сказочными. «Договор на пять лет, жалование за заведование и статьи 36 000 в год, за беллетристику 1500 р. С листа, причем обязаны печатать все, что даю: стотысячные неустойки. Одним словом, — не верил своему счастью Андреев, — без усилия я могу вырабатывать в газете до 45—50 тысяч. Такое финансовое великолепие мне и не снилось!»[2] Действительно, такие суммы зарабатывал он лишь на пике популярности: в 1906 и 1907 годах, но радужные предположения о том, что деньги достанутся ему без особых усилий, конечно же себя не оправдали.

Идейные мотивы, что двигали Андреевым, решившимся «взвалить на себя груз» редакторской работы, довольно точно описал все тот же Чуковский: «Он вообразил, будто и вправду ему предоставлена будет возможность повлиять на художественную жизнь страны, утвердить свои идейные позиции и вкусы, очистить русскую литературу от плевел, и звал к себе в соратники множество разнообразных писателей»[3]. Что ж, этот мотив как нельзя лучше укрепляет нашу гипотезу о том, что в русле этой работы Леонид Николаевич рассчитывал «возглавить что-то огромное». Приглашая коллег в «Русскую волю», новоиспеченный редактор торопился подчеркнуть: «Мое положение в ней совершенно независимое, и я впервые имею полную и настоящую возможность окончательно и всесторонне провести мои взгляды на наше искусство»[4].

Однако почти сразу его намерения встретили серьезное сопротивление, причем не начальников, а коллег: «прослышав о неблаговидном происхождении этой газеты, почти никто из приглашаемых им не принял его приглашения. От большинства литераторов он получал либо уклончивый, либо резкий

---

[1] S.O.S. С. 154—155.

[2] Переписка. С. 456.

[3] Чуковский 2.

[4] Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917). Цит. изд. С. 278.

отказ»[1]. Решительно отказались от сотрудничества Блок, Чириков, Шмелев, Кипен, Серафимович, Вересаев... Чуковский медлил с «нет» несколько дней, ему так не хотелось огорчать «милого Леонида Николаевича», он видел, что тот «не умел отнестись к этим отказам спокойно, воспринимал их как личную обиду, и они вконец истерзали его».

Действительно, Андреев письменно ответил каждому «отказнику», упрекая в отсутствии твердой «позиции писателя и гражданина», в зависимости от «общих мест» общественного мнения, и еще раз — жирными чернилами — он подчеркивал, что не кучка банкиров или министр внутренних дел, а лично он, Леонид Андреев, его репутация и его имя служат гарантом «кристальности предприятия»: «Из газеты... я надеюсь сделать общественно полезное и, конечно, вполне чистое дело; и работать я буду в интересах моих собственных, т. е. интересах демократии, а отнюдь не буржуазии. Если мои надежды не оправдаются, я из газеты уйду»[2].

Особенно возмущало Андреева, что иные коллеги — Иван Бунин, Алексей Толстой или — его недавний обидчик — забияка Куприн — как будто и приняли его предложение, но — под разными предлогами — уклонялись от участия. «Ваша свобода — это рабство перед общественным мнением и хроникерами, — возмущался Леонид Николаевич. — Да, Вы правы: про Вас никто не скажет дурного — про меня же говорили и будут говорить. <...> Но как это ни горько мне, я останусь на своем месте, освященном и совестью моею и сознанием народного блага»[3].

Но нельзя сказать, что решительно никто не стал сотрудничать с Леонидом Николаевичем, в газете печатались и Михаил Кузмин, и Аркадий Аверченко, сотрудничали и бывшие «знаньевцы» — Осип Дымов и Виктор Муйжель, в театральном отделе печатались давний друг и коллега Андреева Сергей Голоушев (Сергей Глаголь) и Федор Фальковский, своим — как всегда «снайперским» — редакторским оком Андреев разглядел талант Мариэтты Шагинян и Александра Грина, их ранние публикации можно найти на пожелтевших страницах «Русской воли».

Андреев буквально «заболел» газетой: практически каждый день появлялись в ней его статьи, политические фельетоны, рецензии на спектакли и книги, выставки и даже — уличные события. Снова возникла череда смешных псевдонимов: Гора-

[1] Чуковский 2.
[2] Цит. по: Русская литература. 1971. № 4. С. 139.
[3] *Шмелев И. С.* Письмо к Леониду Андрееву.

ций, Ч. Брюква, Ж. Берн, М. Пушкарев, И. Чегодаев. Конечно же появлялась в «Русской воле» и беллетристика Леонида Андреева, но вот беда — как только Андреев-редактор связал свою жизнь с «Русской волей» — производительность Андреева-беллетриста резко упала.

«Что ни говори, газета и политика убивают искусство. И я особенно почувствовал это по "Русской воле". Когда за целый год не написал я ни одной беллетристической вещи»[1], — признается он сам себе, спустя год после «смерти» газеты. Но тогда — в 1916-м — новая роль «проводника» собственных идей о том, как надо жить и делать искусство, затмила всё прочее, Андреев — как всегда — отбросил все, что мешало ему «купаться» в этой, новой для него роли: «постоянно говорил о ротационных машинах, о линотипах, о верстке газеты, о том, как нужно делать номер, чтобы существенное и важное сразу бросалось читателю в глаза. Эту роль он играл превосходно, и те, кто не видел Андреева в других ролях, могли бы подумать, что именно в редакторстве большой газеты заключалось настоящее призвание его жизни»[2]. И главное — он и сам думал именно так. Ради этой, новой, без сожаления бросил он так любимую когда-то старую роль — герцога Лоренцо и «затворника Ваммельсуу»...

Летом 1916 года Анна Ильинична была откомандирована в Петроград, чтобы нанять для Андреевых городскую квартиру: ежедневное присутствие в редакции обязывало Леонида Николаевича перебраться в столицу. Надо сказать, что она отлично справилась с заданием. «Живу я в Петрограде, место великолепное и из окон необыкновенный вид на необыкновенно скверную погоду: метет мокрая метелица и автомобилишки дураками вползают на мост и ползут обратно. Тут же и Мойка и Екатерининский канал в белых берегах, тут же Марсово поле и Инженерный замок — такой, каким рисовал его Бенуа. И все это из окон»[3], — писал Андреев Бунину уже осенью. Новый андреевский адрес — Мойка, дом 1 — действительно имел исключительное местоположение. Иные окна известного ныне как «дом Ленэнерго» здания, где поселилась семья, выходят одновременно на три реки, три парка, три моста, церковь и замок, и этот исключительно петербургский вид наш герой наблюдал ежедневно. Из окон квартиры на Мойке он увидит и уличные события двух революций. Хотя конечно же времени

[1] S.O.S. С. 147.

[2] Чуковский 2.

[3] Переписка Л. Андреева и И. Бунина // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 175.

для наслаждения городом оставалось мало: весь этот год Андрееву не давала покоя бурная редакционная жизнь.

Вскоре — еще до выхода первого номера газеты — Андреев почувствовал, что его «безусловные» полномочия не так уж и безусловны: оказалось, что гонорары для приглашенных Андреевым авторов утверждает не он, а главный редактор М. М. Горелов. И, к примеру, Федора Сологуба отнюдь не устраивала та сумма, которую соглашался подписать отчего-то не любивший его главред, Леонид Николаевич же был бессилен что-либо изменить. «В моей самостоятельности есть Ахиллесова пята: я волен приглашать, а Горелов волен утверждать <...> гонорар, что при некоторых условиях может свести на нет все мои предположения, — оправдывался Андреев. — Не предусмотрел при составлении договора, все о душе заботился, а забыл, что душа есть только надстройка над материальными отношениями»[1]. По мере развития дела противоречия между Андреевым и Гореловым обострялись, а кроме того, возглавивший отдел публицистики А. В. Амфитеатров отчего-то видел «Русскую волю» своей вотчиной, то и дело вмешивался в андреевскую политику, приглашая и публикуя «своих» авторов... Скандал разразился в апреле 1917 года, когда сначала Горелов, а потом и Амфитеатров ушли из газеты, а редакционное совещание избрало Андреева главным редактором «Русской воли». Казалось бы — он победил, но сам победитель уже чувствовал, что его победа — пиррова.

«Но воздух? В нем носятся частицы отрицания Андреева: вдыхая, вы каждый раз вдыхаете “не”. Самые большие друзья мои, самые близкие люди не могут от этого уйти; я и сам отравлен»[2], — жаловался Андреев Немировичу-Данченко.

Это правда, в писательской судьбе Леонида Андреева где-то с середины 1914 года наступил перелом стремительный: начиналась четвертая картина «Жизни человека»: «Перестает нравиться то, что нравилось; перестают любить, что любили». Сам Леонид Николаевич прекрасно отдавал себе в этом отчет. «Я пишу какую-нибудь вещь, которая мне и Анне кажется удачной, — с горечью описывал он весной 1919 года «опыт поражений». — Чтение. Все говорят: замечательная вещь, гвоздь сезона, событие и прочее. Я вначале сомневаюсь, но постепенно меня убеждают, что я ничего не понимаю и вещь поистине замечательная. Что ж поделаешь — верю! К моменту напечата-

[1] Материалы и исследования. С. 85.
[2] Переписка. С. 550.

нья или премьеры чувствую себя автором "замечательной вещи" и жду — низких поклонов. И — либо просто провал, либо чахоточный успех. Я и Анна удивлены, хвалители удивлены, но вскоре сдают позиции и все входит в норму обычной литературной мокрети. Венки, лавры, низкие поклоны — тю-тю. Так было с "Екатериной Ивановной", "Профессором Сторицыным", "Тотом" — начиная с "Сашки Жегулева"»[1].

Что ж... Читающая публика разлюбила беллетриста Леонида Андреева, появились новые кумиры, критика перестала яростно набрасываться на все новое, что публиковал писатель. На дворе — как напишет об этом времени Ахматова — «приближался не календарный — настоящий двадцатый век». И многие «измы» нового столетия уже показывали миру свое лицо: бушевали футуристы, завоевывали сердца акмеисты, поднимали головы лучисты, супрематисты, а где-то в Швейцарии в кафе «Вальтер» уже разыгрывали свои скандальные шоу дадаисты... Кстати, будучи предтечей многих «измов», Леонид Николаевич не захотел узнать собственных потомков: проклинал футуристов, не читал акмеистов, не ходил на выставки современного искусства. Сознательно он выяснял отношения и сводил счеты исключительно с реализмом и символизмом, система его художественных координат была соотнесена с прошлым, и даже в поздней беллетристике: «Герман и Марта», «Жертва», «Полет» — чувствуется усталость формы, писатель как будто ищет покоя «на проторенных дорогах» реалистической традиции. Придуманный «панпсихизм» оборачивался обычным традиционализмом.

Но — театр, театр по-прежнему вдохновлял Андреева, сцена трепетно хранила верность своему — самому репертуарному в те годы — российскому драматургу, и это не была дань благодарности за прошлое, ибо он не переставал удивлять новыми идеями. И театр, и зрители быстро забыли о провале ходульных «Короля, закона и свободы» и были открыты для новых драматургических экспериментов Андреева. Одна из самых значительных пьес, созданных драматургом в годы войны, — «Тот, кто получает пощечины» — уже своим названием буквально отсылала к реалиям андреевской жизни.

Законченный летом 1915 года «Тот...» крайне интересен для нас во многих отношениях. «"Тот" — вещь гениальная, — искренне восторгался Андреев пьесой спустя годы после отшумевших премьер. — Говорю это не только по глубокому убеждению, но и по сравнению с моими и другими вещами. Еще ни один критический лот не измерил его глубины (писали: "ге-

---

[1] S.O.S. С. 171.

ниальный сумбур”), — здесь автор явно преувеличивал: слово “гениальный” в отношении писателя Андреева в те годы, увы, вышло из критического обихода, — и он полон не меркнущего очарования... Целые годы переживаний в нем выражены одним словом, сложнейшие идеи и понятия — одним жестом»[1].

И место, и характер действия пьесы «Тот...» были крайне необычны для драматургии 1910-х годов. Как-то раз за кулисами цирка, принадлежащего папаше Брике, появляется Некто, пожелавший стать клоуном, тут же, не без помощи опытных коллег, Некто сочинял и главную «фишку» своего будущего номера — получать многочисленные пощечины. С первого взгляда Тот, кто получает пощечины, полюбил красавицу Консуэллу — диковатую наездницу — дочь стареющего обнищавшего аристократа Манчини. А узнав, что Манчини выдает Консуэллу за графа-богача, Тот — в лучших традициях шиллеровской трагедии — в разгар помолвки отравил себя и девушку, подсыпав яду в бокал шампанского.

Саму идею — погрузить действие в цирковое закулисье подарила Андрееву постановка «Царя Эдипа» в цирке Чинизелли, этот спектакль Макса Рейнхарта видел он в Петербурге еще в 1911 году. Но андреевский образ «цирка жизни» (теперь избитый, тогда же — новаторский) не ограничивался лишь местом действия; здесь все, кроме, возможно, добродушного и одновременно расчетливого хозяина — папаши Брике, казались не тем, чем были. Клоун Тот — на самом деле — преуспевающий респектабельный и имеющий семью господин, очевидно — писатель, Консуэлла — бедная деревенская корсиканка, вовсе не дочь Манчини, сам же Манчини — авантюрист, и весьма вероятно, отнюдь не аристократических кровей. Бытовая маска не отменяла бытийную: «под гипнозом» Тота вспоминала о своем истинном происхождении Консуэлла: ну конечно же на самом деле она — языческая богиня, что «с пеною морскою ... возникла из лазурного моря!». Погрузившись в сладкую дрему, Афродита-Консуэлла и вправду ощущала «и тихий ветер с востока — и шепоты пены у... мраморных ног...». Почти всем героям автор предоставлял такую возможность — впасть в экстаз и увидеть свое настоящее. Жена директора цирка — свирепая укротительница тигров Зинина — иногда точно безумная вакханка добивалась любви своих зверей, а заодно безответно любила юного прекрасного как Бог наездника Альфреда Безано. Да и сам герой то ли в шутку, то ли всерьез объявляет Консуэлле, что «Тот — это переодетый, старый бог, который спустился на землю для любви к тебе». И только папаша Бри-

[1] Там же. С. 137.

ке, стоя обеими ногами на — и без того шаткой — арене цирка, ненавидел подобные «обращения», ругая их нецензурным для всех циркачей мира словом «литература».

А. Р. Кугель первым разглядел этот факт, как ему казалось, андреевской самокритики: «Папа Брике с точки зрения содержателя цирка рассуждал, вероятно, так: “бывают разные номера — одни упражняются на трапеции; другие на неоседланных лошадях; третьи — получают пощечины. А есть еще ‘номер’ словесной эквилибристики, для цирка совершенно бесполезный, а для жизни вредный, потому что только туманит мозг, извращая природу вещей и моральные основы существования”»[1]. Надо сказать, что критик был солидарен с папашей Брике, находя в его рассуждениях ключ и ко всему андреевскому творчеству — надуманному, вымученному, головному.

Но мы-то с вами, конечно, далеки от того, чтобы читать эту пьесу глазами папаши Брике. И прелесть андреевского замысла заключается именно в том, что номера циркового представления шли где-то там, за кулисами театра — на арене цирка. На сцене же — готовились к «представлению» и разыгрывались «номера жизни» и эта, полная страстей жизнь постоянно угрожала той — такой блестящей и легкой на вид — жизни арены. Как и во всякой хорошо сделанной пьесе — та и другая жизнь постоянно «просачивались» на территорию друг друга, например, сцена «закулисного» объяснения Тота и Консуэллы заканчивалась так:

«Т о т (*Внезапно бросается на колени перед Консуэллой.*) Я люблю тебя, Консуэлла! Откровение моего сердца, свет моих очей, — я люблю тебя, Консуэлла! (*С восторгом и слезами смотрит на нее — и получает пощечину. Отшатнувшись.*) Что это?!

К о н с у э л л а . Пощечина! А ты забыл, кто ты? (*С злыми глазами, вставая.*) Ты Тот, который получает пощечины. Ты забыл? Хорош бог, у которого такая рожа... битая рожа! Тебя не пощечинами согнали с неба, бог?

Т о т . Погоди, не вставай... Я... Я еще недоиграл!

К о н с у э л л а (*садясь*). Так ты играешь?»

Финальный эпизод пьесы был построен по законам циркового номера — прощание Консуэллы — будущей баронессы — с коллегами-циркачами: шампанское, шутки, поцелуи, слезы, долгие приготовления, напряженное ожидание, неожиданный эффект — отведав шампанского из бокала Тота, Консуэлла умирает на глазах «у публики». Опять-таки, ее новоиспеченный жених Барон, выйдя за кулисы, вместо того чтобы позвать полицию, стреляет себе в голову — эффект. Умирает Тот,

---

[1] Кугель. С. 149.

хлебнув из того же бокала, — тройной эффект. Так принцип циркового номера, пронизывая все уровни этой пьесы, делал ее сказочное содержание — достоверным, а неожиданные эффекты — оправданными. Недаром Немирович-Данченко, который по-прежнему внимательно следил за творчеством Андреева, дважды посмотрев московскую премьеру «Тота...», нашел, что пьеса необычайно сценична.

Конечно, события и герои «тянули» на романтическую мелодраму, Андреев же упорно считал, что создал трагедию. И это было показательное заблуждение. Дело в том, что под маской клоуна Тота прятался сам автор, и прятался — не слишком усердно: его «ослиные уши» торчали с разных сторон. Андреев в письмах многим друзьям и знакомым частенько твердил о том, что его мечта — уйти из той действительности, которая его окружает, например, выиграть 200 тысяч рублей и перестать печататься и обивать пороги театров... Герой «Тота...» выбирает схожий путь: «И отчего не вообразить, что у меня просто нет никакого имени? — отвечает он, когда хозяин цирка просит предъявить документы. — Разве я не мог потерять имя, как теряют шляпу? Или его у меня обменяли? Когда к вам приходит заблудившаяся собака, вы не спрашиваете ее об имени, а даете новое, — пусть и я буду такая собака. (*Смеется.*) Собака Тот!» Но вскоре мы узнаем о прошлом «собаки Тота»: как-то раз в закулисье спускается некий зритель, и далее из диалога этого господина и Тота мы понимаем, что пришелец вытеснил нашего героя из его прошлой жизни: он живет с его женой, пользуясь его замыслами, пишет и издает успешные книги. «...ты знаменит; нет бульварной газеты, где не приводилось бы твое имя и... твои мысли. Кто знал меня? Кому нужна была моя тяжелая тарабарщина, в которой не доищешься смысла? — горько восклицает Тот. — Ты —ты, великий осквернитель! — сделал мои мысли доступными даже для лошадей. С искусством великого профанатора, костюмера идей, ты нарядил моего Аполлона парикмахером, моей Венере ты дал желтый билет, моему светлому герою приставил ослиные уши — и вот твоя карьера сделана...»

И здесь — еще одна реалия из жизни автора «Тота...»: Михаил Арцибашев — автор скандального, чрезвычайно популярного в 1910-е годы романа «Санин» (роман этот, по моему мнению, трудно прочесть сегодня даже до половины), ловко использовал идеи Андреева для собственных — подчас откровенно порнографических произведений. Арцибашев писал и пьесы: в «Законе дикаря» и «Ревности» он подавал андреевские идеи, например, о бездне, скрывающейся внутри человеческой души, в облегченном, вульгарном, а потому доступном для пуб-

лики виде, это чрезвычайно злило Андреева, поскольку сама идея в таком исполнении выглядела мерзким порнографическим слепком с «Екатерины Ивановны» или «Анфисы». Ну и конечно же публика, набросившись на легкое «арцибашевское чтиво», не торопилась возвращаться к требующим некоторого размышления и весьма скудным на «откровенные подробности» текстам Леонида Андреева...

Но, пожалуй, самая важная черта, объединяющая Тота и его автора, — любовь к юной прекрасной деве. На некоторое время сердечная жизнь нашего героя оставалась в тени повествования, поскольку, женившись и пережив «личную драму с Анной», в конце 1910-х годов Андреев погрузился в другие стихии... Но начиная с 1914 года в его жизнь вновь властно вошла «эта тема...». В начале войны, заехав на дачу к Чириковым в Нейволу, Андреев впервые разглядел их дочь — восемнадцатилетнюю Милочку: «что-то молодое, очень чистое и миловидное, чужое в своем русском девичьем наряде и раскрасневшихся щеках»[1]. Начало этого «романа» осталось для окружающих незамеченным: девушка, оторвавшись от «молодежи», вошла в комнату к «старшим» и немного послушала их «умные разговоры» о политике и войне. Продолжая в чем-то убеждать собеседников, Андреев почувствовал вдруг, что «весь стал другой» — «глубокий, глубоко и нежно волнуемый смутными, но широкими и нежными настроениями»[2]. Милочка годилась нашему герою в дочери, она училась рисунку и живописи у Билибина и Кордовского; существует ее, сделанный Иваном Билибиным, карандашный портрет. Действительно, очаровательное — печальное и серьезное лицо, какая-то романтическая печать задумчивости, ни тени позерства или кокетства. Как мне кажется, Андреев полюбил Милочку именно за эту задумчивость и серьезность, но они-то и мешали ему сдружиться с предметом страсти, как его герой Тот дружил с наездницей Консуэллой. Маститый литератор настолько робел в присутствии девушки, что едва мог выговорить пару фраз.

Впоследствии Андреев признавался, что если бы заметил в Милочке хотя бы легкую тень кокетства, то начал бы говорить с нею безо всякого стеснения, но она не давала ему этого шанса. Любовь Андреева так и осталась невысказанной, тайной, хотя порой ему казалось, что ее замечают все окружающие. Отношения Андреева с Евгением Чириковым переживали в ту пору период «оледенения»: он не был у него около двух лет, теперь же — стараниями влюбленного писателя

[1] S.O.S. С. 127—128.
[2] Там же. С. 128.

старая дружба «воскресала» быстрыми темпами: Андреев звал Евгения Николаевича, Валентину Георгиевну и их многочисленных чад в гости, сам частенько наезжал к ним, их видели вместе в театрах и на собраниях... Но — под перекрестными взглядами окружающих Андреев все больше робел, каждое слово Милочки, обращенное к нему, воспринимал он — по собственному выражению — с униженной радостью провинившейся собаки, которую вдруг погладили, а не побили. Ему казалось, что и сама девушка, и ее родители сочтут чувство стареющего женатого и многодетного литератора к юной — только лишь начинающей жить и чувствовать — Милочке невозможным и даже преступным... Что ж, вероятно, Андреев был не так уж далек от истины.

«Тайный роман» нашего героя продолжался чуть более года... Догадалась ли Людмила Чирикова о страсти Леонида Андреева? Если и да, то эта девушка поступила необыкновенно умно: притворилась, что ни о чем не догадывается... Милочка прожила очень долгую и, думаю, счастливую жизнь, выйдя замуж уже в эмиграции, куда, по счастью, вывез Евгений Чириков свое огромное семейство, она оформляла книги, а переехав в США, работала художницей по тканям в Нью-Йорке. Нет, не такой судьбы хотел бы для Милочки влюбленный в нее Леонид Андреев. Под облучением новой страсти он пишет пьесу «Тот...» и там заставляет своего героя многословно объясняться в любви юной Консуэлле, и более того, во имя этой любви он толкает своего клоуна на преступление: бессильный воспрепятствовать ее замужеству с другим — уверенной рукой Тот уводит юную наездницу на тот свет.

В последнем андреевском рассказе «Два письма» вновь появляется пара: стареющая знаменитость и юная дева, но тут уж Андреев разрешает ситуацию оптимистически: так, как ему, вероятно, грезилось в минуты надежды, она могла бы разрешиться с Милочкой. Название обыгрывает форму рассказа: первое письмо — прощание героя с девой, от которой он намерен бежать: «Прощайте. Будьте прекрасной для других, но для меня вы пришли слишком поздно... все приходит слишком поздно, моя дорогая, все приходит слишком поздно!» Второе — любовная отповедь девушки, что отвергает его «поздно» и намерена всю жизнь искать его: «Я не хочу, чтобы слишком поздно, и я каждый день буду посылать в разные города по письму... ведь достаточно одного, чтобы вы вернулись, не правда ли, милый?» Лишь деятельная, сметающая преграды любовь самой девушки могла бы, как считал автор, заставить его совершить какое-нибудь безумие. Позволю себе усомниться: как мы помним, взаимность очень скоро надоедала нашему герою...

И потом... ответственность за семью, привычная любовь к Анне, без которой он уже не мыслил своего существования, исключали возможность «метаний», и эта страсть к юной курсистке, к тому же дочери его друга, была заранее обречена. Интересно, что финал тайного романа совпал с премьерой «Тота...» в Александринском театре.

Кстати — и в столице, и в Москве пьесу эту ставили молодые режиссеры: в Александринском театре — режиссер-ассистент Николай Петров, в Московском драматическом — ученик Федора Комиссаржевского Василий Сахновский. Последний — тогда начинающий режиссер, но уже опытный искусствовед — в отличие от большинства критической братии относился к Андрееву трепетно, считая его громадою современной литературы и драматургии. Еще в 1911 году Сахновский напечатал статью «Писатель без догматов», где предложил свою трактовку художественного мира Леонида Андреева. «Молчание мира» критик полагал основным мотивом андреевской проблематики: «...*жизнь остается нема и молчит, и все, что совершает* человек во имя правды — ложно — так для Леонида Андреева мир сокровенен и лжив в своей театральности»[1].

В дальнейшем Сахновский поставит еще не одну пьесу Андреева, романтическая и даже экспрессионистская направленность его режиссуры как нельзя лучше соответствовала этим пьесам. И тут, возможно, у Леонида Николаевича появился шанс обрести, наконец, «своего» режиссера, однако низкий статус Московского драматического театра да и «вес» Сахновского конечно же мешали Андрееву воспринимать этого режиссера всерьез. И хотя, судя по его дневнику и письмам к Елене Полевицкой, играющей у Сахновского Консуэллу, драматургу многое нравилось в московском «Тоте...», известны, однако, и очень резкие его отзывы об этом спектакле. Борис Зайцев, например, утверждал, что после премьеры драматург сетовал, что пьесу его «сгубили» и главная роль — а исполнял ее будущий народный артист РСФСР Илларион Певцов — не понята.

Но, так или иначе, в тот день — а премьеру «Тота...» в Москве сыграли 27 октября 1915 года — Андреев, пожалуй, в последний раз «дышал» воздухом славы. Позже он вспоминал, что это были «чудесные дни работы, театра, народа, огней, музыки, усталости, похожей на опьянение и любовь, — московская премьера прошла как будто блестяще. — Были и овации, и восторг и крики этой самой молодежи. За время постановки и репетиций я влюбился в этого своего Тота...», а вернувшись в Петербург «возбужденным, певучим и сильным»[2], Андреев

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 298.

[2] S.O.S. С. 133.

включился в работу над пьесой в Александринском театре. Ну и конечно же 27 ноября он пригласил на премьеру Чириковых — в надежде, что сквозь мишуру театральности до Милочки долетит его «печальный и зовущий голос».

Ложа Чириковых была рядом с той, где сидел Андреев. Слева от него белел ее профиль, на который, не отрываясь от сцены, скашивал глаза влюбленный автор «Тота...», мысленно задавая Милочке вопрос: «А ты понимаешь? Ты чувствуешь меня истинного, о котором не знают другие? Или для тебя это только театр?»[1] В конце концов, печальный влюбленный пришел к выводу, что та ничего подобного не чувствовала. Время от времени, наблюдая за страданиями клоуна Тота в отточенном исполнении премьера александринской сцены красавца Романа Аполлонского, за мельканием цирковых актрис в ярких костюмах, беготней ворчащего и добродушного хозяина цирка — Кондрата Яковлева, томлением загадочной и страстной Зинины, которую с блеском играла молодая Елизавета Тиме, девушка жевала конфеты, беря их из коробки, предложенной кем-то из ухажеров. Он слышал, как в антракте Милочка смеялась над чем-то своим вместе с окружающей семейство Чириковых молодежью. И даже не зашла в ложу поздравить именитого драматурга, которому и здесь, в Петербурге публика устраивала овации после каждого действия, в финале же писателю преподнесли лавровый венок.

«Мне следовало быть величеством, а я вел себя с нею как застенчивый студент, — с тяжелым чувством вспомнит он об этом вечере через полгода. — А что в ней? Младость тела и души и в глазу желтое пятнышко, тонкая шея, худые руки»[2].

Премьерный вечер в Александринском театре больно ударил по самолюбию влюбленного, и более он уже не искал встреч с Милочкой. Вскоре Андреева поглотила работа в «Русской воле», образ девушки стал бледнеть, но окончательно не погас. В 1918 году, когда наш герой уже будет отрезан от Чириковых, находящихся к тому времени в большевистской России, он увидит Милочку во сне и перескажет дневнику всю коротенькую повесть своей — печальной и тайной — любви...

Тогда же, в 1915 году, вдохновленный новым успехом у публики — критика обеих столиц приняла «Тота...» довольно кисло — Андреев пишет новые пьесы. Летом 1916 года из старых черновиков возникает не менее призрачный и сказочный, чем «Тот...», «Собачий вальс» — поэма одиночества.

Вопреки очевидному всякий раз, когда он заканчивал пьесу, у Андреева возникала надежда увидеть ее на сцене МХТ.

[1] Там же. С. 134.
[2] Там же. С. 27.

Его единственный союзник — Немирович-Данченко, верящий в драматургический талант Леонида Николаевича, «неудержимый и мощный», уже открыто говорит автору о «непреодолимой розни во вкусах театра и драматурга», андреевский «панпсихический человек» кажется мхатовцам надуманным, плоским, неживым. А кроме того, директор МХТ опасался, что «Собачий вальс» снова — как когда-то «Екатерина Ивановна» — оскорбит вкус публики. В репертуарном комитете императорских театров находили, что пьеса «производит при чтении жуткое впечатление». Андреев же, как всегда, увлеченный только что произведенным на свет детищем, не жалел красок, описывая его преимущества. «Для постановки, притом скорой, все удобства, — «соблазнял» он Немировича-Данченко. — Роли крупные и всего их четыре: для призывного возраста только одна. Декорациям грош цена и неделя времени. Все — в искусстве театра, игры, в таланте, в человеческой душе. Мрачно? — но мы не куплетисты. Остро, беспокойно, тревожит, раздражает мещанина? — но мы искусство»[1]. Самое смешное, что Андреев добился своего: формально осенью 1916 года «Собачий вальс» был принят к постановке и в МХТ, и в Александринском театре, однако сопротивление обеих сцен было столь велико, что пьеса так и не была поставлена ни в Москве, ни в столице. И более того, текст ее был опубликован лишь после смерти Андреева — в 1922-м — в Париже...

Да, автор был совершенно прав, как-то раз назвав «Собачий вальс» — странной пьесой. Она и была странной, хотя сюжет ее, казалось, не выходил за рамки рутинных драматургических схем: влюбленный жених, уход невесты к другому накануне свадьбы, три года разнообразных страданий: пьянство, казнокрадство, одиночество и как итог — самоубийство. Ее герой — со странным именем Генрих Тиле, по профессии — бухгалтер, или — как сказали бы теперь — топ-менеджер крупнейшего столичного банка, со странным происхождением — полурусский, полушвед, обустраивая семейное гнездышко, получал роковой удар: его невеста — «неверная Елизавета» вероломно нарушила все обещания и вышла замуж за московского богача. Очнувшись от удара, Генрих «законсервировал» еще не вполне отделанную квартиру, жил в ней, жег электричество, пил «коньячок», вынашивая планы кражи миллиона рублей из собственного банка. При Генрихе постоянно крутился некий Феклуша — мелкий полицейский чиновник, из которого наш бухгалтер последовательно воспитал «домашнего песи-

[1] Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917). Цит. изд. С. 282.

ка», пляшущего под звуки «Собачьего вальса», мял его душу как хотел, платя за это наличными. Нанимал ему проститутку и любовался их поцелуями на том самом диване, где когда-то надеялся строить собственное семейное счастье.

«Уподобление мира и людей танцующим собачкам, которых кто-то дергает за ниточку или показал им кусочек сахару»[1] — так сам автор определял тему этой, в высшей степени поэтичной и загадочной пьесы. Действительно, ее действие выстроено идеально: сам Генрих Тиле, его младший брат — нечистый на руку студент Карл Тиле, вечно хнычущий друг Феклуша или неверная Елизавета время от времени ощущают себя «танцующими собачками», подчас же им кажется, что именно они — «заказывают танец» — играют для «своих собачек» пресловутый «Собачий вальс». Четыре действия пьесы отнюдь не составляют цельной картины развития характера, это — как гениально определил когда-то Иннокентий Анненский — несколько «моментальных снимков», сделанных с «внутреннего человека», а я бы добавила, что к третьему акту «снимок» с души Генриха Тиле превращается в коллаж из множества разрезанных на куски фотографий, его драматургический образ к финалу напоминает портрет в духе раннего кубизма.

Написанная перед двумя революциями пьеса практически не получила сценической истории, сам автор полагал, что это «вещь будущего»: «“Собачий вальс” не имеет дна, ибо его основанием служит *тот* мир, *непознаваемый*. Оттого он кажется висящим в странной и страшной пустоте. Но разве эта мнимая пустота не есть основание всего мира? Пусть критики впоследствии подводят под него трех китов, на которых он будет держаться — я знаю, что основание его то же, что и у звезд: пустота»[2], — запишет Андреев в дневнике летом 1918 года.

Что ж, критика не заставила себя ждать, в этой — такой щемящей и такой призрачной — пьесе находят теперь и зерна будущего экзистенциализма, и — разумеется — экспрессионизма, и обширнейший интертекст. Действительно, ситуации, герои и диалоги отсылают к Гоголю, Достоевскому, в третьем действии появляется призрачный, туманный, дождливый Петербург Блока, а скрывающаяся в окне *пустота*, от которой герои пытаются спастись, освещая комнату ярким электрическим светом, пустота, что зияет в том месте, где помещался когда-то Господь Бог, — и вправду наводит на мысль о «Постороннем» или «Чуме», чей автор — Альбер Камю — еще нетвер-

[1] Там же.
[2] S.O.S. С. 138.

до стоял на ногах и едва ли мог внятно формулировать свои мысли в год, когда Андреев закончил «Собачий вальс».

В конце 1990-х эту пьесу — впрочем — без особенного успеха поставили и в Петербурге, и в Москве, но, скажу честно, сегодня мне — как и Андрееву в 1918 году — все еще кажется, что это — «вещь будущего». И не потому, что театр до сих пор не имеет к ней ключей — нет, просто... ей не повезло. Если «Тот, кто получает пощечины» своей сказочной интригой, погруженной в стихию цирка, привлекал режиссеров еще с царских времен, то «Собачий вальс» сцена так толком и не распробовала, это детище Андреева оказалось прочно забыто, и, я уверена, забыто — несправедливо. Будем надеяться, время «поэмы одиночества» еще настанет, и мы увидим на сцене угловатые декорации неотделанной квартиры и странного человечка у черного рояля — бухгалтера, наигрывающего — одним пальцем — «Собачий вальс»...

Примечательно, что в «Собачьем вальсе» Андреев снова пользуется «красками» Достоевского, мастерски рисуя разорванность души своего героя. Его прочная, но отчего-то никогда толком не декларируемая связь с автором «Бесов» проявилась самым странным образом: осенью 1916 года Леонид Николаевич в одну неделю «задумывает и отделывает» пьесу «Милые призраки» — «нечто из Достоевского: кусочек его психо-биографии»[1]. Этой же осенью в квартире на Мойке появляется молодой человек — начинающий филолог и тезка Андреева Леонид Гроссман, чья статья «о том, что роман Достоевского представляет собой как бы философский диалог, раздвинутый в эпопею приключений и словесно сливающий Платона с Эженом Сю»[2], чрезвычайно заинтересовала нашего героя. Это удивительно, но к своим сорока пяти годам Леонид Николаевич все еще не остыл к «бульварному чтиву», и потому мысль о связи текстов Достоевского с приключенческим романом была ему близка.

Каким же увидел Гроссман нашего мэтра? Во-первых, юноша был сражен красотой Леонида Андреева: «Бледное лицо в рамке черных волос, лишь в немногих местах прорезанных белыми нитями, поражало сочетанием правильности, энергии и напряженной выразительности своих резких черт»[3]. Во-вторых, Леонид Петрович был несказанно удивлен той

---

[1] Цит. по: *Андреев Л. Н.* Пьесы. М.: Искусство, 1959. С. 584.

[2] *Гроссман Л. П.* Беседы с Леонидом Андреевым // *Гроссман Л. П.* Литературные портреты. М.: Рипол-классик, 2010. С. 378.

[3] Там же. С. 379.

жадной внимательностью, с которой Андреев говорил с ним. Этот разговор касался и личных качеств Федора Михайловича: обсуждали они нашумевшие в те годы письма Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому, где говорилось о склонности Достоевского-человека к разнообразным «пакостям», упоминалась там и неизданная тогда, а ныне широко известная глава из «Бесов» о «растлении» Ставрогиным малолетней девочки. Андреев, поначалу не желающий верить в «греховность» автора «Бесов», со временем остановился на мысли, что «глубокие противоречия свойственны гениальному сознанию», однако склонен был признать Достоевского «преступным» лишь в мыслях, но отнюдь не на деле.

И, объясняя замысел пьесы «Милые призраки», Андреев подчеркивал, что ему «важны были не факты, а его [Достоевского] душа»[1], хотя многими эта пьеса воспринималась как попытка драматизировать одно из интереснейших событий из биографии Федора Михайловича, а именно — необычайное и триумфальное «вхождение» его, тогда — безвестного молодого человека — в русскую литературу. Эпизод этот, как известно, описан самим Достоевским в «Дневнике писателя». Суть его в том, что в 1845 году, прочтя за одну ночь повесть безвестного автора «Бедные люди», Н. А. Некрасов и Д. Г. Григорович под утро явились на квартиру к молодому автору и, разбудив, объявили, что его путь в «большую литературу» открыт. В пьесе Андреев позволил себе некую вольность: он заменил Григоровича Белинским, известный критик еще более восторженно принял в те дни «Бедных людей», однако — исторически — не был участником «ночного паломничества». И хотя драматург использовал вымышленные, а не исторические имена героев, никто из современников не сомневался, что пьеса Андреева «пошла именно отсюда и что центральная часть пьесы — 3-й акт — когда к юноше Таежникову, в его угол являются ночью двое знаменитых писателей, один — в бобрах (издатель), другой — в шинели (сотрудник)»[2]. Однако многие, как, например, А. Р. Кугель, даже и приветствуя этот сюжет, полагали, что автор пьесы совершенно напрасно поселил молодого Достоевского (в пьесе — Таежникова) в одной квартире с его будущими героями.

Действительно, студент Таежников снимает каморку у семейства, недвусмысленно напоминающего семью Мармеладовых, дружит со старшей дочерью, «падшим созданием», — Таней, а кроме того, переживает «любовь-ненависть» к дочери

[1] Там же.
[2] Кугель. С. 160.

«богатых родственников» Раисе, отчаянно похожей на Аглаю из «Идиота». Кугель упрекал Андреева, указывая, что «милая призрачность» — не самый подходящий способ для показа на сцене героев Достоевского. Критик полагал, что и сам автор, и его герои «слишком патологичны, слишком решены внутренней и внешней гармонии, слишком асимметричны и души и лица их...»[1], а пьеса проникнута романтически-ностальгической и даже несколько сентиментальной атмосферой.

Что ж... Кугель, как всегда, точно подметил особенность драмы Андреева, но, как мне кажется, поспешил поставить отрицательную оценку. Пьеса конечно же подавала Достоевского «без достоевщины», все ее герои были недвусмысленно милыми и слабыми, их — пьяниц, бездельников, картежников и проституток — с первой же минуты становилось жалко. В самой фигуре Таежникова не было и намека на «пакости», о которых говорил Андреев с молодым Гроссманом. И — более того, все будущие герои так отчаянно переживали за молодого Таежникова, столь пылко желали ему удачи в литературе, что «выверт и надрыв» их душ затушевывался, и читатель получал сентиментальную, проникнутую ностальгией историю о том, как «бедный, но гордый молодой человек, очень талантливый и страстный»[2], оказывается в конце концов пригрет «лучами славы». Но — с нашей, сегодняшней точки зрения, это была вполне правомерная андреевская интерпретация «психобиографии» гениального русского писателя, «психобиография», где Андреев был вправе представить героев Достоевского в своем собственном освещении — милом и призрачном.

Пьесу еще успели поставить на императорской сцене: это была последняя премьера андреевской пьесы в царской России — спектакль Евтихия Карпова показали 6 февраля 1917 года, а 20 дней спустя, премьерой мейерхольдовского «Маскарада» закончилась эпоха Российской империи. Призраки Екатерины Ивановны, Сонечки, Аглаи, живущие в одном сценическом мире с призраками Достоевского, Некрасова и Белинского, судя по всему, не вдохновили тогда ни зрителей, ни критику. Однако — как и почти все пьесы Андреева — «Милые призраки» содержали зерна будущего: к концу XX века привычка помещать автора в среду его героев сделалась общим местом киносценаристики, драматургии, инсценирования. «Мне кажется, — объяснял свой замысел Леонид Николаевич, — мне удалось дать новый опыт построения драмы. Вокруг центрального лица заплетаются и развертываются события, отда-

[1] Кугель.
[2] Там же. С. 161.

ленно напоминающие нам страницы знакомых и любимых книг, причем все происходящее раскрывает нам во всех ее томительных противоречиях измученную и великую душу»[1]. Да, действительно, это был совершенно «новый опыт построения драмы», и этот опыт развивается теперь весьма продуктивно. Только недавно «милые призраки» Некрасова, Бакунина, Герцена в течение года не покидали одну из бродвейских сцен, удивляя жителей Нью-Йорка своими поступками, фантазиями, замыслами и снами. Так, в начале XXI века первый из ныне живущих драматургов — сэр Том Стоппард — сам того, вероятно, не зная, в драматической трилогии «Берег утопии» шел по стопам русского драматурга начала XX — Леонида Андреева.

[1] Цит. по: *Гроссман Л. П.* Беседы с Леонидом Андреевым. Цит. изд. С. 387.

Глава двенадцатая. 1917—1919:

ИЗГНАННИК И ПРОРОК

Февральская революция: «праздник души». Главный редактор «Русской воли». Октябрьская революция: «пиршество хамов». Бегство на виллу. Ленин и Андреев. Попытки «спасти Россию» — «S.O.S.». Планы бегства в США. Роман итогов: «Дневник Сатаны». Военный быт в «замке Лоренцо». Отчаяние изоляции. Дети. Последняя любовь. Бомбы. Последнее бегство. «Реквием»

«Петроград. Двадцать минут до нового 1917 года. В квартире светло... Нас только двое с Анной. Мне нравится. После 12 поеду в типографию с Амфитеатровым. Чувство большой бодрости, силы и жизни. Не обман ли? Уверен, что 17 г. несет мир и революцию»[1] — предсказания нашего героя сбылись только отчасти: Февральская революция 1917 года повлекла за собой череду смут и жесточайших кровопролитий, собственно, мира и покоя в жизни Леонида Андреева больше не будет.

В августе 1914-го наш герой вновь делает попытку завести дневник. Но первые годы — до марта 1918-го — диалог с самим собой как-то не клеится: «не знаю... хватит ли охоты вести дневник: не люблю я себя и своей жизни, нет интереса к своим переживаниям и даже мыслям»[2]. В дни войны Андреев действительно редко и скупо выплескивает на страницы свою душу, отмечая лишь крупные события: вот проводили на фронт младшего брата, вот пережил минуты сердечного унижения в день премьеры «Тота...», вот наступил 1917 год... Следующие две записи — в дни Февральской и Октябрьской революций.

«27 [т. е. 28] Февраля 1917 г., 4 часа ночи. Нынче — 27 февраля 1917 г. Один из величайших и радостных дней для России. Какой день!»[3]

Февральская революция врывается в жизнь Леонида Николаевича именно тогда, когда он уже всецело принадлежит газетной стихии: «Русская воля» поглощает все мысли. Как и

[1] S.O.S. С. 29.
[2] Там же. С. 26.
[3] Там же. С. 30.

всякий, кто занимается журналистикой, он — чрезвычайно политизирован, всегда — в гуще событий. К тому же местоположение его жилища на Мойке в буквальном смысле этого слова помещает Андреева в самый центр революционных стихий: окна его квартиры выходят на «революцию».

Понимал ли Леонид Андреев подоплеку февральских событий? Думаю, не вполне. Механизм этой революции даже теперь еще неясен во многих аспектах. Чувствовал ли он исторический смысл социальных потрясений тех дней? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Приветствуя февральские выступления рабочих столицы, воспевая их жертвы, видя глубочайший смысл в отказе солдат стрелять по демонстрантам, оправдывая освобождения заключенных из тюрем и даже поджог окружного суда, Андреев почувствовал, что власть самодержца закачалась и защищать ее, в сущности, некому. Масштаб людей, волею судеб оказавшихся в тот исторический момент «на вершине», — в понимании писателя никак не соответствовал той исторической миссии, что выпала на их долю. «Торжественный, кровавый, жертвенный и небывалый в истории порыв увенчался двумя ничтожными головами: Родзянки и Чхеидзе. Точно два дурака высрались на вершине пирамиды»[1] — такова реакция Андреева на начало российского двоевластия, когда в начале марта 1917 года в Таврическом дворце были рождены сразу два института российской власти: как наследие буржуазной Государственной думы — ее Временный комитет, и как итог самоорганизации масс — Совет рабочих депутатов.

Андреев оказался прав. Октябрист и камергер Михаил Владимирович Родзянко, что возглавил Временный комитет Государственной думы, был «умеренный» монархист, 26 февраля отправивший Николаю II телеграмму, где умолял его сдержать безначалие и беспорядок единственным способом: «Государь, безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна, и поручите ему составить правительство, которому будет доверять все население». 2 марта — после отречения Николая II —Родзянко волею обстоятельств оказался именно этим «лицом». Но ни ему, ни Николаю Семеновичу Чхеидзе, меньшевику, возглавившему в те дни Петроградский совет, не суждено было стать политическим лидером, облеченным доверием «всей империи», и после отречения царя Россия оказалась в еще более сложном положении, чем при самодержавии. Все эти люди были вынесены на «вершину власти» случайно, вскоре их сменили другие, потом третьи...

---

[1] Там же.

Так для нашего героя начинается время «сбывающихся пророчеств». Леонид Андреев уже 2 марта предсказал гибельную сущность сложившегося двоевластия: «Противоречие непримиримое. Палата господ, а точнее "бар" и совсем уж нижняя палата, даже подпольная».

Немногие тогда могли разделить его мнение, да и он сам доверил свои сомнения исключительно дневнику. Формально демократия расцветала: Временное правительство назначило выборы Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, и оно-то, это высокое собрание должно было определить дальнейшее устройство власти и государственности в России. Фактически — джинн был выпущен из бутылки: начался развал армии, «повалился» фронт, оказавшиеся на воле уголовные преступники вместе с «революционными массами» грабили арсеналы. И очень скоро Петроград оказался во власти уголовной стихии: налеты на магазины и квартиры, уличные грабежи. Стране требовались не долгосрочные, а срочные — оперативные — меры. Именно поэтому Андреев уже в первые дни свободы ощущает тревогу: «...в Думе, где заседают два этих правительства — хаос и бестолковщина... Все с теориями. Сверхумных много, а просто умных не видно и не слышно»[1].

Начало «свободной эры» было омрачено для него еще одним чудовищным фактом: в начале марта «город завыл от неимения газет». Уже 24 февраля по призыву профсоюза печатников «не выпускать буржуазных газет, пока не укрепится рабочая пресса»[2] забастовали рабочие типографии «Русской воли», потребовалось десять весьма нервных дней для разрешения проблемы: газета выходит вновь лишь с 5 марта. И все же эти темные пятна, внезапно проявившиеся на светлом облике долгожданной революции, едва ли поначалу существенно искажали для Андреева ее истинный смысл. Да и сам он не хотел верить собственным пророчествам. В первом же мартовском выпуске «Русской воли» мы читаем «официальный», а впрочем, вполне искренний отклик Андреева-публициста на февральские события: «В настоящую минуту, когда в таинственных радиолучах ко всему миру несется потрясающая весть о воскресении России из лика мертвых народов, — мы, первые и счастливейшие граждане свободной России, мы должны благоговейно склонить колени перед теми, кто боролся, страдал и умирал за нашу свободу»[3]. Редакционная статья «Памяти по-

---

[1] S.O.S. C. 30.

[2] Там же. С. 31.

[3] Русская воля. 1916. 15 февраля. С. 3.

гибших за свободу», как ни странно, была обращена отнюдь не в будущее, а в прошлое. Там, в прошлом, где «кронштадтские и свеаборгские матросы», «хамовнические террористы», все эти — так хорошо знакомые Андрееву Вернеры, Муси, Терновские и даже Саввы — подтачивали «романовский кровавый трон» — там все было ясно, тихо, торжественно и светло. Наконец-то были оправданы многочисленные жертвы и воплощенная народническая мечта о падении самодержавия, о торжестве равенства и справедливости грела душу, волновала и радовала сердце писателя.

В те мартовские дни в гостиной, выходящей окнами на Марсово поле, где 23 марта торжественно хоронили жертв революции, Шаляпин под аккомпанемент Анны Ильиничны пел «Дрожите, тираны, их слуги...» и «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и ему — со слезами на глазах — внимали уже немолодые, дождавшиеся в конце концов торжества свободы гости Андреевых — несчастное поколение рожденных в 1860-х — 1880-х: с детства — впитавших тоску о свободе, в молодости — утвердившихся в своей вере в свободу и шедших ради нее на многочисленные жертвы, и в зрелости, увы, доживших до ее осуществления и сполна вкусивших ее горьких плодов.

Нам трудно теперь конечно же представить, каким виделось будущее России русскому интеллигенту в марте 1917-го и какие бури бушевали в те дни и недели в душах этого поколения. Родные Андреева утверждали, что состояние возбуждения — «как при пожаре» сменялось у писателя чувством глубокой растерянности. Однако наступающая весна и лето исключали растерянность, требовалась немедленная реакция на происходившие перемены, факты, как будто взаимоисключающие друг друга, нуждались не только в быстром осмыслении, но и в публичной оценке. Я уверена, что тайная мысль занять пустующее место «совести нации» все еще жгла Леонида Николаевича, смена политического строя, совпавшая с рождением «Русской воли», казалось бы, могла «подыграть» тайным амбициям писателя.

Несомненно, весной и летом 1917 года наш герой стремится к публичности и «вектор» его активности направлен на «социальное»: Андреев как будто забывает, что он — писатель, используя славу беллетриста лишь для утверждения себя в роли общественного, а возможно — и политического деятеля. 1 марта, «когда еще стреляли, но уже весь город был черен от революционной, возбужденной толпы»[1], он едет в Государственную думу, чтобы прояснить перед депутатами позицию

---

[1] S.O.S. С. 75.

газеты по вопросу «германской войны», отделить собственные призывы к «войне до победного конца» от взглядов монархистов. Демонстранты, заглядывая в разбитые окна застрявшего среди уличной толпы автомобиля, узнавали Леонида Андреева и кричали ему «ура!».

В апреле 1917-го Андреев одерживает победу над своим главным «редакционным» врагом — Амфитеатровым, стараниями которого газета то и дело «заваливалась» в разряд «уличной прессы», и с этих пор — уже единолично определяет «направление» «Русской воли», желая сделать из нее «серьезный и влиятельный» печатный орган. Осенью от лица российских редакторов Леонид Николаевич войдет во Временный совет Российской республики, так называемый «предпарламент», призванный генерировать идеи для создания будущей конституции. Формально не примкнув ни к одной из политических партий, Андреев, я уверена, видел себя среди будущей политической элиты буржуазной России, возможно, рассчитывал он и на один из министерских портфелей... Чем черт не шутит, стал же министром юстиции в третьем составе Временного правительства друг его юности — «милый Малянтович». Итак, когда-то быстро уставший от бурных дней первой русской революции — ныне Леонид Николаевич даже не помышляет о бегстве, оставаясь — вплоть до самого октябрьского переворота — как сам он пишет летом Филиппу Доброву — «действительным членом петроградского сумасшедшего дома».

Как глава «Русской воли» наш герой стремится откликаться на все значимые политические события, комментировать все действия правительства, будь то оценка «стихии первомайских демонстраций», внезапно охватившей страну, или ода закону об «отмене смертной казни в России», или же «плач» по «летнему отступлению русских войск». Как когда-то своей опытной рукой вел он по узкому, опасному, чреватому подводными валунами фарватеру свой катер «Далекий» на финские шхеры, так и теперь — он пытается проложить путь газеты среди многочисленных: левых, правых, стойких, умеренных, несгибаемых и революционных лозунгов и программ. Однако всегда страстная публицистическая мысль Андреева явно буксует, когда дело касается политической оценки происходящего, и как только речь заходит о «своеобразии текущего момента», события за окном частенько ставят нашего героя в тупик. Порой ему кажется, что установленный в петербургской квартире телефон связывает его «с разными отделениями сумасшедшего дома» и он слушает по ночам «рыдания, бред, стоны и хохот».

И все-таки каким же видит политическое будущее России Леонид Андреев? Став во главе газеты, он выдвигает только один принципиальный тезис: «Лозунг же: великая и свободная Россия»[1]. В переводе на язык прозы это означает, что Леонид Николаевич стоит за парламентскую республику, что он против самоопределения наций и привержен идее «революционного оборончества», то есть настаивает на продолжении войны с Германией до победного конца. Фактически Андреев разделял взгляды конституционных демократов, к коим, кстати, и принадлежали большинство министров первого состава Временного правительства. Кстати, еще в феврале в статье «Путь красных знамен» писатель вспоминает свою идею 1914 года: пророчество о том, что Первая мировая война закончится «европейской революцией», а «в свою очередь эта революция приведет к уничтожению милитаризма, то есть постоянных армий, и к созданию европейских соединенных штатов». Поторопившись объявить, что его пророчество начинает сбываться, автор обещает читателю: «Революция должна идти дальше — и пойдет! — не за горами тот день, когда рухнет дом Гогенцоллернов, и мир будут заключать свободные народы на основе свободы, равенства и братства»[2]. Однако цепь политических кризисов, сотрясающих Россию с апреля 1917 года, не уменьшающийся, а усиливающийся развал фронта, а главное — очевидное сползание страны к экономической разрухе, повергает редактора «Русской воли» в отчаяние, и он неоднократно клянет себя и себе подобных за скороспелую пылкость своих революционных идей, пророчеств и порывов.

Уже в эмиграции, анализируя случившуюся в октябре 1917 года катастрофу, Андреев выложит на страницы дневника злые и горькие итоги собственного «опыта революции»: «“Мы” думали, что открывая все двери зверинцев, все хлева и конюшни, ломая все загороди и выпуская истомленных неволей зверей и скотину, мы немедленно введем их в кабинет и в дружески-серьезной беседе обсудим и постановим, как жить нам дальше. <...> “Мы” думали, что освобожденный голодный тигр... в крайнем случае будет жрать только монархистов, а взыгравшаяся корова будет бодать только Пуришкевича»[3]. Смутное понимание, что предоставленная самой себе, разбуженная революцией масса «будет катиться до самого последнего края, в пропасть» и чтобы обуздать ее, кроме революционного энтузиазма, понадобится кое-что еще, — возникло у него в первые же недели.

---

[1] Цит. по: «Жизнь...». С. 421.
[2] Там же. С. 309.
[3] S.O.S. С. 34.

Еще весной он приходит к мысли, что революционные стихии можно и нужно как можно быстрее «направить» в определенное русло, и пока общество пребывает в эйфории, наступившей после отречения Николая II, Андреев пишет статью «Революция (о насилии)», где предупреждает ликующих: «Не нужно трепетно закрывать глаз на свершающееся и баюкать себя сладкими мечтами о наступившем царстве свободы. Оно еще не наступило. Мы перед лицом Великой революции, великого насилия во имя свободы. Мы — в состоянии гражданской войны». В связи с этим автор «Семи повешенных» призывает общество и власть не давать свободу «собранию бывших министров и сущих мошенников, ныне заседающих в Петропавловке», не выпускать из-под домашнего ареста и бывшего царя. «Казнить мы их не станем, — оговаривается Андреев, — здесь, в решительной отмене святотатственной смертной казни, Россия к гордости нашей поднимается на вершину исторического благородства и героизма! — но и гулять их не пустим, не должны пускать, поскольку дорожим б у д у щ е й свободой нашей». Но... эту статью-пророчество Андреев так и не решится опубликовать весной 1917-го, а всего через год, уже в эмиграции, автор горько пожалеет об этом: «Очень жаль, что усумнился и не стал печатать. Как же: все вопиют о “свободах”, а я о насилии! Ленин показал, что такое постоянная революция и революционер. Не будь его цели так глупы, а может, и преступны, он вытащил бы Россию». Видя и ощущая итог энергичной и целенаправленной революционной работы Ленина и большевиков, Леонид Николаевич грустно признает, «... что “мы”, все эти эсеры, Черновы, Плехановы, даже Сухановы и Мартовы — ... не были революционерами. Ни непреклонного духа, ни жестокости, ни революционной ярости и силы в них не было»[1].

«Русская воля» под руководством Андреева и выражала, пожалуй, «смятение умов» российской интеллигенции его поколения: недаром «Новый сатирикон» — еженедельный иллюстрированный журнал Аркадия Аверченко изображает этот печатный орган в виде плешивого господина с флажком, на котором написано «свобода», — в одной руке и с дубинкой — в другой. Называя большевистскую «Правду» «окопным паразитом», разваливающим фронт, призывая правительство обуздать «анархическую вольницу», эти люди не слишком-то хорошо разбирались, кого еще следует ныне лупить дубинкой, а какие слои общества — рабочие, крестьяне, фабриканты, приват-доценты или лавочники — должны наслаждаться завоеванной

[1] S.O.S. С. 34.

наконец-то свободой. Не говоря уже о том, что экономическая подоплека событий и вовсе не принималась ими во внимание, а она-то — сторукая экономическая гидра — главным образом и привела к октябрьскому повороту событий.

Еще не понимая и не признавая, но уже предчувствуя собственное политическое банкротство, Андреев внезапно «замолчал». На время он даже уехал в Ваммельсуу. «Он поблек, осунулся, межбровная складка еще глубже врезалась в его высокий лоб. Стали медленней, размеренней и суровее его движения» — таким увидел отца старший сын летом 1917 года. Но более всего Вадим был поражен «молчанием» отца: «Его молчание давило дом... От этого упорного и сосредоточенного молчания становился теснее и уже просторный кабинет, сгущался мрак перед высокими стропилами потолка, беспричинное беспокойство охватывало всех приближавшихся к отцу»[1]. Молчание означало конечно же внутренний кризис главного редактора «Русской воли», постепенно к нему приходила уверенность в том, что поток событий очень скоро разнесет его и ему подобных в мелкие щепки и ни его газета, ни кабинет «министров-капиталистов», ни меньшевистский Совет, ни генерал Корнилов уже не в силах будут управлять происходящим.

«Сгущается тьма. Мне страшно! Сгущается бездонная тьма, кромешный мрак. Ни единого огня, ни единого голоса — безмолвие и тьма. Мне страшно. Как слепой, мечусь я в темноте и ищу Россию: — Где моя Россия? Мне страшно. <...> Ищу и не нахожу. Кричу и плачу в темноте. И мне страшно, о Господи! Где моя Россия? Сердце не хочет биться, кровь не хочет течь, жизнь не хочет жить. Отдайте Россию!»[2] В середине сентября 1917 года Андреев публикует в своей газете отчаянный текст: небольшую статью под заголовком «Veni, creator!» («Гряди, Создатель!»), эта странная — полусатирическая, полуистерическая — ода новому российскому диктатору — Ленину воспринимается теперь как еще одно его пророчество. И действительно — за месяц с лишним до октябрьского переворота лишь немногие отважились бы назвать лидера РСДРП(б), в то время скрывающегося от ареста в Финляндии, новым Петром Первым, перед которым склоняет голову «поверженная Россия». «По июльским трупам, по лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, триумфатор, — громче приветствуй его русский народ!»[3] «Серый человек в сером автомобиле» приобретает в очерке Андреева черты прямо-таки дьявольские, думаю, и сам Владимир Ильич был бы немало

[1] Детство. С. 183.
[2] Леонид Андреев: Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 248.
[3] Там же. С. 245.

изумлен, узнай он в сентябре 1917-го о той великой роли, которую ему — по мнению писателя Леонида Андреева — надлежит сыграть в российской истории. Надо сказать, что близкие по духу «Русской воле» столичные издания писали о партии большевиков безо всякого пиетета, тем более что ее репутация была практически «убита» летними разоблачениями большевиков (в разоблачениях этих, кстати говоря, активнейшее участие принимала и «Русская воля») в шпионаже в пользу врага и с очевидностью доказанными финансовыми связями партии с министерством иностранных дел кайзеровской Германии. На страницах того же «Нового сатирикона» постоянно появлялись комиксы на эту тему, например, «Немецкая Снегурочка и Русское Солнце» представляла Ленина в образе потешного Снеговика, которого слепили немецкие генералы, «дали ему имя Ленин, ввезли в Россию и ушли. Подошли русские и стали охать от ужаса, но взошло солнце и Снеговик растаял». Последняя картинка представляла маленького скуластого человечка в мокрой брючной паре и мятой сорочке, прямо на наших глазах превращающегося в грязную лужу. Таким — презрительно-брезгливым — было отношение подавляющего большинства интеллигенции — к Ленину. Однако сбылось-то пророчество Андреева: именно Ленин, что оказался «...выше слез, выше проклятий, выше презрения», и подчинил себе стихию революции, и — всего-то через несколько недель, как справедливо полагал наш герой, — «великий русский народ, имеющий Толстых и Герценов, Каляевых и Петров Великих, покорно склонял перед тобою свою шею».

Содержит «Veni, creator!» и еще одно удивительное пророчество: «Или ты только предтеча? — в смятении вопрошает Ленина Андреев. — Кто же еще идет за тобою? Кто он, столь страшный, что бледнеет от ужаса даже твое дымное и бурное лицо? Густится мрак, и во мраке я слышу голос: — Идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас огнем и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым»[1]. Имея за плечами наш исторический опыт, мы можем только удивляться теперь прозорливости Леонида Андреева, каким-то образом не только угадавшего, что российская смута закончится «царством зверя» — фактическим возвращением монархии — с по-азиатски жестоким и циничным Лениным на троне, но и что царство Ленина сменится другим — еще более страшным и азиатским. Едва ли Леонид Николаевич слышал в те годы имя Сталина, слишком уж незначительным было участие будущего «вождя народов» в событиях 1917 года. Но и

[1] Леонид Андреев: Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 247.

это сентябрьское пророчество Андреева сбылось с пугающей точностью.

Внутренне уже уверенный в поражении «революции интеллигенции», он, я думаю, вполне искренне описал собственное состояние осенью 1917 года: «Сердце не хочет биться, кровь не хочет течь, жизнь не хочет жить»[1]. Помимо общей ситуации в Петрограде состояние «балансирования над бездной» усугубляли и слухи о том, что акционеры хотят за спиной у редакции продать «Русскую волю» Сытину и Путилову, а те — сместив Андреева, поменяв сотрудников, поставить во главе издания близкого к правительственным кругам Дмитрия Мережковского. Последний даже позвонил Леониду Николаевичу в середине октября и «с наивной наглостью» предложил сотрудничать в «Русской воле»! Твердо решив в случае продажи газеты уйти из нее, потребовав многотысячные неустойки, Андреев продолжал работать, мужественно ожидая развязки.

События не заставили себя ждать — 25 октября он, Анна Ильинична, Анастасия Николаевна и Вадим наблюдали одно из ключевых событий истории XX века — вооруженный захват власти в России — из собственного окна. «С девяти идет стрельба у Зимнего дворца: пулеметы, орудия, отдельные выстрелы. Это совсем близко от нас, видны вспышки огня, ближние пулеметы стрекочут точно над ухом, дальние тикают, залпы из орудий (по три сразу) громки и тяжелы... Стрельба возобновлялась раз пять, — запишет Андреев в два часа ночи. — Сейчас тихо, но ухо ждет: оно уже не верит тишине. Большевики захватили город и власть, но насколько?»[2] Не рискуя выходить на улицу, он получает отрывочные сведения лишь по телефону: вот они захватили Государственный банк, вокзалы, телеграф, мосты... Вздрагивая от каждого стука или шагов во дворе, домашние и сам хозяин чувствуют себя совсем как герои давнего рассказа Леонида Андреева «Красный смех»: дневниковая запись почти что совпадает с текстом рассказа. «Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходившую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось, совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, трески чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало», — записал когда-то в дневнике герой андреевского рассказа.

Вымысел стал явью, подобно герою «Красного смеха», Леонид Андреев этой ночью как будто даже с симпатией думает о

[1] Там же. С. 248.
[2] S.O.S. С. 31.

смерти: «а пожалуй, неплохо, если убьют, хороший конец», — запишет он в дневнике. Апокалипсическая картина за окном и горстка близких друг другу людей перед ним, беззащитных живых существ, которых вот-вот задавят мертвецы, — еще одно сбывшееся пророчество писателя...

На следующий день, узнав из «утрешних» газет о «торжестве победителей», одним из первых постановлений закрывших ряд печатных изданий, в том числе и «Русскую волю», наш герой с женой, Вадимом и «маточкой», наскоро собрав необходимое, отправился в Ваммельсуу. Думаю, это бегство — первое в череде многих — было не трусостью, а мгновенным выплеском давно копившихся настроений, уже довольно долго живущее в нем признание собственного бессилия, отчаяние, невозможность вмешаться, «когда вся глупость и злоба стреляет во все человеческое»[1].

Однако отношение Андреева к Ленину и большевикам было двойственным: ненавидя большевизм, как ненавидит побежденный победившего врага, он ни в коем случае не отрицал ленинских достоинств, признавая за большевиками качества, которыми не обладали, увы, политики, близкие писателю по духу. Оказавшись в полной изоляции и относительной безопасности, он часто размышляет над тем, почему именно Ленину и его соратникам удалось придать русскому стихийному бунту «подобие организации», то есть сбить в послушное стадо «истомленных неволей зверей и скотину». Ненависть и брезгливость не мешали Андрееву разглядеть корень успеха большевистской демагогии: там, где буржуазная демократия честно говорила рабочему: вместо двух рублей ты будешь получать два с полтиной, большевистский агитатор вопил: вместо двух рублей ты получишь дворец! Да, он признавал, что Ленину удалось дать рабочим, крестьянам и солдатам понятные их разуму и милые их сердцу лозунги: «Немедленный мир, хотя бы и похабный! Немедленный раздел и захват земли! <...> Грабь награбленное! Кто был ничем, тот станет всем!»[2], а после вооружить «сбитое стадо» и с его помощью взять власть. И далее — имея в своих руках аппарат подавления и коварно обманув «зверей и скотину», сохранять власть по принципу: «бей направо, бей налево, лей кровь ведрами, а иначе дождешься, что дураки придут за ней с бочонками»[3]. Этой-то тактической целеустремленности и разумного цинизма не хватало, по мысли Андреева, правительству Керенского, от-

[1] S.O.S. С. 195.
[2] Там же. С. 364.
[3] Там же. С. 35.

чаянно не хотевшему действовать по отношению к кому бы то ни было «жандармскими методами»...

И даже тема «немецкого золота», питавшего большевиков, воспринималась Андреевым неоднозначно: «Для меня несомненно, что Ленин и другие первоначальные большевики пользовались германскими деньгами и услугами, что в их среде были и германские агенты и шпионы и русские шпики. Но это вовсе не значит, что сам Ленин был германским агентом, — нет, здесь была *двойная* игра, чрезвычайно сложная и крайне интересная. Бесспорно, что отчаявшийся в исходе войны и голодный германец решился на крайнее средство и решил внести в Россию революционное разложение... Со своей стороны революционер Ленин брал у немца деньги в уверенности, что на эти марки он подожжет не только Россию, но и Германию. Вероятно, улыбался. <...> И некоторое время Ленин, германские агенты и шпики действовали согласно — при разных целях; обманутыми были агенты и шпики»[1].

Но — признавая преимущества победителя в тактике — Андреев отказывал большевикам в какой-либо разумной стратегии, он не верил благородству их целей, разоблачая риторику Ленина, утверждал, что разница между ним и Петром Великим... — в уме: «Будь Ленин умнее, он стал бы Преобразователем России, сейчас — он ее Губитель»[2]. И здесь Андреев оказался пророком — ленинская тактика: «текущий момент, батенька» — в конце концов, всегда пересиливала ленинскую стратегию, и любые пункты партийной программы большевиков с легкостью приносились при нем в жертву вопросу сохранения власти. «Если Ленин когда-нибудь мечтал о том, чтобы стать великим социальным реформатором, — писал Андреев в своей последней работе «Европа в опасности», — то мечты его рушились бесславно и жалко»[3]. В уме ли тут было дело — вопрос конечно же спорный, — но то, что вождь, что называется, «ввязавшись в драку», не слишком задумывался над тем, куда он ведет Россию, как мне кажется, угадано верно.

Итак, оправившись от «октябрьского отчаянья», немного успокоившись, побродив с Вадимом, Верой, Саввой и Тинчиком вдоль берега — темного, взволнованного и уже такого холодного — моря, Андреев вновь садится за свой огромный письменный стол, снова и снова передумывает, анализирует и выплескивает на бумагу причины поражения демократической революции в России. Андреев по-прежнему — публицист, его мысли и его планы бесконечно далеки от беллетристики.

---

[1] Там же. С. 35—36.

[2] Там же. С. 36.

[3] Там же. С. 366.

Теперь уже ежедневные записи в дневнике, многочисленные письма (это странно, но почта еще работает) приоткрывают андреевский внутренний мир. И диалог с Лениным и большевиками занимает в этом мире неизменно важное место вплоть до самой смерти нашего героя. «Как кандалы, всюду волочу за собою большевиков и тоску»[1], — через полтора года в одном из последних писем признается он Николаю Рериху.

Верно оценив ловкую тактику победителей, Андреев углубился в анализ содержательной *пустоты* группы лиц, захвативших власть на его родине. «Большевики не только опоганили революцию, они сделали больше: быть может, навсегда убили религию революции. Сто с лишним лет революция была религией Европы, революционер — святым в глазах врагов. Даже у врагов — больше, чем у друзей. Первый частичный удар нанес Азеф, совместив в своем лице — пока еще только к изумлению мира — революционера и мошенника, простого мерзавца. <...> И то, что сделал Азеф в маленьком домашнем масштабе, то на мировой арене, в "планетарном масштабе" повторил Ленин и большевики. <...> Ясно, что Бог ушел из революции и превратилась она — в занятие»[2]. Но отказывает Леонид Андреев стране Совдепии и в праве назваться адом, ибо что это за ад и что это за черти, «которые крадут друг у друга сапоги»? Итак, вынося за скобки многочисленные проклятия, которыми осыпает наш герой большевиков, отметим, что Леонид Николаевич довольно точно и политически прозорливо описывает Ленина как первого «функционера» революции.

Любопытно, что, делая вывод о том, что большевики предали идею народной революции, писатель формулирует сущность революции словами из нашего, современного политического обихода: «Лозунги Революции всегда общечеловечны. Для нее, как и для Бога, ценен **всякий** человек. Как сама восставшая Справедливость, она охраняет и любит каждого и устанавливает *права человека*. У нее нет любимцев, нет *привилегий*, нет сдобного куска для одного и мякины для другого. Свобода, равенство и братство». Принципиальным для Андреева стало и то, что «слово **человек** было выкинуто из большевистского словаря»[3]. Всякое человеческое существо и его право на жизнь, имущество и занятия стали рассматриваться в зависимости от принадлежности этого существа к тому или иному классу или клану. Так, перечеркнув права личности, Россия вышла из разряда цивилизованных европейских стран. Разумеется — развивает эту мысль Андреев — такой порядок

---

[1] S.O.S. С. 323.

[2] Там же. С. 42—43.

[3] Там же. С. 364—365.

вещей могла приветствовать лишь худшая, наименее развитая часть российского населения. «Новый “собиратель Руси”, он собрал всю каторжную, всю черную и слепую Русь и стал единственным в истории повелителем царства нищих духом» — вот к какому выводу приходит в тиши кабинета бывший главный редактор «Русской воли». И кстати, большевистский переворот лишил Андреева 140 тысяч неустойки, так как ликвидированное издание уже никто не только не собирался, но и не мог продать или купить.

Интересна реакция Андреева на ложную весть о смерти Ленина после покушения 30 августа 1918 года: «Злое ничтожество Урицкий и товарищ Ленин — убиты. Официальный бюллетень гласит о действительно тяжелом поранении Ленина, а по дальнейшим достоверным известиям он уже умер. Сегодня на пляже, на песке, я написал “Ленин убит”. Это мой венок и моя месть товарищу Ленину»[1]. Товарищ Ленин же отомстил господину Андрееву тем, что благополучно выжил и энергично продолжил «выпечку» диктатуры пролетариата... Но и наш герой не собирался складывать оружия, за полтора года эмиграции его усилия неоднократно едва не обретали реальную почву. Амбиции Андреева не уменьшались, за эти, отпущенные ему судьбой полтора года жизни писатель, несмотря на мучительное нездоровье, не раз выражал готовность занять пост «министра пропаганды» в каком-нибудь антибольшевистском правительстве, что во множестве плодились в те годы на границах России. Он чувствовал, что не просто может и хочет, а просто-напросто обязан возглавить идеологический «крестовый поход» против большевиков и Ленина: «Из разговоров добрых людей вытекает, что сейчас я — единственный голос России, который может быть всюду слышим»[2].

Летом 1918-го, когда положение Советов предельно ухудшилось, а политическая диктатура большевиков столкнулась с жесткой — внутренней и международной — оппозицией, Андреев — в глубине души не верящий в их поражение, хотя и жаждавший этого всей душой: «Конечно, как двухголовый теленок, как всякий монструм, биологически нелепый, большевизм должен погибнуть, но когда это будет?»[3] — всерьез подумывает о том, чтобы ехать на родину. Жадно ловя всякую весть о положении в России — русские газеты в 1918 году появлялись в Ваммельсуу раз в две-три недели, по-фински же говорила в «замке Лоренцо» лишь безграмотная прислуга, — Леонид Николаевич, как правило, черпает информацию из слухов. Так,

[1] Там же. С. 142.
[2] Там же. С. 169.
[3] Там же. С. 331.

услыхав, что дни диктатуры пролетариата сочтены, а Ленин и Троцкий бежали в Кронштадт, Андреев планирует, что, «когда полоса крови, крика и всей этой неизбежной грязи останется позади», он, обладая даром слова «поджигать сердца», станет архитектором возрождения Великой России. Но, увы, эти слухи оказываются ложными.

Зимой 1919 года, возмущенный известием о том, что державы-победительницы собираются усадить за стол переговоров все воюющие в России политические группировки, в том числе и «дикарей Европы, восставших против ее культуры, законов и морали», то есть представителей правительства большевиков, Андреев пишет свой знаменитый «Save Our Souls». Текст «S.O.S.»[1], вскоре изданный отдельной брошюрой с рисунком Рериха на обложке, был опубликован на многих языках.

Доказывая абсурдность и гибельность признания Страны Советов западными державами, еще раз перечисляя все преступления диктаторского режима Ленина против законов человечности, он уподоблял западные правительства Понтию Пилату, «умывающему руки» и отдающему Иисуса на страдания и смерть. Андрееву казалось, что это воззвание «телеграфиста на гибнущем пароходе» должно всколыхнуть общественность и журналистов Старого и Нового Света, он обращался не к правительствам, а к Человеку, именно к нему — простому французу, англичанину, американцу, «отдельному» итальянцу, шведу, индусу, «и кто бы ты ни был: среди всех народов существуют благородные люди и каждого человека я зову — каждого в отдельности!». Так, «движимый верою в человеческую благость», бросает Андреев в неизвестность и темноту свою «мольбу о гибнущих людях». «Если бы вы знали, как темна ночь над нами, слов нет, чтобы рассказать об этой тьме!»

Он звал простых граждан мира скорее «формировать батальоны», чтобы прийти на помощь гибнущей России. Строго говоря, Леонид Николаевич, который еще недавно «болел» гипертрофированным патриотизмом, — призывал иноземцев на свою землю, он требовал от иностранных держав: «идите на помощь людям, гибнущим в России». Но был ли наш герой так уж наивен в своем призыве? Начинался 1919 год — последний в жизни Леонида Андреева и отнюдь не последний, но, вероятно, самый неприятный и проблемный в политической жизни Ленина и большевиков. На молодую республику наступали Колчак с востока, Деникин с юга и Юденич с запада, однако им не удалось скоординировать одновременное наступление, и бывшие «оборванцы», умело организованные Троц-

[1] См.: S.O.S. С. 337—348.

ким в Рабоче-крестьянскую Красную армию, обучающиеся на ходу, с переменным успехом сражались на всех фронтах...

Сам текст «Спасите наши души» произвел сильное впечатление на многочисленные эмигрантские комитеты «спасения», уже в середине февраля «S.O.S.» читала перед «узким кругом заинтересованных лиц» бывшая питерская примадонна — известная актриса Лидия Яворская, а вскоре читала опять — на вернисаже выставки Н. К. Рериха в Гельсингфорсе. Особый комитет по делам русских в Финляндии телеграфом (!) передал пятнадцатистраничный текст воззвания во Францию... Весной «S.O.S.» была выпущена отдельным изданием с предисловием П. Н. Милюкова в Англии. Статью перепечатывали почти все русские эмигрантские издания, о ней спорили, но — отнюдь не те, к кому обращал свой пафос Леонид Андреев. Отдельному итальянцу, шведу, индусу, американцу, французу и англичанину, казалось, не было никакого дела до «гибнущих душ». И — увы, текст этот, являющий собой, вне сомнения, ярчайший образец талантливой пропаганды, Россию не спас. Сам автор с досадой записал в дневнике через пару месяцев, что в европейском, а уж тем более — в мировом масштабе — статья не произвела «ни шума, ни движения, как псу под хвост»[1].

Что ж... остается признать, что пропагандистские усилия Леонида Николаевича, отнимая почти все его душевные силы, как правило, оканчивались ничем. Однако он не сдавался. После дней отчаяния снова приходила уверенность, что он — Леонид Андреев — не просто может и хочет, нет — он обязан идеологически возглавить «крестовый поход» против большевиков и Ленина: «Из разговоров добрых людей вытекает, что сейчас я — единственный голос России, который может быть всюду слышим»[2].

Поглощенный этой идеей, Андреев излагает свои мысли в письме живущему в Лондоне Павлу Николаевичу Милюкову и с присущим ему энтузиазмом и наивностью просит бывшего лидера кадетов добиться у Колчака назначения — его — Леонида Андреева министром пропаганды Всероссийского правительства, на что крайне изумленный такой постановкой вопроса Милюков отвечал Леониду Николаевичу, что ни с каким правительством он «в сношениях не состоит». Подобное письмо отправляет Андреев и в Гельсингфорс, где весной и летом 1919 года — накануне осеннего наступления Северо-западной армии на Петроград — полным ходом идет формирование властных представительств.

---

[1] Там же. С. 171.
[2] Там же. С. 169.

Эти усилия оказались более успешными, и весной 1919 года у Андреева начались переговоры с представителями Русского комитета. От этого претендовавшего на роль российского представительства Особого комитета по делам русских в Финляндии в Ваммельсуу приезжал сам его председатель — бывший министр вероисповеданий Временного правительства историк русской церкви Антон Карташев, входивший тогда в число «доверенных лиц» Николая Юденича. В то самое время генерал Юденич, получив особые полномочия и исключительное финансирование от Всероссийского правительства Колчака, спешно создавал в Хельсинки Политическое совещание — предвестник Северо-западного правительства, где и готовился взять портфель «министра пропаганды» неугомонный Леонид Николаевич.

В голове нашего героя уже складывалась последовательность необходимых мер: как, каким образом он может выполнить свою задачу — «убедить эти миллионы доверчивых людей», что при большевиках их ждет отнюдь не рай, а кровавая катастрофа... И вот он уже строит обширные планы: издание множества легкодоступных брошюр, выпуск «пропагандистских» спектаклей, заказ кинематографических сценариев. Он уже составляет списки авторов, которых хотел бы привлечь для «идеологических сочинений», список сотрудников будущего министерства. Ему чрезвычайно импонирует, что лично Юденич не выдвигает ни одного политического лозунга, считая своей единственной задачей изгнание большевиков из России. Ободренные телеграммой Карташева 23 августа 1919 года, Андреев и Анна Ильинична едут в Гельсингфорс (нынешний Хельсинки) для непосредственных переговоров, правда, «будущий министр» весьма приблизительно представляет практическую сторону вопроса. «Беру на себя целиком все дело антибольшевистской пропаганды... вступаю в здешнее правительство с портфелем министра пропаганды и печати... Живу, значит, либо в Ревеле — (штаб-квартира Северо-западного правительства располагалась в нынешнем Таллине. — *Н. С.*), либо где придется, езжу взад-вперед, ищу, настраиваю людей... получаю при этом гроши...»[1], — пытается нарисовать картину будущего наш герой в письме Рериху. Судя по другим источникам, претендовал Леонид Николаевич и на роль главного редактора официальной газеты «местного правительства» — «Русской воли» и «предлагал» положить себе зарплату в десять тысяч марок.

Но, оказавшись в Гельсингфорсе, Андреев немедленно понял, что глубоко ошибся. «...дело по разным причинам не

[1] S.O.S. С. 215.

выходит, и быть министром, к счастью, мне не придется», — пишет он матери 27 августа. Причина оказалась проста: некоторые близкие к министерству люди полагали, что Андреев «несносен, капризен, самовлюблен»[1], и категорически отказывались даже рассматривать его кандидатуру сколько-нибудь серьезно. А та «мелкая», чисто журналистская работа, которую ему предлагали, совершенно не устраивала Андреева. К слову, тогда же, в августе, отказался от участия в этом правительстве и близкий писателю Антон Карташев.

Удрученный в который раз не оправдавшимися надеждами, Андреев, несмотря ни на что, стремительно разворачивает «план Б»: задуманная еще весной поездка в Америку для чтения лекций «против большевиков». Его ничуть не смущают фантастичность проекта, невозможность изъясняться на одном из европейских языков, полное отсутствие финансовых ресурсов, ни то, что он вынужден оставить в неспокойной Финляндии троих детей... «Уже давно доходят слухи, что в Штатах ко мне относятся очень хорошо, когда-то меня приглашали в турне и сулили огромный успех, а сейчас случается, что неведомый мистер из Кентукки вдруг присылает мою книжку для автографа»[2]. «Бороться словом с большевиками» Леонид Андреев намерен не только лекциями, но и через печать: и в июле, и в августе он строчит множество писем, в одном из них — своему давнему знакомому, американскому журналисту Герману Давидовичу Бернштейну — наш герой опять-таки с обезоруживающей наивностью просит «помочь указанием или приисканием такого лица, которое взялось бы, при известных гарантиях с его стороны, организовать эту поездку»[3].

Что ж... Андреев — как и в прежние годы — «любил все огромное»: в письмах родственникам и знакомым все чаще встречается презабавная антиномия: «либо я войду в здешнее правительство, либо поеду в Америку». Не смущаясь тем, что ни один американский импресарио пока что не торопился с вызовом русского беллетриста за океан, наш герой садится составлять лекции для «почтенных янки». В это же время из Англии от Николая Рериха, — ставшего в последний год жизни его ближайшим другом, — приходит предложение — ехать в Лондон, чтобы некоторое время работать там, усилиями Рериха был намечен и план доставки Андреева с семьей из Гельсингфорса в Лондон на английском военном корабле. Собственно сам характер работы и ее цели были туманны, определенно

---

[1] Подробнее см.: S.O.S. С. 504.
[2] Там же. С. 316.
[3] Там же. С. 305—306.

Рерих сообщал лишь о том, что новый неведомый издательский «проект» будет финансировать некий, проживающий в Лондоне, состоятельный русский сахарозаводчик.

Оба этих фантастических плана моментально соединяются в голове Андреева. Он спешно пишет Милюкову, чтобы договориться о личной встрече в Лондоне на предмет «сверки часов» перед своим «миссионерским» турне по Штатам: «передо мною сейчас стоит целый ряд чисто политических вопросов, где мое личное до известной степени уже расходится с общим... здесь я хочу просить от вас указаний, т. к. глубочайше верю в ваше понимание и опыт...» Милюков отвечает, что будет рад встрече и даже посылает будущему «пропагандисту» 78 английских фунтов на «подъемные». О чем же хотел говорить Андреев с главой конституционных демократов? «Между прочим (это пока в секрете), — сообщает он Рериху, — в Лондоне и в Америке я хочу вести переговоры о создании некоей *новой* партии, которая (тише!) должна будет вместить в себя кадетов под несколько новой окраской...»[1] И что же? Этот воистину «маниловский» замысел очень быстро приобретает реальные очертания. 10 сентября, когда отъезд в Англию уже принципиально решен, Андреев получает обнадеживающую телеграмму из Нью-Йорка, кажется, его турне по Америке может состояться, но... Помните, как уехал в Америку один из героев Достоевского — Свидригайлов? Вот так и Леонид Николаевич: 12 сентября его не стало.

Так внезапно — на одном из интереснейших моментов — закончился диалог Андреева с Лениным и большевиками, диалог, начавшийся еще в окопах германской войны, когда над головами солдат летали не только выпуски «Солдатской правды», призывающие воюющих к дезертирству, но и листовки с воззванием Леонида Андреева, заклинающие, что вне победы — для них нет спасения... Был ли Леонид Николаевич выдающимся пропагандистом? И да, и нет. Его красивые формулы, зримые, порой — диковинные, порой — даже фантастические образы, думаю, оказались слишком сложны для тех, кому они были адресованы. Андреев был всегда честен. Так, объясняя русскому народу гибельность философии «пораженчества», Андреев безжалостно ставил перед ним зеркало. «Уже давно богаты, умны и свободны наши соседи, а мы все так же нищи, убоги, темны и невежественны, как во времена Рюрика; у них — пути и дороги, а мы все по пояс сидим в невылазной грязи», — писал он в «пропагандистской статье «Горе побежденным». К тому же Андреев слишком волновался, он не просчитывал,

[1] S.O.S. С. 325.

а проживал каждый свой текст и от этого его язык становился сбивчивым, он торопился объяснить, многословно доказывал каждый свой тезис, споря не только с воображаемым противником, но и сам с собою...

Но на полуграмотного русского мужика и рабочего гораздо большее впечатление производили схемы-плакаты УНОВИСа «Красным клином бей белых» или же «Окна РОСТА», доходчиво и зримо проводящие мысль, что все враги Советской республики — слабые, смешные и худосочные уроды, которых огромный, сильный и всегда и во всем правый русский рабочий (или крестьянин, или красноармеец) может смахнуть с земного шара, что называется, «одной левой». Увы, андреевские статьи и эссе производили впечатление лишь на читающую интеллигентную публику, но были недоступны для тех, кому, собственно, и были адресованы. Его агитация в принципе не предполагала мошенничества, автор не имел привычки «карикатурить» своих противников, вместо этого их «демонизируя»; не думал он и о технических приемах и конечно же проигрывал прекрасно отлаженной, знающей своего потребителя, бьющей в самой яблочко, талантливой и одновременно циничной пропаганде большевиков.

Однако этот многомесячный диалог с Лениным конечно же не был, да и не мог быть брошен «псу под хвост»; к весне 1918 года в голове Андреева вновь начинает шевелиться старинный замысел, и в последние полтора года писатель создаст роман, где его политический опыт будет реализован весьма неожиданным образом. Как мы помним, «вочеловечившийся Сатана» не дает покоя Андрееву еще со времен его итальянских странствий 1914 года. И — более того — в контексте поисков Андреева-беллетриста роман «Дневник Сатаны» был органичным продолжением давно уже осуществляемого цикла «Бог, Дьявол и Человек». Но опыт русской революции, я уверена, существенно повлиял на раздумья писателя о том, какая же участь ждет сегодня на Земле вочеловечившегося Дьявола, и — по мере развития замысла — все больше и больше пространства в тексте занимает некто Магнус — человек, что окажется в итоге «сатанее» прожженного Сатаны. В одной из трех советских рецензий на этот, вышедший в 1921 году в Финляндии, роман было совершенно справедливо замечено: «...в дневнике ни разу не упоминается “большевизм”, но речь идет только о нем»[1].

[1] *Нурмин.* Леонид Андреев: Дневник Сатаны. http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/29.html. Дата обращения 30.10.2011.

Остается недоумевать, как ухитрился Андреев — среди ужасающего, практически военного быта, нескончаемых политических «игр», нездоровья, денежных забот, бесчисленных переездов — сочинить и перенести на бумагу более двухсот страниц «Дневника Сатаны»? Когда он писал? В дневниковых записях автора «Дневник...» упоминается довольно скупо, ясно, что роман о том, как сошедший на грешную землю Сатана ведет человеческую жизнь в теле убитого им 38-летнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера — был сочинен в три приема: весной и осенью 1918-го и далее — весной 1919 года. Американца Генри Вандергуда, кстати, Андреев не выдумал: 7 мая 1915 года немецкой торпедой был потоплен английский трансатлантический лайнер «Лузитания», мир облетела весть, что среди простых смертных воды океана поглотили и мистера Альфреда Вандербильта, гражданина США, миллиардера.

Весной 1918-го роман шел туго, недовольный уже написанным, Андреев «тщетно ворочал мозгами» и наконец бросил начатое безо всякой надежды на возобновление. Однако уже в начале сентября автор «как-то, даже не думая собственно, а так как-то, точно со стороны, получил откровение». Он сел и переписал текст «от первого лица», то есть как дневник Сатаны. «Это дает мне тьму возможностей, — ликует писатель, — и из них главную: широко и ново поставить старый вопрос о маленьком, злом, ничтожном и несчастном человеке и его жизни. Как “Сатана” я могу сплавить и всю мою теперешнюю злость и мрачность»[1].

Герой «Дневника...» и вправду с первых же страниц романа презрительно относится к своему читателю — смертному, чей разум — «как нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба», впрочем, чего-то все же от этого смертного ожидая, недаром Князь тьмы влез в тесное тело Вандергуда и невыносимо страдает от морской болезни по пути из Америки в Италию... Вскоре Сатана сообщает землянам: «Мне стало скучно... в аду, и Я пришел на землю, чтобы лгать и играть».

В качестве сцены «скромный дебютант» избирает Вечный город именно в этом пространстве, там, где уже не первое тысячелетие царит главный его противник — Бог, начиненный дьяволом американский мистер начинает играть роль миллиардера, который «так полюбил других людей, что хочет отдать им все — душу и деньги». Сатана верно рассчитал: позиционируя себя меценатом, чья единственная цель — вложить свои миллиарды в доброе дело, он буквально на наших глазах

[1] S.O.S. С. 142—143.

превращается в — как сказали бы сегодня — «медийную личность» — о нем и только о нем пишут газеты, его посещают «государственные» люди, включая влиятельнейшего кардинала X. Князь тьмы отчаянно тешит самолюбие, издеваясь над просителями, читая им проповеди, раздавая советы министрам, ведя со священниками теологические споры. Своими действиями он точно пародирует «второе пришествие», время от времени удовлетворенно отмечая в дневнике: «Мне текут на поклонение не меньшие толпы, чем к самому наместнику Христа». Но кое в чем Сатана просчитался: главный его противник таился отнюдь не под сводами собора Святого Петра: еще в первые, проведенные на земле Италии, часы Сатана-Вандергуд и его спутник — молчаливый черт в черном сюртуке и цилиндре, что прибыл прямо из ада и поселился в теле Эрвина Топпи, секретаря миллиардера, — так вот — еще по дороге в Рим «нечистые» становятся жертвами железнодорожного крушения. Вот тут-то судьба приводит их — брошенных ночью на произвол судьбы в темном пространстве прекрасной Кампаньи — к скромному домику некоего Магнуса, человека таинственного, с темными, мрачными глазами и наглым, даже и с точки зрения чертей — неприличным взглядом.

На этом месте в октябре 1918-го Андреев совсем было забросил роман, но мысли о злосчастной судьбе Сатаны, видимо, не давали ему покоя. Весной следующего года он дает почитать неоконченную рукопись «русским Вандергудам» — Григорию Блоху и Анатолию Шайкевичу — бывшим акционерам «Русской воли», с которыми дружит теперь по-соседски. Воодушевившись восторгами читателей, Андреев и сам перечитывает рукопись и уже в конце марта 1919-го пишет Николаю Рериху, что закончит «Дневник Сатаны» недели через две. Судя по всему, Рерих предлагал писателю начать переговоры об издании романа в Лондоне, Андреев же рассуждает об издании, как о деле решенном, советуясь о расценках за лист. Видимо, весной или в начале лета он и доводит текст романа до логической точки.

Затворник Магнус, чье лицо — несмотря на «наглый взгляд» — внушает Сатане «отчаянную симпатию», потешается над мечтами «наивного филантропа из Иллинойса», а на вопрос: «Вы знаете, что нужно человеку?» холодно и угрюмо отвечает: «Ему нужны тюрьмы и эшафот». Однако Сатане так и не удается безнаказанно надувать и провоцировать Магнуса на споры о природе человечества: лицо внезапно вошедшей в комнату дочери хозяина — Марии заставляет Дьявола прекратить всякую игру. «Мадонна, которую люди видят только в церквах, на картинах, в воображении верующих художников.

Мария, имя которой звучит только в молитвах и песнопениях, небесная красота, милость, всепрощение и вселюбовь!» — вот что чувствует Вандергуд в присутствии девушки.

Некоторые исследователи справедливо видят в сюжете «Дневника...» вывернутого наизнанку «Фауста»: историю о том, как пришедший к человеку черт не только не смог его искусить, но поддался искушению сам: Мария искушает Сатану своей святостью и красотой. И, наконец, после долгой внутренней борьбы Вандергуд сломлен — у Сатаны обнаруживается сердце. Магнус же, мечтающий об особом человеке-динамите, то есть оружии, имеющем «волю, сознание и глаза», этот Магнус, выболтавший Вандергуду способ создания этого такого «человеческого динамита» — «Надо обещать человеку чудо», — ловит Вандергуда именно на этот крючок. Крючок внезапно вспыхнувшей — возвышенной и одновременно страстной — любви и использует андреевский Человек против андреевского Дьявола: пообещав Сатане — чудо: выдать за него деву Марию, Магнус переводит на себя все капиталы Вандергуда. После же он объявляет, чтобы тот убирался вон, тем более что «синьорина Мария» — ему не дочь, а любовница, и более того — «продажная тварь». Тем самым Магнус «взрывает» не только американского миллиардера из Иллинойса, он «вызывает» и самого Сатану. Некоторое время он не может поверить в то, «чтобы этот ясный взор, эта божественная поступь, этот пречистый лик Мадонны принадлежал проститутке», однако в конце концов Сатана с ужасом понимает, что оказался игрушкой в руках Человека.

Еще одна запись из дневника Сатаны отчасти приоткрывает намерения его победителя — Фомы Магнуса: «Уже давно мне нужны деньги, очень большие деньги. В моем прошлом, которое вам ни к чему знать, у меня были некоторые... неудачи, раздражавшие меня. <...> Моя энергия была схвачена и заперта, как воробей в клетку. Три года неподвижно сидел я в этой проклятой щели, подстерегая случай...» С помощью вандергудовских миллиардов Фома Магнус собирается «взорвать планету», причем отнюдь не лично, его способ — помочь людям реализовать те темные инстинкты, которые в них сидят: «Мы приведем в движение всю землю, и миллионы марионеток послушно запрыгают по нашему приказу: ты еще не знаешь, как они талантливы и послушны, это будет превосходная игра...»

Лично я уверена, что фигура Фомы Магнуса, обманувшего и ужаснувшего самого Сатану, рождается у Андреева из опыта двухлетнего диалога с тем, кто, по его мнению, осквернил и опоганил идею революции «в планетарном масштабе» — ко-

роче говоря, с Владимиром Лениным. Вообще же образ человека-динамита — бомбы с «глазами, ушами и сознанием» — еще одна пророческая идея Андреева, именно такие человеко-бомбы, начиненные не столько тротилом, сколько «верою в чудо», и взрываются ныне на улицах городов.

Очень часто «Дневник Сатаны» полагают неоконченным романом, действительно, рукопись по каким-то причинам не была отправлена в Лондон Рериху, и эта тема снова всплывает в сентябрьской — 1919 года — переписке Андреева. Он все еще «готовит роман к печати», намереваясь теперь издать «Дневник Сатаны» в США. Исходя же из собственной внутренней логики, произведение выглядит совершенно законченным: ни Магнусу, ни беспутной Марии, ни самому Сатане сказать более нечего. Последняя запись нечистого заканчивается весьма эффектным эпизодом: «Выпрямив грудь в разорванной сорочке, незаметно поддерживая рукав, чтобы он совсем не свалился, сурово и грозно глядя прямо в глупые и, как я верил, испуганные глаза мошенника Магнуса, я торжественно ответил:

— Я — Сатана.

Одно мгновение Магнус молчал и затем рассмеялся всем смехом, какой только может вместить пьяная, отвратительная человеческая утроба». Отсмеявшись, Магнус — этот, по мнению Дьявола, «волосатый червяк» — вызвал из коридора всех, кто был тогда на вилле, включая кардинала X.: «Идите сюда! Тут Сатана! Вочело... вочеловечившийся!»

И далее «словно сельский поп, пугающий своих невежественных прихожан», герой романа грозит смеющимся над ним людишкам «адом» и его дантовскими муками «литературного свойства», «вечным огнем», «неутолимой жаждой», «зубовным скрежетом», вызывая все новые припадки безудержного хохота, пока Фома Магнус жестом не останавливает веселье. Оставшимся за ним последним словом этот новый Бог и вовсе «добивает» Дьявола: «Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал. Понимаешь? Ты зачем пришел сюда? Играть, ты говорил? Искушать? Смеяться над нами, людишками? Придумать какую-нибудь новую злую игру, где мы плясали бы под твою музыку? Но так ты опоздал. Надо было приходить раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах. Я не говорю о себе, который так легко обманул тебя и отнял деньги... Не говорю о Марии. Но посмотри на этих скромных маленьких друзей моих и устыдись: где в твоем аду ты найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей? А они даже в историю не попадут, такие они маленькие».

Вероятно, ввиду этих, слишком уж прозрачных, аллюзий в стране «бесстрашных, на все готовых чертей», последний

роман Андреева не издавали долгие годы[1]: лишь во время перестройки массовый российский читатель получил этот — последний — художественный текст Леонида Андреева. Разумеется, главная «фишка» романа — вочеловечившийся Дьявол — не «сработала», поскольку мир давно уже знал булгаковского Воланда, и, кстати, этот «немецкий профессор», как считают некоторые исследователи, во многом наследовал андреевскому миллионеру Вандергуду. Да, встреча «Дневника Сатаны» с российской читающей публикой получилась негромкой, однако «роман итогов» Леонида Андреева все увереннее входит в круг его популярных текстов, и в XXI веке «Дневник Сатаны» уже неоднократно переиздавали. Любопытно, что напечатанный впервые — как уже говорилось — в Финляндии в 1921 году, буквально через два года роман был неожиданно инсценирован и воплощен на сцене бывшего императорского Александринского театра с — игравшим когда-то Тота — Романом Аполлонским в роли Магнуса.

Вернемся, однако, в Ваммельсуу. Разумеется, оказавшись в конце октября 1917 года в Финляндии, Андреев занимался не только общественно-политической деятельностью, эти — последние — два года его жизни омрачались не одной тоской по России, отнятой большевиками. Его семейству во многих отношениях приходилось туго: оставшиеся в банках капиталы Леонида Андреева были национализированы, писатель оказался отрезан от всех привычных источников заработка: театров, журналов, газет, издательств. Сама Финляндия, разделенная зимой 1918 года Гражданской войной, испытывала громадные сложности с продовольствием. Нет, деньги еще были: всем сотрудникам «Русской воли» после закрытия газеты было уплачено еще за три месяца, но уже и этой зимой Андреевым приходилось здорово экономить. «Была длинная и холодная зима — последняя, которую мы провели в нашем огромном и холодном доме. Не было дров, чтобы отопить все высокие комнаты, — вспоминала бывшая в 1918 году семилетней девочкой Вера Андреева. — В столовой, рядом с красивой изразцовой печью, была установлена маленькая железная буржуйка с черной некрасивой трубой. На буржуйке всегда что-то варилось. Чаще всего это был овсяный кисель — студенистая светло-коричневая масса, похожая на клейстер для обоев»[2].

---

[1] Впрочем, в «угар НЭПа» часть романа была-таки пиратски опубликована в альманахе «Костры». (М., 1922. Кн. 1.)

[2] Дом. С. 76.

Овсяный кисель и черный горох, которым раньше кормили коров, репа да мерзлая салака и составляли «рацион» огромной семьи. Картофель с молоком ели по праздникам.

Но так дело обстояло зимой и в начале весны, пока еще в семье были деньги, к началу же лета положение сделалось просто угрожающим. Особенно страдал шестнадцатилетний Вадим, его растущий организм не мог справиться с постоянным голодом, что отражалось и на его поведении, и на его психике. По ночам — а ночевал он в башенной комнате — подростку снилась еда, его подушку заливали слюни, а на рассвете, не выдержав, он порой тихо спускался в кладовую, «залезал в мешок с мукой и, набрав горсти две муки... возвращался обратно в башенную комнату». Разведя огонь в маленькой печурке, Вадим пытался неумело жарить лепешки на старой чугунной сковороде, но — не выдерживая и «обжигаясь, глотал сырое, местами обуглившееся тесто»[1]. Потом его конечно же тошнило от сырого теста, но этот опыт ничему не учил — на следующее утро — все повторялось снова.

Начинались белые ночи, голодные домочадцы уныло слонялись по дому и саду, за два часа до ужина собираясь у маленькой печки, и — как завороженные — глядели на кастрюлю, в которой варилась очередная клейкая масса... Андреев, страдая от голода сам, конечно же чувствовал ответственность за то положение, в котором очутилась семья. Резкий переход от богатства к бедности, начавшиеся — именно в тот момент, когда в доме заканчивались продукты, — бои между финской красной и белой гвардиями повергли отца семейства в состояние полной прострации. Пытаясь как-то сгладить мрачное настроение, царившее в доме в те дни, он рассказывал детям любимые им же самим в детстве романы Дюма-отца — про графа Монте-Кристо, или поразившие его когда-то истории Джека Лондона, или же просто, садясь со всеми за «овсяный кисель», задавал темы для веселой болтовни.

Голодали они почти все лето, записи в андреевском дневнике становятся все более угрожающими: 27 июля: «мы доедаем последние крохи», 31 июля: «стремительно лечу к банкротству, но даже не думаю об этом — только бы день прожить»[2]. Наконец, в начале августа был заложен начавшийся разваливаться, приспособленный лишь к жизни «на широкую» ногу темный бревенчатый замок в Ваммельсуу, и Андреевы сняли небольшую дачу с электричеством в соседнем поселке Тюрисево, сейчас это место называется Ушково. В семье появились

[1] Детство. С. 222—223.
[2] S.O.S. С. 110, 121.

какие-то деньги, а кроме того, — влиятельные и богатые знакомые: в Тюрисеве располагались дачи бежавших из России финансовых и банковских «воротил», семья писателя получает возможность «подписывать векселя» — так Андреевы начинают жить в долг. Появившийся внезапно «посланец от большевиков» — давний знакомый, совладелец «Шиповника» — З. И. Гржебин привез Андрееву предложение «друга Максимушки» — дорого продать свои сочинения для организованного под его началом издательства. Конечно же автором «Veni, creator!» это предложение с негодованием было отвергнуто: даже в отчаянном положении писатель не мог позволить себе взять деньги, где «каждая копейка в крови, каждый рубль — разрушение России»[1]. К счастью, кроме контракта с режимом «на все готовых чертей» Гржебин привез Андрееву и давний долг. Когда-то он подписал вексель на имя Андреева, то есть попросту взял деньги, повесив этот долг на писателя, и самое интересное, что Андрееву пришлось заплатить по этому векселю, то есть фактически Гржебин насильно взял у писателя в долг кругленькую сумму. Теперь же отданные деньги пришлись семейству Андреевых очень кстати, ибо они и сами жили в долг. Судорожные попытки Леонида Николаевича заработать «тысячи и миллионы» — став министром, либо уехав в международное турне — объясняются в том числе и отчаянным финансовым положением, в котором пребывала семья. И самым тяжелым в этом отношении был, конечно, 1918 год.

Парадокс, но, мысленно и душевно пребывая в России, физически Андреев сполна хлебнул от войн и смут в период становления финской республики: как известно, уже в ноябре 1917 года Финский сейм проголосовал отделение от России, а уже в декабре большевики отпустили страну «в свободное плавание». Однако тотчас на территории Суоми вспыхнула гражданская война: на юге — сформированная социал-демократами совместно с другими «левыми» Красная гвардия объявила Финляндию социалистической рабочей республикой, вынужденные бежать на север консерваторы с помощью немецких войск образовали Белую гвардию под началом Карла Густава Маннергейма. Всю зиму и весну Андреевы жили в «красной зоне», было совершенно неясно, есть ли на этой территории какой-либо закон, есть ли понятие частной собственности, есть ли вообще какие-либо понятия. Два раза красногвардейцы приходили на виллу с обыском, они держались вежливо, но — как писал Андреев в дневнике — ничто не помешало бы им пристрелить кого-то из домашних, если б они того захотели. С другой стороны, граница с Россией была открыта, рабо-

[1] S.O.S. С. 148.

тала почта, и зимой 1918-го года к Андреевым все еще приезжали родные, да и сами они порой — ездили в Петроград.

Война между Красной и Белой гвардиями — первая война, которая подошла в 1918 году непосредственно к «замку герцога Лоренцо». «В нескольких верстах, приближаясь, идет жестокое сражение, — наскоро сообщит Андреев дневнику 23 апреля. — По-видимому, бой идет уже возле самой станции Райвола (нынешнее Рощино. — *Н. С.*). <...> Страшно за детей. День солнечный, жаркий и они играют в песке»[1]. Вадим же вспоминал, что в этот апрельский день, когда шли последние бои наступающего войска Маннергейма с красногвардейцами, они с отцом просидели в «башне», тщетно всматриваясь в черноту райвольского леса, пытались угадать исход боя. На этот раз бой — к счастью — так и не докатился до виллы Андреева. Семья пережила приход «белых», взрыв красноармейцами форта Ино, который все домочадцы наблюдали из окна, закрытие границы с Россией. Да, белые принесли с собой старые законы и такое важное для семьи право собственности на землю и дом, однако — как русские — Андреевы потеряли «вид на жительство», некоторое время даже ходили слухи о выдворении из страны всех российских подданных, но в конце концов они и подобные им получили статус беженцев без права свободного передвижения по стране. Этот статус превращал их в Робинзонов — для поездки в Гельсингфорс требовалось всякий раз «особое разрешение».

«Живем мы совершенными Робинзонами, и это было бы невыносимо, если бы не дети, — записывает Андреев в дневнике в те страшные дни. — Вот, кто придает смысл даже этой жизни, и только теперь, за этот каторжный год, я оценил их значение. Останься мы только взрослые: мать, Анна, Наташа и я, было бы глупо до ненависти друг к другу, до невозможности смотреть в глаза от стыда и бессмыслицы. С детьми мы составляем, сколько нас ни мало, целое человеческое общество, человечество, со всеми возможностями, в него заложенными: бессмертием, преемственностью и жизнью идей, совершенствованием, любовью, ревностью, страданием и гениальностью»[2].

Случилось так, что в последние годы Андреев жил бок о бок со своими детьми, вынужденный кормить, лечить, «карать и миловать» их в буквальном смысле этого слова. В больше-

[1] Там же. С. 145.
[2] Там же. С. 85.

вистской России осталась лишь старшая дочь Анны Ильиничны Нина, девушка жила с бабушкой — матерью Анны и была предметом постоянного беспокойства Андреевых. «Нянькой» у младших — девятилетнего Саввы, восьмилетней Веры и шестилетнего щуплого Тинчика-Валентина — была «тетя Наташа», вдова умершего в 1916 году брата Андреева — Всеволода. Не имея своих — сын Игорь умер совсем маленьким, — она переехала воспитывать андреевских и уже несколько лет «управляла хозяйством» на вилле. Сначала «тетя Наташа» ловко распоряжалась целым отрядом нянек и гувернанток, но с 1918 года в доме Андреевых не осталось никого из служащих, за исключением дворника Микки и его жены, и вот тогда-то на плечи этой женщины упала вся ответственность за бытование и воспитание младших. «Учителем» для них стал уже почти окончивший гимназию Вадим, в последние два года старший брат выучил младших грамотно писать по старой русской орфографии и привил им любовь к книгам. Анна Ильинична же, по мнению Андреева, была отчаянно плохим воспитателем, хотя Вера Леонидовна частенько пишет «о строгих маминых глазах», судя по всему, взвалив на себя стратегические вопросы: борьбу с голодом, холодом и постоянно угрожающей нищетой, с головой уйдя в «продовольственные комбинации», она просто самоустранилась от вопросов воспитания. Андреев же, никогда не умевший самоустраняться, когда на его глазах происходило что-то несообразное, бросался в бой, правда, не всегда выходя из него победителем. Воспитывать троих младших детей оказалось делом нелегким. «Дети настолько одичали, — пишет он осенью 1918 года, — что скоро вместо гувернантки (которой мы никак не можем найти) потребуется миссионер, которого они съедят»[1].

Савва был, как уже говорилось, замечательно красивым ребенком, смуглым, с карими глазами. Когда-то из Италии Андреев писал матери, что прохожие останавливаются на улицах и любуются красотой мальчугана, как когда-то любовались его — Ленушиной — миловидностью. Но — будучи любимцем родителей, рос этот парень невероятно избалованным и если уж был чем-то недоволен — устраивал форменную истерику: бросался на пол, вопил, разбрасывал вокруг себя игрушки. Как-то раз, еще трехлетним ребенком, когда родители взяли его в Орел, Савка уселся посреди проезжей улицы и никак не хотел переходить ее вместе со старшими. Отец же не стал настаивать и проследовал дальше, оставив «Сапотосика» сидеть в пыли. Оказавшись в одиночестве, мальчуган быстренько утер слезы

[1] S.O.S. С. 257.

и побежал за родителями. Был он всегда предельно честным, но отчаянным, готовым на безрассудные шалости. Как-то раз, гуляя по берегу залива, ребята набрели на выброшенный на берег красный металлический шар — немецкую подводную мину. Именно Савка чуть было не погубил младших брата и сестру, да и себя самого: найдя огромную палку, он уже занес ее над детонатором мины, торчащими сверху кусками проволоки... И лишь грозный крик отца: «Стой! Выпорю!» — удержал «любимчика» от рокового удара.

Да — когда детки подросли, и Савва стремительно превращался в подростка, — у отца уже недоставало «воспитательных приемов», и он постоянно сетовал, что кроме «угла» и «порки» воздействовать ему на молодняк, в сущности, нечем. Особенно доставалось Тинчику — маленький и белобрысый, этот младший отпрыск рос, судя по всему, ужасным обормотом, причем еще и хитрющим, старающимся в любом случае «замести следы преступления». С упорством, достойным лучшего применения, Тинчик, например, всякий день охотился за немногими, оставшимися у Андреевых петухами и курами, хватал их и сбрасывал с крыши сарая, чтобы — как он признавался потом отцу — «научить петуха летать». Поскольку отец частенько ставил его в угол, в доме Тина называли «угловым жителем». И все же, несмотря на «силовые методы», применяемые Андреевым, дети конечно же обожали отца, поскольку, втянувшись в их игры, он делал их мир фантастически интересным. Но — это были невероятно шумные и варварски активные дети, постоянно ищущие новых приключений, что в обстановке, приближенной к боевой, было совсем небезопасно, и конечно же эта троица порой изрядно утомляла Андреева.

Иные отношения складывались у отца со старшим Вадимом. Уже заявляющий к тому времени о своей автономности старший сын понемногу заинтересовал Андреева. «В нем избыток отвлечения, и не хватает чувства жизни, ее простых прелестей. Пишет наивные стихи и вкривь и вкось разъезжает по литературе. И все стоит на самолюбии — отсюда война со всеми и против всех. Есть в нем что-то непрочное от Шуры, она также жила без корней как сосенка на граните». Сын же считал в те годы, что власть отца над ним — безраздельна, и эта власть была для него «приятна и радостна»[1]. Они спорили о поэзии Блока, которым зачитывался в те годы Вадим. Временами «бунтуя», старший сын был полон любовью к Андрееву, оставаясь для него в те годы одним из немногих постоянных собеседников. Вадиму, как писал он сам, потребовалось еще

[1] Детство. С. 237.

много лет, личный опыт эмиграции, войн и потерь, чтобы «выйти из-под власти отца». В первые годы своих скитаний в единственном, выданном финской администрацией, документе в графе «профессия» у него было записано «сын Леонида Андреева»...

Еще одним столпом, на котором держалось это семейство, была конечно же матушка Анастасия Николаевна. Этот «Рыжий Неугомон», этот вечный ординарец Леонида Андреева, днем и ночью стоящий наготове со стаканом крепко заваренного чая у дверей кабинета, — и теперь терпеливо и трепетно нес свою вахту. Любовь между матерью и сыном находилась на том же, что и всю его жизнь, высоком градусе. Еще в начале 1918 года «мамаша» уехала в Петроград навестить детей — Римму и Павла — и там заболела крупозным воспалением легких, заболела серьезно: по словам докторов, каждую минуту можно было ожидать ее смерти. Андреев, несмотря на угрозу ареста, тайно приехал в Петроград и провел несколько недель у ее постели. Когда же угроза жизни Анастасии Николаевны, по счастью, миновала, сын, вернувшись в Ваммельсуу в феврале, часто писал оставшейся у сестры и еще очень слабой, но рвущейся к «Коточке» матери, умоляя ее задержаться в Петрограде, пока не окрепнет.

К счастью, мать успела вернуться в начале апреля, еще до закрытия русско-финской границы, чтобы уже не расставаться с «Ленушей» до самого рокового дня его смерти. «Дорогой сын мой Леонид Виликий писатель Вот уже менула 20 лет с того счасливого дня когда мы все радовались твоему таланту Но я не образованная мать Радовалась еще раньше когда ты написал и в Орле была напечатана твой рассказ»[1]. 8 апреля 1918 года на вилле скромно отмечали двадцатилетие творческой деятельности главы семейства, и Анастасия Николаевна, волнуясь, прочла по бумажке написанную в ее обычной манере не вполне грамотно изготовленную «речь». Как мы уже знаем, эта любовь матери к Ленуше была более чем взаимна, в одном из писем сын признавался матери, что она — «единственная женщина, которую я люблю неизменно», а собираясь в Англию и Америку перед самой смертью, он настойчиво хлопотал о визе для «Милого Дьявола»...

Победа «белых» в Финляндии оборвала связь Андреева с братьями, сестрой и живущим в Москве сыном. Их последние свидания приходятся на начало 1918 года. Еще в конце 1917-го — после полного развала русской армии в Ваммельсуу приехал младший брат Андрей — уставший от войны, злой от

[1] S.O.S. С. 251.

всего, что происходило кругом. На Рождество прибыл и брат Павел, семья все еще воспринимала виллу Андреевых общим домом, над большим дубовым столом пока еще витал дух многолюдных собраний... Андрей прожил в семье около месяца, отоспался и отдохнул и — как только на Финском заливе установился санный путь — отправился обратно в Петроград, а оттуда — на восток, в белую армию. Каким-то образом удалось получить от него пару открыток, но в 1919 году вестей уже не было... С Павлом и Риммой Андреев общался зимой 1918-го в Петрограде, потом он узнал, что «ветреная Риммочка» с детьми уехала в более сытый Нижний Новгород, где вскоре родила еще одного сына, Кирилла, чьим крестником согласился быть именитый дядя. Ее муж, «милый Дрюнечка», был тогда предметом особого беспокойства семьи: революция застала Оля на юге империи, очень редко приходили весточки — то из Карса, то из Баку. Судя по письмам Андреева, с братом Павлом во время последних встреч возникли у него политические разногласия, тот как будто даже собирался записаться в Красную армию и вообще настроен был пробольшевистски. Но семья еще связана, и связана очень крепко, как это всегда бывало, на лето Андреев планирует пригласить в Ваммельсуу племянников... Он получает письма от Добровых, волнуется за здоровье Филиппа Александровича, услышав, что тот заболел тифом... Пройдет год — и он, и мать будут только гадать, что происходит с Риммой и Павлом, Добровыми, жив или уже убит Андрей...

Эти тревоги имели реальные основания. В начале последнего андреевского лета кто-то из беженцев передал Леониду Николаевичу записку из Петрограда. «Дорогой брат, — писала Римма, — спаси моих детей и меня от голодной смерти. Сделай все, что можешь, чтобы взять нас к себе. Умираем»[1]. Андреев немедленно подал прошение в сенат с просьбой разрешить въезд в Финляндию его сестре и детям. Но ответа так и не дождался — такие бумаги, как правило, нуждались в постоянных личных хлопотах... Забегая вперед обрадую читателя: сестра и племянники писателя не только выжили, но и соединились в конце концов с вернувшимся в Петроград Андреем Андреевичем Олем.

Суженный семейными рамками круг общения Андреева несколько «раздвинулся» к осени 1918-го, когда семья переехала в Тюрисево. Леонид Николаевич попадает вдруг в общество, как сказали бы теперь, российских «олигархов» — финансовых и промышленных «воротил», сбежавших и, кстати, сумевших вывезти из России свои капиталы. Привычного —

[1] Там же. С. 383.

«андреевского круга» — интеллигенции и «братьев по перу» вокруг него почти не осталось, иногда общались с живущими в Нейволе Фальковскими, в 1918 году несколько раз приезжал из Гельсингфорса Николай Рерих, но и тот — вскоре уехал в Англию. Приходилось налаживать контакты с «колонистами», вызывающими у Леонида Николаевича весьма противоречивые чувства: «легкомыслие, наивная самовлюбленность, дурное воспитание, наряды, крикливость, в то же время некоторый природный ум и доброта»[1] — такой виделась ему ближайшая соседка — Мария Вальтер, жена Николая Григорьевича Вальтера — довольно богатого пожилого юриста, бывшего когда-то главой Петроградской городской думы. В доме Вальтеров Андреевы познакомились и с Самуилом Лазаревичем Гуревичем, лесопромышленником, человеком весьма необычным, одновременно богатым и щедрым, именно он немедленно предложил писателю финансовую помощь. С этой семьей Андреевы быстро сдружились и даже провели несколько недель в их имении на Ладожском озере летом 1919 года. Сошелся Леонид Николаевич — как уже писалось — и с бывшими акционерами «Русской воли». Живущий по соседству Григорий Блох и сам тогда сочинял стихи, а потому был весьма заинтересован в общении со знаменитым писателем. Он прочел все последние тексты Леонида Николаевича и рассыпался в комплиментах, от которых писатель давно отвык; возможно, ему и Ефиму Шайкевичу мы обязаны тем, что «роман итогов» — «Дневник Сатаны» — оказался все же написанным.

Для «тюрисевского общества» Леонид Андреев оказался настоящей находкой, общения со знаменитостью искали многие: «Живу я сплошь на людях. Мне нравится», — запишет Андреев в сентябре 1918-го. По вечерам тюрисевский «высший свет» собирался у кого-то на даче, где и начиналась бесконечная карточная игра. «Не можете себе представить, каким я сделался здесь карточным игроком, только и думаю о картах» — действительно, игра в винт стала нешуточным увлечением Андреевых, когда не было общества, он, мать и Анна Ильинична играли втроем, в семье шутили, что поглощенность карточной игрой принимает у Анастасии Николаевны размеры, «угрожающие для семьи».

Но вращение в «высшем свете» приносило и более серьезные плоды, именно здесь, поощряемый новыми знакомыми, Андреев написал «S.O.S.», его соседи по Тюрисеву отчасти и спровоцировали его амбициозные планы занять пост министра печати и пропаганды в Северо-западном правительстве.

---

[1] S.O.S. С. 150.

Одним из соседей Андреевых оказался Владимир Николаевич Троцкий-Сенютович, этот довольно состоятельный промышленник был заметной фигурой в политической жизни русской эмиграции северо-запада, работал он и в Политическом совещании, имел некоторое влияние и во Всероссийском правительстве Колчака. Вадим оставил его не слишком-то доброжелательный портрет: этот «высокий расплывающийся старик» постоянно носил корсет и даже в деревне появлялся среди сосен в черном, наглухо застегнутом пальто и с тросточкой. Владимир Николаевич мог стать для Андреева во всех отношениях весьма полезной фигурой, тем более его дом находился в двух шагах от дома Андреева, но их тесному общению помешали «дела сердечные» — писатель неожиданно влюбился в жену «олигарха» — Веру Петровну. По первому впечатлению «молоденькая жена какого-то крупного банкира» Верочка напомнила писателю его Екатерину Ивановну: «цветы и костюмы, трое кукольных детишек при англичанке, молодость, одиночество и пустота существования при тяжелом и вечно занятом муже». Узнав ее лучше, Андреев находит в «молоденькой жене банкира» черты тургеневской героини.

В отношении Андреева к Вере Петровне с самого начала есть что-то снисходительное: «ко мне она протянула тысячу тонких щупальцев». Еще до переезда в Тюрисево он начинает посещать «богатую» дачу Троцкой-Сенютович, где ведет с хозяйкой «странно интимные разговоры вокруг души и любви»[1]. Знавший о «романе» отца Вадим и сам, как мне думается, был влюблен в Веру Петровну: посещая ее дачу, Андреев частенько брал с собой старшего сына, и «понемногу между нами троими создалось совершенно особенное, молчаливое соглашение»[2], — вспоминал Вадим.

Сын оставил миру весьма поэтичный портрет «последней любви» стареющего волокиты, эта женщина «была полна петербургского очарования, которое рождается с белыми ночами», Вадиму она представлялась, вероятно, женским существом, вышедшим из блоковской строки: «платье на ней не сидело как на других — оно ложилось струящимися длинными складками, и от этого вся ее фигура казалась легкой и бесплотной». Молодому человеку казалось, что она «не шла, а взлетала» и еще несколько шагов — «и она, отделившись от земли, поплывет по воздуху»[3]. Но едва ли столь сильный поэтический восторг вызывала Вера Петровна у отца. «Чем-то она входит

[1] Там же. С. 108.
[2] Детство. С. 248.
[3] Там же. С. 247.

в мою душу», — пишет Андреев через несколько месяцев после знакомства. Заметим, что всегда влюбляющийся молниеносно Леонид Николаевич на этот раз не торопится, разгадка — опять-таки в его дневнике: «Похоже на то, что она любит меня». Уже основательно изучив сердце нашего героя, мы понимаем, что тихая взаимная любовь никогда не привлекала нашего героя, ему необходим был «пожар сердца», а сильную страсть рождало в нем лишь осознание невозможности быть любимым. Так, дав писателю понять, что его чувство может стать взаимным, Верочка упустила свой шанс быть любимой. «Я не люблю ее, — признается Андреев сам себе, — но моя жалость и нежность к ней доплескиваются почти до любви»[1]. Бывая в доме Сенютовичей, Леонид Николаевич начинает жалеть и Владимира Николаевича — мужа Веры, который, кажется, очень любит свою жену. И когда Вера Петровна все же последовала за мужем в Стокгольм, Андреев, вероятно, испытал некоторое облегчение...

Интересно, что это едва зародившееся и тут же угасшее романтическое чувство отнюдь не ссорило мужа с женой, не неся угроз их «устоявшемуся браку». Но вот — новая, короткая и горькая влюбленность Андреева в Евгению Платоновну Эдуардову-Давыдову, бывшую балерину Мариинского театра и будущего довольно известного балетного педагога, вызвала целую бурю в семействе Андреевых. В ноябре 1918-го Андреев впадает в обычную для себя любовную горячку: живущая в Райволе балерина каждый день приезжает в Тюрисево, где ведет театральную студию, он же, судя по дневнику, тоже начинает посещать студию, видятся они и на многочисленных вечерах у общих знакомых. К концу третьей недели знакомства Леонид Николаевич признается: «в меня вступили молодость и любовь». «В ней есть от искусства, от танцев, от сцены и кулис с их красивым и горячим туманом, от той жизни, что дают огромные деньги и успех — она богата и поклоняема», — пишет он о Евгении в «дни надежды». Как ни странно, эта женщина не так уж и молода, ей — тридцать шесть, за плечами — одно замужество, и ее бывший муж — композитор и банкир — все еще при ней, ну а кроме того — присутствуют и поклонники: от юношей — до «богатых старичков». Андреев, который уже давно тайно ждет «новую любовь», считая ее избавлением от смерти, испытывает «непрерывное и тяжелое волнение, темное и непонятное»[2].

Коварная Евгения откровенно «влюбляет в себя» известного беллетриста и сознательно доводит ситуацию до объясне-

---

[1] S.O.S. С. 153.

[2] Там же. С. 161, 162.

ния: «Я прощаюсь внизу, у лестницы, но она говорит: пойдемте ко мне, я отдам книгу. И весь шум остается внизу, а я вверху, в комнатах, которых я не знаю, в ее комнате. И здесь я говорил ей ты и что-то очень нежное, о любви говорил, поцеловал ее волосы, поцеловал глаза. Она слегка отклонялась, принимая, а потом, как говорят в романах, губы наши сблизились»[1]. Эту-то дневниковую запись и прочла обеспокоенная откровенными ухаживаниями мужа за Эдуардовой-Давыдовой Анна Ильинична. Жена немедленно «приняла меры»: она не только устроила мужу сцену, но и рассказала, что Евгения Платоновна уже давно влюблена в некоего состоятельного англичанина, за которого и собирается выйти замуж. Не прошло и двух дней — и сама Евгения дала понять влюбленному беллетристу, что не выделяет его из толпы поклонников... «И чувствами моими была точка, стыд и прежняя тупая скука жизни»[2].

Интересно, что, описав в дневнике свою «любовную горячку», Андреев спустя несколько дней «выливает» на страницы многословные рассуждения об отношениях с собственной женой — Анной Ильиничной. Они напоминают отчасти юбилейный тост: «она — мой лучший и единственный друг, с которым мне всегда интересно и важно говорить о жизни ли, о моих ли произведениях и планах». Судя по всему, ему надо было срочно налаживать семейные отношения, и Андреев старательно заглаживал свою вину перед супругой, которая наверняка прочтет и эту запись от 8 декабря 1918 года. Думаю, самолюбие Анны Ильиничны было удовлетворено, ведь в «послании» мужа говорится о том, что «одна только мысль об измене Анны или ее нелюбви мгновенно может вытолкнуть из меня все остальные чувства, привести меня в состояние безумия»[3].

Что ж, судя по всему, в течение двух последних лет его семья — единственная постоянная величина в жизни Андреева: его «тыл», его круг, источник постоянной заботы о его быте и о его здоровье. А если верить дневнику и письмам, здоровье это в течение двух лет было чудовищным, парадокс — но как только к нему пришли серьезные болезни, исчезла возможность лечиться по-настоящему. Ужас от надвигающихся головных болей померк перед страхом за больное сердце. Сердечные боли и «перебои», уже мучительные в 1918 году, в конце концов и свели Андреева в могилу. Одышка одолевала его давно: летом 1917 года он уже не мог одолеть крутой подъем по лесснке — от пристани на Черной речке до собственной виллы. Первый сердечный припадок случился холодной

[1] Там же. С. 166.
[2] Там же. С. 164.
[3] Там же. С. 165.

осенней ночью 1918 года — в Тюрисеве, и после него Леонид Николаевич несколько дней не вставал с постели. Думаю, это и был первый инфаркт; Вадим вспоминал, что отец так и не поправился по-настоящему: «в течение целого года, до самой своей смерти он оставался полубольным, уставая от одного присутствия маленьких детей, от совсем небольших прогулок или от внезапной перемены погоды»[1]. Андреев сильно похудел, заострились черты лица, вокруг глаз появились морщины. Он снова отрастил волосы. Одна из последних фотографий представляет «подлинный лик индусского мудреца, хранящего тайны» — таким увидел Андреева Рерих за год до смерти писателя.

Но к лету 1919-го Леонид Николаевич вдруг ощутил, что болезнь немного отступила, появились энергия, желание работать... Семья, уже не найдя сил жить в огромном «замке герцога» даже летом, снимает небольшую удобную дачу на берегу залива в том же Тюрисеве. Этот каменистый берег очень нравится Андрееву. Оптимизм рождается и от политической ситуации — готовится грандиозное наступление Северо-западной армии на Петроград, со своего финского берега Андреев может наблюдать пока что «бои местного значения»: вот загорелся форт Красная Горка, гарнизон которого, по слухам, перешел на сторону белых, вот — отбиваясь от белых, горит Кронштадт... На всем побережье царит «военное настроение», Юденич ведет с Маннергеймом переговоры о возможности наступления на Петроград через Финляндию, о формировании здесь военных частей. Большевики не остаются в долгу, нанося упреждающие удары: в ночь с 6 на 7 сентября над домом Андреевых появляются два аэроплана с красными звездами на крыльях.

Проснувшись на рассвете, Андреев слышит явственное жужжание, выйдя на балкон, понимает, что где-то рядом, почти над головой шумят пропеллеры. «И вдруг справа огромный тупой и короткий удар-разрыв. И через полминуты — второй, такой же огромный, тупой и короткий»[2]. Где-то рядом слышна стрельба, перепуганные, полураздетые — из своих комнат выскакивают домашние, а Леонид Николаевич уже стоит на балконе и долго смотрит в бинокль на удаляющиеся бомбардировщики... Не знаю, читал ли он пьесу Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца»... но картина эта откровенно напомнила мне ее финал.

На следующий день в одной из финских газет появилась малюсенькая заметка: «В воскресенье утром 7 сентября в 4.10 мин

---

[1] Детство. С. 241.
[2] S.O.S. С. 191.

два большевистских самолета сбросили бомбы на вокзал в с. Ино и на железнодорожный мост в с. Ваммельсуу, не попадая однако в цель. Персонал вокзала разогнал летчиков метким ружейным огнем»[1].

В дневнике же Андреева эта запись — о розовевших над морем облачках и гуле приближающихся бомбардировщиков — окажется последней. В тот же день семья спешно перебралась подальше от моря — в деревню Нейвола (ныне — Горьковская), разместившись на просторной даче давнего друга Андреевых — писателя, критика и когда-то директора Нового театра — Федора Николаевича Фальковского. Его дом стоял на холме над огромным озером Ваммельярви — теперь это Гладышевское озеро. Предполагалось, что Вадим этой зимой отправится в Гельсингфорс, где и закончит русскую гимназию, свояченица Наташа с младшими — Верой и Тином — проведут зиму у Фальковских, ну а Андреев — с «мамашей, Анной и Савкой» — в конце сентября отправится в заграничное турне. Дом Федора Николаевича с огромным садом, где в тени деревьев располагались бесконечные сараи, стоял среди леса, в глуши, от станции Нейвола туда нужно было ехать на телеге.

«Мне стоило немалого труда найти подходящий дом на окраине столицы. Люди там... (*неопределенно показывает рукой*)... а в эту и в эту сторону пустыня и ночь», — хвастался както герой «Реквиема» — одной из последних, так и неизданных при жизни пьес Леонида Андреева. Действительно — место действия для последней картины жизни драматурга было выбрано идеально. Погода же 12 сентября стояла неважная — ветреная, холодная, хотя и сухая.

Передо мной лежат сейчас три свидетельства о смерти моего героя, и все три, вероятно, правдивы. Непосредственным свидетелем была лишь Анна Ильинична. Маясь головной болью от самого утра, волнуясь о том, что никак не может засесть за лекции для «почтенных янки», Андреев поручил ей перепечатать несколько отрывков из своего дневника, надеясь, что эти старые рассуждения о сущности революции помогут начать работать. «Он ходил по кабинету в чесучовой своей куртке, такой взволнованный и милый, говорил после мучительного обдумывания и вывода, что у него нет сил на работу»[2]. Решил прилечь, спросив предварительно стакан чаю... Анна Ильинична успела заложить чистый лист в пишущую машин-

---

[1] Цит. по: S.O.S. С. 468.

[2] Леонид Андреев: Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 101.

ку и напечатать несколько строк, когда из спальни ее позвал муж: Аня! Она вбежала в комнату, Андреев стоял у кровати. Сказал, показывая на сердце: тут что-то схватило! «Упал, и через два с половиной часа его не стало»[1].

...Отец обедал один, сидел перед огромным столом в бархатной темно-зеленой куртке, шея была замотана коричневым шарфом. Когда сын зачем-то вошел в столовую, Андреев доедал грибной суп. После обеда — а было около трех часов — он решил прилечь и Вадим увел детей в лес, чтобы те не будили отца своими криками. Вернулись через час. Удивившись, что окно в спальне открыто настежь, Вадим зашел в дом. Первое, что услышал — причитания и плач. Первое, что увидел — ходившую по коридору Анастасию Николаевну с бронзовым подсвечником в руках. «Коточке очень плохо», — объявила старшему внуку бабушка и завыла. Дверь в отцовскую комнату была закрыта изнутри. Выйдя из дому, Вадим заглянул в окно спальни: укрытый одеялом отец лежал на ковре. Дышал тяжело, «с глухим протяжным хрипом». Его ладонь ритмично сжималась и разжималась. Лицо было искажено судорогой. Перед ним на коленях стояла Анна Ильинична. Не оборачиваясь к Вадиму, она велела ехать за доктором. Несколько часов на отцовском велосипеде он кружил по окрестностям. Уже стемнело, когда «на узкой, обитой клеенкой линейке»[2] Вадим привез в Нейволу найденного по чистой случайности военврача. Но отец уже умер.

...Вера, Тин и Савка в тот день — как всегда — играли за сараями в прятки, к дому их заставил бежать непривычно громкий крик тети Наташи... Вера влетела в столовую. По комнате, ломая руки, с безумным видом быстро ходила бабушка. Она кричала: «Кормилец ты наш, на кого ты нас оставляешь!» На дальней веранде на диване плакали, обнявшись, Савва и тетя Женя Фальковская. Мамы не было нигде. Ни один человек не обращал на Веру ни малейшего внимания. Она ясно понимала, что отец ее теперь умирает, и чувствовала стыд оттого, что не смогла выжать из себя пока ни единой слезинки. Вдруг старший брат Савва оттолкнул тетю Женю, вскочил и закричал, сжав кулаки: «Вся Россия будет о нем плакать!»[3] Девочка мысленно повторила фразу, и моментально слезы покатились из огромных Вериных глаз.

Все это, разумеется, очень грустно, однако того, что интересует меня более всего на свете, невозможно обнаружить ни

---

[1] Леонид Андреев: Далекие. Близкие. Цит. изд. С. 101.
[2] Детство. С. 264.
[3] Дом. С. 105.

в одном из этих рассказов. Смерть — эта любимейшая героиня Леонида Андреева, смерть пришла в его дом, шумно хлопая окнами и дверьми. Среди бела дня смерть вошла в его комнату как в свое собственное жилище. Она отыскала его в доме, стоящем посреди леса вдалеке от дорог, она позволила ему умирать среди причитаний и плача, она даже немного помедлила, дав пару часов, чтобы он выслушал этот плач, а может быть, просто ждала, чтобы он осознал, что она пришла? Что ж... столько раз впускал он ее на страницы своих сочинений, что — думается — они уже давно привыкли друг к другу. И он с радостью и облегчением впустил ее в свое уже изрядно разбитое сердце. Но, возможно, я ошибаюсь и, повинуясь инстинкту жизни, Леонид Николаевич судорожно вдыхал холодный лесной воздух и молился, чтобы поскорее приехал врач?

Всего три года назад была написана им эта странная пьеса — «Реквием», где неизвестный в маске заказывал директору театра спектакль-реквием, где призраки должны были играть на сцене, а размалеванные деревянные муляжи зрителей — внимать им из зрительного зала. Директор же — единственный герой, о котором можно было сказать, что он-то — из плоти и крови, — и тот в конце концов сомневался, а жив ли он: «Вот я заплачу сейчас, закричу громко, пожалуй, стану рыдать — и никто меня не услышит. Я здесь один. И крик мой будет как у спящего: не услышит его даже подушка, и если к самому рту наклониться ухом, то и тогда не услышишь: в себе самом кричит спящий» — за судорожными сборами « в Америку», за бессмысленной карточной игрой, за ставшими обыденностью обстрелами и бомбардировками, за невозможностью разговаривать с теми, с кем привык — уже многие месяцы и дни жил в Леониде Андрееве этот когда-то пророчески написанный крик *живого*, кто вынужден жить среди *мертвой* материи: «Может быть, и мертвецы стонут в своих могилах, а на кладбище тихо. Кто знает? Может быть, и я давно уже умер, а все это только грезы моего мертвого мозга... или той пустоты, которую он населял. И проходит с фонарем сторож по кладбищу и думает: как тихо в моем поместье, присоединю-ка и я мой сон к их вечному сну». Возможно, именно этот монолог вспомнил теперь умирающий Андреев?

Увы, мы уже никогда не узнаем, о чем думал и что чувствовал, увидев Смерть, наш герой. Смерть, что когда-то смотрела на него из черных зрачков Елеазара, что сидела у изголовья постели больного Дьякона, что неслышно вошла в камеру Янсона и искала его в темноте, шаря руками, — вот теперь она подошла вплотную и взяла за руку Леонида Андреева. Домашние говорили, будто бы умер он с улыбкой, а лицо его — помоло-

дев лет на двадцать, сделалось необычайно красивым. Значит, он был рад этой встрече? И не особенно грустил об оставленном на земле? А может быть, напротив, немедленно проклял смерть и пожалел, что при жизни бессмысленно потратил на эту дуру лучшие годы *жизни*? Возможно, он спорил с нею и даже кричал — «в себе самом»? Доподлинно известно лишь то, что ушли они вместе: официальное свидетельство о смерти было выписано в тот же вечер доктором, тем самым, которого привез на дачу Вадим: «Сим удостоверяю, что Леонид Николаевич Андреев скончался от паралича сердца 12-го сентября 1919 года в шесть часов вечера в Неволя, дача Фальковского близ станции Мустиамяки»...

Писателю, что «присоединил свой сон к вечному сну», было 48 лет.

Эпилог. 1919 — ...

БЕСПОКОЙНЫЙ ПРАХ

Два перезахоронения. Смерть матери. Бегство Вадима. Эмиграция семьи. Два брата. Наследники и наследие. Посмертный сборник. Годы забвения. Возвращение и восхождение к славе. Так уж ли был он необходим — писатель Леонид Андреев?

Как-то раз Даниил Хармс сделал предположение, что иные покойники — они скорее «беспокойники»... Таким вот «беспокойником» оказался и наш покойный Леонид Андреев. Неожиданный приход смерти стал истинным испытанием для его семьи: в ту же ночь едва не повесилась «мамаша»: Анастасия Николаевна была уже без сознания, когда вошедшая в комнату невестка — «тетя Наташа» ножницами перерезала шнурок. Сами похороны превратились в задачу со многими неизвестными — ни у кого из обитателей дачи Фальковского не было разрешения, чтобы поехать в Выборг за гробом, и более того — в семье на тот момент не оказалось наличных денег, не то что на гроб — на проезд до Выборга. Свято верящая в скорую победу Юденича над большевиками, Анна Ильинична ни за что не хотела хоронить Андреева «на чужбине», дело кончилось тем, что 16 сентября при небольшом стечении «колонистов» черный гроб с телом покойного был временно помещен в часовню на соседнем с Фальковскими дачном участке, дача эта принадлежала Анне Карловне Горбик-Ланге, и — по иронии судьбы — всего лишь несколько лет назад здесь беззаботно отдыхал «друг Максимушка». Что ж, Анну можно понять: убежденная в гениальности мужа — она мечтала устроить Андрееву пышные похороны на родине. К тому же покойный не раз заявлял о своем желании упокоиться на Новодевичьем кладбище, рядом с Шурочкой и сестрой Зинаидой. Но правление столь ненавидимых Андреевым большевиков установилось надолго, и гроб с покойным простоял в часовне Горбик-Ланге целых пять лет. В августе 1924 года Анне Ильиничне с пятнадцатилетним Саввой пришлось вернуться в давно покинутую

Финляндию ради того, чтобы на простой телеге перевезти черный гроб с телом писателя в Мецякюля. Теперь это поселок Молодежное. Вдова и сын похоронили Леонида Андреева недалеко от его — давно проданного дома, на горе, на кладбище Картавцева, там, где уже четыре года покоилась Анастасия Николаевна. На могиле поставили деревянный крест. Здесь Леонид Андреев пролежал чуть более тридцати лет. Но эту могилу уже не нашел приехавший в 1957 году в СССР внук Вадим. Войны сровняли кладбище с землей, церковь была разрушена, и только разросшийся шиповник указал, где покоятся кости его бабушки. А праха отца там уже не было: в 1956 году он был перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде. Из кладбищенского «лома» был извлечен чей-то памятник — невзрачная восьмигранная гранитная стела, и по проекту «похоронных дел» архитектора Ф. А. Гепнера на добавленном к стеле круглом постаменте выбили имя: Леонид Андреев. 1871—1919.

Да, ни Анна Ильинична, ни дети Леонида Андреева так и не дождались пышных похорон писателя на родине. На Литераторских мостках лежит наш покойник вдали от главной «литературной» аллеи; точно чиновник, распоряжавшийся переносом праха, был убежден, что место Андреева — отнюдь не рядом с Державиным, Радищевым, Крыловым, Тургеневым, Салтыковым-Щедриным, Гончаровым, а где-то в стороне, в стороне...

Как только главы семьи Андреевых не стало, она немедленно «треснула»: Анастасия Николаевна переехала в Ваммельсуу и поселилась там в двухкомнатном флигеле: огромная вилла разрушалась, и приходить туда было небезопасно. Вадим отправился в Гельсингфорс, к лету 1920 года он окончил гимназию и вернулся к бабушке. Анна Ильинична с младшими детьми и тетей Наташей постоянно «переезжала» с места на место. Похоже, Анна после неожиданной смерти мужа не могла долго прожить на одном месте: она нанимала дачи в Оллила (Солнечное), в Куоккале, в Тюрисеве и на севере Финляндии.

Осенью 1920-го Вадим, случайно увидев на сосне объявление о записи в Добровольческую армию для отправки на юг России — в помощь генералу Врангелю, отбыл на «последний фронт» Гражданской войны. Так начались его скитания по свету, в семью Анны Ильиничны он больше не вернулся.

«Маточка» — Анастасия Николаевна осталась одна. С утра она со стаканом чая, рискуя поломать ноги, поднималась по шатающимся ступеням виллы в кабинет Андреева и там, надев

очки, раскладывала старые газеты и читала вслух — Ленуше. Там ее и нашли мертвой в декабре 1920 года. Соседи зашли звать ее в гости — Анастасия Николаевна лежала на полу бездыханная. Так Рыжий Неугомон отправился к своему Коточке через год с небольшим после его смерти.

Анна Ильинична вскоре уехала в Германию вместе с Саввой. Вера, Тинчик и тетя Наташа еще год прожили во флигеле дома, они терпеливо дожидались Нину Карницкую, старшую дочь Анны. Девушка оформляла документы на въезд в Финляндию из советской России. Вскоре все они соединились в Германии. Семейству пришлось туго, хотя энергия Анны была воистину фантастической. Часто переезжая, она пыталась издавать книги Андреева, где-то в Европе еще ставились его пьесы, но этих денег было слишком мало для того, чтобы содержать огромную семью. В начале 1930-х они остановились во Франции, где отбросивший карьеру художника Савва сделался танцовщиком в труппе Иды Рубинштейн. Сама же Анна долгие годы содержала чайную при балете Иды, и это «жена первого — после Толстого — литератора России!». Умерла Анна Ильинична в 1948 году под Нью-Йорком.

Троих младших детей Андреева жизнь «разбросала» по миру: Савва Леонидович оказался в Аргентине, где танцевал в театре *Colonna* в Буэнос-Айресе. В Аргентине он и умер. Вера Леонидовна вернулась в СССР и долгое время жила на родине своего отца в Орле, затем переехала в Москву. Валентин остался в Париже, где перепробовал множество занятий, став в конце концов техническим переводчиком. Интересно, что каждый из них, будучи взрослым, совершил свое паломничество в Ваммельсуу: Савва — когда поселок еще принадлежал Финляндии, Вера и Валентин — когда эта земля отошла Советскому Союзу. Но — в сущности — все трое прожили не такую уж страшную жизнь, если принять во внимание, какое время выпало на их долю.

Сполна вкусили «от горьких плодов» эпохи старшие сыновья Андреева — Вадим и Даниил. Оба они были поэты. Оба прошли войну. Оба носили в себе андреевскую «двойственность». Оказавшись в Германии, а потом во Франции, Вадим «заболел Россией», стремясь во что бы то ни стало вернуться в «страну на все готовых чертей». Даниил же, оставшись в Москве, «заболел Богом» и, уйдя в глубокое «подполье», вынашивал свои, в последние годы жизни записанные мистические книги. К советскому режиму он всегда относился с плохо скрываемой неприязнью...

Был вот какой эпизод в общении братьев: сразу после войны воодушевленный тем, что СССР возвращает эмигрантам

гражданство, Вадим — а у него уже были жена и дочь — собрался домой и написал Даниилу, что скоро они встретятся. Умный и хитрый Даня ответил брату, что очень рад их приезду в СССР и очень ждет их — «как только Олечка закончит Сорбонну». Но дело было в том, что дочь Вадима Олечка только-только перешла тогда в шестой класс лицея. Вадим понял, что Даня транслирует ему: ДАЖЕ И НЕ ДУМАЙ ВОЗВРАЩАТЬСЯ. Семья осталась в Париже.

Встретились братья в 1957 году, когда Даниил только-только вышел из тюрьмы, десятилетнее заключение практически убило его тело, дух же оставался все так же непреклонным. За год с небольшим — от освобождения до смерти — он сумел стать Даниилом Андреевым, автором «Розы мира»... А когда изрядно постаревший Диди вошел в комнату к больному Дане, ему показалось, что перед ним в постели лежит он сам.

Да, эта семья раскололась. Рассеялось и наследие Леонида Андреева. Часть его оказалась за границей, часть — в СССР, что-то пропало во время ареста Даниила и его жены Аллы. Книга Вадима об отце больно ранила детей Анны Ильиничны. Ее отчаянные попытки распродать имущество Андреева в Вammельсуу приводили в бешенство Даниила, который хотел передать вещи отца в Пушкинский Дом... Что ж... «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — как писал когда-то один из самых внимательных читателей Леонида Андреева.

К счастью, наследство Андреева не исчерпывается его имуществом и авторскими правами его наследников. Тихая смерть в Нейволе стала началом возвращения эмигранта на родину. «Мне все кажется, что Андреев жив, — записал в своем дневнике Корней Чуковский 4 ноября 1919 года. — Я писал воспоминания о нем — ни одной минуты не думал о нем как о покойнике»[1]. Мы уже знаем, что Горький, узнав о смерти Леонида Николаевича, произнес, смахивая слезу, что, в сущности, это был его единственный друг. Именно он и Чуковский пытались восстановить репутацию антибольшевика и врага Ленина Леонида Андреева на родине. Первый вечер памяти Л. Андреева прошел 15 ноября 1919 года. Когда Горький решил издать сборник воспоминаний о «друге Леониде», Чуковский немедленно предложил прочесть эти воспоминания публично. В голодном Петрограде «на развороченной» Моховой арендовали полутемный зал Тенишевского училища, где находится теперь Учебный театр Петербургской академии театрального

[1] Чуковский 1. С. 118.

искусства. Здесь в холоде выступили полуголодные Блок, Чуковский... Публики было мало, несмотря на афиши, которые накануне собственноручно изготовил Корней Иванович, повторяя на все лады: «...и *главное, главное, главное* — я уверен, что Андреев жив»[1].

Второй вечер, на котором Горький выступил со своими воспоминаниями, был уже в Москве, в зале консерватории 18 февраля 1920 года. Через два года появилась книга о Леониде Андрееве: воспоминания Горького, Чуковского, Блока, Чулкова, Зайцева, Телешова, Замятина, Белого выпустил Зиновий Исаевич Гржебин, имевший собственное издательство и при большевиках. В 1924 году вышла небольшая книжечка профессора Николая Николаевича Фатова «Молодые годы Леонида Андреева», где автор собрал устные воспоминания о нашем герое у живых тогда еще свидетелей его детства и юности. В 1930-е — не без хлопот Горького и Чуковского — в Москве появился еще один сборник памяти Андреева — «Реквием», собирали и редактировали его сын Андреева Даня и Вера Беклемешева, бывшая когда-то не только секретарем издательства «Шиповник», но и возлюбленной Андреева. После смерти Горького о Леониде Андрееве стали вспоминать все реже и реже. В зонах, где жила вытесненная из России русская интеллигенция, Андреева читали, издавали и даже ставили, на родине писателя — его забывали, снимали с афиш, вычеркивали. Но «...*главное, главное, главное* — я уверен, что Андреев жив».

Так оно и было. Большевики не смогли смахнуть книги Андреева с полки российской словесности, не смогли они и «смыть» память о писателе с огромного пространства России, и как только тоталитарные путы чуть-чуть ослабли, книги Андреева появились снова. Правда, это были лишь «избранные места» — по большей части реалистические повести, рассказы и пьесы.

С середины 1950-х годов на родине писателя стало формироваться славное «племя андрееведов»: исследователей его жизни, творчества, наследия. А потом андреевские рассказы ввели в школьную программу по литературе. А потом — уже во времена перестройки — издали и «запрещенного Леонида Андреева», выпустили собрание его сочинений, и тут уж каждый, кто хоть раз в своей жизни прочел «Тьму» или «Петьку на даче», мог смело повторить за Чуковским: «...и *главное, главное, главное* — я уверен, что Андреев жив».

Андреев жив. Он вернулся и с каждым годом становится все более читаем и почитаем, а русская сцена давно уже тя-

---

[1] Там же. С. 121.

нется к полке с его драмами, и это не только легкая добыча — «Дни нашей жизни» или «Екатерина Ивановна», — уже поставлена «Жизнь человека», а завтра — на столичных подмостках появится и будет швырять зрителям колючие андреевские слова «несчастный», «бессмертный в числах, но еще не родившийся для жизни» дух — Анатэма.

Да, Леониду Андрееву — как и при жизни — все еще не хватает статуса — его место и вес в классическом наследии до сих пор не определены. Да и фигура самого писателя все еще не стала мифологической — как сделались героями романов, пьес и анекдотов его великие предшественники Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Однако и это — не за горами. *Beeu, comme le Cid* — красив, как Сид, говорят французы, а я слышала и уже не раз: красив, как Леонид Андреев.

Народная любовь к писателю Леониду Андрееву — несомненна, несомненно и то, что с годами она только растет. Уже есть несколько сайтов его имени, множатся сайты «друзей Леонида Андреева», его имя так или иначе крутится в нашем сознании, и — как мне кажется — это вполне естественный и органичный для нашей культуры процесс. Так что как бы не пришлось в третий раз переносить прах нашего «беспокойника»...

Когда-то Борхес — а точнее, один из его героев размышлял над вопросом: а так уж ли необходим был миру роман «Дон Кихот»? И что бы изменилось, не будь этот текст написан? Я полагаю, Леонид Андреев был совершенно необходим и — вовсе не потому, что оказался предтечей нескольких «измов». Все эти «измы» благополучно появились бы на свет и без Леонида Андреева. Но — если бы не он — какая проза осталась бы нам от Серебряного века? Белый и Сологуб? Но они — для умников. Рафинированный Бунин? Но и он — не для каждого, а Леонид Андреев — для всех. А кроме того, лично мне кажется, что именно Андреев обессмертил важнейшую для русского сознания веху — ярко и правдиво обрисовав фигуру юноши или девушки, с идеей в голове и бомбой в кармане. И если бы не Леонид Николаевич — фигура русского революционера в нашей литературе так и осталась бы карикатурной — будь то карикатура Горького или Достоевского. Но дело даже не в этом. Андреев был и автор, и герой своего времени. Да, его не пытали в застенках ЧК, не водили расстреливать к серому забору, но все-таки все противоречия своей переломной эпохи он чувствовал как собственную болезнь. Как ни странно, история этой болезни — записанная в книгах Андреева — это все еще, до сих пор — история *нашей* болезни. А следовательно — захватывающее чтение.

«...*и главное, главное, главное* — я уверен, что Андреев жив».

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

S.O.S. — *Леонид Андреев.* S.O.S.: Дневник (1914—1919); письма (1917—1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918—1919). М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994.

Афонин — *Афонин Л. Н.* Леонид Андреев: Из неопубликованного. Орел: Издатель Александр Воробьев, 2008.

Вересаев — *Вересаев В. В.* Леонид Андреев // *Вересаев В. В.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М., 1961. С. 395—421. http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0360.shtml. Дата обращения 30.10.2011.

Горький — *Горький А. М.* Леонид Андреев: Очерк // *Горький А. М.* Собрание сочинений: В 18 т. Т. 18. М.: Художественная литература, 1963. С. 107—143. http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_0690-1.shtml. Дата обращения 30.10.2011.

Детство — *Андреев В. Л.* Детство. М.: Советский писатель, 1963.

Дом — *Андреева В. Л.* Дом на Черной речке. М.: Советский писатель, 1980.

Дневник — *Андреев Л. Н.* Дневник: 1897—1901. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

«Жизнь...» — *Кен Л. Н., Рогов Л. Э.* Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания “КОСТА”», 2010.

Кугель — *Кугель А. Р.* Леонид Андреев // *Кугель А. Р.* Русские драматурги: Очерки театрального критика. М.: Мир, 1933. С. 148—162.

Материалы и исследования — Леонид Андреев: Материалы и исследования. М.: Наследие, 2000.

Наследие — *Андреев Л. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 24 т. Т. 1. М.: Наука, 2007.

Переписка — Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М.: Наука, 1965.

Скиталец — *Скиталец С. Г.* Леонид Андреев // *Скиталец С. Г.* Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960. С. 378—407. http://az.lib.ru/s/skitalec/text_0120.shtml. Дата обращения 30.10.2011.

Телешов — *Телешов Н. Д.* Записки писателя: О жизни и творчестве Леонида Андреева. andreev.org.ru/biblio/about/zapiski_pisatelya.htm. Дата обращения 30.10.2010.

Фатов — *Фатов Н. Н.* Молодые годы Леонида Андреева. Орел: Издатель Александр Воробьев, 2010.

Чуковский 1 — *Чуковский К. И.* Дневник: 1901—1929. М.: Советский писатель, 1991.

Чуковский 2 — *Чуковский К. И.* Леонид Андреев // *Чуковский К. И.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М., 1965. С. 211—241. http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/Andreyev.htm. Дата обращения 30.10.2011.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. Н. АНДРЕЕВА

1871, 9(21)[1] *августа* — в городе Орле в семье землемера-таксатора Николая Ивановича Андреева и дочери разорившегося польского помещика Анастасии Николаевны, в девичестве Пацковской, родился первый ребенок — Леонид.

11 августа — Леонид был крещен в церкви Михаила Архангела.

1874 — у солдатки Прасковьи Корлевской семья приобрела ветхий домишко и сад по адресу: 2-я Пушкарная улица, дом 41, здесь Николай Иванович выстроил новый дом, в котором прошли детство и отрочество Леонида Андреева. С 1873 по 1885 год в семье родились братья и сестры Леонида: Всеволод, Павел, Римма, Зинаида, Андрей.

1882 — Андреев поступил в Орловскую классическую гимназию, увлекается чтением и рисованием. Первые серьезные опыты осмысления окружающего мира, связанные со знакомством с работами Писарева и сочинением «В чем моя вера» Льва Толстого. Влияние трактата А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и «Философии бессознательного» Э. Гартмана. Размышления о самоубийстве.

1887 — «испытывая» себя, Андреев ложится под мчащийся поезд, но, к счастью, остается жив и невредим.

1888 — начало романа с Зинаидой Сибилевой.

1889, 19 мая — скоропостижно умирает отец. Семья остается почти без средств.

1891 — заканчивает гимназию и принимает решение ехать в столицу.

Зачислен на юридический факультет Петербургского университета. Живет на Васильевском острове, то съезжаясь, то разъезжаясь с Зинаидой. Испытывает огромную нужду в деньгах. Почти голодает. Читает Ницше.

1892, зима — под псевдонимом Л. П. (Леонид Пацковский) печатает в журнале «Звезда» рассказ о голодном студенте «В холоде и золоте». Совершает вторую попытку самоубийства, пырнув себя ножом в грудь. За неоплату обучения исключается из Петербургского университета.

Осень — возвращается в Орел, пытается устроиться на работу, пьет, окончательно разрывает отношения с Зинаидой.

1893, лето — переводится на юридический факультет Московского университета, добивается отмены уплаты за обучение «по бедности». Активно участвует в работе Орловского землячества. Увлекается театром. Пьянство и студенческий «разгул».

1894, лето — влюбляется в шестнадцатилетнюю сестру своего товарища Надежду Антонову, делает предложение и получает отказ. Третья попытка самоубийства — выстрел из револьвера себе в грудь.

Мать Андреева с младшими детьми, продав дом в Орле, переезжает в Москву.

1895 — Леонид подрабатывает частными уроками и рисованием портретов на заказ. Мучается из-за неразделенной любви к Антоновой. Посвященный их отношениям рассказ «Он, она и водка» напечатан в «Орловском вестнике».

1896, лето — знакомство с семьей Добровых-Велигорских. Роман с Елизаветой Добровой. Ухаживания за ее сестрой Шурочкой Велигорской. Знакомство с юристом П. Н. Малянтовичем.

---

[1] Далее все даты даются по старому стилю.

1897 — сдает выпускные экзамены в университете, получает диплом 2-й степени.

Октябрь — с помощью Малянтовича устраивается помощником присяжного поверенного Московского судебного округа.

Ноябрь — впервые выступает как защитник в Московском окружном суде. Пишет за Малянтовича судебные очерки для газеты «Курьер». Приглашается на должность судебного репортера в газету «Московский вестник». Начинает работу в «Курьере» под своим именем.

1898, апрель — в «Курьере» напечатан «Баргамот и Гараська». Начало литературной карьеры. Активно сотрудничает с «Курьером». Пишет судебные репортажи, театральные рецензии, очерки.

29 и 30 сентября — напечатан рассказ «Алеша-дурачок».

1899 — начало переписки с А. М. Горьким. В «Курьере», «Журнале для всех» печатаются «Ангелочек», «Петька на даче» и другие рассказы.

1900 — Андреев начинает вести в «Курьере» два цикла фельетонов: «Впечатления» — под псевдонимом Л.-ев и «Москва. Мелочи жизни» под псевдонимом Джемс Линч.

Март — состоялось личное знакомство с А. М. Горьким, он вводит Андреева в московский литературный мир, тот посещает знаменитые телешовские «Среды». На одном из заседаний Горький читает рассказ Андреева «Молчание», который выходит в конце года в «Журнале для всех».

1901 — ложится в клинику М. П. Черинова, в марте в журнале «Жизнь» выходит рассказ «Жили-были». В «Курьере» печатаются рассказы «Стена», «Набат». В издательстве «Знание» выходит первая книга Андреева «Рассказы» с авторским посвящением Горькому. Огромный успех первой книги Андреева у критики и у публики, одобрение Толстого и Чехова.

1902 — в газете «Курьер» напечатан рассказ «Бездна». Вокруг рассказа развернута газетная полемика.

Январь — делает официальное предложение Шурочке.

10 февраля — в церкви Николы Явленского на улице Арбат состоялось венчание Андреева и А. М. Велигорской. Весной молодожены отправляются в свадебное путешествие на юг. Встреча с А. П. Чеховым. Знакомство с В. В. Вересаевым. В журнале «Русское богатство» выходит рассказ «Иностранец». В «Журнале для всех» — рассказ «В тумане». Второе издание сборника «Рассказов».

25 декабря — у Андреевых рождается первый сын — Вадим, в будущем — поэт Вадим Андреев, автор книги об отце «Детство».

1903, январь — стал членом ОЛРС — Общества любителей российской словесности при Московском университете, работает над повестью «Жизнь Василия Фивейского».

Декабрь — Андреев — редактор беллетристического отдела «Курьера», привлекает к сотрудничеству А. С. Серафимовича, печатает первые произведения А. М. Ремизова, Б. К. Зайцева, Г. И. Чулкова.

1904, январь — в первой книге «Знания» выходит «Жизнь Василия Фивейского». Огромный успех повести у критики. Начало Русско-японской войны.

19 марта — семья выезжает в Крым, где живет до августа, возникает замысел и название рассказа «Красный смех».

Октябрь—ноябрь — работа над «Красным смехом», напечатан в конце года в сборнике «Знания».

1905, 10 февраля — в годовщину свадьбы попадает в Таганскую тюрьму. Освобожден 25 февраля под залог, внесенный С. Т. Морозовым.

Работа над рассказом «Губернатор» — отклик на убийство 4 февраля 1905 года в Москве эсером П. И. Каляевым московского генерал-губернатора.

Лето — вместе с семьей отдыхает в Финляндии, в поселке Ваммельсуу (Серово), общается с Горьким, Репиным.

20 сентября — смерть сестры Зинаиды. Работа над первой пьесой «К звездам». Чтение пьесы актерами МХТ, пьесу запрещает цензура.

17 ноября — с женой и сыном уезжает в Петербург, затем в Германию. Знакомство с европейской живописью. Оживленная переписка с Горьким. Работа над пьесой «Савва», рассказом «Елеазар».

1906, март — встреча с Горьким в Швейцарии (Глион), летом семья переезжает в Фрисанс под Гельсингфорсом (Хельсинки).

Июль — выступление на митинге в парке Кайсаниэмэ (протест против роспуска в России Первой Государственной думы). Опасаясь ареста, сразу после митинга едет в Швецию и Норвегию, в сентябре переезжает с семьей в Берлин. Работает над пьесой «Жизнь человека». В сборниках «Знания» (кн. 10 и 11) выходят пьесы «К звездам» и «Савва».

Октябрь — состоялся театральный дебют Андреева-драматурга — премьера спектакля по пьесе «К звездам» в венском Свободном театре.

20 октября — рождение второго сына Даниила, будущего автора «Розы мира».

15 ноября — смерть жены от послеродовой горячки (похоронена в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря). Даниила увозит в Москву мать Шурочки, в декабре Андреев с Вадимом и братом Павлом по настоятельной просьбе Горького переезжает на остров Капри, где и поселяется недалеко от виллы А. М. Горького.

1907 — живет на Капри, тоскует по покойной жене, пьет. Соглашается на предложение Горького и Пятницкого редактировать сборники «Знания». Работает над рассказом «Иуда Искариот».

Февраль — в театре В. Ф. Комиссаржевской — премьера «Жизни человека» (режиссер — В. Э. Мейерхольд).

Май — Андреев со старшим сыном возвращается в Россию. Лето проводит на даче в Куоккале (Репино). Работает над пьесой «Царь-Голод» и рассказом «Тьма». Покупает участок земли в Ваммельсуу, заказывает молодому архитектору А. Олю проект дома. Из-за противоречий с Горьким отказывается редактировать сборники «Знания», переходит в издательство «Шиповник».

Осень — посещает спектакль «Жизнь человека» в театре Комиссаржевской, дает большое интервью газете «Сегодня». Знакомство с А. А. Блоком. Читает у себя на Каменноостровском пьесу «Царь-Голод» и рассказ «Тьма».

Декабрь — премьера «Жизни человека» в МХТ (режиссер — К. С. Станиславский). Огромный успех. Начинает ухаживать за молодой актрисой МХТ Алисой Коонен и одновременно ведет переписку с Матильдой Денисевич, сестрой Толы.

1908 — делает предложение Алисе Коонен и получает отказ. Строительство дачи в Ваммельсуу. Публикация в третьей книге альманаха «Шиповник» рассказа «Тьма». В сборнике «Знания» выходит рассказ «Иуда Искариот». В альманахе «Шиповник» печатается окончательный вариант пьесы «Жизнь человека». В Петербурге отдельным изданием выходит «Царь-Голод». Полный разрыв со «Знанием» и Горьким.

Весна — делает предложение Матильде Денисевич, работающей у него литературным секретарем, получает согласие.

21 апреля — венчание в Ялте с Матильдой Ильиничной Денисевич, которая вскоре сменила имя и стала Анной Ильиничной.

Май — переезжает в Ваммельсуу в собственный дом. В сборнике «Земля» напечатан рассказ «Проклятие зверя». В альманахе «Шиповник» — повесть «Мои записки», драма «Черные маски», «Рассказ о семи повешенных» с посвящением Л. Толстому. В сборнике «Знания» — пьеса «Дни нашей жизни». Отдельным изданием в Петербурге выходит пьеса «Анатэма». Премьера «Дней нашей жизни» в петербургском Новом театре (режиссер Е. Карпов). Премьера «Черных масок» в Театре на Офицерской (режиссеры Ф. Комиссаржевский и А. Зонов).

1909, март — у Андреева и Анны Ильиничны рождается первый сын — Савва. Премьера пьес «Анфиса» и «Анатэма» в петербургском Новом театре, премьера «Анатэмы» в МХТ. «Анфиса» опубликована в альманахе «Шиповник». В конце года пьеса «Анатэма» запрещена цензурой. Выход ленты А. О. Дранкова с документальными кадрами из жизни Леонида Андреева. Работа над романом «Сашка Жегулев».

1910, весна — Андреев посещает Орел и Ясную Поляну, встречается с Львом Толстым.

12 мая — рождается дочь Вера, в будущем — литератор, автор книги об отце «Дом на Черной речке». Работает над пьесой «Океан».

Август—сентябрь — путешествие по Европе с Анной Ильиничной, возвращение на виллу.

Ноябрь — покушение на жизнь Андреева; Анна Ильинична спасает жизнь Леониду Андрееву. Драка с Куприным. Работа над теоретическим трактатом о театре (театр панпсихизма).

1911 — завершает работу над романом «Сашка Жегулев», пьесами «Екатерина Ивановна» и «Профессор Сторицын», работает над пьесой «Каинова печать».

Декабрь — роман «Сашка Жегулев» выходит в альманахе «Шиповник». Увлекается морскими путешествиями, заводит свой личный «андреевский флот». Возобновление переписки с Горьким.

1912, декабрь — состоялись премьера пьесы «Екатерина Ивановна» в МХТ (режиссер Вл. Немирович-Данченко), пьесы «Профессор Сторицын» в Малом и Александринском театрах. Рождение сына Валентина. Увлечение живописью.

1913, январь — поездка на Капри к Горькому. Начало публикаций «Писем о театре». В альманахе «Шиповник» выходит пьеса «Екатерина Ивановна». Переговоры с МХТ о постановке новой пьесы. Начинает работу над пьесой «Собачий вальс». Осенью откладывает пьесу и принимает решение инсценировать рассказ «Мысль». Завершение выхода восьмитомного собрания сочинений Леонида Андреева.

1914, январь — Андреев с женой и сыном Саввой едут в Италию, живут в Риме до мая. Работает над пьесой «Самсон в оковах». Увлечение фотографией.

Март — премьера «Мысли» в МХТ (режиссер — В. Немирович-Данченко), провал спектакля.

Август — в начале Первой мировой войны Андреев занимает патриотическую позицию и начинает писать и активно печатать публицистические очерки в газетах «Биржевые ведомости», «День», «Отечество», «Утро России» и др.

Ноябрь—декабрь — лечится в клинике Герзони. Работает над пьесой «Король, закон и свобода», в декабре — премьера спектакля по этой пьесе в Александринском театре.

1915, февраль — заканчивает работу над «Самсоном в оковах», не была принята к постановке. Пишет военные очерки. Выходит сборник статей «В сей грозный час», посвященный событиям войны. Работает над пьесой «Тот, кто получает пощечины». В октябре 1915 года заканчивает пьесу «Реквием». Тайная любовь к Милочке Чириковой.

Октябрь — премьера «Тота...» в Московском драматическом театре.

Ноябрь — премьера «Тота...» в Александринском театре (режиссер — Н. В. Петров).

15 декабря — смерть брата Всеволода.

1916, зима — лечится в клинике Штейна, жалуется на постоянные головные боли, сердцебиения.

Весна — Андрееву предлагают возглавить отделы беллетристики, критики и театра в новом столичном издании — газете «Русская воля», летом он подписывает контракт с «Русской волей», начинает активный поиск сотрудников. Работа над пьесой «Собачий вальс», повестью «Иго войны».

Лето — переговоры с МХТ и Александринским театром о постановке «Собачьего вальса». Работа над пьесой «Милые призраки».

Осень — переезд в Петербург. В альманахе «Шиповник» выходят «Тот, кто получает пощечины» и «Иго войны. Признания маленького человека о великих днях». Активно работает в «Русской воле». Первый номер газеты выходит 15 декабря.

Декабрь — премьера «Реквиема» в Московском драматическом театре им. В. Комиссаржевской.

1917, февраль — премьера пьесы «Милые призраки» в Александринском театре. Приветствует Февральскую революцию, в начале марта публикует статью «Памяти погибших за свободу» в газете «Русская воля». Летом активно включается в борьбу за продолжение войны с Германией. Пишет текст листовки «К тебе, солдат», которую издает и распространяет на фронтах «Русская воля».

Сентябрь — публикует в «Русской воле» фельетон о Ленине «Veni, creator!».

Октябрь — с семьей, бросив вещи и квартиру, уезжает в Ваммельсуу. В тот же день новая власть закрывает «Русскую волю».

1918 — в дневнике излагает собственные размышления о причинах поражения революции и прихода Ленина к власти.

Февраль — тайно приезжает в Петроград к заболевшей матери, живет у брата Павла и у сестры Риммы.

Апрель — граница с Финляндией закрывается, и проживающий в Ваммельсуу Андреев вместе с семьей оказывается отрезанным от России, начинает работу над романом «Дневник Сатаны».

Август — заложив землю и дом, Андреевы нанимают зимнюю дачу в Тюрисеве (Ушково). Отвергает предложение Горького и Гржебина о продаже своих произведений для издания их в большевистской России.

1919, весна — пишет очерк «S.O.S.», где призывает народы Европы отправиться в «крестовый поход» против большевиков.

Лето — ведет переговоры о работе в Северо-западном правительстве, предлагает свои услуги в качестве министра печати и пропаганды, но его кандидатура отвергается. В конце лета ведет активные переговоры о турне по городам США с лекциями о сущности

большевизма. Соглашается на предложение Н. Рериха о поездке в Англию.

Осень — завершает работу над «Дневником Сатаны».

Ночь с 6 на 7 сентября — становится свидетелем бомбардировки Ваммельсуу советскими самолетами. Семья переезжает в Нейволу (Горьковская) на дачу Фальковских.

12 сентября — смерть от сердечного приступа.

Сентябрь — черный гроб с телом Андреева временно устанавливают в часовне, принадлежащей А. К. Горбик-Ланге, в Нейволе.

1924, сентябрь — состоялось погребение Андреева на кладбище Картавцева в Мецякюля (Молодежное).

1956 — прах Андреева был перенесен на Литераторские мостки Волкова православного кладбища в Ленинграде.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Книги и статьи в книгах

Андреев В. Л. Детство: Повесть. М.: Советский писатель, 1963.

Андреева В. Л. Дом на Черной речке. М.: Советский писатель, 1980.

Андреев Л. Н. [Автобиография, 1871—1910] // Русская литература XX века. М., [1916]. Т. 2. Кн. 6. С. 242—245.

Андреев Л. Н. [Автобиография, 1871—1903] // Русская литература XX века. М., [1916]. Т. 2. Кн. 6. С. 241—242.

Андреев Л. Н. Дневник: 1897—1901 /Подг. текста М. В. Козьменко, Л. В. Хачатурян (при участии Л. Д. Затуловской), сост., вступ. ст. и коммент. М. В. Козьменко. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

Андреев Л. Н. Драматические произведения. В 2 т. / Сост., автор вступ. ст. и прим. Ю. Н. Чирва. Л.: Искусство, 1989.

Андреев Л. Н. Избранное автором: Повести и рассказы:1907—1919 / Сост., подг. текста и коммент. А. Руднев, В. Чуваков. М.: Лаком-книга, 2004.

Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений: В 8 т. СПб.: Изд. товарищества А. Ф. Маркс, 1913.

Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений: В 6 т. М.: Художественная литература, 1990—1996.

Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений и писем: В 24 т. Т. 1. М.: Наука, 2007.

Андреев Л. Н. Пьесы / Вступ. ст. и общ. ред. А. Дымшица; сост., подг. текстов и прим. В. Чувакова. М.: Искусство, 1959.

Андреев Леонид. S.O.S.: Дневник (1914—1919); Письма (1917—1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918—1919) / Вступ. ст., сост. и прим. Р. Дэвиса, Б. Хэллмана. М., СПб.: Atheneum; Феникс, 1994.

Андреев П. Н. Воспоминания о Леониде Андрееве // Литературная мысль. Л.: Мысль, 1925. Кн. 3. С. 140—207.

Андреева А. А. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой // *Андреев Д. Л.* Собрание сочинений. Т. 1. М.: Московский рабочий, 1993. С. 5—26.

Андреевский сборник: Исследования и материалы / Под науч. ред. Л. Афонина. Курск, 1975.

Анненский И. Ф. Книга отражений. М.: Наука, 1979.

Антон Крайний (Гиппиус З. Н.). Литературный дневник (1899—1907) М.: Аграф, 2000.

Афонин Л. Н. Леонид Андреев. Орел: Орловское книжное изд-во, 1959.

Афонин Л. Н. Леонид Андреев: Из неопубликованного. Орел: Издатель Александр Воробьев, 2008.

Белоусов И. Литературная среда: Воспоминания. 1880—1928. М.: Кооперативное изд-во писателей «Никитинские субботники», 1928.

Белый А. [Воспоминания о Л. Н. Андрееве] // Книга о Леониде Андрееве. 2-е изд., доп. Пг., 1922. С. 175—192.

Берлина М. С. Пьесы Леонида Андреева на Александринской сцене // Русский театр и драматургия: 1907—1917. Сборник научных трудов. Пг., С. 54—67.

Блок А. А. Памяти Леонида Андреева / Прим. Г. Шабельской // Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: Художественная литература, 1962. Т. 6. С. 129—135.

Болхонцева С. К. Леонид Андреев и Новый драматический театр в Петербурге // Русский театр и драматургия XX века: Сборник научных трудов. Л.: ЛГИТМиК, 1984. С. 92—112.

Брусянин В. В. Леонид Андреев: Жизнь и творчество. М.: Кн-во К. Ф. Некрасова, 1912.

Бунин И. А. Дни и годы. Скитания / Предисл. и публ. А. К. Бабореко // Литературное наследство. 1973. Т. 84. Кн. 1. С. 386—387.

Бунин И. А. Окаянные дни. СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 2009.

Вересаев В. В. Леонид Андреев // Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1961. С. 395—421.

Веригина В. П. Воспоминания. Л.: Искусство, 1974.

Вологина О. В. Музей Леонида Андреева // Прогулки по литературному Орлу: Сборник. Орел: Издатель Александр Воробьев, 2008.

Вологина О. В. Творчество Леонида Андреева в европейском культурном процессе XX века. Орел: Издатель Александр Воробьев, 2008.

Волошин М. «Елеазар», рассказ Леонида Андреева // *Волошин М.* Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 450—456.

Дмитрюхина Л. Литературные музеи Орла. Орел: Издатель Александр Воробьев, 1999.

Горький А. М. Леонид Андреев: Очерк // *Горький А. М.* Собрание сочинений: В 18 т. Т. 18. М.: Художественная литература, 1963. С. 107—143.

Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М.: Наука, 1965.

Гроссман Л. П. Беседы с Леонидом Андреевым // *Гроссман Л. П.* Литературные портреты. М.: Рипол-классик, 2010. С. 378—388.

Дрягин К. В. Экспрессионизм в России: Драматургия Л. Андреева. Вятка, 1928.

Забродин В. В. Эйзенштейн: Попытка театра. М.: Эйзенштейн-театр, 2005.

Замятин Е. Леонид Андреев // Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания. Пг.; Берлин, 1922. С. 105—109.

Зайцев Б. К. Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М.: Московский рабочий, 1989.

Иезуитова Л. А. Творчество Леонида Андреева: 1892—1906. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976.

Измайлов А. А. На первом чтении «Рассказа о семи повешенных» // *Измайлов А. А.* Литературный Олимп. М., 1909. С. 285—293.

Кен Л. Н., Рогов Л. Э. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания “КОСТА”», 2010.

Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Г. Чулкова, Б. Зайцева, Н. Телешова, Е. Замятина, А. Белого. Пг.; Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1922.

Кугель А. Р. Леонид Андреев // *Кугель А. Р.* Русские драматурги: Очерки театрального критика. М.: Мир, 1933. С. 148—162.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1978.

Леонид Андреев: Далекие. Близкие: Сборник / Вступ. ст., подг. текста, сост. и коммент. И. Г. Андреевой. М.: Минувшее, 2011.

Леонид Андреев: Материалы и исследования. М.: Наследие, 2000.

Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX в. М.: Искусство, 1975.

Львов-Рогачевский В. Две правды. Книга о Леониде Андрееве. СПб., 1914.

Мандельштам О. Э. Шум времени. Л., 1925.

Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. Часть первая: 1891—1917. М.: Искусство, 1968.

Минский Н. М. Абсолютная реакция: Леонид Андреев и Дмитрий Мережковский // Литературная критика: статьи о русской литературе XIX — начала XX века. М.: Художественная литература, 1989.

Мирский Д. С. Леонид Андреев // *Мирский Д. С.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 609—619.

Мнемозина: Документы и факты из истории театра XX века. Исторический альманах. Вып. 2. М.: URSS, 2000.

Московкина И. И. Между «pro» и «contra»: координаты художественного мира Леонида Андреева: Монография. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005.

МХТ в русской театральной критике: 1907—1918. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007.

Немирович-Данченко Вл. И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки: 1877—1942. М.: ВТО, 1980.

Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917) / Публ. и коммент. Н. Р. Балатовой, В. И. Беззубова // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 266. Тарту, 1971. С. 231—313.

Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных отношений: 1909—1917. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999.

Реквием: Сборник памяти Леонида Андреева / Под ред. Д. Л. Андреева, В. Е. Беклемишевой; предисл. В. И. Невского. М.: Федерация, 1930.

Рерих Н. К. Леонид Андреев // *Рерих Н. К.* Из литературного наследия. М., 1974. С. 106—107.

Савинков Б. Воспоминания террориста. Л.: Лениздат, 1990.

Сергеев-Ценский С. Н. Леонид Андреев: Воспоминания // *Сергеев-Ценский С. Н.* Радость творчества. Симферополь, 1969. С. 163—174.

Скиталец С. Г. Леонид Андреев // *Скиталец С. Г.* Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960. С. 378—407.

Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Государственная академия художественных наук, 1926.

Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы. Курск, 1983.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 58. М.: Художественная литература, 1934.

Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. Орел: Издатель Александр Воробьев, 2010.

Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Чуваков В. Н. Вступительная статья: Письма Леонида Андреева к Н. А. Чукмалдиной // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. М.: Студия Три Тэ: Российский архив, 2001. С. 488—489.

Чуковский К. И. Дневник: 1901—1929. М.: Советский писатель, 1991.

Чуковский К. И. Леонид Андреев // *Чуковский К. И.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М., 1965. С. 211—241.

Шмелев И. С. Письмо к Леониду Андрееву / Публ. В. П. Вильчинского // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977. С. 197—200.

II. Статьи в периодических изданиях

Михайловский Н. К. Об одном неосновательном мнении: Рассказы Леонида Андреева. Страх жизни и страх смерти // Русское богатство. 1901. № 11. С. 58—74.

[Письмо гр. Толстой] // Новое время. 1903. № 9673.

Андреев о Мейерхольде // Сегодня. 1907. 20 сентября. С. 3.

Мережковский Д. С. В обезьяньих лапах: О Леониде Андрееве // Русская мысль. 1908. № 1.

Беседа с Л. Андреевым // Новая Русь. 1909.19 февраля. С. 6.

Беседа с К. С. Станиславским // Утро России. 1910. № 190. 6 июля. С. 3.

Новик И. Д. Л. Н. Андреев: Первые шаги его литературной деятельности // Вестник литературы. 1919. № 12. С. 4—6.

Израэльсон О. А. Л. Н. Андреев на заре литературной деятельности. Вестник. Л., 1920. № 3. С. 3—5.

Клейнборт Л. М. Встречи: Леонид Андреев // Былое. 1924. № 24. С. 163—182.

Рыклин Г. Е. Встречи, разговоры... // Нева. 1967. № 4. С. 115—117.

Андреева А. М. [Отрывок из дневника]. Звезда. 1968. № 1. С. 181—184.

Письма Л. Андреева и И. Бунина / Публ. и коммент. И. Газер // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 162—193.

Из писем Л. Андреева — К. Пятницкому (1904—1906) / Публ. архива А. М. Горького. Вступ. ст., подг. текста и коммент. В. Чувакова // Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 162—193.

Кинкулькина Н. Леонид Андреев и Александр Санин // Нева. 2001. № 10. С. 219—224.

Уайт Ф. Х. Лицедейство и обман // НЛО. 2004. № 69.

Уайт Ф. Х. Тайная жизнь Леонида Андреева: История болезни // Вопросы литературы. 2005. № 1—2. С. 323—339.

Смирнов А. Вокруг «Розы мира» // Зеркало. 2007. № 29—30.

III. Сетевые источники

http://www.leonidandreev.ru / Сайт Леонида Андреева

http://andreev.org.ru / Сайт Леонида Андреева

http://az.lib.ru/a/andreew_1_n / Собрание сочинений Леонида Андреева

http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=vammelsuu-avans&lang=ru / Фотоматериалы, связанные с жизнью Леонида Андреева в Ваммельсуу

http://int69.zelenogorsk-spb.ru/g2/main.php?g2_itemId=68971 / Фотоматериалы, связанные с жизнью Л. Андреева в Ваммельсуу

http://www.museum.ru/museum/lit_oryol/6.htm / Сайт Музея Л. Н. Андреева в Орле

СОДЕРЖАНИЕ

Скороход Н. С.
С 44 Леонид Андреев / Наталья Скороход. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 430[2] с.: ил. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1431).
ISBN 978-5-235-03518-8

Книга о знаменитом и вызывающем отчаянные споры современников писателе Серебряного века Леониде Андрееве написана драматургом и искусствоведом Натальей Скороход на основе вдумчивого изучения произведений героя, его эпистолярного наследия, воспоминаний современников. Автору удалось талантливо и по-новому воссоздать драму жизни человека, который ощущал противоречия своей переломной эпохи как собственную болезнь. История этой болезни, отраженная в книгах Андреева, поучительна и в то же время современна — несомненно, ее с интересом прочтут все, кто увлекается русской литературой.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2 Рос=Рус)1-8

знак информационной *продукции* **16+**

Скороход Наталья Степановна
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Редактор **Л. А. Барыкина**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Сдано в набор 15.02.2013. Подписано в печать 04.06.2013. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 22,68+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 1308220.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03518-8